

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



А. Левандовский

РОБЕСИЪЕР

Annotation

28 июля 1794 года под крики и улюлюканье толпы пала срубленная ножом гильотины голова Максимилиана Робеспьера. Толпа разошлась, и никому тогда не пришла в голову мысль о том, что он присутствовал при кончине Великой Французской буржуазной революции. На смену якобинцам, свершившим самый радикальный переворот в истории человечества того времени, пришли крупные буржуа, залившие кровью все завоевания революционного народа, сохранив из его наследия только то, что было выгодно им.

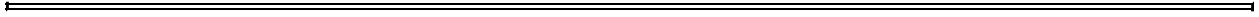
Книга А. П. Левандовского — это не только биография вождя якобинцев Робеспьера, но и скрупулезная летопись событий Французской революции, так как жизнь Робеспьера неотделима от нее. Робеспьер не дрался на баррикадах, его не было среди парижан, штурмующих Бастилию. Всю свою недолгую жизнь Неподкупный провел или за письменным столом в убогой каморке квартиры столяра Дюпле, или на трибунах Национального собрания, Конвента, Якобинского клуба. Но своими речами, проектами законоположений, своей волей и беспримерной преданностью революционным идеям Робеспьер влиял на все события революционной борьбы. Он был ее идеологом, ее знаменем, ее вождем. Немало роковых ошибок, колебаний отметило его жизненный путь, но он никогда не отступал, никогда не шел на компромиссы. Сын третьего сословия, Неподкупный выражал чаяния и надежды мелкой буржуазии, она была его опорой в борьбе с остатками феодализма и абсолютистской монархии.

С гибелью Робеспьера завершился восходящий поток Французской революции.

-
- [Анатолий Левандовский](#)
 -
 - [Встреча](#)
 - [Часть I](#)
 -
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)

- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Часть II](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
- [Часть III](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Смерть и бессмертие](#)
- [Основные даты жизни Максимилиана Робеспьера](#)
- [Краткая библиография](#)
- [Париж в 1790–1794 гг. \(Схема расположения секций\)](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [10](#)

- [11](#)
- [12](#)



**Анатолий Левандовский
Максимилиан Робеспьер**



Встреча (Вместо пролога)

Его величество Людовик XVI, божьей милостью король Франции и Наварры, возвращался из Реймса после помазания на царство.

Король был расстроен. Все шло из рук вон плохо. Прежде всего он был голоден. Завтракали рано. Ему удалось перехватить лишь несколько котлеток, полдюжины яиц, небольшого цыпленка да пару кусков ветчины. Вино было скверное, и выпил он всего полбутылки... Да, это не версальская кухня! К тому же прошло бог знает сколько времени, а скорого обеда не предвидится. Вот и лезет всякое в голову! Невольно думается об этом канальстве, которое давно надо бы забыть!

Его добрые парижане и жители других городов доставили ему за последнее время много неприятностей. Буквально накануне коронации вспыхнул бунт, охвативший Бомон, Сен-Жермен, Понтуаз, а затем перебросившийся в столицу. И из-за чего же? Из-за хлеба! Видите ли, им мало хлеба, хлеб слишком дорог! Людовик недоумевал. Странная чернь! Зачем ей столько хлеба? Ведь сказано же в священном писании: «Не хлебом единым будет жив человек»! И почему, черт побери, все они не могут жить спокойно, по заповеди «люби ближнего своего»? Полиция оказалась бессильной, пришлось вызывать войска, вводить в дело артиллерию, укреплять мосты. Маршал Бирон повесил несколько бездельников, многих перебили, остальные как будто успокоились. Надолго ли? Нечего сказать, хорошая прелюдия к коронационным торжествам! И как ему вообще не везет с этими торжествами! Все кругом шепчут о скверных предзнаменованиях. Предзнаменования действительно скверные — от правды не уйдешь!

Ровно шесть лет назад, в то время когда еще царствовал его покойный дед, а он сам был только дофином, также произошло событие, о котором нет-нет да и вспомнится.

Праздновали его бракосочетание с австрийской принцессой Марией-Антуанеттой. Старый Людовик XV пожелал пустить пыль в глаза иностранцам. Несмотря на затруднительное финансовое положение королевства, на народную нужду, на бунты, вызванные голодом после очередного неурожая, королевская казна не поскупилась: праздники обошлись более чем в двадцать миллионов. Но уж и праздновали зато! Пир

горой стоял в течение целого месяца, с 13 мая по 14 июня. При дворе давали такие балы, каких сейчас не увидишь. Чего стоил, например, бал для избранных, обставленный особым этикетом! Дамы танцевали в парадных платьях с огромными панье и непомерно длинными шлейфами. Высокие прически, обрамленные золотыми украшениями и драгоценными камнями, сверкали наподобие соборных куполов. А кавалеры! Их костюмы, ослеплявшие блеском, были настолько тяжелы от золота и драгоценностей, что пригибали к паркету своих владельцев. Убранство короля, во всяком случае, весило не менее сорока фунтов. За такой костюм можно было бы купить несколько деревень вместе с мужиками.

Из дворца праздники перенесли на улицу. Вот тут-то все и произошло.

31 мая в Париже пускали фейерверк. Собралось огромное количество народу. Администрация столицы не позаботилась об установлении порядка, и более тысячи граждан оказались раздавленными в толпе или растоптанными под копытами лошадей. Зловещая тень легла на союз Людовика XVI и Марии-Антуанетты...

Король вздрогнул. Неприятный озноб прошел по телу. А сейчас? Разве казна не пуста? Разве голодные бунты не потрясают страну? И разве тем не менее он не бросил миллионов на торжества вопреки всему? Однако опять ничего не получилось. Миллионы брошены на ветер. Никто ничего не оценил.

Действительно, коронация стоила колоссальных денег. Прежде всего по дороге из Парижа в Реймс перестроили все мосты, а в Суассоне даже разрушили городские ворота, потому что королевский экипаж, имевший восемнадцать футов вышины, в них не проходил. На эти работы согнали тысячи крестьян из окрестных деревень. Реймская дорога стала такой же многолюдной, как улица Сент-Оноре в Париже: по ней постоянно курсировало около двадцати тысяч почтовых лошадей. О самом Реймсе, разумеется, нечего и говорить. Громадный готический собор был отремонтирован и подновлен. В нем устроили особое помещение для королевы, с дежурной комнатой, в которой разместилась охрана. Даже отхожие места — невероятная роскошь! — переоборудовали на английский манер. Самой коронацию обставили возможно более пышно. И в результате... Ничего! Зрители реагировали вяло. Его, короля и повелителя, никто не хотел приветствовать ни там, ни здесь, по дороге в Париж. Возгласы «Да здравствует король!» раздавались изредка и казались принужденными. Грязные мужики, копошившиеся у канав в своих лохмотьях, часто даже не удостоивали взглядом пышный королевский поезд. Что же касается королевы, то ее встречали ледяным молчанием, а

проводили приглушенным ропотом. Народ ненавидел «австриячку». Ее считали главной виновницей всех бед.

Король искоса взглянул на Марию-Антуанетту. Она дремала, облокотившись на подушки. Ее бледное лицо казалось выточенным из мрамора. Она была очень хороша. «Черт возьми, — думал Людовик, — быть может, мой добрый народ не так уж и не прав. Она действительно страшная мотовка... Как она умеет швыряться деньгами! Какие только прихоти не приходят ей в голову! Балы, скачки, азартная карточная игра... Она с легкостью бросает по тысяче луидоров на зеленое сукно и готова играть тридцать шесть часов подряд... Впрочем, все это еще не так страшно. До его королевских ушей доходят слухи куда более неприятные... Судачат о грязных шашнях, в которые путают его милого братца, этого хлыща д'Артуа... Называют и других... Быть может, и врут, кто их знает, но все же, как говорится, нет дыма без огня... Король даже крикнул от досады. Да, неприятности со всех сторон. А тут еще эта нудная трясушка. Путь кажется бесконечным. Исчезли вчера, позавчера, сегодня, только и слышны щелканье бичей, стук колес да скрип рессор. Скорее бы уж добраться до Версаля!..

Королевский поезд громыхал по парижским улицам. Моросил дождь. Среди несметного количества экипажей огромная карета монаршей семьи выделялась, напоминая сказочный ковчег. Придворный в лиловом вскочил на подножку и наклонился к окну.

— Ваше величество, сир!

Людовик открыл глаза.

— Сир, вы просили напомнить..., Ваше величество собирались посетить коллеж, носящий имя вашего святого предка... Мы уже на улице Сен-Жак...

Ба! Он действительно совсем забыл. Какая глупая формальность!.. Он должен посетить коллеж Людовика Великого, там его будут приветствовать. И никому нет дела до того, что его тошнит, что ему хочется спать. Изверги! Ну что ж, ничего не поделаешь. Он не намерен там долго задерживаться, пожалуй, можно даже не выходить из кареты, но обычай соблюсти нужно. Придворный отдает распоряжения фореиторам головных экипажей.

...Вот он, коллеж Людовика Великого, знаменитая школа, патроном которой считается французский король. На крыльцо здания высыпала масса народу — и воспитатели и ученики. Что-то кричат, бросают цветы. Поток экипажей останавливается. Король открывает окно и делает

приветственный жест рукой.

Все ждут. Но ни король, ни королева не покидают своих подушек. Понятно... Тогда высокий человек в мантии и парике делает знак одному из учеников. И вот маленький хрупкий подросток, почти ребенок, быстро сбегает с лестницы и направляется к карете. В его руках лист бумаги, свернутый трубкой. Он бледен и заметно волнуется...

— Смотрите, сударыня, какой смешной, — шепчет Людовик Марии-Антуанетте. — Это, вероятно, их первый ученик...

Королева небрежно окидывает мальчика взглядом и туг же, зевая, отворачивается.

Избранник коллежа подходит вплотную к карете. Он знает, что положено делать. Мельком взглянув на придорожную грязь, он преклоняет колени и разворачивает свой лист. Он начинает читать. Но голос его тих и неровен. Колеса скрипят, форейторы ругаются, в соседних экипажах придворные о чем-то громко спорят. Людовик смотрит на чтеца, но почти не разбирает его слов. Приветствия, пожелания, ремонтрансы... Ученик отрывает глаза от бумаги. На момент взгляд монарха встречается с его взглядом. У него светлые внимательные глаза, холодные и пронизывающие, как стальные клинки. Королю становится не по себе. Что?.. Он, кажется, еще собирается продолжить чтение? Довольно! Надоело! К дьяволу этого бледного аскета с его неприятными глазами! Король хватается за локоть придворного и что-то шепчет ему. Через несколько секунд королевский поезд с грохотом трогается дальше.

Ученик прерывает чтение, но остается на коленях. Он забрызган грязью. На глаза навертываются непрошеные слезы. Или, быть может, это капли дождя?.. К нему подбегает длинноволосый воспитанник и кладет ему руку на плечо.

— Не огорчайся, Максимилиан! Тебя недаром прозвали Римлянином: будь стойким, и ты свое возьмешь!

Максимилиан вскакивает. С разорванных чулок грязь стекает на башмаки. Быстро смахнув слезу, он сурово смотрит на своего товарища.

— Кто тебе сказал, что я огорчен, Камилл? Напротив, я горд... Я ведь удостоился самой высокой чести, не правда ли? — И затем, мгновенно помолчав, он добавляет: — Но заметь, какое сегодня число: сегодня 12 июня 1775 года. Не забывай никогда об этом дне и, если будет нужно, напомни мне о нем...

Такова была первая встреча Старого порядка и Революции...

Часть I
Сын третьего сословия



Глава 1

Учитель



Его звали Максимилиан Мари Исидор де Робеспьер. Ему только что исполнилось семнадцать лет: он родился 6 мая 1758 года. Седьмой год пошел с тех пор, как он покинул свою родину — тихий старинный город Аррас, покинул без большой охоты, ибо там остались все близкие и дорогие ему люди. Но Максимилиан страстно хотел учиться и занять свое место в жизни; поэтому он, бедняк и сирота, ни минуты не колеблясь, ухватился за возможность учиться в Париже, в таком заведении, как коллеж Людовика Великого: ведь отсюда открывалась прямая дорога в университет! Место и стипендию в коллеже выхлопотал через аррасского епископа заботливый опекун Максимилиана, дедушка Карроль, отец его покойной матери; он же дал отъезжающему первые жизненные наставления.

Коллеж Людовика Великого сыграл немалую роль в формировании характера Максимилиана. Закрытое учебное заведение с интернатом заставило замкнутого мальчика вступить в общение со сверстниками, и он с честью выдержал этот первый жизненный экзамен. Обладая ровным

характером, Максимилиан избегал ссор, но когда было необходимо, не отступал и был готов, особенно если дело касалось защиты более слабых, выдержать любую потасовку, но не капитулировать. Вскоре у него установилась репутация хорошего товарища. Впрочем, из всех своих однокашников по-настоящему он сблизился только с одним: с длинноволосым Камиллом Демуленом.

Камилл во многом казался противоположностью Максимилиана, и, быть может, именно это содействовало их дружбе. Пылкий и неровный, то чрезмерно веселый, то слишком грустный, Камилл вместе с тем отличался подкупающей искренностью своих взглядов и суждений. Он был талантлив, но разболтан и отнюдь не претендовал на то, чтобы оказаться в числе первых учеников. Максимилиан, обладая незаурядными способностями к учебе, вместе с тем был очень трудолюбив и усидчив. Сверх этого природа наделила его значительным честолюбием и выдержкой: он в отличие от Демулена мог терпеливо и упорно добиваться осуществления намеченной цели. Сначала Камилл был склонен подтрунивать над несколько чопорным arrasцем, но вскоре он понял его превосходство и привязался к нему всей душой. Максимилиан ответил взаимностью. Они подружились.

Часто, проводя время вдвоем, они гуляли по улицам Парижа, предпочитая тихие окраины. Обменивались мнениями о воспитателях и прочитанных страницах книг. Иногда говорили о прошлом. Через некоторое время Камилл знал уже всю трагедию детства своего друга. Максимилиан рассказал ему, как умерла мать, как вслед за этим уехал и погиб на чужбине отец. Чувствительный Камилл не мог сдержать слез, услышав, что Максимилиан всего семи лет от роду остался старшим в семье, в то время как младшему члену этой семьи — крошечному Огюстену — исполнилось всего два года.

— Теперь я понимаю, почему ты кажешься таким замкнутым и отчужденным, — прошептал Демулен, крепко сжимая руку товарища.

— Да, я рано почувствовал свое старшинство, — задумчиво ответил Максимилиан. — Забот было много. Декоре нам, правда, помогли родственники: сестер взяли тетки, а мы с братом переселились к деду. Но я не знал детства: мне были чужды игры и забавы, я только учился... Учился, стараясь быть первым. В свободное от школы и домашних дел время надо было посидеть над книгой. Впрочем, я имел и развлечения: признаюсь тебе, я очень любил птиц и дружил с ними больше, чем с детьми. Кормить их, приручать, наблюдать за ними — в то время ничто другое не казалось мне более отрядным!

Камилл с удивлением смотрел на своего собеседника. Ему хотелось все больше и больше узнать о нем, чтобы лучше его понять.

— Максимилиан, — спросил он как-то, — почему ты, подписываясь, прибавляешь к своей фамилии частицу «де», которую пишешь отдельно? Неужели ты производишь из дворян? Я ведь тоже мог бы писать де Мулен, но мой отец — мелкий чиновник магистратуры в Гизе, и поэтому мы просто Демулены...

Максимилиан густо покраснел. Камилл, не желая того, ударил его по больному месту. Он действительно подписывался «де Робеспьер», точно какой-нибудь герцог или маркиз; это было его маленькое, детское тщеславие. Ну что ж, другу нужно во всем признаваться.

— Нет, Камилл, — ответил он после короткого раздумья. — Это только дурная привычка. Мы также просто Деробеспьеры, как вы Демулены. Считают, что наш род происходит из Ирландии. Во Франции, впрочем, мои предки утвердились очень давно. Нотариусы с этой фамилией в местечке Карвене, близ Арраса, упоминаются уже в XVI веке. Все Робеспьеры из поколения в поколение были судейскими. Ты хочешь знать, откуда взялась форма «де Робеспьер»? Изволь. Она была получена моим дедом, вернее — братом моего деда по отцу, неким Ивом Робеспьером, который был сборщиком податей в Эпинуа и за свое *личное* дворянство уплатил немалый куш звонкой монетой чиновникам податного управления. Он получил даже герб: на золотом поле черная перевязь вправо, обремененная серебряным крылом... Так-то, мой друг!.. На моего отца, разумеется, эта привилегия уже не распространялась: он был просто господин Франсуа Деробеспьер, потомственный адвокат при совете Артуа. Отец моей матери, старый добрый Карроль, простой торговец пивом в Рувиле. А я из дурацкого самолюбия, с которым ничего не могу поделаться, подписываюсь, подобно Иву, «де Робеспьер». Вот и все. Я так подробно рассказал тебе об этом, чтобы никогда более впредь к сему сюжету не возвращаться. Понял? Ну и довольно. Поговорим о чем-нибудь другом...

Вопрос о частице «де» взволновал двух юных воспитанников коллежа далеко не случайно: это была сама жизнь.

Франция «старого порядка» веками оставалась государством привилегий.

Те, кто имел перед своей фамилией частицу «де», назывались «благородными»; все остальные причислялись к «податным».

«Благородные» были хозяевами страны. Составляя менее одного процента населения Франции, они владели двумя третями всей земли и

были почти полностью свободны от налогов и повинностей в пользу государства. Абсолютная монархия зачисляла их в два высших привилегированных сословия: духовенство и дворянство.

Все остальные девяносто девять процентов французов входили в состав третьего, податного, сословия.

«Духовенство служит королю молитвами, дворянство — шпагой, третье сословие — имуществом». Эти слова не раз слышал Максимилиан из уст своих школьных наставников. Так говорила старая юридическая формула, скорее остроумная, нежели верная. В действительности основная функция третьего сословия заключалась в том, чтобы обслуживать и содержать два первых, а королевская власть регулировала отношения между ними, обеспечивая привилегированных всеми жизненными благами и создавая им исключительное положение в стране.

Максимилиан Робеспьер всегда будет верным сыном третьего сословия. Он встанет в первой шеренге борцов за политические права податных. Пройдет время, и он с презрением отбросит от своей фамилии частицу «де», казавшуюся ему столь привлекательной в годы юности. На многое, очень многое откроет ему глаза учитель.

Учителем был Жан Жак Руссо. С его сочинениями Максимилиан впервые познакомился в стенах коллежа Людовика Великого.

Учебные программы коллежа, находившегося в руках католического духовенства, строились так, чтобы по возможности ограждать воспитанников от веяний современности. Главное место уделялось изучению классической античной истории и литературы, выучиванию наизусть трудных латинских и греческих текстов. Беспечный Камилл зевал, чертыхался и получал плохие баллы. Прилежный Максимилиан, как и в Аррасе, учился с жаром, до самозабвения. Он умел находить в книгах и рассказах учителей то, что пропускали другие. Его увлекали примеры свободолюбия и героизм античных граждан. Афины, Спарта, Рим... В особенности Рим... Братья Гракхи, бесстрашный Брут, Спартак... Какие люди! Какие дела!

Один из преподавателей, аббат Эриво, весьма благоволивший к Максимилиану, поддерживал его увлечение античностью и даже прозвал его «Римлянином». Почтенный аббат мечтал вести своего пылкого ученика по спокойной стезе греко-латинской филологии.

Не тут-то было! Вскоре Максимилиан взялся за философию, и античность отошла сразу же на второй план.

Теперь его вниманием всецело завладели просветители —

прогрессивные французские мыслители второй половины XVIII века.

Задолго до того, как революция началась на деле, она уже совершалась в умах. Третье сословие, борясь за свои права, выдвинуло целую плеяду замечательных философов, публицистов, писателей, ученых, которые дали человечеству идеи, подорвавшие авторитет всех устоев старого мира: его религию, его Дюраль, его учреждения.

Монтескье и Вольтер, Дидро и Гельвеций, Тюрго и Кене, Мабли и Морелли — все эти и многие другие выдающиеся деятели эпохи Просвещения, несмотря на различия в своих взглядах, несмотря на ожесточенные споры, которые подчас они вели друг с другом, в целом представляли передовую, прогрессивную идеологию подымавшейся буржуазии и широких масс тружеников.

Особенно выделялся по силе своей популярности великий поборник идеи равенства и народного суверенитета женеvский гражданин Жан Жак Руссо. Его читала и знала вся Франция. Он был кумиром и властителем дум всех передовых слоев общества и в особенности молодежи.

Удивительно ли, что идеи просветителей проникли в коллеж? Удивительно ли, что сочинения прогрессивных философов стали основной духовной пищей Максимилиана?

Наставники сосредоточили против крамольных идей новой философии весь убийственный огонь своих проповедей. Добрый Эриво приложил немало стараний, чтобы отвлечь интерес Максимилиана от «нездоровых» веяний. Все оказалось напрасным. От Монтескье и Вольтера юный Римлянин перешел к Руссо, и последний завладел им целиком, без остатка.

Ночь. В дортуаре слышится мерный храп. На маленьком столике у кровати одиноко мерцает тусклый глазок свечи. Свеча загорожена с трех сторон, чтобы ее свет падал только на истрепанные странички в руках Максимилиана. Он жадно читает.

«...Первый, кто, оградив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне», и нашел людей, которые были настолько простодушны, чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвратил бы от человеческой рода тот, кто, вырвав столбы или засыпав рвы, служившие границами, воскликнул бы, обращаясь к людям: «Берегитесь слушать этого обманщика! Вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому!»

Эти проникновенные слова открывали новый мир Максимилиану,

заставляли его иными глазами смотреть на все окружающее.

Бедный стипендиат коллежа, самолюбивый и скрытный, он издавна привык молчаливо наблюдать. Много горя и несправедливостей он видел в Аррасе, еще больше познал их теперь. Прогуливаясь по берегам Скарпа, в далекие дни детства, Максимилиан наблюдал беспросветную нужду и отчаяние землепашцев, грязных, оборванных, потерявших человеческий облик. Он видел их жалкие лачуги, он знал, что пищей им служат хлеб и корни, что большую часть своего скудного урожая они отдают другим. И он хорошо помнил дворец господина Конзье, аррасского епископа, которого он вместе с дедом ходил благодарить за устройство в коллеж. Он помнил роскошь его гостиной, изысканность его облачения, его узкую, холеную, белую руку, при поцелуе которой ноздри приятно щекотал тонкий, едва уловимый аромат.

А здесь, в Париже? Какая потрясающая разница между чистыми, нарядными кварталами центра и окраинами, рабочими предместьями! Кажется, что это два различных мира! Гуляя со своим другом, Максимилиан не раз встречал группы худых, почерневших людей в лохмотьях; они напоминали ему крестьян, виденных в детстве; он знал, что это рабочие мануфактур, несчастные, которые трудятся почти круглые сутки, чтобы заработать скудное пропитание. Он невольно сопоставлял этих оборванцев с раззолоченными дамами и господами из королевского поезда.

Почему, почему все это так?.. Бывало, Максимилиан подолгу ломал себе голову над вопросом, казавшимся неразрешимым. Теперь в сочинениях Жан Жака он находил разгадку. Нарушено естественное право, объяснял учитель. Сильные и жестокие захватили то, что должно принадлежать всем. Общество ушло так далеко вперед, несправедливость настолько его пронизала сверху донизу, что возврат к золотому веку уже невозможен. Но если нельзя уничтожить частную собственность, если нельзя вернуть людей к полному и естественному равенству, то и можно и должно устранить существующее крайнее неравенство или, во всяком случае, свести его к минимуму. Разумный общественный договор с монархом — выразителем интересов своих подданных — вот путь к разрешению этой задачи.

Как все ясно, логично! И, главное, вполне осуществимо! Даже пропадала горечь при воспоминании о встрече с Людовиком XVI: ведь от нового короля ожидали серьезных реформ, многие возлагали на него далеко идущие надежды. И кто знает, быть может, личное впечатление Максимилиана отвечало действительности, быть может, этот толстяк с

тусклым взглядом окажется способным понять и воплотить программу учителя.

Толстяк явно не хотел оправдывать надежд юного Робеспьера. В мае 1776 года страна была взбудоражена известием о неожиданной отставке министра-реформатора Тюрго. Эта новость обсуждалась повсюду, в том числе и в коллеже Людовика Великого. Говорили, что виной всему придворная интрига, в которую замешана королева. В действительности дело обстояло гораздо серьезнее и основа его была несравненно глубже.

Опальный министр был человеком незаурядным. Последователь школы физиократов, деятель, проникнутый идеями Просвещения, он лучше многих других видел и понимал существо процессов, происходивших в то время во Франции.

Он видел, что страна стала на путь нового развития, вступившего в острый конфликт со старой феодальной системой регламентов и ограничений.

Он понимал, что ослабление острых социальных противоречий, волновавших различные слои населения Франции и таивших в будущем страшную угрозу для абсолютной монархии, было возможно лишь за счет уменьшения неравенства сословий и установления более равномерного распределения налогового бремени. Став генеральным контролером финансов, Тюрго в 1774–1776 годы провел ряд важных реформ, которые, останься они в силе, могли бы значительно способствовать развитию капитализма в стране и сгладить по крайней мере на первое время многие острые углы. Тюрго отменил стеснения хлебной торговли, ликвидировал некоторые барщины, уничтожил цеховые корпорации и гильдии; за небольшим исключением все виды торгово-промышленной деятельности освобождались от ограничений и регламентов. Вместе с тем, желая найти выход из тяжелого финансового положения, министр-реформатор посягнул на святая святых и запроектировал обложение постоянным налогом привилегированных сословий. Легко представить волну ненависти, которая поднялась вокруг всех этих начинаний! Придворные негодовали и требовали крутой расправы с министром. В Бастилию его! На цепь! Ишь что задумал! Рупором настроений придворной камарильи стала Мария-Антуанетта. Она нажала на короля. Слабый и нерешительный Людовик, который еще так недавно заявлял, будто лишь он и Тюрго по-настоящему любят народ, тотчас же спасовал. На цепь генерального контролера не посадили, но отставку ему вручили немедленно. Все реформы были отменены. Двор ликовал. Привилегированные встречали короля бурными

аплодисментами. Это была первая ласточка кризиса «верхов», который открывал прямой путь к зарождению революционной ситуации в стране.

Самые противоречивые мысли и чувства волновали Римлянина. Что происходит вокруг? Почему так не совпадают теория и действительность? Почему убивают тех, кто полезен обществу, и оставляют тех, кто ему вредит? Почему по всей стране происходят волнения крестьян? Его радовало, что он открыл учителя. Его радовало, что главное, основное теперь казалось понятным. И все же... Жизнь шла совсем не тем идеальным путем, как он себе представлял. Трактаты Руссо не давали ответов на все вопросы. Едкая мысль Жан Жака дразнила воображение, но раскрыть ее полностью Максимилиан не мог. Кто объяснит ему все до конца? Уж конечно, не его наставники! И опять ночами напролет он погружается в книги учителя, опять перечитывает то, что уже так много раз читал.

И вдруг удар грома поражает его. Яркая вспышка молнии ослепляет мозг... Страница дрожит в руке... Вот оно то, чего он искал и не мог найти! Вот слова, которые облекают в плоть все недосказанное и недопонятое:

«Мы приближаемся к кризису и к эпохе революции...»

...Максимилиан сидит на кровати, застывший как изваяние. Он не видит, что свеча догорела и погасла. Он ничего больше не видит и не чувствует. Он теперь знает только одно: ему необходимо, совершенно необходимо встретиться с учителем и говорить с ним. Он добьется этого во что бы то ни стало.

Он становится все более замкнутым и отчужденным. Учеба по-прежнему на первом плане, внешне все обстоит по-старому. Но товарищи его не узнают. Что он, одурел, что ли? Или, быть может, он хранит какую-то страшную тайну? Камилл долго и тщетно пытался выведать у своего друга причину непонятной перемены. Но Максимилиан отвечал односложно. Нет, никому, даже Камиллу, он не может доверить самого сокровенного, того, о чем следует говорить только с учителем. Демулен раздраженно пожимал плечами. Подумаешь! Земля не сошлась клином! Тоже нашелся гордец! Первый ученик!.. Есть люди и поинтереснее его. Вот, например, Фрерон: он веселый, беззаботный, у него всегда водятся деньги. С ним можно неплохо провести время.

И длинноволосый Камилл теперь все чаще и чаще уединяется с Фрероном. Искоса он поглядывает еще иногда на своего недавнего друга. Что он? Ревнует? Мучается угрызениями совести? Нет, ничего похожего!

Кажется, он холоден как мрамор! Ну, да бог с ним!..

Так люди сходятся и расходятся, подобно кораблям в море, и, разойдясь, не знают, встретятся ли они еще в этой жизни...

Коллеж остался позади. Он окончен с наградой и похвальной грамотой. Там теперь учится младший брат Максимилиана, Огюстен, которого удалось устроить на место, ставшее вакантным.

И вот Римлянину двадцать лет. Подросток превратился в юношу, гимназист — в студента. Он слушает лекции на юридическом факультете Сорбонны. Как и прежде, Максимилиан всецело занят учебой. У него нет друзей. С Камиллом он больше не встречается. На своих собратьев по учебе он смотрит, как на ископаемых чудовищ.

Глупцы! Чем заняты они? Они пропускают лекции и ведут самую безалаберную жизнь. Чередуя попойки с любовными приключениями, они сидят по несколько лет на одном курсе. Сыновья богатых родителей, они смотрят на занятия как на тяжкое бремя. Но тогда к чему же учиться? Максимилиан не может этого понять.

Нет, он не таков. Он всегда строг к себе. Он очень бережлив и экономен; впрочем, его средства настолько ничтожны, что без крайней бережливости бедному стипендиату не протянуть. У него, так заботливо следящего за своей одеждой, нет даже порядочного костюма. Он лишен всякой возможности участвовать в каких-либо торжественных встречах или церемониях.

Ну и что ж! Быть может, это к лучшему! Во всяком случае, он всегда имеет благовидный предлог для отказа от нежелаемой встречи. А для той встречи, о которой он так мечтает, ему не нужен выходной костюм!

Максимилиан узнал, где проживает Руссо. Теперь он часто ходил на улицу Платриер и следил за темным подъездом. Там, на пятом этаже, на чердаке живет учитель... Сколько людей ежедневно проходило через этот подъезд! Но его Максимилиан так и не дождался. Юноша не знал, что Жан Жак был тяжело болен.

Максимилиан горячо любил свою будущую профессию — профессию адвоката, защитника всех обездоленных и угнетенных. Без сомнения, учитель одобрил бы его выбор. Теперь юный студент с головой погрузился в изучение сложной и тонкой юридической науки. Как и в коллеже, он чувствовал, что одних лекций профессоров ему недостаточно. Но интересной литературы оказалось мало. Большинство произведений по юриспруденции, к которым он обращался, представляли либо комментарии

к римскому праву, либо сухие трактаты, состоящие из мертвых формул. Тем с большей радостью обнаружил он книгу председателя бордоского парламента, юриста Дюпати — «Исторические размышления об уголовных законах». Дюпати приобрел громкую известность раскрытием ряда серьезных судебных ошибок. Максимилиан, равно восхищенный и его книгой и его деятельностью, завязал с ним переписку. Бордоский юрист казался ему наилучшим примером, достойным всяческого подражания.

В это же время среди прочей литературы попала Максимилиану небольшая книжка под заглавием «План уголовного законодательства». Читая ее, Робеспьер быстро обнаружил, что она написана под влиянием хорошо известного ему «Трактата о преступлениях и наказаниях» Беккариа. Но каков язык! Какие формулировки! И, главное, какие выводы! Автор утверждал, что все законы созданы богачами в целях угнетения бедняков. Он объявлял, что бедняки не должны подчиняться этим законам, что они имеют полное право на восстание против своих вековых угнетателей. Максимилиан был поражен. Это, конечно, в духе Руссо, но как резко и смело выражено! Он посмотрел на обложку книги; имя автора — Жан Поль Марат — ему ничего не сказало. Однако с этого дня он заинтересовался Маратом и вскоре сумел о нем кое-что разузнать. Оказалось, что Марат человек уже зрелый, с вполне сложившимися взглядами. Оказалось, что года три назад, находясь в Англии, он выпустил другую книгу, «Цепи рабства», — яркий памфлет против абсолютизма. Он был врачом и физиком, имел звание доктора медицины и совершил ряд выдающихся научных открытий. Но королевская Академия наук отнеслась крайне враждебно к исследованиям Марата, а печать замалчивала его труды. В то время Максимилиан, удивлявшийся Марату, и не подозревал, насколько будущее свяжет его с этим замечательным человеком.

Великий мыслитель Жан Жак Руссо всегда оставался бедняком. Он прожил жизнь бездомного скитальца, полную тяжелого труда, горечи, обид и разочарований. Старость подкралась незаметно. И когда она вдруг нанесла свой роковой удар, дряхлеющий философ, гению которого поклонялись Франция и Европа, немощный и больной, ясно понял, что ему грозит голодная смерть, ибо он больше не в состоянии прокормить себя и жену. Над ним тяготел правительственный указ об изгнании, он ждал со дня на день репрессий и не имел сил ничего предпринять. Отчаяние овладело им. И гордая рука, никогда не принимавшая благодарностей от сильных мира сего, начертала строки, потрясшие тех, кому удалось их прочитать.

Руссо просил о приюте, где бы он смог провести дни своей старости. Он соглашался на любые условия: пусть его держат в заключении, поместят в госпиталь или отправят в пустыню; пусть окружающие его люди будут бездушны и фальшивы — на чистосердечие он не рассчитывает; пусть его одежда будет самой дешевой, а пища — самой простой; все он приемлет с радостью и смирением.

Это воззвание, размноженное в нескольких экземплярах ранней весной 1777 года, он отправил ряду лиц, на содействие которых рассчитывал. На призыв философа быстро откликнулся один из его именитых почитателей — маркиз Станислав де Жирарден.

Среди владений Жирардена имелось поместье Эрменонвиль, расположенное неподалеку от Парижа, на лоне живописных лесов и лугов. Сюда-то и приглашал маркиз бедного философа. В его распоряжение предоставлялся небольшой павильон близ замка, спрятавшийся в тени заросшего парка, природа которого должна была напомнить Жан Жаку пейзажи и образы из его произведений.

Мог ли устоять боготворивший природу Руссо против столь заманчивого предложения? Он согласился воспользоваться гостеприимством маркиза. Эрменонвиль, на который сменял он теперь свой чердак на улице Платриер, стал его последним прибежищем.

Воззвание Руссо не сохранилось в тайне. Оно распространялось по рукам и стало известно многим. Весной 1778 года прочитал его и Максимилиан Робеспьер. Нервы юноши не выдержали. Рыдания сдавили его грудь. Целый день провел он в страшной тоске, среди самых горьких размышлений.

Так вот что! Оказывается, учитель страдал, страдал тяжело, нуждался в помощи, быть может, находился на краю гибели. А он?.. Он, которому учитель дороже всех на свете, в это время торчал перед подъездом его жилища и трусливо ожидал, не решаясь войти. О, если бы он знал, если бы он только мог догадаться! Но что говорить о прошлом? Надо действовать. Встреча с Руссо для него необходима, иначе он все равно не найдет себе места, не узнает покоя. Надо разыскать учителя, где бы он ни был, хоть на краю света. Надо лететь к нему, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Завтра? Нет, до завтра ждать он не может. И Максимилиан, узнав о новом местопребывании Руссо, без промедления отправился в путь.

По густо заросшей, аллее эрменонвильского парка медленно шли двое. Высокий худой старик опирался на плечо хрупкого юноши с бледным

лицом и внимательными серыми глазами. Долго длилась их тихая беседа. Они несколько раз успели обойти парк, сидели на траве у острова Тополей, опять гуляли. Взгляд Руссо просветлел, морщины на его челе разгладились. Последние годы он был замкнут и необщителен, с новыми людьми сходилась плохо, и здесь, в Эрменонвиле, тщательно избегал докучливых собеседников. Но этот юноша, внешне такой холодный и подтянутый, чем-то взял его. Чем? Быть может, искренностью, которая светилась в его глазах? Невидимая волна взаимного доверия постепенно окутала их. Жан Жак, очень сдержанный в начале беседы, незаметно преобразился. Он чувствовал себя так легко и свободно в обществе этого молодого студента. Студент ищет правду жизни? Ему нужны ответы на все недомолвки в произведениях Жан Жака? Хорошо. Он сообщит ему много такого, о чем не говорил ни с кем. Глубокое внутреннее чутье подсказывало философу, что он передает свои идеи в верные руки. Он всегда верил в молодежь. Будущее, несомненно, за ней. Пусть же этот молодой человек примет его завещание. Только к вечеру, когда прохлада спустилась в аллеи и роса стала появляться на траве, утомленный учитель закончил свои излияния перед неизвестным учеником. Он обнял его на прощание, пожелал успеха в работе и сам закрыл за ним калитку парка.

Что же касается содержания беседы, то оно осталось вечной тайной. О нем знали лишь двое. Один из них — Жан Жак Руссо — умер всего месяц спустя после этой встречи, другой — Максимилиан Робеспьер — навсегда сохранил в своем сердце сказанные ему слова и никому о них не поведал.

Он бежал прямо по кочкам в сгущающейся темноте сумерек. Могучие деревья шумели над головой, то увеличивая, то уменьшая серо-синие просветы неба. Нужно было пересечь лес и выйти на большую дорогу, ведущую к Парижу; здесь можно нанять двуколку или, в крайнем случае, пристроиться на проезжей телеге. Ноги глубоко уходили в мох. Обувь давно промокла, и по телу пробегала мелкая дрожь. Но он ничего не чувствовал. Ему казалось, что он плывет по волнам или парит в прозрачном эфире. За его спиной были крылья. Мысли, перебивая одна другую, сталкиваясь, разлетались в разные стороны, образуя причудливые узоры. Свершилось!.. Теперь он уверен, что все, буквально все, чего пожелаешь очень сильно, сбудется. Сбудутся и мысли учителя, которые стали его мыслями, которые станут мыслями миллионов людей. Глаза Максимилиана широко открыты. Его губы тихо шевелятся.

— О божественный муж! Я видел тебя, я слышал твой голос, я всем своим существом — умом и душою — познал твою Правду! Ты научил

меня понимать величие природы и вечные принципы общественного порядка! И я клянусь, что пойду по твоим стопам!.. Пойду прямою дорогой, никогда не сворачивая — с нее!..

Максимилиан резко изменил свои планы на будущее. Когда-то, полный честолюбия, он стремился стать первым учеником и первым студентом, с тем чтобы возможно лучше обеспечить себе карьеру в Париже. Работа в столице с большими возможностями служебного продвижения казалась ему пределом мечтаний.

Теперь он смотрел на жизнь совсем иначе. Нет! Не привлекают его более ни Париж, ни карьера.

Он вернется в свой родной Аррас, в провинцию, к простым людям. Там в повседневных трудах он лучше познает жизнь и принесет несравненно больше пользы. Там, вдали от столичной суеты, в тиши своего кабинета, вдвоем с чернильницей он осмыслит все то, что узнал здесь. Он не знает, что будет дальше, но пока что необходимо сделать именно так. Решение созрело.

И теперь он с нетерпением ждет окончания университета и дня отъезда. Он считает дни и часы. Париж, замкнувшийся в тесноте нескольких улиц, кажется ему все более чужим: душою и мыслями он уже в Аррасе.

Глава 2

Аррас

Солнечный луч, пробиваясь через щель в ставне, скользнул по подушке и заиграл на лице спящего. Максимилиан сильно зажмурил глаза, потом открыл их и быстро вскочил с постели.

Проспал! Уже девять часов! В Париже с ним этого никогда не бывало. Здесь, в родном доме, среди бесконечных забот и попечений со стороны близких можно совсем разлениться. Максимилиан подошел к столу. Ну, так и есть! Большое блюдо было до краев наполнено еще теплыми сладкими пирогами. О, они знают его слабости и потекают им. Нет, так дело не пойдет! Он все же взял пирог, быстро распахнул окно и снова зажмурился от яркого света, разлившегося по комнате. Спокойная радость наполнила его душу. Как хорошо, как упоительно хорошо!.. Вот он, его родной Аррас, купающийся в лучах утреннего солнца, тихий и лучезарный. Как быстро все меняется в природе! Вчера, в день его приезда, шел дождь и грязь доходила лошадям до щиколоток. Казалось, так будет вечно. И вдруг такой ослепительный сюрприз! Максимилиан взялся за второй пирог. Прищурив слабые глаза, он рассматривал вид, открывавшийся из окна его мансарды. Вид не изменился. Все та же узкая улица Ра-Портер, все те же скособочившиеся домики и шпиль церкви вдаль. Но как выросли деревья, теперь роняющие свои вызолоченные уборы! Насколько они стали развесистее! Раньше вот это деревце не достигало окна мансарды, а теперь его ветви уходят под самую крышу!..

Тихо скрипят ступени. Дверь сначала приотворяется чуть-чуть, потом распахивается во всю ширь, и стройная девушка в черном, смеясь, бросается ему на шею. Это сестра Шарлотта. Шарлотта — фактический хозяин семьи, хозяин несколько деспотичный: слишком уж любит она братьев и смотрит на них как на свою безусловную собственность.

Много печального рассказала Максимилиану сестра. Жизнь в Аррасе была нелегкой: скудных средств, которыми помогали родственники — сами люди небогатые, — едва хватало. Бедствия не покидали осиротевшей семьи, смерть не хотела с ней расставаться. Нет больше доброго старика Карроля, вложившего столько души в заботу о внуках; нет младшей сестры хохотушки Генриэтты, с которой когда-то Максимилиан бегал по парку, которой показывал с детской гордостью своих голубей и воробьев, свои драгоценные, заботливо собираемые гравюры.

Да, смерть не дает пощады ни старым, ни молодым, а на долю живых печали и слез выпадает гораздо больше, чем радости и веселья. Максимилиан хорошо знал это.

Можно до бесконечности говорить, вспоминать, плакать и смеяться. Первые дни проходят незаметно, как во сне. Однако не довольно ли? Не в его обычае слишком долго предаваться сладостной лени. Всему свое время. И вот, едва отдохнув после приезда, Максимилиан спешит погрузиться в долгожданную практическую работу. 8 ноября 1781 года его принимают в число адвокатов при совете Артуа.

В то время Аррас давал обширное поле деятельности для адвоката, преданного своему делу, но вместе с тем ставил перед ним с самого начала значительные трудности. Высшей судебной палатой провинции, объединявшей все местные ведомства — общие и королевские, являлся совет Артуа. Коллегия адвокатов при совете состояла из нескольких десятков официальных защитников, которым обычно дел было по горло. Однако при этом наиболее важные и интересные дела разбирались небольшим количеством старых, искушенных адвокатов, оставлявших прочим членам коллегии мелкие повседневные споры и дразги, на которых довольно трудно было выдвинуться в общественном мнении. Вследствие этого начинающему адвокату, если он не был безразличен к своей деятельности, приходилось не только вести постоянную напряженную работу, но и уметь бороться с интригами собратьев по профессии, добиваясь для себя тех дел, которые наиболее отвечали его склонностям и интересам. Все эти затруднения пришлось преодолеть и молодому Робеспьеру. Положение его осложнялось еще и тем, что столичное образование и долгое отсутствие в родном городе, равно как и замкнутый, скрытный характер, ставили его особняком среди коллег, злобно шипевших за его спиной и высмеивавших его первые неизбежные промахи.

16 января 1782 года должно было состояться первое выступление Максимилиана в суде. Он ждал этого дня, ждал с нетерпением, но теперь, когда день пришел, не испытывал особенного подъема.

Не то чтобы он боялся. Нет, бояться ему было нечего. Блестяще окончивший Сорбонну, Максимилиан хорошо усвоил юридические науки. Кроме того, он прошел неплохую стажировку у прокурора парижского парламента господина Нолло. Идеи, почерпнутые у Руссо, также были всегда наготове. И тем не менее он испытывал неприятную скованность.

Дело было незначительное и не очень верное. Как отнесется суд к его

аргументам? А главное, как примет его аудитория? Робеспьер интуитивно чувствовал дух недоброжелательства, который окружал его благодаря стараниям завистливых коллег. Говорят, что первый успех или неуспех предвещает будущее.

Максимилиан, готовясь отправиться во Дворец правосудия, с особенным вниманием отнесся к своей внешности: отутюжил свой старый камзол, выровнял батистовое жабо, отшлифовал серебряные пряжки на туфлях. Посмотрел в зеркало и остался доволен. Ну, с богом!..

Свое первое дело Робеспьер проиграл, да и выиграть его было трудно. Его противник изощрялся в крючкотворстве, сам казус был также весьма сомнителен. Не это обеспокоило начинающего адвоката. Ему показалось, что он не нашел контакта с публикой.

Действительно, присутствующие на заседании суда были разочарованы его несколько холодной, поучающей речью, изобиловавшей отвлеченными понятиями и чуждой импровизаторского подъема. Эта речь показала некоторые из главных качеств ораторского искусства Робеспьера, сохранившихся за ним на всю его короткую жизнь. Остро, хотя и затаенно, переживая свои неудачи, много работая в дальнейшем над текстами речей и над своей дикцией, будущий депутат Конвента постепенно избавится от ряда ораторских недостатков, вызывавших смех не только в аррасском суде, но и потом, в зале Учредительного собрания. Однако он никогда не откажется от спокойного, лишенного блеска, но убеждающего весомостью своих доводов основного тона речи, который станет неотделимым от Робеспьера-оратора и который народ будет принимать охотнее и внимательнее, нежели пылкую импровизацию Верньо или громовые раскаты необъятного голоса Дантона.

Первая неудача огорчила, но не обескуражила. Терпение, труд, упорство — этому учил великий Руссо. Отступать нельзя. Надо бороться и победить.

Он продолжает свои дебюты и постепенно добивается перелома в настроении своих земляков. Правда, старые его коллеги не делаются более благосклонными, напротив, злоба их увеличивается, но увеличивается она лишь потому, что Максимилиан становится все более популярным адвокатом и оказывается все больше желающих передать свою тяжбу в его руки. Помимо убедительности его защиты и успешного завершения опекаемых им дел, здесь немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что Робеспьер очень осторожно выбирал дела и брался только за те, которые представлялись ему безусловно справедливыми; в противном

случае он вежливо, но твердо отказывал своему клиенту, как бы тот ни соблазнял его высоким гонораром.

И вдруг о нем заговорила вся провинция.

Некий гражданин города Сент-Омера по имени Виссери, интересовавшийся вопросами физики и следивший за научной литературой, вычитал где-то о громоотводе, изобретенном незадолго до этого американским ученым Франклином. Восхищенный этим изобретением Виссери стал пропагандировать его среди соседей и сам первым соорудил громоотвод на крыше своего дома. Однако этот акт возымел последствия совершенно противоположные тем, на какие рассчитывал Виссери. «Благодарные» соседи подали на него жалобу, в которой заявляли, что новое хитроумное сооружение сделано специально с целью вызвать пожары в соседних домах. Местные власти, не слишком разбираясь в столь мудреных делах, но весьма склонные к суевериям, охотно вняли доводам жалобщиков и предписали немедленно убрать незадачливый громоотвод. Однако Виссери решил не сдаваться. Он подал апелляцию в высшую инстанцию — аррасскую судебную палату и предложил вести свое дело Робеспьеру. Максимилиан после беглого ознакомления с делом охотно за него взялся, видя в этом весьма удобный повод для публичного выступления против мракобесия и косности, царивших в провинции. В защиту Виссери аррасский адвокат вложил всю свою энергию. Его тщательно продуманная речь вызвала аплодисменты, и дело было выиграно. Позднее, 1 октября 1783 года, Робеспьер написал самому изобретателю громоотвода, находившемуся в то время на территории Франции. К этому письму, восторженно прославляющему Франклина и его открытие, был специально приложен отпечатанный экземпляр речи по «делу Виссери».

«Дело Виссери» было первой серьезной победой Максимилиана. Известность, о которой он некогда так мечтал, переступила через порог его жилища.

Вслед за известностью мог бы прийти и материальный успех. Большинство коллег Максимилиана стремились прославиться прежде всего потому, что слава давала деньги. Еще бы! Известному адвокату выгодные дела сами плыли в руки. Он спокойно мог выбирать те, что давали наибольшие барыши.

Не таков был юный Робеспьер. Гонорар мало его беспокоил. Тот, кого впоследствии справедливый глас народа окрестил «Неподкупным», был

бескорыстен с самого начала своей деятельности и зачастую, берясь за тяжбу бедняка, не только отказывался от гонорара, но и сам материально помогал своему клиенту.

Для него принципы были дороже всего на свете. Самыми же главными из них он считал свободу и право на жизнь.

Аррасский епископ, давно благоволивший к Робеспьеру, предложил ему место члена гражданского и уголовного трибунала. Место было завидным. Кроме почета и денег, оно давало много свободного времени и полную возможность для совместительства с адвокатурой.

Максимилиан согласился на предложение епископа и образцово выполнял функции, связанные с его новой должностью, но все же недолго в ней задержался.

Однажды ему пришлось подписать смертный приговор убийце. Улики были неопровержимы, и не оказалось никакой возможности смягчить наказание.

Вернувшись домой, подавленный и разбитый, Максимилиан два дня не прикасался к пище. Он не поддавался никаким утешениям.

— Я хорошо знаю, — говорил он, — что преступник виновен, но осудить на смерть человека... Что может быть более священного и неприкосновенного, чем человеческая жизнь! Защищать угнетенных против угнетателей, отстаивать интересы слабых против сильных, которые эксплуатируют и угнетают их, — вот долг каждого, чье сердце не заражено еще эгоизмом и корыстолюбием. Мое призвание — охранять жизнь человека, а не посягать на нее.

И он без колебаний отказался от выгодной должности.

По ходу своих судебных дел молодой адвокат все чаще и чаще сталкивался с жизнью простого народа. Ему приходилось защищать крестьян от произвола помещиков. Теперь он видел и понимал многое из того, что раньше как-то ускользало из его поля зрения. Становились ясны причины нищеты, царившей в деревнях, окружавших Аррас. Тяжбы крестьян познакомили Максимилиана с феодальным правом и его последствиями.

Французский крестьянин, в ходе столетий добившийся постепенного освобождения от значительной части тяготевших над ним личных повинностей главным образом за счет сокращения барщины, остался, однако, полностью зависимым от своего помещика по земле. Феодалы были собственниками всей обрабатываемой земли, а крестьяне — лишь ее пользователями. Над крестьянином по-прежнему тяготели многообразные

повинности в пользу сеньора. Помимо чинша — фиксированного денежного платежа, крестьянин должен был давать помещику хлебный и другие оброки натурой, доходившие в совокупности до четверти, а в некоторых случаях и до половины снятого урожая. Страшным бичом было сеньориальное право охоты. Крестьянин не только не смел под страхом смерти истреблять зайцев, кроликов, куропаток, разгуливающих по засеянным участкам, но и должен был содержать их, предоставляя им опустошать свои поля и огороды, и даже во время жатвы обязывался оставлять на полях убежища для дичи. Обременительное баналитетное право заставляло крестьянина молоть зерно только на господской мельнице, печь хлеб только в господской печи, давить виноград только в давальнях помещика, уплачивая за все это, разумеется, изрядную мзду. Наконец буквально в каждой мелочи повседневного обихода крестьянин чувствовал тяжелую господскую руку. Переход реки по мосту, переправа на пароме, устройство колодца, перегон стада — все это оплачивалось особыми налогами, идущими в пользу землевладельца.

Рядом с помещиком стояла церковь. Церкви крестьянин платил десятину, причем наряду с обычной, так называемой «реальной» десятиной, заключающейся в отчислении в пользу церкви десятой части получаемых продуктов или доходов, существовали еще «персональная» десятинка, «древняя» десятинка.

Грабило и государство, своими налогами и поборами поглощавшее до половины дохода крестьянина. При этом королевской администрации в деревне «помогала» крупная буржуазия: генеральные откупщики, взяв у правительства на откуп тот или иной налог, собирали его да еще стремились и себе в карман положить кое-какой барыш.

Неудивительно, что при этих условиях в неурожайные годы крестьяне разорялись целыми деревнями, превращаясь в бродяг и нищих.

Крестьянство было главной силой, расшатывавшей и ослаблявшей феодальный строй. По примеру своих предков, доблестных «жаков», крестьяне XVII–XVIII веков не раз поднимали мощные восстания. Они вспыхивали то там, то тут и зачастую охватывали целые провинции королевства.

Максимилиан читал о крестьянских восстаниях и слышал те пересуды, которые велись в провинции о «бунтах черни». Теперь, зная достаточно глубоко положение крестьян, он все более и более сомневался в бессмысленности и беспричинности этих бунтов. Не были ли восстания справедливой борьбой против жестоких угнетателей? Не находились ли они в соответствии с теорией «естественного права» Руссо? Эти вопросы

все чаще и настойчивей приходили в голову.

Характер служебной деятельности Максимилиана содействовал сближению его с рядом представителей аррасской интеллигенции. Он постоянно встречался с ними не только в кулуарах совета Артуа, но и в нескольких провинциальных салонах, где всегда был желанным гостем.

В то время в Аррасе проживали многие из будущих видных деятелей революции; в числе их находились организатор революционных побед Лазар Карно, Дюбуа де Фоссе, впоследствии мэр Арраса, адвокат и ученый Бюиссар, особенно дружески расположенный к семье Робеспьеров, наконец скользкий как уж, в будущем политический оборотень, а пока что скромный монастырский учитель Жозеф Фуше.

Все эти деятели группировались вокруг местной Академии наук и искусств, а также пополняли собой своеобразное литературное общество «Розати». Общество это, получившее название в честь своей патронессы, королевы роз, объединяло, как указывалось в его уставе, «молодых людей, соединенных дружбой, любовью к стихам, цветам и вину». Заседания общества происходили регулярно, в определенные, заранее намеченные дни. На каждом заседании читалось произведение одного из членов общества, после чего следовало обсуждение, и, наконец, все завершалось веселым товарищеским ужином.

Вполне естественным было приглашение молодого адвоката, становившегося известным в городе, в члены этого общества. Общество «Розати», в свою очередь, стало для него преддверием в аррасскую академию, о которой честолюбивый юноша не мог не мечтать.

Провинциальные академии в то время были довольно широко распространены во Франции. Эти местные корпорации, несколько комичные по своим претензиям, без сомнения, играли определенную роль в развитии искусства, литературы и гуманитарных наук. В состав членов академии входили наиболее видные лица провинции, литераторы, художники, философы. Трибуна академии давала возможность высказать свои взгляды с расчетом на то, что выступление будет обсуждено сведущими в данном вопросе людьми. Поэтому прием Робеспьера в члены аррасской академии в 1783 году был для него настоящим праздником. Здесь молодой адвокат мог дать полный простор желанию порассуждать о естественном праве и морали в духе Руссо. Трибуна академии сделалась для Робеспьера органическим дополнением к его адвокатской трибуне. Вскоре действительно он стал постоянным и любимым оратором академии, а затем, в 1786 году, был избран ее президентом.

Вступление в академию дало ему повод произнести речь о несправедливости наказаний, падающих не только на виновного, но и на членов его семьи. Он тщательно разработал эту тему и послал законченное сочинение на конкурс в Королевское общество наук и искусств в Мец. Сочинение это, опубликованное в 1784–1785 годах, было премировано.

Уже в этой ранней работе Робеспьера можно найти мысли, которые впоследствии будут высказаны в Учредительном собрании в Конвенте:

«...Благополучие государств покоится на незыблемом фундаменте порядка, справедливости и мудрости. Всякий несправедливый закон, всякое жестокое учреждение, которое нарушает естественное право, очевидно, не соответствует своей цели, которая состоит в обеспечении прав человека, счастья и спокойствия граждан...»

Так проходили годы. Деля свое время между судом, академией и литературным поприщем, Робеспьер имел лишь очень небольшие досуги. Его обычный распорядок дня был строго лимитирован и почти никогда не нарушался.

Вставал он рано, не позднее шести-семи часов утра, и сразу же садился к письменному столу, за просмотр почты и предварительный разбор материалов очередного дела. В восемь часов приходил парикмахер, чтобы причесать его (в отношении своей внешности Максимилиан неизменно оставался верен себе). После скромного завтрака, снова проработав в тиши кабинета до десяти часов, Максимилиан одевался и уходил в суд. Обедал Робеспьер дома, был очень неприхотлив в выборе блюд и почти не употреблял вина. Выпив неизменную послеобеденную чашку кофе и уделив час-другой прогулке, он вновь запирался в кабинете до семи или восьми часов, а затем остаток вечера проводил среди близких и друзей.

Максимилиан не любил суетных развлечений провинциальных салонов, был совершенно равнодушен к картам и светской болтовне. Вместо того чтобы участвовать в общем банальном разговоре, он предпочитал забиться куда-нибудь в угол комнаты и углубиться в свои мысли. Погруженный в себя, он был рассеян по отношению к внешнему миру и часто не замечал поклонов и приветствий, чем нажил себе немало врагов.

Но в кругу друзей, среди людей близких и интересных, он совершенно преображался. Этот, по мнению многих, плохо знавших его, мрачный педант и резонер превращался в веселого и остроумного собеседника, а смех его был так искренен и заразителен, что, казалось, мог бы развеселить

самого угрюмого меланхолика.

Строгая Шарлотта была обеспокоена: ее старшим братом явно начинало интересоваться дамское общество Арраса. В этом не было ничего удивительного. Юноша, преданный своему делу, недурной собой, всегда так тщательно следящий за своей внешностью, неизменно любезный и вместе с тем задумчивый, грустный, как будто погруженный в какую-то тайну... Разве это не романтично? Разве не мог он стать предметом многих вздохов и надежд? Но Шарлотта волновалась напрасно. Юный последователь Руссо оставался неуязвим для стрел Купидона. Его спартанская душа не знала легкомысленных увлечений и тем более поступков.

Впрочем, Максимилиан вовсе не был бессердечным анахоретом, сторонившимся женщин. Он вовсе не боялся и не избегал их. На знаки внимания он отвечал изысканно-любезными письмами, к которым прилагал отпечатанные экземпляры своих... адвокатских речей (!!!). Пусть вздыхательницы по крайней мере познакомятся с предметом более серьезным, чем легкий флирт!.. Эти послания он щедро прикрывал изысканно-любезными фразами, обличавшими в нем человека тонкого чутья, умеющего со светским изяществом говорить женщинам приятные вещи.

«Есть ли более благородная цель, которой могут служить блеск вашего круга и достоинства вашего сердца, если вы можете столь легкими средствами поощрять рвение того, кто посвятил себя облегчению участи несчастных и невинных...»

Поистине перл витиеватости, достойный галантного XVIII века, века мадригала!

Но сердце его оставалось свободным.

Лишь в 1786 году на жизненном пути Робеспьера появилась девушка, чуть ли не ставшая похитительницей его покоя. Это была мадемуазель Дезорти, милая и скромная уроженка Арраса, отец которой, нотариус по профессии, был женат вторым браком на одной из теток Максимилиана. Молодые люди, знакомые давно, часто встречались и незаметно стали дружны. Кому-то из родственников пришла идея их поженить. Максимилиану шел уже двадцать девятый год, он имел прочное положение и успешно продвигался вперед. Чего же ждать? Не пора ли обзавестись семьей, заняться своим домом и воспитанием детей, то есть зажить так, как живут все порядочные люди его круга? И найдет ли он более подходящую партию, столь удачную во всех отношениях? Шарлотта, вначале

колебавшаяся, затем поняла справедливость этих доводов и взяла шефство над юной Дезорти. Максимилиан посмеивался и пожимал плечами. Однако он не имел серьезных возражений против планов родни. Брак казался делом решенным. Его расстроили внешние обстоятельства. Не тихую жизнь провинциального отца семейства готовила судьба молодому arrasскому адвокату!..

Вести из Парижа доходили до провинции не регулярно. Максимилиан с интересом следил за ними. Он видел, что в стране назревают серьезные события. Учитель, по-видимому, был прав.

Не сводя концы с концами, правительство явно начинало метаться. Не помогали никакие ухищрения, острый финансовый кризис поразил абсолютную монархию.

На уплату одних процентов по государственным долгам уходила десятая часть чистого дохода со всей земли во Франции. Один из преемников Тюрго, женевский банкир Неккер, стараясь образумить двор и монарха во имя собственного их спасения, впервые обнародовал отчет о состоянии финансов. Отчет был сфальсифицирован; действительное отчаянное состояние казны умышленно скрыли от народа. И тем не менее даже в таком виде отчет произвел потрясающее впечатление, ибо, впервые приоткрыв чуть-чуть завесу, намекнул обществу на характер и масштабы хищений знати. После этого, разумеется, Неккер тотчас же получил отставку.

Предреволюционный кризис расширялся. Он охватывал страну, протягивая свои щупальца во все сферы общественной жизни. Франция вступала в период революционной ситуации...

Мирному течению жизни Максимилиана Робеспьера было суждено оборваться на грани 1788–1789 годов. Кончалась пора академических сочинений, литературных премий, галантных писем и дружеских бесед. Его страна была накануне страшных потрясений — потрясений, которые должны были поломать и коренным образом изменить судьбу скромного arrasского адвоката, так же как и миллионы других человеческих судеб. Интуитивно он предчувствовал неизбежность этих потрясений и радостно устремлялся им навстречу.

Глава 3

Накануне

Это произошло в Париже примерно за год до начала революции.

Один академик давал торжественный обед для избранных аристократов и почетных деятелей официальной науки. Общество собралось блестящее. В огромном зале вокруг нескольких столов уютно расположились вельможи, согласные моды ради пококетничать с философией, и философы, многие из которых с легкостью отказались бы от своих убеждений, дабы стать вельможами. Обед удался на славу. Гости вскоре немного захмелели и достигли того блаженного состояния, когда все кажется легким и простым, соседи — милыми и добродушными, женщины — очаровательными, а будущее — безоблачным. Непринужденно лилась общая беседа, подобно игристому вину обдавая участников трапезы брызгами веселья и остроумия. В центре внимания, естественно, были вопросы современности. Изячно говорили об успехах человеческого ума, о близком царстве освобожденного разума, провозглашали тосты за слияние богатства и науки, интеллекта и власти.

Лишь один человек упорно молчал среди оживленного разговора, как бы полностью выключив себя из общего настроения. Его потухшие глаза были полузакрыты, губы плотно сжаты, старое морщинистое лицо перекосила гримаса затаенной скорби. Это был писатель-мистик, семидесятилетний Жак Казот, случайно попавший на званый обед.

Сначала никто не обращал на него внимания, но затем, когда упорство его молчания стало слишком уж подчеркнуто-нарочитым и неприятным, кто-то счел должным осведомиться о причине странного поведения угрюмого старика. Казот вздрогнул, провел дрожащей рукой по лицу, как бы смахивая пелену грусти, и, помолчав несколько секунд, заговорил тихим, усталым голосом. Он сказал, что никак не может разделять общего благодушия, ибо возможно ли предаваться шуткам и каламбурам на краю пропасти? Он смотрит в недалекое будущее и видит страшные потрясения, огненный смерч, который сожжет, испепелит все то, что ныне блистает в ореоле славы и богатства. Он видит опустевшие дворцы и горящие усадьбы, перед ним вереницей проносятся искаженные болью лица, знакомые лица...

Казот вдруг широко раскрыл глаза и впился сухими пальцами в поручни кресла.

— Да, они очень хорошо знакомы, эти лица, ибо многие из них принадлежат находящимся здесь, в зале...

Подвыпившие сибариты переглянулись, ожидая забавного разговора. Сидевший рядом с Казотом известный философ маркиз Кондорсе поставил на стол недопитый бокал, обнял старика за плечи и, улыбаясь, спросил, кого же, собственно, имеет в виду новоявленный пророк? Казот пристально посмотрел на философа.

— Вас, милый маркиз, вас в первую очередь... Я вижу, что вы отравитесь, дабы избежать смерти от руки палача.

Кондорсе, продолжая улыбаться, подмигнул окружившим их гостям. Раздался дружный хохот.

А бледные узкие губы старого мистика продолжали шевелиться. Он предсказал астроному Байи, юристу Малербу и ряду других присутствующих смерть на эшафоте. По мере того как он говорил, любопытство разгоралось; смолкли разговоры за соседними столами, и все лица обратились в сторону группы у кресла Казота. Несколько знатных дам, встав со своих мест, чтобы лучше видеть и слышать, устремились туда же.

— Но господин прорицатель, надеюсь, пощадит хотя бы наш слабый пол, не правда ли? — смеясь, воскликнула герцогиня Граммон.

— Ваш пол?... Вы, сударыня, и много других дам вместе с вами, будете отвезены в телеге на площадь казни, со связанными руками.

Казот поднялся. Его глаза в упор смотрели на герцогиню; его убеленная сединами голова, его физиономия патриарха придавали словам печальную важность. Гостям становилось несколько не по себе.

— Вы увидите, — заметила герцогиня с явно принужденной веселостью, — он не позволит мне даже исповедаться перед казнью.

— Нет, сударыня. Последний осужденный, которому сделают это снисхождение, будет... — Казот запнулся на мгновение, — это будет... король Франции.

Охваченные неопределенным волнением, все гости встали из-за стола. Как-то вдруг сразу улетучилось легкое опьянение, исчезла веселость. Тщетны были попытки хозяина дома как-либо замять досадный инцидент; вечер был испорчен. И в то время, как угрюмый старик, отвесив церемонные поклоны дамам и кавалерам, спокойно вышел из зала, над обществом, еще несколько минут назад таким веселым и беззаботным, нависла роковая тяжесть молчания...

...Точно ли так произошло все в этот вечер 1788 года, как здесь

рассказано? Поручиться за достоверность в деталях нельзя, ибо описан был этот случай одним из его очевидцев после Великой революции, когда Байи, Малерб и герцогиня Граммон давно уже погибли под ножом гильотины, когда все знали, что маркиз Кондорсе отравился, спасаясь от карающего меча революционного закона, когда, наконец, не менее хорошо было известно, что Людовик XVI последним пользовался перед казнью услугами священника, не присягнувшего конституции. Разумеется, нет ничего удивительного, если свидетель «пророчества Казота» и вложил в уста этого мистика, также погибшего в бурные дни революции, некоторые чересчур уж точно сбывшиеся в дальнейшем предсказания. Но, с другой стороны, не надо было обладать сверхъестественным даром прорицания, чтобы накануне революции предвидеть ее наступление, гибель короля и ряда деятелей, связанных со старым миром: все это казалось вполне очевидным для многих мыслителей, живших задолго до описанной сцены.

Фенелон, современник «короля-солнца» Людовика XIV, монарха, при котором блеск французского двора достиг своей наивысшей точки, а абсолютистский режим казался незыблемым, имел смелость характеризовать правительственный аппарат Франции как... «старую, расстроенную машину, которая продолжает действовать в силу прежнего, давно полученного толчка и не замедлит разбиться вдребезги при первом же ударе». Это было написано на рубеже XVII и XVIII веков. Позднее «фернейский патриарх» Вольтер выражал ту же мысль гораздо более определенно, прямо говоря о неизбежности революции, и сожалел лишь, что сам до нее не доживет.

Великий предтеча будущих социальных потрясений Жан Жак Руссо в 1760 году написал слова, глубоко поразившие юного Робеспьера, слова, оценить которые по достоинству можно было лишь много времени спустя: «Мы приближаемся к кризису и к эпохе революции. Я считаю невозможным, чтобы великие европейские монархи существовали еще долго: все они в свое время блистали, а всякое государство, достигшее блеска, находится в упадке. Мое мнение основано, в частности, и на других соображениях, менее общих, чем эта мысль, но высказывать их было бы неуместно, да и без того всякий их видит слишком хорошо...» Воистину знаменательные слова!

Имеющий глаза да увидит! Вот где надо искать ключ к «пророчеству» Казота. Полуслепой мистик попросту сумел разглядеть то, что было очевидно, но от чего нарочито отворачивали свои взоры его гордые собраты по сословию...

Феодальная Европа умирала. Это не была тихая смерть угасания — это был бурный процесс, поражающий то один, то другой гангренозный член, отрывавший его от тела, пожиравший пламенем огня. Но огонь не только пожирал: он уничтожал старое, обреченное, гниющее и возрождал к жизни новое, молодое, прогрессивное.

Феодальный строй давно изжил себя. Мануфактурное капиталистическое производство, зародившееся в большинстве европейских государств в начале XVI века, ломало средневековую цеховщину в городах и поглощало обезземеленных крестьян в деревнях. Оно приводило к неслыханно быстрому развитию производительных сил, оно усложняло классовую структуру общества и обостряло социальную борьбу.

И вот если в прежние времена крепостные крестьяне боролись со своими сеньорами в одиночку и вследствие этого неизменно терпели неудачи, то теперь положение изменилось: против ненавистного строя единым фронтом шли три враждебных ему класса: крестьянство, пролетариат и буржуазия.

Неудержимая волна революционных взрывов катилась по Европе. Нидерландская и в особенности английская буржуазные революции XVI–XVII веков пробили серьезную брешь в твердыне феодализма.

Но старый мир еще дышал. Дряхлеющей, изъязвленной рукой пытался приостановить он стрелки часов. Тщетно. Время брало свое. Уже все было подготовлено для нанесения третьего, сокрушительного удара. Этот удар оказался нанесенным во Франции.

Французская буржуазная революция конца XVIII века недаром получила название «Великой». Она была самой мощной, самой радикальной из числа ранних буржуазных революций в Европе, ее последствия и во внутреннем и в международном масштабе были особенно велики и прогрессивны.

...«Для своего класса, — писал В. И. Ленин, — для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии...»^[1]

Французская революция готовилась и зарождалась в специфических условиях. Эти условия в значительной мере предопределили ее характер и силу ее размаха.

Капиталистический уклад, формирование отдельных элементов которого началось во Франции еще в XVI веке, ко второй половине XVIII века окреп и достиг известной степени зрелости.

Быстрый рост новых отраслей промышленности (хлопчатобумажной, шелковой, металлургической) и частичная перестройка старых (полотняной, суконной, мебельной и др.) вели к развитию городов, ощутимому приросту их населения. Вслед за образованием крупных мануфактур типа металлургических предприятий Крезе или суконных Ван-Робэ в промышленность, хотя и медленно, стали проникать машины. И все же наиболее распространенной формой капиталистического производства оставалась рассеянная мануфактура с использованием труда крестьянина-кустаря. Развитие промышленности крепко сковывалось путями феодального режима. Это тормозящее влияние феодализма проявлялось не только в преобладании старого, изжившего себя цехового строя, но и в правительственной регламентации производства, в наличии непреодолимого барьера таможенных перегородок, связанных со спецификой разобщенности и пестроты административных делений тогдашней Франции.

Что касается деревни, — а Франция продолжала оставаться страной по преимуществу аграрной, — то там дело обстояло еще хуже. Сколько-нибудь значительному развитию капиталистического уклада в деревне мешала вековая отсталость сельского хозяйства. Эта отсталость базировалась на застойности феодальных отношений, на крайней дробности земельных участков, мешавшей введению каких бы то ни было технических усовершенствований в способах обработки земли, на задавленности нуждой и умственной темнотой основного производителя — крестьянина.

В таких условиях капитализм не мог развиваться дальше, не взорвав старой реакционной системы феодальных ограничений, тем более что противоречия в области производства непрерывно осложнялись острыми социальными конфликтами, вытекавшими из существа политического строя предреволюционной Франции.

Политической вершиной страны была абсолютная монархия с ее центром — королевским двором.

«Государство — это я», — утверждал король. Внешне монархия казалась неограниченной. Генеральные штаты — сословно-представительное учреждение Франции — не созывались ни разу с 1614 года. Парламенты — высшие судебные магистратуры, чванливые и

бессильные, иногда пытались играть в оппозицию с королем, но последний каждый раз оказывался победителем в этой игре. Король лично назначал и смещал министров, объявлял войну и заключал мир, был волен над свободой каждого жителя страны.

Однако неограниченный властитель, по существу, оставался марионеткой в руках господствующего класса. Своим колоссальным могуществом он пользовался главным образом для того, чтобы исполнять волю помещиков и епископов. Эта воля была направлена на угнетение и подавление. Она угнетала всех тех, кто не имел привилегий. Она подавляла все то, что представляло ростки нового, прогрессивного, грозившего устоям обреченного феодального строя. Она направляла карающую руку монархии. Страшные «летр де каше» — тайные приказы за королевской подписью — бросали сотни людей без суда и следствия, в казематы тюрем. Под бдительным и неусыпным надзором королевских агентов находилось всякое свободное проявление человеческой мысли. Печатное слово стерегла строжайшая цензура. Произведения, признанные крамольными, сжигались рукой палача.

Вместе с тем абсолютная монархия была очень дорогим учреждением. Чтобы внушать страх низам и уважение соседям, король должен был ослеплять. Вся жизнь монарха была окружена сложным церемониалом. Его двор, состоявший из верхушки духовенства и избранного дворянства, поражал своим сказочным великолепием. Это великолепие стоило огромных средств. Только на кофе и шоколад к королевскому столу ежедневно затрачивалось больше денег, нежели парижский мануфактурный рабочий зарабатывал, трудясь непрерывно в течение года. На содержание придворного штата, состоявшего из пятнадцати тысяч человек, по официальным данным, уходило около сорока миллионов ливров в год, то есть десятая часть всех государственных доходов. Почти столько же тратилось на выплату пенсий, подарков и других подношений представителям тех же придворных семейств.

Все бремя расходов, равно как и весь гнет репрессий, ложилось на плечи третьего сословия.

«Что такое третье сословие?» — писал аббат Сиейс в своей брошюре, вышедшей незадолго до революции. «Все. Чем оно было, в политическом отношении до с их пор? Ничем». Слова эти принесли известность Сиейсу, и действительно, трудно было более метко и лаконично определить существо и статус податного сословия в предреволюционной Франции.

Оно было всем, ибо состояло из людей, которые творили, трудились,

создавали жизненные блага или организовывали процесс их созидания.

Оно было ничем, ибо монархия и привилегированные полностью устранили его от участия в политической и общественной жизни страны.

В его состав входили двадцать один миллион крестьян, сотни тысяч ремесленников, кустарей, мануфактурных рабочих, десятки тысяч предпринимателей, финансистов, торговцев.

Интересы всех этих социальных слоев и классов были крайне неоднородны, а то и противоположны. Но все они имели общего жестокого и беспощадного врага: абсолютизм и покровительствуемые им сословия. Пока абсолютизм сковывал их, пока привилегии благородных тяжелыми цепями тянули книзу, все они волей-неволей должны были оставаться союзниками, ибо победу можно было одержать лишь в результате объединения всех сил, противостоявших феодализму.

И третье сословие было готово к тому, чтобы выступить единым фронтом. Поскольку крестьянство — основная масса народа — по самой своей социальной природе не могло возглавить общего движения, а формирующийся рабочий класс был еще очень слаб и незрел, естественно, что руководство всеми социальными силами, входившими в состав податных, приняла на себя буржуазия. Ей было суждено стать гегемоном в грядущей революции, она же рассчитывала использовать для себя и все завоевания этой революции.

Предреволюционный конфликт начался с кризиса «верхов». Первым вестником грядущих потрясений, первым глубоко всколыхнувшим все общество проявлением краха феодально-абсолютистского строя оказался государственный дефицит, сначала лишь испугавший, а затем прочно зажавший в тиски монархию в царствование Людовика XVI. Дефицит был явлением неизбежным. Его хорошо подготовили предшествующие десятилетия, в особенности последние годы «многолюбимого» Людовика XV, короля, которому приписывали весьма характерное изречение: «После нас — хоть потоп!»

Новое царствование на первых порах кое-кому казалось началом новой эры. Это была иллюзия. Двор быстро разделался с дальновидными государственными людьми вроде Тюрго или Неккера. Траты непомерно росли. Легкомысленная и властная Мария-Антуанетта, которую народ награбил титулом «мадам Дефицит», вернула двору внешний блеск времен «короля-солнца». Одно празднество сменяло другое, балы чередовались с пышно поставленными театральными представлениями, королевская охота поражала великолепием, придворным давали огромные пенсии и подарки.

А денег в казне не было...

Страшный государственный дефицит неуклонно рос. С миллионов счет переходил на миллиарды. Впрочем, правительство не интересовалось установлением точной цифры дефицита. Двор требовал новых средств, и эти средства нужно было доставать любыми путями, остальное было совершенно безразлично.

Но вот наступил момент, когда государственная казна очутилась перед фактом невозможности уплаты процентов по долгам, без чего нельзя было заключать новые займы, а без займов абсолютная монархия, оказавшаяся на грани банкротства, не могла уже более существовать.

Хитрый царедворец, министр Калонн придумывает выход, напоминающий басню о Тришкином кафтане: он выколачивает все подати за несколько лет вперед, что дает возможность уплатить проценты по старому долгу и заключить новый заем. Полученные деньги Калонн превратил в золотой дождь, которым щедро осыпал изумленный двор. Догадливый министр прослыл кудесником, успел покрыть под шумок свои личные долги, достигавшие двухсот двадцати тысяч ливров, но на этом, собственно, «чудо» и кончилось. Страшная яма дефицита вскоре вновь открылась перед монархией; она была еще глубже и страшнее, нежели прежде.

Правительству приходится очень и очень задуматься над перспективами ближайшего будущего. Король, которого тормозит и изводит королева, в свою очередь, не дает покоя Калонну, требуя, чтобы были найдены средства для покрытия дефицита и, главное, для новых трат. Министр напряженно думает. Собственно говоря, в прежние добрые времена, когда монарх оказывался в столь затруднительном положении, вотировался чрезвычайный налог, на средства которого срочно залатывали прорехи; но подобный налог могло вотировать лишь одно из специально для этого созываемых сословно-представительных учреждений: либо собрание нотаблей, либо Генеральные штаты. Собрание нотаблей гораздо более устраивало корону, ибо нотабли — лидеры привилегированных и немногочисленные представители третьего сословия — вызывались королем *поименно*, в то время как в Генеральные штаты делегаты трех сословий избирались *самим населением*. И Калонн предлагает Людовику XVI вызвать нотаблей.

И вот в 1787 году нотабли созваны. Учитывая, что в данном случае сбором одного экстренного налога вопрос не разрешится, Калонн волевым образом оказывается вынужденным вспомнить планы Тюрго. Он

осторожно ставит перед нотаблями проект изменения налоговой системы, который даст возможность казне собирать регулярные налоги в большем объеме, чем прежде. Для этого часть налогов должны будут уплачивать сами привилегированные сословия. Действительно, кому же помочь *дворянской* монархии, как не дворянству, в интересах которого она существует!

Но принцы, герцоги и епископы, которые привыкли много брать, но не имели обыкновения давать, смотрят на это совсем иначе. Они возмущены. Нет, они не могут поступиться своей важнейшей привилегией, они не станут платить ни одного су, ибо уплата налога — это дело податного, подлого населения, всех этих грязных торгашей и мужиков. Оскорбленные в своих кровных принципах, нотабли-привилегированные не хотят понимать своего короля, и последнему не остается ничего другого, как распустить их.

Этот на первый взгляд парадоксальный, а по существу в данных условиях вполне закономерный конфликт между правительством и высшими сословиями был прологом великой драмы, являясь лишь одной из форм проявления общего безысходного кризиса всей феодально-крепостнической системы хозяйства предреволюционной Франции.

Действительно, финансовый крах, охвативший в 1788–1789 годах правительственные круги, тесно переплетался с кризисом, наступившим в эти же годы в промышленности и торговле, и со страшным неурожаем и голодом в деревне. Народ проклинал своих поработителей и массами поднимался на борьбу. Конец 1788 года и начало 1789 года были ознаменованы целой волной крестьянских и плебейских восстаний, охвативших многие провинции и города, не исключая столицы.

Теперь даже двор понял, что без податного обложения имений дворянства и духовенства не обойтись. Это может стать единственным средством, позволяющим оттянуть приближение страшных событий.

Однако все усилия Бриенна, нового министра финансов, провести это обложение не могли сломить сопротивления представительства привилегированных — парламентов. Парижский парламент категорически отказался зарегистрировать королевский эдикт о новых формах налогов, причем — случай беспрецедентный в истории — не помогло даже заседание с участием короля. Желая дать решительный отпор правительству, парламентарии торжественно объявили, что право утверждать новые налоги принадлежит исключительно Генеральным штатам.

Так высшие сословия в погоне за сохранением своих привилегий

нанесли страшный удар своей собственной опоре — абсолютной монархии. Дорого им пришлось расплачиваться впоследствии за эту ошибку.

Между тем требование созыва Генеральных штатов, впервые выдвинутое парижским парламентом, вскоре сделалось лозунгом всей нации. И вот правительство под дамокловым мечом банкротства, среди грозного ропота народа, ежеминутно готового начать всеобщее восстание, решило пойти на эту крайнюю меру. Одновременно король дал отставку Бриенну и вновь пригласил на пост министра финансов популярного среди третьего сословия Неккера. Королевский эдикт объявил созыв Генеральных штатов сначала на 27 апреля, затем на 5 мая 1789 года.

Слухи о предстоящей сессии Генеральных штатов быстро распространялись по Франции. Они достигли Арраса еще летом 1788 года. Город был охвачен волнением. В учреждениях, в салонах, на улицах без конца обсуждали возвращение к власти Неккера и перспективы на будущее. Один лишь Максимилиан Робеспьер не участвовал в этой всеобщей суете. Он заперся на несколько дней в своей мансарде. Когда он вышел оттуда, его лицо было бледнее обычного. В руках он держал аккуратно перевязанную рукопись — свой ответ на текущие события. Это было воззвание к народу Артуа о необходимости коренного преобразования провинциальных штатов. Полное гневных обличений и политических выпадов, новое сочинение Робеспьера резко отличалось от его прежних конкурсных работ и академических докладов.

«...Нашим штатам, — писал Робеспьер, — нет дела до нужды и нищеты задавленного всякого рода поборами народа; у них не находится денег, чтобы дать народу хлеб и просвещение, но они необычайно щедры, когда требуется отпустить огромную сумму денег губернатору, которому понадобилось выдать замуж дочь... Наши деревни полны обездоленных, которые в отчаянии поливают слезами ту самую землю, которую они понапрасну возделывают в поте лица. Благодаря нищете большая часть крестьян опустилась до такой степени, когда человек, всецело поглощенный заботами о поддержании своего жалкого существования, становится уже неспособным сознавать свои права и устранить причины своих несчастий...»

Выход из создавшегося положения заключается, по мысли автора, в коренной реформе штатов Артуа, в превращении их в истинное народное представительство. Только в этом случае штаты смогут противостоять злоупотреблениям администрации и действительно заботиться о жизни народа. Эта реформа должна произойти сейчас, немедленно, ибо «настал

момент, когда искры священного огня дадут каждому жизнь, смелость и счастье!».

В прежнее время за выпуск подобной брошюры тюрьма в одинаковой мере угрожала бы и автору и издателю. Однако времена меняются, дух близкой революции уже витает повсюду, и две с половиной тысячи аналогичных брошюр появляются в разных концах Франции к зиме 1788 года.

Но вот прошла эта страшная голодная зима, и раннее весеннее солнце поднялось над Аррасом. 17 марта 1789 года старшины города торжественно объявили, что жители, принадлежавшие к третьему сословию, должны собраться в понедельник 23 марта в семь часов утра в церкви аррасского коллежа для первичных выборов.

Максимилиан Робеспьер единогласно прошел через все инстанции: он был выдвинут сначала в качестве одного из двадцати четырех выборщиков от третьего сословия Арраса, затем вместе с последними участвовал в объединенном собрании с уполномоченными от сельских сходов, где ему было поручено составить сводный наказ от жителей городов, местечек и деревень избирательного округа, и, наконец, был избран общим собранием выборщиков третьего сословия всей провинции Артуа как депутат в Генеральные штаты.

Наказ, составленный Робеспьером, кратко формулировал программу, с которой депутат Арраса должен был выступить в Национальном собрании. Программа эта сводилась к следующему: возможность для всех граждан к занятию любой государственной должности, гарантии литой неприкосновенности; полная свобода печати, веротерпимость, пропорциональная разверстка налогов, устранение всех привилегий и злоупотреблений, ответственность агентов правительства, ограничение прав исполнительной власти.

Так, облеченный доверием своих земляков, готовый без страха и сомнений претворять в жизнь теоретически обработанные и продуманные принципы, снова собирался Максимилиан Робеспьер в путь, не без сожалений расставаясь с любимыми занятиями и родным городом. Но, разумеется, эти сожаления отступали перед надеждами и планами на будущее. Впереди виднелось неизмеримо большее, чем оставалось позади, впереди была Революция.

3 мая 1789 года, незадолго до захода солнца, на той же стоянке дилижансов, которая встретила его семь с половиной лет назад,

Максимилиан Робеспьер, одетый в черный, доверху застегнутый камзол, неизменно аккуратный и напудренный, сдержанно здоровался с семью другими депутатами провинции Артуа, готовившимися вместе с ним покинуть Аррас.

Вот дилижанс подан, вот размещены вещи, и восемь пассажиров заняли свои места. Закрыта дверца, убрана подножка, прозвучал рожок почтальона — и тяжелая карета, громяхая вдоль улицы Сент-Обер, поплыла к Амьенским воротам.

Робеспьер покидал Аррас тридцати одного года без трех дней. Его ожидали Версаль и Париж, «малые забавы» и великие дела, тяжелые труды и неувядаемая слава.

Канун революции соединял его судьбу с судьбой двадцати шести миллионов людей, населявших старую Францию.

Глава 4

«Малые забавы»

Версаль, 24 мая 1789 года. Сумерки. Неуютная, почти пустая комната в квартире на улице Этан, 16. За столом — Максимилиан Робеспьер, перед ним — бумага и чернила. Он задумался и рассеянно водит пером по чистому листу.

Сегодня, наконец, он один и может собраться с мыслями. Его сожителю, почтенные фермеры Пети, Флери и Пейян, ушли осматривать город. Робеспьера мучит долг. Перед отъездом из Арраса он дал слово своему коллеге Бюиссару, с которым его связывали близость взглядов и обоюдная симпатия, подробно писать обо всем, что касается общественных дел. Еще бы! Ведь он теперь представляет интересы своего города и всей провинции здесь, в сердце страны, куда жадно направлены взоры и уши всех; а ведь он видит и слышит больше, чем другие, он сам принимает участие в великом эксперименте. Кому же, как не ему, уведомлять родной Аррас о том, что происходит в Версале! От Бюиссара узнают и другие, узнают все, что он напишет об этих замечательных днях. Но обещать было легко, а выполнить — увы! — весьма трудно. С того момента, как Максимилиан очутился в Версале, он буквально закрутился в вихре разнообразных дел и событий.

Прежде всего аррасские депутаты прибыли сюда чуть ли не с опозданием. В то время как заканчивалась подготовка для заседаний огромного зала дворца «Малых забав», а из Парижа срочно перебрасывались «для охраны господ депутатов» королевские войска, только что подавившие восстание рабочих Сент-Антуанского предместья, Робеспьер и его коллеги искали пристанища, которое найти в эти дни в Версале было не так-то легко. Они остановились сначала в отеле Ренар, на улице святой Елизаветы, а затем четверо из них, в том числе и Максимилиан, переехали в квартиру на улице Этан.

Между тем события шли своим чередом. Наступило 5 мая, от которого так много ждали и после которого были так разочарованы. День сменял день, заседания, совещания, кулуарные разговоры, волнения... Короче говоря, за все это время Максимилиан написал своему аррасскому адресату лишь одно коротенькое и мало о чем говорящее письмо. Долг надо погашать. Робеспьер обмакивает перо в чернила и выводит первую фразу:

«Пора, мой дорогой друг, нарушить молчание, которое обстоятельства

заставляли меня хранить до сих пор, и удовлетворить ваше любопытство или, вернее, ваши патриотические чувства, сообщив вам о событиях, совершившихся вплоть до сегодняшнего дня в Национальном собрании...»

Робеспьер улыбается. Пока что еще официально такого названия не существует, пока что сословия заседают отдельно, а депутаты третьего сословия величают свою палату «коммунами», или «общинами» — на английский манер. Ему, Робеспьеру, принадлежит идея назвать собрание «Национальным», и он уверен, что эта идея победит.

Но о чем же писать дальше? Излагать ли все по порядку, начиная с момента торжественного открытия Штатов? Рассказывать ли, как выглядели депутаты-дворяне в роскошных парчовых кафтанах, расшитых позументами мантиях и шляпах, украшенных страусовыми перьями, и представители третьего сословия — адвокаты, врачи, ученые, буржуа — все в одинаковых черных костюмах, настоящей униформе присяжных стряпчих? Описывать ли дворец «Малых забав», его галереи, огромный зал заседаний с королевским креслом под балдахином и неподвижными гвардейцами между колоннами? Или, быть может, сообщить о том унижении, которому подверглись депутаты третьего сословия, когда их стали пропускать в зал через маленькую заднюю дверцу, создавая давку и сутолоку, в то время как привилегированные вместе со своим монархом не спеша проходили через огромный парадный вход и занимали места, посмеиваясь над положением своих оскорбленных коллег?

Все это свежо в памяти, но в этих ли внешних формах суть дела? Теперь Робеспьер прекрасно понимал существо хитро задуманного маскарада и истинные планы обожаемого монарха. Все прояснилось после заседания 5 мая, тронной речи короля и выступлений министров. Двор и представители третьего сословия говорили на разных языках и видели как настоящее, так и будущее совершенно по-разному. Собственно говоря, королю нужно было лишь вырвать деньги, добиться утверждения нового займа и новых налогов, а затем можно и распустить Штаты. А для того чтобы наиболее безболезненно добиться этого, нужно было с самого начала взять Штаты, или, вернее говоря, третье сословие, в свои руки. С этой целью было решено сохранить почти все старинные обычаи и процедуры, от формы одежды депутатов до способа голосования включительно. Само собой полагалось, что депутаты будут собираться по сословиям, каждое сословие, как и в прежние времена, составит обособленную палату, заседающую отдельно и отдельно принимающую решение по любому обсуждаемому вопросу. Таким образом, каждое сословие представляло бы один голос, а так как привилегированных сословий было два, то они во

всех решениях имели бы большинство против одного голоса третьего сословия. При такой системе голосования единственная уступка, которую сделало правительство народу, — двойное число мест для депутатов третьего сословия (шестьсот против трехсот на каждое из привилегированных сословий) — разумеется, теряла всякий смысл. Абсолютная монархия могла надеяться, что теперь Штаты проведут любое угодное двору и знати предложение и в первую очередь предложения, направленные на дальнейшее закабаление и ограбление народа.

Но правительство и привилегированные не рассчитали своей игры. Они не учли того простого факта, что народ начал распрямлять спину. Депутаты третьего сословия пока были готовы сносить мелкие уколы самолюбию, но эта податливость не должна была сеять иллюзий. Уступая двору в мелочах, они отнюдь не собирались уступать в главном; представляя почти исключительно буржуазные слои, они чувствовали за собой поддержку всего народа, и это делало их гораздо более решительными, чем могли предположить король и его окружение. Если король хлопотал о налогах, то буржуа думали о реформах, причем реформ этих они ждали не от монаршей милости, а от своей собственной решимости. Поэтому депутаты третьего сословия стремились не только использовать двойное число своих депутатских мандатов, — а это было возможным лишь при поголовном, а не при сословном голосовании, — но и показать себя именно тем, чем они считали себя, то есть представительством всей нации.

На этой почве — возник первый конфликт, который затем породил множество других, а пока что совершенно парализовал деятельность Генеральных штатов. Депутаты согласно регламенту должны были прежде всего приступить к проверке своих полномочий. Но тут-то и всплыл вопрос: как будут проверяться полномочия, всеми ли депутатами сообща, или же по сословиям, порознь? Уже 6 мая депутаты двух первых сословий ответили тем, что приступили к проверке, собравшись в отдельных помещениях. Что было делать депутатам общин, как называли себя отныне избранники третьего сословия? Если бы они признали совершившийся факт и также конституировались в отдельную палату, то этим бы сразу сдали все позиции, и придворная камарилья могла бы удовлетворенно потирать руки. Депутаты общин решили, что следует ждать. Они бесплодно прождали несколько дней и после этого послали парламентаров к двум привилегированным сословиям, приглашая их объединиться для совместной проверки полномочий.

Перо Робеспьера все быстрее и быстрее скользит по бумаге, страница

за страницей покрываются его ровным красивым почерком. Он описывает, как дворянство решительно отказалось от совместного заседания, как духовенство заняло более осторожную позицию и выделило своих комиссаров для переговоров с представителями дворянства и общин. Тогда депутаты третьего сословия поставили на обсуждение два проекта. Один из них, высказанный протестантским пастором Рабо де Сент-Этьеном, сводился к тому, что общинам следует избрать комиссаров для совещания с комиссарами дворянства и духовенства.

Другой, выдвинутый реннским адвокатом Ле-Шапелье, предлагал объявить, что общины признают законность лишь тех депутатских мандатов, которые будут проверены на совместном заседании. Если и после этого привилегированные будут проявлять упорство, общинам следовало провозгласить себя Национальным собранием, а отколовшихся представителей дворянства и духовенства вычеркнуть из депутатских списков. Но лидеры общин были еще слишком не уверены в своих силах, чтобы согласиться на это радикальное предложение, и в подавляющем большинстве поддержали проект Рабо де Сент-Этьена. Тогда Робеспьер, которому этот проект внушал непреодолимую антипатию, решил поправить дело и выступил со своим предложением, близким к проекту Ле-Шапелье, но более учитывающим настороженное состояние депутатов общин.

По его мнению, следовало через печать обратиться с братским приглашением к дворянству и духовенству. Хорошо зная о настроениях приходских священников, Максимилиан не без оснований рассчитывал на то, что они присоединятся к общинам. Их примеру могла последовать и часть дворян. Вот тогда-то, опираясь на твердое большинство, можно было спокойно пренебречь отклонившимися аристократами и объявить себя Национальным собранием.

Робеспьер поднимает перо от бумаги и, остановив взгляд на мерцающем пламени лампы, задумывается. Ведь проект был, по существу, совсем не плох, но его не вынесли даже на обсуждение под предлогом, что подан он слишком поздно. Это была одна из первых неудач во дворце «Малых забав». А сколько их будет еще?.. Но пламя лампы не дает ответа на этот вопрос, и, вновь опустив глаза к бумаге, усталый депутат продолжает письмо.

...Время приближается к полуночи. Давно уже возвратились сожители Робеспьера, они говорили шепотом и двигались чуть слышно, чтобы не помешать ему, но сейчас и они затихли. Рука устала, мысль работает не так ясно, как несколько часов назад. Пора кончать...

Через несколько минут маленький домик на улице Этан теряет

последний желтый глаз, и мирный сон окутывает его.

Следующее утро, 25 мая, не принесло ничего нового. Робеспьер с восьми часов находился на своем боевом посту — в зале заседаний дворца «Малых забав», который в эти дни стал настоящей цитаделью третьего сословия. Несмотря на раннее время, зал был полон депутатов вперемежку с публикой. Депутаты еще плохо знали друг друга, они знакомились в спорах, стычках и кулуарных беседах. Избирая во временные председатели старейших своих коллег, они проводили часы, свободные от споров, в ожидании, обсуждении мелких инцидентов и политических новостей. Всех разбирало нетерпение. Шутка сказать, ведь уже двадцать дней тянулось вынужденное бездействие, в то время как нация ждала больших дел и важных решений. Некоторые депутаты-провинциалы использовали свободное время для прогулок по Версалию, осматривая те из его чудес, которые были доступны для обозрения. Бросалось в глаза, что значительная часть депутатов — не менее трети, во всяком случае, — отказалась от черной униформы — внешнего отличия, навязанного двором третьему сословию, — и стала одеваться соответственно своим вкусам и богаткам.

В центре зала находился длинный стол, за которым сидело несколько человек. По обе стороны стола амфитеатром располагались скамьи депутатов, но большая часть депутатских мест была пустой. Члены Собрании прогуливались или стояли группами в разных концах зала; некоторые просматривали тексты своих выступлений, другие безмолвно размышляли или слушали соседей.

Нельзя было не заметить, что некоторые депутаты уже пользовались известностью и влиянием, явно претендуя на роль лидеров Собрании. Особенно выделялся один человек, высокого роста, широкоплечий, толстый, с большой головой, казавшейся еще большей благодаря громадной завитой и напудренной шевелюре. Лицо его, обезображенное оспой, но выразительное, невольно приковывало к себе внимание, говорило о силе, выдавало горячий, необузданный темперамент. Одет он был преувеличенно модно; в глаза бросались слишком большие пуговицы на камзоле и такие же пряжки на туфлях. Это был знаменитый граф Мирабо, деклассированный аристократ, избранный по спискам третьего сословия Прованса. Весьма щепетильный в вопросах нравственности, Робеспьер недаром заклеил его репутацию. Она была скандальной. Происходивший из богатой аристократической семьи, Габриель Оноре Мирабо значительную часть своей молодости промышкался по тюрьмам, куда

усердно водворял его родной отец за колоссальные долги и безнравственную жизнь. Затем Мирабо скитался по Европе, плел политические и любовные интриги, много писал. Он отличался исключительным ораторским даром и поражал современников громовыми выпадами против абсолютизма. Однако больше всего на свете этот человек любил почет, деньги и наслаждения. Теперь он готов был употребить весь свой незаурядный талант, чтобы, лавируя между Собранием и двором, обманывать первое и добиваться денег и почестей у второго.

Неподалеку от Мирабо, среди группы оживленно беседующих депутатов, стоял, скрестив руки на груди, элегантно одетый юноша. Красивое удлиненное лицо его искривила насмешливая улыбка, а осанка была чересчур важной для слишком юных лет. Он небрежно прислушивался к всеобщему разговору. Это был депутат провинции Дофинэ, гренобльский адвокат Антуан Барнав. Сын состоятельных родителей, уделивших большое внимание его воспитанию и образованию, по матери связанный с провинциальным дворянством, Барнав много читал и размышлял; впоследствии из-под его пера выйдут небезыңтересные социологические этюды, ярко характеризующие взгляды и упования представленных им кругов либеральной буржуазии. Собрание уже заметило этого юношу и оценило его импровизаторские способности; сам Мирабо заигрывал с ним, стараясь привлечь его на свою сторону. Однако Барнав холодно отверг эти ухаживания, как и попытки к сближению, идущие со стороны его земляка, консервативного Мунье. Честолюбивый гренобльский адвокат не собирался играть вторых ролей и ждал подходящего момента для того, чтобы сколотить свою группировку в Собрании.

Среди других депутатов несколько робко и неловко чувствовали себя, как можно было заметить по их поведению, «новички» — двадцать депутатов третьего сословия Парижа, избранные с опозданием и только сегодня впервые появившиеся на заседании общин. Впрочем, в числе новоприбывших были деятели, хорошо известные не только членам Собрания, но и многим из зрителей, которые указывали на них пальцами и шепотом произносили их имена. С особенным любопытством разглядывали аббата Сиейса, невысокого человека в скромном черном костюме с презрительной миной на холодном, надменном лице. Этот «Магомет революции», как окрестил его Мирабо, прославился своей брошюрой о третьем сословии, вышедшей накануне выборов в Генеральные штаты. От умного аббата многого ожидали. Действительно, на первых порах своей депутатской деятельности Сиейс будет очень

активным, стремясь даже взять на себя роль идеолога революции. Преданный идеям крупной буржуазии, он станет неоднократно выступать в Собрании с различными проектами, некоторые из которых, например проект нового административного устройства Франции, окажутся весьма плодотворными. Однако ход революции вскоре разочарует осторожного Сиейса. Он замолчит и, сберегая себя для будущего, прочно оседет в «болоте» — трусливой и безгласной части Собрания, всегда занимающей выжидательную позицию.

Другим депутатом из числа вновь избранных парижан, привлекавшим всеобщее внимание, был Жан Байи. Худощавый человек в форменном костюме третьего сословия — этот костюм он, как любитель «порядка», будет сохранять дольше большинства своих коллег, — Байи обладал некрасивым сухим лицом, временами светившимся, однако, простодушной мягкостью и благородством. Сын парижского виноторговца, готовившийся сначала к духовной, а затем к адвокатской карьере, Байи пренебрег и тем и другим, увлекшись научными занятиями в разных сферах и прежде всего в области астрономии. Он был членом трех литературных и ученых академий Парижа и пользовался большим уважением буржуазной интеллигенции столицы. Основным свойством этого очень осторожного и житейски опытного человека было умение организовывать и сдерживать, умение, быстро оцененное крупной буржуазией.

Таковы были лидеры Собрания общин, готовившегося стать Национальным собранием. Все они были ставленниками крупной буржуазии, все придерживались умеренных взглядов и лишь иногда, с целью добиться поддержки народа, кокетничали левыми фразами, боясь, впрочем, этого народа больше чем огня и предпочитая в конечном итоге сговор с абсолютизмом любому соглашению с плебейскими массами.

Принадлежал ли Максимилиан Робеспьер к этой плеяде известных депутатов? Несмотря на то, что он уже выступал несколько раз, его пока не знали или не пожелали знать. Подобно тому как в родном Аррасе он не сразу завоевал признание своей адвокатской деятельности, так и здесь, в зале дворца «Малых забав», ему пришлось много говорить, прежде чем его захотели услышать. А между тем Робеспьер чутко реагировал на события, стремился найти решения запутанных вопросов, и — это главное — он видел острее и глубже, чем его гордые коллеги, зачастую в своих внешне броских речах не шедшие дальше банальных истин. Но Робеспьер оставался деятелем будущего в этом утверждающемся Собрании буржуазии. Он говорил другим языком, чем было принято. Его устами

вещал Жан Жак Руссо, великий демократ, взгляды и понятия которого были глубоко ненавистны крупным собственникам.

Впрочем, аррасский депутат знал, что делает. Он мало думал о своих слушателях в Собрании и, обращаясь к ним, всегда обращался к народу. Именно народ, народные нужды и интересы, народные мечты и стремления всегда были в центре его внимания, всегда звучали лейтмотивом его речей.

Майские дни сменились июньскими, а основной вопрос, парализовавший деятельность Генеральных штатов, мало продвинулся вперед, хотя шел явно в том направлении, которое предсказал ему Робеспьер. Наконец 12 июня депутаты общин, отчаявшись в получении удовлетворительного ответа на свои предложения, начали самостоятельную проверку депутатских полномочий. Как и можно было предполагать, привилегированные сразу насторожились. В палате духовенства произошел давно намечавшийся раскол, и сначала трое, а затем еще шестнадцать союзников из низшего духовенства примкнули к общинам. Тогда 17 июня, после выступления аббата Сиейса, опираясь на подавляющее большинство голосов, общины провозгласили себя Национальным собранием и заговорили языком верховной законодательной власти.

Первым актом Собрания было постановление, явно угрожавшее двору: устанавливалось, что существующие налоги могут взиматься только с санкции Собрания; если же его попытаются распустить, то всякое требование налогов будет считаться незаконным.

До сих пор король и двор выжидали, не вмешиваясь в борьбу сословий, вполне уверенные, что время работает на них. Теперь, когда третье сословие дало им такой позорный пинок, когда стало ясно, что дворянство и в особенности духовенство не смогут впредь проводить прежнюю политику обструкций, правительство решило изменить тактику. Когда утром 20 июня депутаты, как обычно, собрались у дворца «Малых забав», чтобы провести очередное заседание, оказалось, что вход во дворец закрыт и охраняется королевской гвардией. Король лишил непокорных членов Собрания возможности работать, отобрав у них помещение! Но подобным актом все более и более смелых депутатов остановить было нельзя. На помощь им пришел народ. Население Версаля дружно поднялось на защиту избранных нации, взяло их охрану на себя и указало на помещение, где можно собраться. Это был огромный пустой зал для игры в мяч. Депутаты, сопровождаемые народом, заняли зал. Здесь была дана торжественная клятва, ставшая знаменитой: общины поклялись не прекращать своих заседаний до тех пор, пока не выработают текст

конституции — закона, кладущего предел тирании абсолютизма. Текст клятвы был предложен Робеспьером и тремя другими депутатами провинции Артуа. После этого смелого акта духовенство почти полностью присоединилось к Национальному собранию, за духовенством последовало несколько представителей дворян, а в самой дворянской палате образовалась большая группа депутатов во главе с герцогом Орлеанским, также требовавшая воссоединения.

Теперь двору было над чем задуматься. Это означало почти поражение. Для того чтобы спасти остатки престижа и сохранить какие-то надежды на осуществление своих планов, правительство должно было нанести сильный ответный удар, и нанести его немедленно. По совету своего окружения Людовик XVI назначил на 23 июня в том же зале дворца «Малых забав» новое королевское заседание. Депутатам было предложено надеть те же костюмы, что и в день открытия Генеральных штатов, и так же пословно, как и тогда, занять отведенные для них места в зале. Казалось, повторялся день 5 мая. Грозным голосом король провозгласил свой приговор происшедшему за этот срок. Он отменил все постановления общин, объявил ликвидированным Национальное собрание, подтвердил все права церкви и феодалов и приказал депутатам немедленно разойтись, с тем, чтобы конституироваться по сословиям, в отдельных отведенных для этого помещениях. Воцарилось гробовое молчание. Король, придворные, а вслед за ними дворянство и большая часть духовенства покинули зал. Но депутаты третьего сословия остались неподвижны. Никто из них и не подумал тронуться с места. Прошло некоторое время, и на пороге зала появился обер-церемониймейстер маркиз Дре-Брезе. Он удивленно оглядел депутатов и напомнил их председателю Байи о приказе короля. Байи с достоинством ответил царедворцу:

— Милостивый государь, я назначил на сегодняшний день заседание Национального собрания, и я должен настойчиво защищать право Собрания свободно совещаться.

Дре-Брезе медлил. Тогда к нему подскочил горячий Мирабо и, указывая на дверь, прокричал:

— Ступайте и скажите вашему господину, что мы здесь — по воле народа и оставим наши места, только уступая силе штыков!..

После этого обер-церемониймейстеру не оставалось ничего другого, как удалиться. Не успели затихнуть его шаги, как раздался топот многих ног: это, сообразившие, какой оборот принимает дело, в зал возвращались представители духовенства.

Когда маркиз Дре-Брезе вернулся к своему монарху и сообщил ему о том, что произошло, последний на несколько мгновений остолбенел. Не мудрено! Такой пощечины он не получал еще ни разу! Но затем — и в этом был весь Людовик XVI — он пробурчал:

— Ну и черт с ними, пусть остаются!

Правда, одновременно с этим ко дворцу «Малых забав» были посланы два эскадрона солдат. Но на кровопролитие идти побоялись, учитывая общую ситуацию, в частности изменившиеся настроения в палате дворянства. Со своей стороны, Национальное собрание приняло меры самозащиты: по предложению Мирабо оно объявило личность депутата неприкосновенной.

В последующие дни сначала остатки духовенства, а затем и дворянство, опасаясь продолжать политику саботажа, присоединились к Национальному собранию. Король оказался вынужденным санкционировать совершившийся факт. 9 июня Национальное собрание провозгласило себя Учредительным, показывая этим, что считает своей основной задачей учреждение нового строя и выработку конституции. Крупная буржуазия и солидарная с ней часть либерального дворянства были удовлетворены созданным положением. Они считали, что революция подходила к своему концу. А в действительности революция еще и не начиналась: то, что произошло в мае — июне 1789 года, было не более чем «малые забавы». Абсолютная монархия не могла да и не желала так легко и просто сдать свои вековые позиции. Двор собирал силы, готовясь неожиданно нанести демократии сокрушительный удар.

Глава 5

На штурм твердынь!

Утром 12 июля Париж имел свой обычный вид. В предместьях, несмотря на воскресный день, кипела работа, улицы центра были полны нарядной публики. Щеголи лорнировали дам, разносчики фруктов, каштанов, устриц громко выкрикали названия своих товаров. Около десяти часов кое-кто обратил внимание на отряды войск — пехоты и конницы, заполнявших подступы к центральным площадям. Показались артиллерийские обозы. К чему бы это?..

И вдруг шепотом из уст в уста стала передаваться страшная весть. Еще не верили ей, еще сомневались, но воскресное настроение разом упало. В предместьях послышались гудки. Бросив работу, люди бежали к центру. В пестрой толпе перемешивались фартуки мастеровых, черные костюмы конторских служащих и клетчатые фраки буржуа. Потоки людей без всякой предварительной договоренности двигались в одном направлении: к парку Пале-Рояля.

Парк гудел, точно потревоженный улей. Стечение народа было так велико, что казалось, яблоку упасть негде. Наиболее предприимчивые из молодежи забирались на деревья, чтобы лучше видеть и слышать. Что именно? Этого никто точно не знал.

Но вот в двенадцатом часу словно гром прокатился над толпой. Прибыл вестник из Версаля. Он вспотел и еле идет, его поддерживают под руки. Все расступаются. Да! Сомнений больше не остается! Измена! Дело народа предано и находится под страшной угрозой!

Накануне днем Неккер получил королевскую грамоту, возвестившую ему увольнение от должности министра и изгнание. Вместо Неккера к власти призван ярый реакционер барон де Бретей, который похвалялся тем, что сожжет Париж. Двор готовится распустить Национальное собрание. Столица окружена иностранными войсками барона Безанваля и князя Ламбеска.

...В разных концах парка появляются народные ораторы, которые разъясняют людям политический смысл отставки Неккера. Один из них, совсем еще молодой человек с длинными волосами, особенно негодует. Он неудержим как порыв. В одной руке его пистолет, в другой — шпага. Вокруг него огромная толпа. Взобравшись на скамейку, он кричит громким срывающимся голосом:

— Граждане! Правительство готовит вам новую Варфоломеевскую ночь! Лучшие патриоты будут перерезаны! Вы не можете медлить ни секунды! К оружию!

Оратора мало кто знает. Кто-то произносит его имя: Камилл Демулен; оно никому не известно. Но в этом ли дело? Разве важно имя? Сейчас все решают смелость и инициатива! Вот он срывает с дерева лист и прикрепляет его к своей шляпе: это кокарда революции! Окружающие моментально следуют его примеру. Затем, размахивая шпагой, во главе своего импровизированного войска он устремляется вперед, к Вандомской площади.

В этот день пролилась первая кровь. Залпы гремели на Вандомской площади и площади Людовика XV. Кавалерийский отряд князя Ламбеска пытался смять отряд манифестантов. Но все это лишь удвоило народную ярость. Первый ружейный залп был сигналом ко всеобщему восстанию. Кавалерия отступила под градом камней и щебня.

«К оружию!» — этот клич раздавался повсюду. Народ вооружался чем мог. Захватывали ножи и ружья в магазинах, старинные пики и каски в музеях, селитру и порох везде, где находили. Столица оцетинилась баррикадами. Заставы пылали. Призывно гудел набат.

К вечеру положение определилось. Барон Безанваль решил оставить Париж. Его войска кое-где еще вяло сопротивлялись. Солдаты французской гвардии братались с народом и массами переходили на его сторону. Победа становилась очевидной.

Теперь забеспокоилась парижская буржуазия. Народ взял верх над войсками! А что будет дальше? Успехи народа полезны лишь тогда, когда удастся овладеть ими. Нельзя давать воли стихии восстания, иначе она может поглотить все!

На рассвете 13 июля обеспокоенные выборщики Парижа поспешили занять ратушу и учредить свой орган муниципальной власти — Постоянный комитет. К участию в работе Комитета пригласили многих деятелей старой королевской администрации Парижа, в том числе и купеческого старшину Флесселя, хитрого и коварного человека, всей душой преданного абсолютной монархии.

Постоянный комитет ставил своей задачей обуздать народное восстание, ввести его в нужное буржуазии русло и постепенно свести на нет. В этих целях была организована буржуазная милиция, которая совместно с отрядами французской гвардии должна была стать верной

опорой и защитой крупных собственников столицы.

Но остановить поднявшийся народ было не так-то просто. Повстанцы, хотя и доверяли Постоянному комитету, не собирались следовать всем его распоряжениям. Впрочем, парижская беднота и не помышляла о разграблении богатств буржуазии. Ее волновало совсем другое.

К утру 14 июля весь Париж был в руках революционного народа. Только мрачная громада Бастилии нависала над Сент-Антуанским предместьем, напоминая о том, что победа еще не завершена.

Кто первым указал народу на Бастилию? Кому прежде всего пришла в голову мысль о необходимости ее низвержения? Молва называла горячего оратора Пале-Рояля Камилла Демулена. Однако к необходимости овладения Бастилией вела сама логика событий.

Страшная крепость-тюрьма, в которой томились сотни ни в чем не повинных людей, олицетворяла деспотизм и произвол абсолютной монархии. Это был грозный символ ненавистного прошлого, постоянная память о вековых цепях рабства.

Но Бастилия не только служила символом: она представляла прямую угрозу трудящемуся люду Парижа, являясь важным стратегическим пунктом в руках его врагов. В ночь на 13 июля наемные солдаты-швейцарцы перенесли в крепость большое количество пороха. Комендант Бастилии, преданный сторонник абсолютизма, приказал увеличить количество амбразур и направить дула орудий в сторону Сент-Антуанского предместья.

Эти приготовления не могли долго оставаться в тайне. Народ понимал сущность демаршей коменданта Делоне, надеявшегося на поддержку войск Безанваля, уже покинувших Париж. И тут же, стихийно, созрело решение: взять Бастилию.

Члены Постоянного комитета нервничали: в ратушу пришло известие о том, что народ осадил Бастилию. А Постоянный комитет и не помышлял о каких-либо враждебных действиях по отношению к крепости. Зачем? Бастилия — твердыня монархических устоев общества. Она надежный оплот против чрезмерной энергии повстанцев. Это не без успеха доказывал членам Комитета сам Флессель. Нужно было действовать ловко и умело, стараться выиграть время и найти компромисс, который, успокоив народ, не заставил бы вместе с тем коменданта Делоне нарушить присягу, данную королю. И Комитет посылает одну за другой три депутации с целью урегулировать конфликт и свести дело к миру. Напрасная надежда! Легче

было повернуть течение Сены вспять, нежели обуздать могучий поток бесстрашных борцов, готовых своею кровью заплатить за победу...

Дым окутал со всех сторон зловещие башни. Горят поваленные телеги и бревна. Грохот пушек разрывает накаленный воздух. Падают люди, их подхватывают и уносят. Но поток не редет: могучий и непобедимый, он все теснее охватывает крепость. Уже разбиты ворота и взят первый двор, уже с лязгом рвутся цепи и подъемный мост падает, открывая проход через ров. Защитники Бастилии видят, что конец близок. Они не хотят умирать. Где белый флаг?..

Делоне в смертельной тоске мечется по внутреннему двору. Его швейцарцы не стреляют больше, его офицеры рекомендуют капитулировать. Что же делать? Он бросается к пороховому складу. Взорвать Бастилию!.. Его в ужасе останавливают. Артиллерийские залпы дробят цепи второго моста. Осаждающие врываются в крепость. Бастилия пала!.. Распахивают двери казематов, освобождают узников. Слезы, объятия, крики радости...

...Толпа увлекает растерзанного Делоне на Гревскую площадь. Там он находит смерть. В этот же день погибает и Флессель, избличенный народом.

Пока что Версаль ничего не знает о том, что произошло в Париже. Дворец «Малых забав» тих и угрюм. Встревоженные члены Национального собрания не спят три ночи подряд, пишут послания королю и ждут своей участи.

А двор, предвкушая радость близкого торжества, поет и пирует. Королева, граф д'Артуа, Полиньяки аплодируют иностранным солдатам и щедро одевают их вином и деньгами. В конюшнях королевы прячут артиллерию. Даже унылый толстяк теперь смотрит заносчиво и не желает слушать посланий Ассамблеи. Он король! Ему не о чем толковать с этим мужичьем! Скоро все они почувствуют на себе его тяжелую руку!..

И вдруг как снег на голову падают неожиданные известия: солдаты изгнаны из Парижа, гвардия перешла на сторону народа, заставы горят, Бастилия нала...

Людовик остолбенело смотрит на своих придворных. Его губа отвисает...

— Позвольте, господа, но ведь это же бунт!

Герцог Лианкур с холодной усмешкой поправляет его:

— Нет, ваше величество, вы ошиблись, это не бунт. Это уже

революция...

Герцог доволен, что бросил крылатое слово. Он и не подозревает, насколько его мысль близка к истине. Действительно, в этот день, 14 июля 1789 года, произошел первый акт Великой Французской буржуазной революции: абсолютная монархия получила смертельную рану.

Молодой аррасский депутат Максимилиан Робеспьер с неослабевающим интересом вглядывался в то, что происходило вокруг него.

Странное, на первый взгляд абсолютно непостижимое дело! Триста избранных третьего сословия смело повышают голос, преодолевают все препоны и добиваются того, что их признают Национальным собранием. Они говорят и действуют от имени всего народа — в этом их сила. Король и двор обманывают их, обманывают явно и готовятся нанести им удар в спину, Уже клинок занесен, и деспотизм предвкушает победу, но вдруг... О чудо! Народ, простой народ, безвестные плебеи Парижа спасают положение. Они отводят смертельный удар и разрушают козни двора. Национальное собрание спасено! Но почему же никто не радуется? Почему на лицах всех этих сиейсов, барнавов и мирабо такие кислые мины? Почему они так робко жмутся к поверженному монарху, который только что чуть было не поразил их насмерть?

Они боятся! Да, они боятся своих спасителей гораздо больше, чем монарха. Они готовы простить королю все его коварство и предательство. Как бурно они рукоплещут ему, когда он, дрожащий и бледный, приходит в Собрание! Оказывается, король им нужен, совершенно необходим как оплот против масс, против того самого народа, именем которого они здесь собрались и от лица которого провозглашают свои решения.

Робеспьер пожимает плечами. Ну что ж, господа, все как будто вполне ясно... Мне с вами не по пути. Пока что я почти одинок — вы не замечаете меня, потом вы будете меня травить и третировать — это все я знаю наперед. Но я пойду смело своей дорогой, той, которую завещал мне учитель. Я не боюсь вас! Правда на моей стороне, и она не может не победить! Поручкой тому блестящая победа Парижа!..

Увидев, что затея не удалась, струхнувший двор стал пятиться назад. Комедия возобновилась. В Собрании король со слезою в голосе уверял депутатов, что все происшедшее — плод простого недоразумения. Он, Людовик, — все знают благородство его характера — никогда не отделял себя от народа и всегда полагался на избранных нации. Иностранные

войска?.. Он уже подписал приказ об их удалении из Парижа и Версаля! Министры, неугодные народу? Он даст им отставку и вновь возвратит Неккера!..

Но когда под восторженные крики депутатов Людовик в сопровождении своих братьев покинул зал заседаний, его встретила с глухим ропотом толпа простого люда. Женщина в грубой одежде, отстранив графа д'Артуа, приблизилась к королю и смело крикнула ему прямо в лицо:

— О мой король, вполне ли вы искренни? Не заставят ли вас опять переменить ваши намерения, как было несколько дней назад?

А в это же время какой-то бедняк, протягивая заскорузлую руку к одному из окон дворца, громко сказал:

— Вот где помещается этот трон, следы которого скоро будет трудно отыскать!..

Робеспьера уведомили, что на его долю выпала большая честь: в числе двухсот сорока депутатов Собрания он будет сопровождать короля в Париж, куда монарх должен отправиться по призыву своего народа. Максимилиан был очень доволен. Поездка обещала интересные наблюдения и могла дать много пищи для ума.

В путь отправились рано утром 17 июля. Король с пасмурной физиономией проследовал между рядами депутатов и занял место в своей карете. Процессия двинулась шагом. Максимилиан заметил, что к конвою, состоявшему из версальской и парижской милиции, присоединилось много крестьян, вооруженных дубинами, вилами, косами.

...Только в три часа дня показались стены Парижа. Въехали через заставу Пасси. Два ряда вооруженных людей — победителей Бастилии — двумя неподвижными стенами расположились вдоль линии от заставы до Гревской площади.

Сколько народу кругом! Мало того, что заполнены все соседние улицы и переулки, — теснятся на крышах, на деревьях, на заборах. Максимилиан прислушивается к крикам. Нет, слов «Да здравствует король!» не слышно. Вместо этого можно разобрать: «Да здравствует народ!», «Да здравствует свобода!» Робеспьер насмешливо смотрит на короля. Ну как, ваше величество? Каково вам среди этих приветствий? У вас бледный вид. Вам не нравятся сине-красные знамена Парижа? Вас не устраивают трехцветные кокарды, приколотые к шляпам и ружьям ваших граждан? Вы бы хотели дать полный назад? Ну что же поделаешь? Это не в вашей власти!

Робеспьер невольно улыбается. Все легче и свободнее становится у него на душе. Ничего, что небо хмуро. Зато как светлы, как радостны лица!

И вдруг он начинает напряженно вспоминать. Ведь когда-то уже это было! И хмурое небо, и толпа, и карета, и король на подушках... Ба, это было четырнадцать лет назад! Он, бедный стипендиат коллежа, тоже удостоенный «высокой чести», стоял в грязи на коленях и приветствовал вот этого самого толстяка!.. Но как все изменилось с тех пор! И карета другая, и люди не те, и воздух, жадно вдыхаемый грудью, совсем, совсем иной!..

Король чувствует на себе чей-то пристальный взгляд, поднимает голову и вздрагивает... Где видел он эти светлые внимательные глаза, холодные и пронизывающие, как стальные клинки? Когда? При каких обстоятельствах? Людовик пытается и не может вспомнить. В голову лезет всякая дрянь... Ружья, пики, кокарды, знамена... А ну его к черту! Лучше совсем не думать об этом. Король закрывает глаза и погружается в дремоту.

Вновь избранный мэр, бывший председатель Собрания Жан Байи, подносит королю ключи от города Парижа. Твердым шагом король поднимается по ступенькам и входит в большой зал ратуши. Члены Постоянного комитета аплодируют ему. Он садится на заранее приготовленный трон и слушает. Ему приходится своим молчанием санкционировать указы о разрушении Бастилии, о сформировании, гражданской милиции, о новых назначениях. Два раза пытается он заговорить, но раздается лишь какой-то клекот: слова застревают в горле. Тогда Байи предлагает ему трехцветную кокарду. Людовик берет ее с таким чувством, как будто прикасается к гремучей гадине. Но что делать! Он прикалывает кокарду к шляпе, подходит к большому окну и машет несметной толпе, собравшейся на Гревской площади. Раздается рев восторженных восклицаний. Но народ приветствует не бледное олицетворение королевской власти, а всего лишь революционные цвета на его шляпе.

Робеспьер вместе с несколькими коллегами быстро шел по направлению к площади Бастилии. Депутатов эскортировал отряд гражданской милиции. Вот она, каменная громада, мрачный склеп, поглотивший столько светлых умов! Вот она, вековая твердыня абсолютизма! Отряды каменщиков уже орудуют у ее стен. Но она еще жива. Господа депутаты хотят осмотреть ее? Пожалуйста! Их с удовольствием проводят и покажут все, что может их заинтересовать.

Пройдены комендантский двор, оба подъемных моста, и любопытные зрители попадают в страшный каменный мешок внутреннего подворья. Глубокая тишина. Только башенные часы с изображением двух узников в цепях мерно отсчитывают минуты.

Робеспьер заходит в камеры с металлическими клетками, спускается в подвальные помещения — чудовищные убежища крыс и пауков. Ему показывают темницу, в которой претерпел нечеловеческие мучения Мазер де Латюд, безвинно просидевший тридцать пять лет в заключении; его вводят в каземат, похоронивший тайну человека с железной маской.

Не довольно ли? Скорее на воздух, на свет!..

Когда Максимилиан оказывается вне стен крепости, ему представляется, что он вновь родился. Он дергает плечами, как бы сбрасывая с себя стопудовую тяжесть. Солнце по-прежнему за облаками, и все же после мрака тюрьмы дневной свет кажется ослепительным. Он оглядывается назад. Каменщики трудятся не за страх, а за совесть. Их молотки мелькают в воздухе. Скоро этих проклятых стен больше не будет. Только воспоминание — и тяжелое и радостное одновременно — сохранится о них на всю жизнь.

Обратный путь в Версаль казался нескончаемым. Все измучились и клевали носами. Король совершенно размяк. Только когда добрались до Севра и он увидел своих лейб-гвардейцев, лицо его просветлело.

Мария-Антуанетта в страшном беспокойстве ожидала Людовика. Ей мерещились страшные картины: он убит, его окровавленный труп волокут по улицам.

Услышав о возвращении своего супруга, королева радостно бросилась ему навстречу. Однако при виде трехцветной кокарды она в ужасе отпрянула. Людовик, ничего не поняв, открыл ей объятия.

— Уйдите от меня! — гневно воскликнула королева. — Я не думала, что выйду замуж за мещанина!

А Робеспьер, закрывшись в своей унылой комнате, сразу же берется за перо. Он описывает своему другу Бюиссару все события прошедших дней. Неповторимые часы! Можно ли забыть их? Можно ли остаться к ним равнодушным?..

Уходит час за часом, а он все пишет, пишет ясным, отточенным слогом, вновь переживая все эти замечательные деяния недавнего прошлого. Он чувствует себя счастливым, что был современником и очевидцем этих событий. А главное — он бесконечно горд за свой великий народ, народ, которому и в который он всегда бесконечно верил. Для кого

он пишет это письмо? Только ли для Бюиссара? Во всяком случае, его будет читать потомство. Это письмо Робеспьера явится для историка одним из ценнейших свидетельств о первых днях Великой буржуазной революции конца XVIII века.

Глава 6

Первые радости

Радость Робеспьера оказалась преждевременной. Революцию начали простые люди, все эти рабочие, мастеровые, поденщики, которых так презирали не только придворные, но и почтенные мужи Собрания. Народ Парижа заставил ошеломленный двор и не менее ошеломленную Ассамблею признать первые результаты своих побед: твердыня абсолютизма — Бастилия — была разрушена, король приехал поклониться парижанам и получил от них трехцветную кокарду, а Учредительное собрание оказалось вынужденным закрыть глаза на первые акты народного правосудия. Но логика событий была такова, что власть и организация сосредоточились не у победоносного народа, а в руках ненавидевшей его крупной буржуазии, которая сумела использовать победу над абсолютизмом для себя и только для себя: опираясь на народ, она устрасила монархию, чтобы потом, опираясь на монархию, подчинить народ. В те часы, когда беднота сражалась на улицах столицы, парижская буржуазия спешила создать новые органы управления. Постоянный комитет, сделав свое дело, уступил место буржуазной Парижской коммуне, захватившей главенство в столице, а гражданская милиция стала ядром национальной гвардии — вооруженных сил буржуазии. Столпами новой власти оказались мэр Байи и либеральный аристократ маркиз Лафайет, назначенный начальником национальной гвардии.

В течение июля — августа 1789 года революция распространилась по всей стране. Народные восстания в городах завершались низложением старых властей и заменой их новыми, выборными органами. Эти выборные органы — муниципалитеты, — так же как и в Париже, попали в руки буржуазии, которая зорко следила за тем, чтобы остановить движение народа в нужный для себя момент. Почти повсюду по примеру столицы создавались отряды национальной гвардии, противостоявшие не только абсолютизму, но и городской бедноте.

Летом 1789 года Франция запылала пожарами крестьянских восстаний. Крестьяне по всей стране громили замки и усадьбы, прекращали выполнение феодальных повинностей и уплату налогов помещикам. В ряде случаев крестьяне арестовывали своих господ, иногда расправлялись с ними собственным судом. Крестьянские восстания

сыграли исключительно важную роль в поражении феодально-абсолютистского режима и закреплении успехов революции. Но размах этих восстаний вызвал «великий страх» не только в сердцах светских и церковных сеньоров, он напугал и буржуазию, дрожавшую за свою собственность. Отряды национальной гвардии были направлены в деревню. В стенах Собрания стали все чаще раздаваться голоса, требовавшие «обуздания мятежников» и «прекращения смут». Представители дворянства и крупной, буржуазии были готовы издать специальные законы, осуждающие и карающие действия народа.

20 июля на трибуну Собрания поднялся лидер либерального дворянства Лальи-Толлендаль. Он начал свою речь с выражением грустной важности на лице.

— Что может быть опаснее народных волнений? — спрашивал оратор. — Главная задача настоящего момента — это искоренение мятежного духа. Депутаты нации должны составлять одно целое с королем, отцом своего народа и истинным основателем свободы... Всякий гражданин обязан трепетать при одном лишь слове «смута». Тот же, кто выскажет недоверие к Собранию, к королю, должен считаться дурным гражданином и передаваться в руки правосудия...

После этих витийств Лальи-Толлендаль предложил проект декрета, который устанавливал тяжкие кары по отношению к «смутьянам».

Тогда вдруг вскочил малоизвестный аррасский депутат Максимилиан Робеспьер. Его лицо, обычно бледное, пылало. Резким и повелительным голосом он воскликнул:

— Что же такое случилось, что давало бы право господину Лальи-Толлендалю бить в набат? Говорят о мятеже. Но этот мятеж, господа, — свобода. Не обманывайте себя: борьба еще не закончена. Завтра, быть может, возобновятся гибельные попытки; и кто отразит их, если мы заранее объявим бунтовщиками тех, кто вооружился для нашего спасения?..

Робеспьер говорил с необычной резкостью. Его слова, сопровождаемые решительным жестом, казались пророческими. Собрание замерло на миг.

Когда Лальи стал оправдываться, ответом ему было смущенное молчание. Подавляющая часть депутатов на этот раз поняла справедливость замечания Робеспьера. Проект был отложен.

После этого заседания многие лидеры Собрания обратили внимание на юного защитника свободы. Робеспьер?.. Кто он?.. Почему он так горячо ходатайствует о нуждах гольтыбы?..

Это была его первая удача в Учредительном собрании.

Под влиянием «великого страха», вызванного массовыми движениями в деревне, мужи Собрания оказались вынужденными заняться крестьянским вопросом, в результате чего были выработаны решения 4–11 августа, решения, вокруг которых искусственно создали большую шумиху, но которые, по существу, лишь незначительно улучшали положение крестьянина. Решения эти отменяли ряд второстепенных феодальных повинностей, многие из которых практически уже давно отпали, но сохраняли все основные крестьянские тяготы — чинш, барщины, десятины и т. п. Эти так называемые «реальные» повинности подлежали выкупу, но выкупные платежи были настолько высоки, что крестьянин фактически не мог ими воспользоваться.

Последним значительным актом Собрания в этот период, актом, на котором еще чувствовалось влияние революционных масс — творцов июльских событий, была Декларация прав человека и гражданина, программный документ, провозглашавший принципы нового общества.

«Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах», — гласила ее первая статья. Декларация устанавливала свободу слова и совести, безопасность народа и сопротивление угнетению. Однако таким же священным и нерушимым было объявлено право собственности, право, которое в конечном итоге сводило на нет предыдущие положения декларации и освящало эксплуатацию человека человеком. Тем не менее Декларация прав, знаменитая формула которой «свобода, равенство, братство» как символ Великой революции эхом отдалась по всей Европе, была по своему характеру гораздо более яркой и прогрессивной, чем конституция 1791 года, выработанная буржуазными учредителями в тот период, когда им временно удалось овладеть массами и сковать их революционный дух.

Ко времени принятия Декларации прав, в дни обсуждения первых глав конституции, которую было решено составлять и утверждать по частям, Учредительное собрание полностью, наконец, организовалось и приняло тот вид и характер, который сохраняло в общих чертах вплоть до конца своей сессии. Прежние сословия перемешались и фактически потеряли былое значение. Руководящую роль в Собрании продолжали удерживать верхушка буржуазии и примкнувшее к ней либеральное дворянство. Все депутаты делились на две большие группировки: правых, занимавших

обычно места справа от председательского стола, и левых, сидевших визави. Места справа заняли реакционные депутаты дворянства и высшего духовенства. К ним примыкали немногочисленные наиболее косные и ограниченные представители бывшего третьего сословия. Лидерами правых были старый прожженный парламентарий д'Эпремениль, аббат Мори, Казалес, Малуэ, Мунье и др. В большинстве своем это были тупые, упрямые реакционеры, не желавшие понимать того, что произошло, и вскоре выброшенные за борт истории. К правым, по существу, примыкал и Мирабо, который, однако, долгое время вел политику лавирования. Левая сторона Собрания включала в свой состав различные группы депутатов, выходцев почти исключительно из третьего сословия. Эти группы, каждая из которых представляла интересы определенных слоев буржуазии, в дальнейшем резко разойдутся по многим вопросам и станут прямо враждебны друг другу. Но пока что все они единодушно выступали против абсолютизма и правых, защищавших его. Левый центр составляла группа так называемых конституционалистов. Ее лидерами были Байи, Сиейс, Ле-Шапелле и др. После июльских дней к этой группе примкнул представитель богатого аристократического рода маркиз Лафайет. Увлекавшийся в юности идеями просветителей, участник войны североамериканских колоний за независимость, этот аристократ с изысканными манерами и репутацией либерала одним из первых высказался за присоединение к третьему сословию и после 14 июля был назначен начальником национальной гвардии. В дальнейшем Лафайет, стремившийся примирить конституционалистов с правыми, сам быстро начал праветь и по мере развития революции скатывался, на все более реакционные позиции. Некоторая часть депутатов левой шла за триумвиратом, в состав которого входили Барнав, Дюпор и Александр Ламет. Левый центр и триумвират представляли различные слои крупной торговой и промышленной буржуазии. Через Ламета они были связаны с колониальными магнатами, владевшими землями и людьми на Гаити и в других подвластных Франции землях. Крайнюю левую группировку, зародыш будущей «горы», составляли немногочисленные представители средней и мелкой буржуазии, тесно блокировавшиеся между собой. Наиболее выдающимися из них были Петион, Бюзэ (будущие жирондисты) и Робеспьер.

В августе — сентябре Робеспьер все чаще показывается на трибуне, и теперь его уже нельзя не заметить. Пренебрегая зловещими выкриками справа, он борется за свободу мнений, неоднократно выступает по отдельным статьям Декларации прав и дает бой своим коллегам по вопросу

о вето.

Прения вокруг вето были особенно бурными и явились прелюдией к событиям 5–6 октября, закончившим версальский период деятельности Собрания.

Решающее большинство депутатов считало, что революция выполнила стоявшие перед нею задачи и главное теперь — умело ее остановить. Это значило прежде всего обуздать трудящиеся массы, не допустить их дальнейшей активизации, устранить их от непосредственного участия в политической жизни страны. Чтобы добиться этого, нужна сила. Такой силой лидеры Собрания считали королевскую власть. Они полагали, что напуганная предшествующим течением революции монархия, с одной стороны, поостережется конфликтовать с крупной буржуазией, утверждающейся у власти, с другой — сможет наилучшим образом осуществлять подавление всего, что будет угрожать или противостоять той же самой буржуазии. Но чтобы королевская власть была достаточно эффективной, ей необходимо предоставить достаточно широкие полномочия и в первую очередь право вето — право отклонить или приостановить любую законодательную инициативу, любой акт учредителей, который мог бы оказаться опасным с точки зрения незыблемости нового строя.

Правые при этом считали, что вето должно быть абсолютным; королевская власть, согласно их мнению, могла полностью отклонить любой законопроект, выдвинутый Собранием. Большинство левых пошло вслед за триумвиратом, оратор которого Барнав также показал себя сторонником вето. В отличие от правых Барнав полагал, что вето должно быть только приостанавливающим, то есть исполнительная власть не вольна полностью отменить закон, но может задерживать вступление его в силу на какой-то определенный срок.

Глашатаем правых на этот раз выступил Мирабо. С обычным жаром, в пространной, тщательно замаскированной левыми фразами речи он доказывал необходимость и благодетельность абсолютного королевского вето, утверждая, что оно является прогрессивной мерой и что без него революция неминуемо погибнет, ибо ничем не сдерживаемое (!) Собрание может стать на путь тирании (!!!). Аббат Мори, Казалес, Мунье и другие лидеры правых восторженно аплодировали деклассированному графу; совсем иначе реагировал народ.

Происходившее в Версале с быстротой молнии стало достоянием столицы. Парижский народ живо интересовался прениями о вето, понимая, против кого направлено острие политики лидеров крупной буржуазии. На

улицах столицы продавали брошюру под заглавием «Великая измена Мирабо». В газете «Народный оратор» появилось предупреждение: «Мирабо, Мирабо, поменьше таланта, побольше добродетели, а не то — на виселицу!» Вместе с тем стали распространяться слухи, отнюдь не лишённые оснований, что двор, используя разногласия, возникшие в Собрании, снова готовится к попытке реванша. Народные агитаторы, выступая в кафе и на улицах, призывали тружеников столицы двинуться всей многотысячной массой в Версаль и оказать воздействие на Собрание при решении вопроса о вето. Так возникла идея похода на Версаль, идея, принесшая плоды в самом недалёком будущем...

Робеспьер, которому не удалось выступить против прославленного оратора правых в Собрании, выступил в печати. Его аргументы были убийственны. Энергично возражая сторонникам абсолютного вето, он заявил, что, полагая, будто один человек может противиться закону, являющемуся выражением общей воли, утверждают, что воля одного выше воли всех. Тогда выходит, что народ — ничто, а один человек — все. Вручая право останавливать законы носителю исполнительной власти, предоставляют возможность связывать волю нации тому, кто обязан её выполнять; боятся злоупотреблений со стороны законодательной власти, но что значит собрание законодателей, избранных на ограниченный срок и подотчётных народу, по сравнению с наследственным монархом, в руках которого сосредоточена огромная власть, который распоряжается и финансами и всеми средствами принуждения? В заключение Робеспьер подчеркнул, что не видит никакой существенной разницы между абсолютным вето и вето приостанавливающим, а потому равно отвергает и одно и другое.

Конечно, пока Робеспьер не мог победить. За исключением нескольких представителей крайней левой, члены Собрания смотрели на вопрос о правах короля совершенно иначе. После жестокой дискуссии победило компромиссное предложение Барнава, согласно которому королю предоставлялось право приостанавливающего вето, при условии, что он немедленно санкционирует решения, принятые до этого Собранием.

Однако подобными выступлениями защитник народных прав не мог не привлечь к себе внимания собратьев-депутатов. Это внимание, разумеется, было далеко не благожелательным. Против радикально настроенного оратора началась настоящая кампания травли. Первыми дали сигнал депутаты-дворяне провинции Артуа во главе с де Бомецом, родственником Бюиссара. Издевались над костюмом Робеспьера, над его внешностью, над его манерой говорить, над самим характером речей. Его называли

«аррасской свечой» и «ублюдком Руссо»; его имя коверкали, а текст речей умышленно искажали в печати. Все это нимало не могло смутить оратора, преданного своим идеалам, и каждый раз, невзирая на свистки и брань, он спокойно поднимался на трибуну, чтобы не менее спокойно высказать то, что думал. Травля усиливалась — он отвечал еще большим спокойствием. И вот Мирабо, лично которому Робеспьер внушал антипатию и который часто задавал тон в издевательствах над ним, высказал свои пророческие слова: «Он далеко пойдет, потому что верит всему, что говорит». Трудно было получить большую похвалу от проницательного врага! Так Максимилиан завоевывал внимание своих могущественных политических противников: хотели того или нет, но они стали его слушать.

Но с особенным вниманием его слушал народ. Простые люди Версаля, которые всегда принимали так близко к сердцу все дела Ассамблеи, уже отметили и полюбили своего защитника. Они не забудут Робеспьера и после того, как расстанутся с ним^[2].

Как-то раз, пересекая улицу святой Елизаветы, Максимилиан столкнулся с человеком, внешний облик которого показался ему удивительно знакомым. Прохожий спешил и не видел Максимилиана. У него были длинные волосы и открытое простодушное лицо. Неужели Камилл?.. Нет, вряд ли... Чем может заниматься Камилл здесь, в Версале? И Робеспьер, делая скидку на свое плохое зрение, решил, что ошибся. Больше об этой встрече он не вспоминал.

Однако зрение не обмануло его. Действительно, Камилл Демулен, воспитанник коллежа Людовика Великого, пылкий народный трибун и один из инициаторов похода на Бастилию, со второй половины сентября находился в Версале.

События мая — июня 1789 года взбудоражили Камилла. Он не мог более усидеть в своей провинции и полетел в Париж. Здесь, без копейки денег в кармане, но полный энергии и юношеского задора, он с головой окунулся в революцию. Две хлесткие брошюры, принадлежавшие его перу, привлекли к нему внимание некоторых лидеров Ассамблеи. Мирабо, часто бывавший в Париже, в середине сентября встретился с Камиллом и беседовал с ним. Мирабо любил молодежь. Человек продажный и развращенный, он ценил непосредственность и искренность чувства. Камилл понравился ему, и он увез его в Версаль.

И тут началась для Камилла жизнь невообразимая, жизнь, которую можно сравнить со сладким кошмаром или одуряющим наркотиком.

Юношу поразило жилище графа, показавшееся ему чудом роскоши и

великолепия. Его смутили тонкие дорогие вина, которые здесь подавались в изобилии, он никак не мог привыкнуть к изысканному столу. Мирабо смеялся над растерянностью своего гостя и награждал его тумакami.

А какое общество здесь собиралось! Какие беседы велись! Камилл не мог прийти в себя от изумления, слыша, как в интимном кругу с циничной ухмылкой Мирабо издевается над теми высокими идеями, которые этим же утром защищал в Собрании.

Затем появлялись женщины. Красивые, раздушенные, напоминавшие своим гордым видом герцогинь и доступные, как вакханки. Мирабо подмигивал робкому Камиллу и учил его жизни. О небо! Иногда, проводя ночи в объятиях какой-нибудь полубогини, юноша вдруг вспоминал о Париже, о народе, о Бастилии... Судорога пробежала по его телу, на один момент становилось невыразимо гадко, но затем все исчезало в сладком кошмаре.

Но больше всего Демулена поражал все-таки сам хозяин дома. Откуда у него берутся силы, откуда эта невероятная мощь? Обычно после дикой ночной оргии, когда сраженный Камилл, обложенный подушками и компрессами, сваливался на весь следующий день, Мирабо с хохотом выпивал рюмку мараскина и шел в Собрание произносить очередную громоподобную речь.

В то время Камилл Демулен молился на Мирабо. Он не старался вникнуть в его политическое кредо. Он не знал, откуда разорившийся граф берет средства для своих непомерных трат. Впрочем, в то время этого еще никто не знал... Лишь два человека относились с явным недоверием к блестящему оратору: Максимилиан Робеспьер и Жан Поль Марат.

Между тем дворец «Малых забав» должен был опустеть. Приближался конец версальского периода Учредительного собрания. Было бы наивным думать, что Людовик XVI и его окружение могли всерьез примириться с новым порядком вещей. Первые эмигранты — граф д'Артуа, ненавистные Полиньяки и ряд других уже покинули Францию. В течение июля — августа двор постепенно оправлялся от шока, полученного в день взятия Бастилии, а король носил трехцветную кокарду, врученную ему народом. В сентябре учредители расшаркались перед Людовиком, преподнеся ему право приостанавливающего вето, право надолго отсрочить любой законодательный акт Собрания. Это обстоятельство подбодрило нерешительного монарха, которого торопила Мария-Антуанетта — «единственный мужчина» в королевской семье, по острому выражению Мирабо, — торопила и вся придворная камарилья. Двор, видя

покладистость депутатов и зная о серьезных разногласиях, существовавших между ними, решил, что настало время действовать.

14 сентября король, не доверявший более версальским воинским частям, вызвал фландрский полк, стоявший в Дуэ. 1 октября в оперном зале королевского дворца был дан торжественный банкет в честь офицеров этого полка. Офицеров обласкали и напоили. Королева пленяла их своей красотой, придворные — дружеским обращением. В разгар торжества появился король, державший на руках маленького наследника престола. В порыве верноподданнических чувств пьяные офицеры топтали революционные кокарды и давали страшные клятвы.

Обо всем этом, конечно, вскоре узнал Париж. Снова ожила идея похода на Версаль, причем на этот раз она вызвала такой единодушный энтузиазм, что никакие силы не могли помешать ее осуществлению. Обеспокоенный судьбой революции, голодный и измученный народ хорошо помнил июльские дни. Теперь победители Бастилии вновь должны были взять инициативу в свои руки, и они были готовы к этому. Жан Поль Марат — пламенный обличитель, бесстрашный вождь парижской демократии — в своей газете «Друг народа» прямо призывал народ к вооруженному походу с целью срыва контрреволюционных приготовлений двора. И вот 5 октября несметные толпы парижан — одних женщин насчитывалось более шести тысяч, — захватив пушки и боеприпасы, двинулись по размытым дорогам в грандиозный поход на резиденцию короля. Начальник национальной гвардии маркиз Лафайет не на шутку струхнул. Он долго колебался, нужно ли ему защищать народ от короля, или короля от народа, пока крики «На фонарь!» не решили исход дела и не заставили его вместе с отрядом национальной гвардии примкнуть к движению. Правда, он оказался в хвосте событий и прибыл в Версаль значительно позже, чем основные массы демонстрантов. В пятом часу дня промокшие от дождя и грязи голодные парижане окружили королевский дворец. На следующее утро произошло столкновение с королевской стражей. Народ ворвался во дворец; король и его семья фактически оказались в плену. Перепуганный Людовик XVI дважды выходил на балкон дворца в сопровождении Лафайета. Теперь он поспешил подписать Декларацию прав и августовское аграрное законодательство, в чем до сих пор отказывал Собранию, и по требованию возбужденных масс в тот же вечер окруженный многотысячной толпой переехал в Париж.

Так парижская беднота снова сказала свое слово, снова предотвратила страшную грозу, нависшую над революцией. Вслед за двором покинуло Версаль и Учредительное собрание.

Холодный осенний ветер рвал ветхую обшивку кареты. Максимилиан зябко кутался в плед. Снова Париж! Прощай, гостеприимный Версаль, прощайте, «малые забавы»... Что-то ждет впереди?

Полузакрыв глаза, он мысленно проходил свой путь от мая до октября.

...Провинциальный адвокат с холодной внешностью и горячим сердцем приехал из Арраса, полный общих идей, воодушевленный желанием бороться за благо народа, но еще не зная ни путей, ни общей обстановки этой борьбы. Он сразу попал в чуждую среду, окунулся в гущу сложных и противоречивых событий. Было от чего растеряться! В прошлом он знал трибуну аррасского суда или аудиторию заштатной академии; теперь его аудиторией стала вся страна. Прежний успех у себя дома дался ему не без борьбы, но эта борьба была ничтожно легкой по сравнению с тем, что он увидел и почувствовал в Версале. Новую трибуну нужно было завоевать в ожесточенном повседневном бою с прожженными демагогами, популярнейшими авторитетами, кумирами толпы, которая их еще не раскусила. Не мудрено, что молодой аррасский депутат в этой сложной обстановке не вдруг нашел и проявил себя. Он прежде всего зорко всматривался в то, что происходило вокруг него, он старался все понять и по достоинству оценить.

Конечно, и сейчас, в начале своего политического пути, Робеспьер не был сторонним наблюдателем. Он горячо спорил уже во время обсуждения порядка заседаний при проверке депутатских полномочий, он участвовал в клятве, данной в зале для игры в мяч, и даже был одним из составителей текста этой клятвы, он эскортировал короля в Париж и побывал в освобожденной народом Бастилии, наконец он горячо выступал в Собрании в августе — сентябре 1789 года. И, однако, прежде всего в этот период он не действовал и не выступал, а учился. Это время было для Максимилиана временем политической учебы, временем осмысления событий начала революции, временем, когда он определял и продумывал свой дальнейший жизненный путь. Его не сломили первые неудачи — он был готов к ним. Его не отшатнула злоба — он ждал ее. Он уже испытал и едкую горечь поражения и первую радость победы. Он уже угадывал, что судьей и его дел, и его речей, и его самого будет не король, не министры, не товарищи по Собранию, а единственно народ, тот самый народ, во имя которого он решил биться без страха и упрека и которому готов был отдать весь свой талант, все свое честолюбие, всю свою жизнь — до последнего вздоха.

Глава 7

Снова Париж

Столица встречала Максимилиана неласково. Ветер поминутно срывал шляпу, дождь промочил до нитки, кругом двигались угрюмые, занятые своими делами люди.

Он чувствовал себя одиноким, потерянным. Он плохо знал Париж. Здесь у него никого не было. Когда-то, очень давно, в первые годы учебы, Максимилиан посещал, правда, один дом, где его принимали с охотой и любовью. Это был дом Лароша, настоятеля собора Парижской богородицы, дальнего родственника семьи Робеспьеров. Ларош с большой сердечностью относился к Максимилиану, и юноша в те годы смотрел на него как на отца. Но добрый Ларош давно спит в могиле, жилище его занято чужими людьми, осталась только память. Былого не воскресишь. Надо срочно искать пристанище. Долго квартировать в гостинице при своих скудных средствах он не может.

Первые свои заседания после переезда Ассамблея проводила в здании архиепископского дворца; потом законодатели осели в большом Тюильрийском манеже, близ резиденции короля.

Максимилиан и не помышлял о постоянном жилище в районе Тюильри. Это было бы, конечно, очень удобно, но квартира в центре стоила дорого и найти ее было трудно. После небольших колебаний Робеспьер поселился вдали от места своей работы, в квартале Марэ, на улице Сентонж, в доме № 30. Здесь он снял пополам с одним молодым человеком маленькую и плохонькую квартирку, которая, впрочем, его вполне устроила. Соседа звали Пьер Вилье. Он готовился к военной службе и, редко бывая дома, ничем не стеснял Максимилиана. Напротив, последний иногда прибегал к его помощи, поручая ему переписку своих речей и разную мелкую работу.

Жизнь в столице была дорогой и хлопотливой. Максимилиан, никогда не имевший лишних денег, в первые месяцы своего пребывания в Париже сильно бедствовал и опять, как некогда в годы учения, отказывал себе в выходном костюме. Половину депутатского оклада он посылал сестре в Аррас; не дешево обходились ресторанные завтраки и обеды; остаток средств поглощали корреспонденция, покупка газет и оплата услуг Вилье.

Впрочем, отсутствие денег не смущало Максимилиана. Гораздо

больше его беспокоило отсутствие времени. Если в бытность свою аррасским адвокатом он имел очень небольшие досуги, то теперь их не находилось вовсе. Учредительное собрание отнимало у него почти весь день, оставляя лишь перерыв на обед, демократические клубы — весь вечер до одиннадцати-двенадцати часов, так что, уходя из дому ранним утром, он возвращался лишь поздней ночью. А ведь нужно было еще регулярно просматривать газеты и другие материалы, писать письма, отвечать на различные запросы, подготавливать статьи для прессы, встречаться с людьми, нужно было, наконец, — и это требовало особенно много времени — составлять тексты выступлений для следующего дня. При этом всегда верный себе Максимилиан относился с исключительной серьезностью к каждому из своих дел, ничего не откладывая, ничем не пренебрегая: среди тысячи забот он не забывал вовремя отправить деньги сестре и тщательно напудрить волосы, написать другу в Аррас и правильно завязать батистовый галстук, вдумчиво ответить на очередной пасквиль и отутюжить свой старый оливковый фрак. И вот в противовес многим своим коллегам вроде Талейрана или Ле-Шапелье, которые, притомившись за день, коротали вечера и ночи в казино или публичных домах, манкируя следующими заседаниями Собрания, стойкий аррасец часто проводит свои бессонные ночи за письменным столом, с тем чтобы ранним утром снова быть во всеоружии идей и аргументов. Неудивительно, что вскоре его лицо еще более побледнеет, глаза ввалятся и засверкают лихорадочным блеском: страшное напряжение должно было оставить следы, которых не могли снять ежедневные принудительные прогулки от улицы Сентонж до Тюильрийского дворца и обратно. Эти прогулки он, впрочем, ценил не только потому, что во время них мог дышать воздухом и отвлекаться от постоянных мыслей. Они знакомили со столицей, с жизнью и настроениями тех людей, во имя интересов которых Максимилиан вел свои баталии в Учредительном собрании.

Как ни плохо знал Робеспьер Париж, от взгляда его не могли укрыться те перемены, которые произошли здесь за последние восемь лет.

Этот огромный город с полумиллионным населением рос точно на дрожжах. Правда, центр с его прекрасными памятниками архитектуры, замечательными дворцами, соборами и парками почти не менялся. Зато окраины и предместья ежегодно обрастали десятками новых зданий. Париж лихорадочно строился. Появилась особая категория буржуа-домовладельцев, которые воздвигали дома исключительно для того, чтобы сдавать их в наем. Максимилиан постоянно обращал внимание на многолюдность улиц и площадей, где царила нескончаемая пестрая

сутолока, почти одинаковая и ранним утром и поздним вечером.

Париж недаром стоял в авангарде городов страны. Изделия его мануфактур славились далеко за пределами Франции. Обслуживая преимущественно двор, крупных финансистов, богатых дворян и высшее духовенство, столичная промышленность изготовляла главным образом предметы роскоши: газ, кружева, ленты, шелковые материи, ювелирные изделия, позументы, парфюмерию. Большой известностью пользовались королевские мануфактуры гобеленов и ковровых тканей, а также предприятия, производившие художественную мебель. Кроме того, в Париже были чулочно-вязальные мастерские, фарфоровые, фаянсовые и обойные фабрики, свечные заводы, пивоварни, бумагопрядильни, кожевенные и красильные предприятия, столярные мастерские, каретные заведения; видное место занимало производство строительных материалов. При этом, однако, крупные капиталистические мануфактуры с ручным или машинным трудом были исключениями. Подавляющее число предприятий Парижа представляло мелкие мастерские, насчитывавшие всего лишь по нескольку человек рабочих.

Естественно, что парижский пролетариат был невелик, составляя немногим более четверти занятого в производстве населения. К нему примыкали строительные рабочие — землекопы, каменщики, плотники, маляры, состоявшие из пришлого деревенского элемента, скопьявшегося в Париже с весны и снова уходившего с наступлением холодов. По-прежнему запевалями в хоре трудового люда были ремесленники, связанные с остатками средневековых цехов, продолжавших еще сохранять господство в некоторых отраслях производства.

Максимилиан знал об исключительно тяжелом положении парижского пролетариата. Вынужденный работать по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки, мануфактурный рабочий получал не более двадцати-тридцати су в день, между тем как на хлеб и муку в 1789 году ему приходилось ежедневно тратить не менее восемнадцати су, на все же остальные потребности семьи рабочего оставалось чистых семь су (около восемнадцати копеек) в день! Не мудрено, что рабочие часто возмущались, организовывали стачки и поднимали восстания.

Специфической чертой Парижа конца XVIII века было наличие значительной прослойки мелкой буржуазии. В ее состав входили владельцы карликовых предприятий, небогатые лавочники, рыночные торговцы, собственники харчевен и постоялых дворов. Эти элементы имели в Париже, несомненно, гораздо больший социальный удельный вес, нежели крупная торгово-промышленная буржуазия. Фигура мелкого

буржуа, типичного для Парижа, характерна своей демократичностью. Небогатому мастеру или скромному владельцу крохотной лавки мало знаком антагонизм между трудом и капиталом, неизбежный на крупных капиталистических предприятиях. Такой мелкий буржуа вместе с рабочим и подмастерьем страдает от притеснений власть имущих, от нехваток продовольствия и отсутствия хлеба, он полон негодования против тех, кто, купаясь в роскоши, мешает жить простому народу. Неудивительно, что эти люди выступают в одних рядах с пролетариатом и в день 14 июля, и в дни 5–6 октября, и позднее во всех классовых битвах революционного Парижа.

Интересы и чаяния мелкой буржуазии были особенно близки и понятны Максимилиану Робеспьеру, — верному ученику и последователю великого народника Жан Жака Руссо.



Робеспьер в 24 года (с портрета, принадлежавшего семье Робеспьеров).



Жан Жак Руссо в последние годы жизни.

Главными объектами внимания Максимилиана, если не считать его работы в Учредительном собрании, постоянно оставались пресса и клубы.

Пресса была рождена революцией. В течение лета 1789 года появилось огромное количество газет, журналов и листов, выходивших ежедневно, еженедельно и ежемесячно, продававшихся и высылавшихся по подписке, раздававшихся бесплатно и расклеивавшихся на стенах домов столицы. Газеты различных партий и группировок боролись за общественное мнение, стремились овладеть им или подчинялись ему. Иные листки, выйдя

раз или два, затем закрывались; некоторые влачили жалкое существование в течение более длительного времени; были, однако, газеты, популярность которых, возрастая изо дня в день, обеспечивала самую широкую известность как им самим, так и их издателям.

Максимилиан хорошо помнил книгу Марата, с которой ему впервые пришлось столкнуться в годы студенческой жизни. Имя Марата, как журналиста-революционера крайних убеждений, несколько раз называлось в Версале. Теперь в Париже Робеспьер увидел, что автор «Плана уголовного законодательства» стал едва ли не самым известным вождем и глашатаем широких слоев трудящегося народа.

Талантливый врач и физик, Жан Поль Марат во имя революции отказался от научной карьеры и обеспеченной спокойной жизни, чтобы весь свой темперамент, талант, свой мозг и сердце отдать делу народа. Сила его духа была поразительна. Однажды, в ранней юности подвергнутый несправедливому наказанию, он в течение двух дней отказывался от пищи; запертый в комнате, он выбросился в окно и получил при падении рану, оставившую рубец на всю жизнь. Биться до последнего, но не сдаваться — таков был его девиз. Марат раньше других деятелей революции сумел заглянуть в будущее и сквозь мишуру громких слов буржуазных вождей Учредительного собрания зорко разглядел подготавливавшееся ими предательство. На страницах своей газеты «Друг народа» Марат бичевал двойственную политику Байи и Лафайета и открыто обвинял в измене действительно, продавшегося двору Мирабо. Вместе с тем, одинаково громивший и правых и левых, он верно оценил Робеспьера, проникся к нему большим уважением и воздавал ему должное как журналист, называя его в печати достойным и непоколебимым. Правительство и лидеры крупной буржуазии одинаково боялись и ненавидели Друга народа, всячески преследовали его и неоднократно заставляли уходить в подполье.

Среди прочих газет Максимилиан обратил внимание на «Французского патриота». Газета показалась ему серьезной, и он стал читать ее регулярно. Его интерес возбудило и имя издателя: Бриссо де Варвилль. Бриссо!.. Действительно он где-то слышал это имя, но где же?.. Максимилиан вспомнил обстоятельства своего знакомства с Бриссо лишь тогда, когда однажды лично встретился в клубе с издателем «Французского патриота».

Да, это было давно, почти десять лет назад... По окончании университета юный Робеспьер проходил практику у прокурора парижского парламента господина Нолло. Там-то он и встретился с молодым писмоводителем, который так много рассказывал ему о своих

путешествиях и приключениях. Сын трактирщика, прошедший молодость в шумном водовороте наполненной авантюрами жизни, Бриссо мечтал стать писателем. Он был красноречив и талантлив. Однако он не понравился в то время Максимилиану. Бегающий взгляд его черных глаз казался неуловимым, во всей его внешности было что-то грязноватое, неопрятное. Таких людей аккуратный Робеспьер всегда старался избегать.

В данном случае он не ошибся. Бриссо оказался человеком неопрятным не столько физически, сколько морально. Двухликий демагог, долго рядившийся в одежды республиканца и демократа, он не был, как показало время, ни тем, ни другим. Его «Французский патриот» провозглашал идеи, от которых их автор впоследствии стал отрекаться. Сейчас ему нужна была популярность, и он завоевывал ее всеми возможными средствами.

И еще одно знакомое имя, прочитанное под заголовком газеты, напомнило Максимилиану о далеких, безвозвратно ушедших годах. Это имя задевало самые чувствительные струны его души, ибо оно принадлежало человеку, который был с ним дружен в дни его поисков правды жизни, в дни, когда он открыл учителя.

Максимилиану показалось, что он мельком видел Камилла Демулена в Версале; теперь у него не оставалось сомнений в том, что его школьный приятель находится в Париже и преуспевает.

Действительно, газета Демулена «Революции Франции и Брабанта» раскупалась нарасхват. Острый, едкий и одновременно шуточный стиль, — которым превосходно владел начинающий журналист, очень нравился парижанам. Кроме того, издателя «Революций» теперь хорошо знали: ведь это был самый горячий из агитаторов Пале-Рояля, бесстрашный трибун, указавший народу на Бастилию! Камилл называл себя «главным прокурором фонаря». В своей газете и брошюрах он издевался над двором и даже — этим он особенно гордился — сумел заслужить ненависть Марии-Антуанетты.

Робеспьер с интересом перечитывал творения Камилла. Он не мог не поддаться обаянию пера своего старого приятеля, но вместе с тем он слишком хорошо помнил его. Читая между строк, Максимилиан чувствовал, что юный трибун любит революцию любовью, слишком похожей на опьянение. Восторженность Камилла не знала меры. А хватит ли у него стойкости и принципиальности, когда родина потребует серьезных жертв?

Старые знакомые Максимилиана встречали своих единомышленников

не только в кафе или редакциях газет: все они были связаны с народными клубами, которые начинали играть в Париже все более видную роль.

Особенно демократичным и по составу членов и по идеям, высказываемым с его трибуны, был клуб, основанный в апреле 1790 года на территории старой кордельерской церкви и получивший название «Общества друзей прав человека и гражданина». В обиходе его называли просто клубом Кордельеров. Членские взносы здесь были низкими, а потому зал заседаний был всегда переполнен до отказа. Марат и Демулен были завсегдатаями клуба Кордельеров. Здесь же завоевывал свою будущую популярность оратор с громовым голосом и телом атлета, пока что безвестный провинциальный адвокат Жорж Жак Дантон.

Наибольшей известностью пользовался, однако, Якобинский клуб, которому суждено было стать своеобразным барометром революции. Клуб этот, ранее называемый Бретонским, переехал в Париж вместе с Учредительным собранием. Ему удалось получить помещение неподалеку от места заседаний Собрания, на улице Сент-Оноре, в библиотеке монастыря, принадлежавшего ордену монахов-якобинцев. Здесь клуб был переименован: он стал называться «Обществом друзей конституции», или, в просторечии, Якобинским клубом. Вначале состав клуба был далеко не демократичным: наряду с депутатами в него входили только зажиточные парижане — адвокаты, врачи, писатели, богатые мастера и купцы. Высокий членский взнос ограждал заседания клуба от неимущих масс. Во главе его стояли лидеры различных группировок Собрания, от Мирабо и Лафайета до Петиона и Робеспьера. Сила Якобинского клуба базировалась в значительной мере на его широко разветвленной сети филиальных организаций в провинции, число которых увеличивалось с каждым месяцем. Популярности Якобинского клуба немало способствовало то обстоятельство, что члены клуба заранее обсуждали вопросы, которые затем выносились в Национальное собрание.

Робеспьер не пропускал ни одного заседания клуба. Здесь он репетировал свои речи, прежде чем выйти на трибуну Ассамблеи, здесь он находил друзей и низвергал врагов. И по мере того как, меняя свой состав, клуб станет принимать все более демократический облик, Робеспьер из рядового члена будет превращаться в любимого оратора и вождя якобинцев.

Как-то раз, в июне 1790 года, читая газету Демулена, Максимилиан обнаружил, что его школьный приятель вспомнил о нем, но только лишь для того, чтобы присочинить на его счет анекдотец в развитие мыслей,

излагаемых на страницах «Революций»: автор приписывал аррасскому депутату слова, с которыми тот якобы обратился к толпе в Тюильрийском саду, осуждая один из декретов Собрания.

Максимилиан действительно вел в это время очень напряженную борьбу против реакционных постановлений Ассамблеи. Он выступал и против упомянутого Демуленом декрета, но только в стенах Собрания. То обстоятельство, что журналист искажил его слова и как бы приписал ему погоню за дешевой популярностью, глубоко возмутило строгого Максимилиана, крайне дорожившего своей репутацией. Он тотчас же решил проучить дерзкого мальчишку и написал ему холодно-официальное письмо с требованием восстановить правду. Письмо начиналось словами:

«Сударь, в последнем номере вашей газеты...» Ответ Демулена сразу обезоружил чопорного любителя истины. Обещая исправить недоразумение, Камилл вместе с тем горячо укорял старого приятеля за его холодность и забывчивость.

«Твое письмо, милый Робеспьер, написано с достоинством и важностью сенатора, оскорбляющими чувства школьной дружбы. Ты по праву гордишься званием депутата Национального собрания. Эта благородная гордость мне нравится, и мне жаль, что не все, как ты, чувствуют свое достоинство. Но все же ты должен был приветствовать своего старого товарища хотя бы легким кивком головы. Я тебя не меньше люблю за то, что ты остаешься верен своим принципам, хотя и не столь верен остался ты дружбе...»

Читая это письмо, Максимилиан почувствовал, как краснеют его щеки. Да, Камилл давал ему хороший урок. Он не забыл старой дружбы. Надо показать, что депутат Национального собрания не более горд и заносчив, чем воспитанник коллежа Людовика Великого.

И Максимилиан стал искать встречи с молодым журналистом. Встреча состоялась. Робеспьер с сердечной улыбкой раскрыл объятия, и Камилл со слезами на глазах упал ему на грудь.

После этого они стали встречаться так часто, как позволяло время. Максимилиан убеждался, что Камилл все такой же, каким был двенадцать лет назад. Он так же легко смотрел на жизнь и был по-прежнему беспечен. Он рассказал товарищу о своем увлечении Мирабо. Теперь это уже прошло. Теперь он был очарован Барнавом. Но, кроме всего, или, вернее, больше всего, он увлекался сейчас одной юной особой, прелестнее которой не было на свете и из-за которой он был готов забыть все остальное. Обольстительницу звали Люсиль Дюплесси. Она принадлежала к хорошей

семье, и Камилл уже сделал ей формальное предложение, но...

Тут Камилл чуть не заплакал от горя. Родители невесты требовали церковного брака. А кто разрешит ему, атеисту и богохульнику, издевавшемуся над святыми и обливавшему помоями священников, кто разрешит ему церковный брак? Влюбленный безбожник пошел было во все тяжкие. Он явился к кюре церкви святого Сульпиция и с сокрушенным видом стал просить благословения. Кюре усомнился в том, что перед ним добрый католик, и в благословении отказал.

Максимилиан, сочувствуя бедному страдальцу, вместе с тем едва удерживался от смеха. Слишком уж комичной была ситуация! Как-то выпутается легкомысленный Камилл из этой беды? Впрочем, познакомившись с Люсилью, Робеспьер не мог не одобрить выбора своего друга.

Бракосочетание все же состоялось. Все устроил добрый старый аббат Берардье, бывший директор коллежа Людовика Великого. Берардье взял шефство над своим прежним воспитанником, последний поклялся в будущем воздержаться от безбожия и... исповедался в своих прежних грехах.

29 декабря 1790 года в церкви святого Сульпиция при большом стечении народа произошел торжественный обряд. Свидетелями церковного брака Демулена были Бриосо, Робеспьер и Петион. Максимилиан чувствовал себя плохо и был страшно зол на своего друга, впутавшего его в эту историю. Никогда не страдая ханжеством, Максимилиан вместе с тем никогда не хвалился своим атеизмом. Ему была глубоко противна разыгрывающаяся комедия и показное смирение Камилла. В особенности вознегодовал он, когда жених, якобы потрясенный трогательной проповедью Берардье, стал выдавливать из себя слезы.

— Не плачь, лицемер, — сердито прошипел он на ухо размякшему Демулену.

Вскоре после свадьбы счастливый супруг возобновил свои выпады против духовенства, но теперь они стали много яростнее и сильнее, чем были прежде.

События, связанные с женитьбой Камилла, немного встряхнули Максимилиана и отвлекли его от обычных повседневных дел. Дела эти между тем осложнялись, приобретая характер, явно угрожающий завоеваниям демократии.

Борьба в Учредительном собрании достигала своей кульминации.

Революционные действия народа 5–6 октября 1789 года не могли не повлиять на настроения буржуазной Ассамблеи и на ее состав. Прежде всего потеряла былое значение крайняя правая Собрания. Многие ее члены перестали посещать заседания, а лидеры пустились в «бега». Уже непосредственно после октябрьских событий эмигрировали Мунье и Лальи-Толлендаль; позднее покинули страну такие вожаки правой, как аббат Мори и Казалес. Одновременно значительно подались вправо конституционалисты — Лафайет, Байи, Ле-Шапелье, Сиейс и их единомышленники. Главным лидером конституционалистов стал Мирабо, вступивший в тайные связи с двором. Получая крупные деньги из королевской казны и добившись той пышной роскоши, о которой он всегда мечтал, Мирабо, по существу, рассчитывал на возможность удержания Франции в рамках либерального конституционно-монархического режима; себе лично при этом он стремился обеспечить главенствующую роль в новом государстве крупных собственников.

Большая часть левой Учредительного собрания во главе с Барнавом, Шарлем Ламетом и Дюпором постепенно скатывалась на все более умеренные позиции. Левые часто и много шумели на заседаниях, щеголяя демократическими фразами; Барнав неоднократно схватывался в жарких стычках с Мирабо, вызывая аплодисменты толпы; однако, по существу, во всех важных вопросах триумвират и связанные с ним группировки объединялись с конституционалистами, создавая этим более или менее устойчивое большинство Собрания, проводившее вполне определенную и недвусмысленную политику. И — характерная деталь: едва успел сойти со сцены Мирабо, который умер, истощенный дебошами и оргиями, в начале апреля 1791 года, как его место в Собрании тотчас же занял «левый» Барнав.

Итак, правые и левые сближались, координируя свои планы и действия. Вследствие этого положение тех немногих смельчаков, которые отваживались защищать в Собрании права народа, стало критическим. Им приходилось вести борьбу не на жизнь, а на смерть, не видя впереди сколько-либо ощутимых перспектив.

Но они не собирались сдаваться. Робеспьер, который шел в их авангарде, призывал к стойкости и принципиальности. Теперь он чувствовал, что его слышит и одобряет революционный Париж, Париж, который становился родным и близким...

И в противовес многим другим он уже хорошо видел будущее.

— Напрасно вы рассчитываете при помощи мелких шарлатанских уловок руководить ходом революции, — холодно предрекал он

торжествовавшему большинству. — Вы, как мелкие букашки, будете увлечены ее неудержимым потоком; ваши успехи будут столь же мимолетны, как ложь, а ваш позор будет вечным, как истина!..

Глава 8

Неподкупный

— А сейчас слово предоставляется записанному на очередь депутату Роберту Пьеру, — объявил с насмешливой улыбкой секретарь Ассамблеи.

— Это не мое имя, — громко говорит худощавый человек в оливковом фраке, пробиваясь под дружный хохот к ораторской трибуне.

— Не ваше? Простите, здесь неразборчиво написано... Выступать будет господин Робетспьер! — Хохот, сопровождаемый свистками и злобными выкриками, усиливается...

— Мое имя Робеспьер, — еще раз невозмутимо поправляет депутат в оливковом фраке и решительно взбирается на трибуну.

...Сколько злобы, ненависти, брани и ядовитых насмешек ему пришлось пережить за эти полтора-два года! Иногда его не допускали к трибуне, иногда устраивали обструкции. Каждый раз, когда приходила его очередь говорить, он, хотя и хорошо знал Свою речь, испытывал невыразимый страх. Но мужество побеждало слабость. О его страхе никто не догадывался. На трибуне он был неизменно спокоен.

И он говорил, говорил, говорил, разбивая своим Словом те ледяные стены, которые воздвигали вокруг него, сокрушая тех размалеванных идолов, которые стояли на его пути.

Слово было его силой, его могуществом, его славой. И слово принесло ему второе имя, созданное народом и неразрывно слившееся с ним в веках: он стал Неподкупным.

Главные законодательные акты, принятые Учредительным собранием, пришлись на время между октябрём 1789 года и июнем 1791 года.

Прежде всего мужи Собрания поспешили закрепить те успехи, которые были вырваны у абсолютизма в результате предшествующей борьбы и которые должны были юридически обосновать новое положение буржуазии. Декретируя то, что уже в версальский период установилось явочным порядком, Собрание отменило старое деление на сословия. Был упразднен институт наследственного дворянства; прежним дворянам запрещалось пользоваться родовыми титулами и гербами. Буржуазные законодатели устранили все прежние ограничения, мешавшие свободному развитию промышленности и торговли, уничтожили старые феодально-абсолютистские учреждения, в первую очередь парламенты, провели новое

административное деление страны. Было ликвидировано исключительное положение духовенства. Конфискованные церковные земли объявили национальными имуществами и пустили в продажу. Церковные должности становились выборными, а священнослужителей обязали давать присягу конституции.

Все эти акты, изданные в развитие соответствующих положений Декларации прав, должны были обеспечить формальное равенство граждан перед законом.

Однако почти одновременно, в явном противоречии с той же Декларацией прав, были проведены декреты, нарушавшие даже это формальное равенство.

23 октября в зал заседаний ввели бедного крестьянина, старика в возрасте 121 года. Потомственный крепостной, он хорошо помнил век «короля-солнца» Людовика XIV, время регентства, правление «многолюбимого» Людовика XV. Все эти долгие годы, при всех блестящих правителях он неизменно стонал под ярмом крепостной неволи. Теперь, в глубокой старости, этот седобородый труженик приехал в Париж из далекой провинции, чтобы возблагодарить народ и законодателей за отвоеванную свободу. Потрясенное Собрание единодушно аплодировало старейшему сыну французского народа. Он шел нетвердым шагом, поддерживаемый своими внуками. Его усадили в кресло против председательского бюро и оказали честь, как королю: заставили надеть шляпу, в то время как депутаты с непокрытыми головами стоя приветствовали его. Старик молчал, только крупные слезы катились по его увядшим щекам. «Будьте счастливы, — сказал ему председатель, — глядя на отечество, ставшее свободным!»

Во истину трогательная картина! Законодатели, вероятно, забыли в этот момент, что всего несколько дней назад они приступили к изданию первых антинародных законов, которые должны были начать собой цепь репрессий против потомков приветствуемого ими сегодня патриарха тружеников.

Действительно, декреты, принятые Собранием в октябре — декабре 1789 года, лишали избирательных и иных политических прав всю массу неимущего и малоимущего населения страны, которое произвольно зачислялось в категорию так называемых пассивных граждан. Активными гражданами была признана лишь верхушка налогоплательщиков, составлявшая около одной шестой всего населения страны!

Вместе с тем буржуазные законодатели стремились застраховать себя от возможности новых народных выступлений. Народ вынес на себе вею

тяжесть революции, довел ее до нужного предела, и достаточно! И вот 21 октября 1789 года под свежим впечатлением от недавних событий был утвержден так называемый военный закон, согласно которому муниципальным властям разрешалось применять военную силу и даже открывать огонь в случаях «незаконных сборищ».

Кроме этого закона, жители сел и деревень почти ничего не получили от Собрания. Новые постановления, правда, запрещали помещикам захваты общинных земель, однако они не касались уже произведенных выделов. Крестьянам предписывалось неукоснительное выполнение всех «реальных повинностей» впредь до их выкупа. Порядок выкупа был сложен и крайне невыгоден для крестьян, а выкупные платежи оставались настолько высокими, что превращали возможность освобождения от повинностей для подавляющей массы крестьян в чистую фикцию. В угоду предпринимателям Собрание нанесло удар и оживившемуся в эти годы рабочему движению. 14 июня 1791 года по предложению Ле-Шапелье был принят декрет, запрещавший объединение рабочих в союзы и стачечную борьбу.

Венцом буржуазного законодательства Учредительного собрания была конституция 1791 года.

Конституция торжественно провозглашала принцип верховенства нации. Высшая законодательная власть вручалась Законодательному собранию — однопалатному органу, избираемому сроком на два года. Главой исполнительной власти являлся король, назначавший министров и высших военачальников и наделенный правом приостанавливающего вето. Личность короля объявлялась неприкосновенной; ответственности перед Собранием подлежали только агенты исполнительной власти — министры. Выборы в Законодательное собрание были двустепенными, правом избирать и быть избранными как в Собрание, так и в любой другой административный или муниципальный орган пользовались лишь активные граждане. Конституция не разрешала аграрного вопроса и узаконивала рабство, существовавшее во французских колониях.

Робеспьер в течение всего этого периода выступал неизменно в одном и том же плане. Его основная мысль была предельно проста.

Он требовал, чтобы законодатели последовательно и полно применяли в конституции принципы Декларации прав, а не противоречили этим принципам буквально на — каждом шагу; чтобы новые законы, издаваемые именем свободы и равенства, не угнетали этой свободы и не нарушали равенства во благо горстки богачей и в ущерб основной массе тружеников;

чтобы политические права граждан не связывали с их имущественным положением. Все его речи этого периода, — а выступал он только в 1790 году более восьмидесяти раз, — были посвящены борьбе за народные права и за улучшение жизни народа.

Не было, пожалуй, другой проблемы, которая так волновала бы Максимилиана, как всеобщее избирательное право. Он молчал, когда обсуждали и низвергали привилегии дворянства, его голоса почти не было слышно во время проведения торгово-промышленного законодательства или административной реформы. Но как только всплывал вопрос об избирательном праве, об активных и пассивных гражданах, о цензе, он тотчас же устремлялся к трибуне и готов был до иступления спорить с лидерами различных партий и группировок. Положение аррасского депутата было весьма сложным, так как поддерживали его точку зрения очень немногие; даже его верный соратник Петион расходился с ним по вопросу о цензе. И тем не менее, борясь иногда почти в полном одиночестве, Робеспьер продолжал бороться; не ограничиваясь выступлениями в Собрании, он развивал свои идеи в Якобинском клубе и в печати.

Максимилиан указывал на чудовищное противоречие между постановкой проблемы ценза в будущей конституции и высокими принципами Декларации прав, из которых конституция должна исходить.

«...Закон есть выражение общей воли, говорится в Декларации; но как это возможно, если огромное большинство тех, для кого он создается, никаким способом не могут повлиять на его, издание?.. Самодержавие народа, о котором говорит Декларация прав, — пустая формула, когда большинство этого народа оказывается лишенным политических прав, которые как раз неразрывно связаны с народным самодержавием...»

Робеспьер гневно опровергал аргументы сторонников ценза, пытавшихся доказать, что неимущие и малоимущие труженики не могут быть заинтересованы в разумном управлении государством, так как они якобы не владеют ничем, что нуждалось бы в защите и охране законов.

«...Как можно, говорите вы, предоставить все права гражданина тому, кто ничего не имеет и кому нечего, следовательно, терять. Нечего терять! Как лжив этот безумно надменный язык! Как несправедлив он перед лицом истины! По-видимому, люди, о которых вы говорите, живут среди нас безо всяких средств к существованию; иначе, если эти средства у них есть, то у них есть, мне кажется, и что терять и за что держаться. Да, эта грубая одежда, покрывающая меня, это убогое наемное жилище, в котором

протекает моя мирная и уединенная жизнь, скромный заработок, на который я кормлю жену и детей, — да, я признаю, что это не земли, не замки, не экипажи; что с точки зрения роскоши и богатства это может считаться «ничем», но с точки зрения прав человека — это не ничто, а священная собственность, столь же священная, без сомнения, как и блестящие имения богачей». Не возражая против частной собственности, напротив, признавая ее священной и неприкосновенной, Максимилиан вместе с тем порицает крупных собственников и резкое неравенство состояний. Впрочем, по его твердому убеждению, это неравенство не может иметь влияния на политические и гражданские права человека.

Он возражает своим оппонентам, утверждающим, что бедняка легко подкупить и тем сделать его опасным для общества. Ведь интересы народа совпадают с интересами общества. Не без горечи напоминает он о событиях начала революции.

«...Разве богачам и важным господам обязаны вы тем славным восстанием, которое спасло Францию и вас? Разве солдаты, сложившие свое оружие к стопам встревоженного отечества, не были из народа? А офицеры, которые вели их против вас, к каким классам принадлежали они? Боролся ли тогда народ для того, чтобы помочь вам защищать его права и его достоинство, или для того, чтобы дать вам власть лишить его их? Для того ли он сверг иго феодальной аристократии, чтобы подпасть под иго богачей?»

Никто не в силах был бы оспорить справедливость этих слов. Но могли ли согласиться с ними и принять их те самые богачи, сидевшие на скамьях Собрания, против которых они были направлены?.. Однако резюме этой горячей апологии тружеников: «Интерес народа — общий интерес, интерес богатых — частный интерес» — будет огненными буквами вписано в грядущие судьбы революции.

Этими же мыслями были проникнуты выступления Робеспьера о составе национальной гвардии и о демократизации регулярной армии. Учредительное собрание провело декрет, по которому в национальную гвардию допускались только активные граждане, которые, по мысли законодателей, были единственно способными защитить основы нового буржуазного «порядка». Указав на необходимость заботиться о том, чтобы бойцы национальной гвардии не превратились в военную касту и не усвоили корпоративного духа, от которого рано или поздно может застонать свобода, Максимилиан напоминал, что в национальном гвардейце солдат должен быть слит с гражданином, ибо основная задача

его — защищать завоевания свободы. Но это возможно только при том условии, если национальная гвардия будет строиться на самых широких демократических основах, если она будет иметь всенародный характер.

«...Лишить права на оружие одну часть граждан и в то же время вооружить другую — это значит нарушить принцип равенства, основу нового общественного договора, нарушить священнейшие законы природы...»

«...На каком основании, — обращается оратор к своим противникам, — вы разделяете нацию на два класса, из которых один, по-видимому, должен быть армией подавления другого, как какого-то сборища рабов, всегда готовых к мятежу? А между тем кто сделал нашу доблестную революцию? Богачи, власть имущие? Один лишь народ мог желать и совершить ее, и только он способен отстоять ее результаты... А вы осмеливаетесь предлагать отнять у него те права, которые он завоевал!...»

Революция унаследовала от старого порядка армию, весьма пеструю по своему составу. Некоторая часть солдат и офицеров набиралась за границей; существовало, например, значительное количество полков, состоящих из швейцарцев. Главной характерной чертой старой армии была резкая грань между солдатом и офицером: солдаты вербовались из третьего сословия, офицеры почти исключительно принадлежали к дворянству. Это обстоятельство казалось Максимилиану заслуживающим самого пристального внимания.

«В стране дворянство уничтожено, — говорил он, — но оно продолжает оставаться в армии... Недопустимо предоставлять ему защиту Франции. Вы заместили все публичные должности согласно принципам свободы и равенства, и в то же время вы сохраняете вооруженных должностных лиц, созданных деспотизмом». Признавая, что часть офицеров примкнула к революции, Робеспьер справедливо указывал, что в массе офицерство настроено крайне враждебно. Вместе с тем Максимилиан неоднократно выступал с требованиями об улучшении правового положения рядового состава армии и флота, протестуя против царившего здесь бесправия и традиционной палочной дисциплины. При обсуждении нового морского устава народный трибун добивался, чтобы за одинаковые преступления матросы и офицеры несли равные наказания; участвуя в прениях о характере военных судов, он настаивал, чтобы последние формировались не из одних офицеров, как это прежде имело место, а представляли смешанные комиссии, избираемые из командного и рядового состава.

Насколько были своевременными все эти требования Робеспьера, показали выступления солдат, прокатившиеся по стране весной и летом 1790 года. Наиболее значительным из них было волнение четырех полков гарнизона Нанси (август 1790 года), зверски подавленное аристократом-генералом маркизом Буйе. Учредительное собрание, несмотря на энергичный протест Робеспьера, сочло нужным вынести Буйе «благодарность от имени нации» и не вняло всем другим требованиям аррасского депутата в отношении армии.

Немногочисленные заявления Робеспьера по аграрному вопросу полны гуманизма и чуткого отношения к труженикам деревни.

Выступая в Собрании с большой речью в защиту крестьянских прав на общинных землях, он требовал полного уничтожения всех злоупотреблений, унаследованных от феодальных времен.

Он настаивал, чтобы Учредительное собрание не только запретило помещикам дальнейшие захваты общинных земель, но и приняло бы меры, дабы вернуть крестьянам земли, которые перешли к помещикам на «законном» основании. «...Говорят, что за помещиками право давности, но — право давности у народа еще древнее; боятся затронуть помещичью собственность, но самое право «выдела» есть не что иное, как право на узаконенный грабеж, а ограбление никогда не может создать права собственности на похищенное. Совершенно недостаточно поэтому воспретить выделы на будущее время: надо, чтобы закон в этом случае имел обратное действие! Поступить иначе — значит оставить грабителей спокойно владеть захваченным!..»

Робеспьер искренне сочувствовал мелкой городской буржуазии: владельцам небольших лавчонок, самостоятельным мастерам, всей этой торговой и ремесленной мелкоте, которая неуклонно разорялась, не имея возможности выдержать конкуренции с крупным капиталом. Он выступал с различными проектами, направленными к смягчению имущественного неравенства, поглощавшего возможность к существованию и самой жизни маленьких людей. И, однако, он не разглядел рабочих.

Вместе с другими депутатами он проголосовал за антирабочий проект Ле-Шапелье и этим содействовал утверждению на семьдесят с лишним лет закона, втискивавшего, по словам Маркса, «...государственно-полицейскими мерами конкуренцию между капиталом и трудом в рамки, удобные для капитала...», закон, который «пережил все революции и смены династий...»^[4].

Горячий защитник народа, Робеспьер не всегда достаточно ясно

представляет себе, что такое народ. В его понимании отдельные прослойки народа, отдельные классы, входившие в его состав, почти не дифференцируются. Он «народник» в самом широком и буквальном смысле этого слова; таким он останется до конца своих дней.

Робеспьер был одним из немногих депутатов Учредительного собрания, боровшихся за права цветного населения французских колоний.

Первое предложение об отмене работорговли было сделано в Ассамблее уже в ноябре 1789 года. Однако многие депутаты, владевшие землями и рабами на Гаити и Мартинике, были лично заинтересованы в сохранении рабства негров и неполноправности свободных мулатов. К числу депутатов-рабовладельцев принадлежали и братья Ламеты, а их друг Барнав, рядившийся в одежды вождя демократии, неоднократно выступал в Собрании против предложений об отмене рабства и за неполноправное положение мулатов.

В своем выступлении Робеспьер указал депутатам, что раз конституция предоставляет политические права всем гражданам, платящим установленные налоги безотносительно к цвету их кожи, то мулаты должны пользоваться теми же правами, что и белые. Предоставлять же решение этого вопроса колониальному собранию, состоящему из одних белых, на чем настаивал Барнав, не более как издевательство. Что сказали бы господа депутаты, иронически спрашивал Максимилиан, если бы во Франции судьбы третьего сословия предоставили вершить одним привилегированным? Когда в ходе прений один из депутатов предложил поправку к декрету, в которой упоминалось слово «раб», Робеспьер с негодованием воскликнул:

— Да, с того момента, когда вы введете слово «раб» в свои декреты, вы покроете себя позором. Вы беспрестанно твердите о правах человека и в то же время освящаете своей конституцией рабство. Пусть лучше погибнут колонии, если их дальнейшее существование может быть куплено лишь ценою потери нашей чести, славы и свободы!..

Собрание после некоторых колебаний пошло за депутатами-колониалистами и узаконило рабство, ни словом не обмолвившись о правах мулатов.

Робеспьер выступал и по множеству других вопросов. Он произносил речи против военного закона, о свободе печати и петиций, об организации суда, о гражданском устройстве духовенства, о правах короля, о равном разделе наследства, против смертной казни, в защиту тулонского народа, в защиту гарнизона Нанси и на многие другие темы. И везде он был

неизменно одним и тем же: Неподкупным, Непреклонным, Непокосимым.

Все чаще и увереннее поднимаясь на ораторскую трибуну, он все более выделяется среди своих собратьев последовательностью и принципиальной заостренностью речей, которые заставляют постепенно умолкнуть и ступать насмешливых недоброжелателей и повергают в недоумение общепризнанных лидеров. Приздумался Мирабо, насупился Барнав, озабоченно перешептываются братья Ламеты, еще недавно считавшиеся вожаками левой Собрания. Да! Они недооценили его. Забавный фарс оказался трагедией. «Аррасскую свечу» погасить явно не удалось!

Теперь он стал широко известен за пределами Ассамблеи. Его знала и глубоко уважала вся революционная Франция. Ему аплодировали, на него надеялись, его просили. При каждом удобном случае выборные лица новой администрации и частные корреспонденты поверяли ему свои нужды и печали, выражали доверие и благодарность. Взглянем хотя бы бегло на его почту нескольких месяцев 1790–1791 годов. Вот письмо из Авиньона; должностные лица горячо благодарят Неподкупного за речь в защиту петиции авиньонских граждан о присоединении к Франции. Вот пять писем из Марселя от местных якобинцев и муниципалитета; в письмах — жалобы, надежда на поддержку, благодарность. Вот четыре письма из Тулона: от генерального совета, от муниципалитета, от патриотического клуба; в одном из писем муниципалитет извещает, что гражданская доблесть Робеспьера и та самоотверженность, которую он не раз проявлял в отношении городской коммуны, побудили генеральный совет присудить ему титул гражданина Тулона. Пишут из Арраса, из Версаля, из Буржа, из Лондона, из Манты; пишут бельгийские демократы и депутаты далекой Кайенны, восторженные поклонницы и незнакомые просители. Бывшая аристократка и нынешняя якобинка мадам Шалабр приглашает Максимилиана на «небольшой обед в обществе патриотов», прося его выбрать день, который ему всего удобнее и меньше всего помешает его занятиям; будущая вдохновительница жирондистов мадам Ролан восхваляет его как мужественного человека, верного своим принципам, «энергия которого неустанно сопротивлялась притязаниям и уловкам деспотизма и интриг». А вот... что это? Письмо от Сен-Жюста, его будущего единомышленника и самого близкого друга, Сен-Жюста, которого пока не знает никто, в том числе и сам Неподкупный! Автор письма просит поддержать его ходатайство, направленное в Ассамблею. Сен-Жюст с нескрываемым восхищением относится к своему адресату.

«К вам, кто поддерживает изнемогающую родину против потока деспотизма и интриг, к вам, которого я знаю только как бога по его чудесам, я обращаюсь с просьбой...» и т. д.

«...Я не знаю вас лично, но вы большой человек, вы не только депутат одной провинции, вы депутат всего человечества».

И другой, тоже пока безвестный деятель будущего, с большим вниманием следит в эти дни за успехами Робеспьера. Совсем еще юный Франсуа Ноэль Бабеф с жаром переписывает целые страницы речей Неподкупного, находя в них идеи, созвучные своей золотой мечте о равенстве и счастье освобожденных людей...

Все эти факты — яркое свидетельство происшедших перемен. Робеспьер становился настолько заметным лицом, что вне зависимости от его депутатских обязанностей, к великому неудовольствию Барнава и его компаньонов, народ начинает выдвигать своего трибуна на важные и ответственные административные посты.

Еще в октябре 1790 года жители Версаля избрали Неподкупного председателем суда своего дистрикта. 10 июня 1791 года его ждал снова приятный сюрприз: собрание парижского департамента избрало его общественным обвинителем парижского уголовного суда. Это были большая честь и большое доверие. Это был знак уважения и признательности со стороны парижан. Не обошлось без характерного инцидента: друг Барнава Дюпор, одновременно назначенный председателем того же суда, немедленно отказывается от этой должности, не желая работать бок о бок с ненавистным ему человеком Камилл Демулен заклеил этот поступок на страницах своей газеты. «Презренный лицемер! — обращается он к Дюпору. — Ты отталкиваешь Робеспьера, воплощение честности, и, не успев устранить его, покидаешь пост, на который возвело тебя доверие, или, вернее, заблуждение, твоих сограждан! Ты знаешь, какое громадное, на взгляд общественного мнения, расстояние между его и твоим патриотизмом? Ты сто раз бывал свидетелем единодушных рукоплесканий, которые вызывали среди якобинцев его речи и даже одно его присутствие».

Факт этот, однако, обратился к выгоде для сторонников Робеспьера: на место ренегата Дюпора избиратели выдвинули Петиона, избрание же последнего означало двойной триумф для сил демократии.

Так, одерживая победы в народном мнении, завоеывая все новые и новые симпатии, Максимилиан должен был окончательно взять верх в

«Обществе друзей конституции». Его последовательная принципиальная борьба в Собрании, борьба тем более поразительная, чем менее он мог рассчитывать на успех, привлекла к нему сердца. Его оценили, его уже любили; знаком любви и признательности народа стало второе его имя: Неподкупный.

Глава 9

Конец третьего сословия

Летом 1790 года в Париже отвечали две юбилейные даты. 17 июня исполнился ровно год с тех пор, как третье сословие Генеральных штатов дерзнуло провозгласить себя Национальным собранием. Буржуазия считала этот день своим. Его решили отпраздновать с блеском и шиком. Во втором этаже богатых апартаментов Пале-Рояля был дан банкет для избранных. Вокруг великолепно сервированного на двести персон стола разместились члены «Общества 1789 года»^[5] и приглашенные. Тосты подобали случаю, а во время десерта дамы поднесли букеты роз и тюльпанов Сиейсу, Лафайету, Ле-Шапелье, Мирабо и Талейрану. Более других был почтен Байи, которому возложили на голову венок из цветов. Цветы, музыка, тонкие вина и женщины придавали особенное обаяние застольной беседе. А под окнами дворца шумели голодные труженики столицы.

После обильного обеда гости вышли на балконы понаслаждаться созерцанием «добрého народа» и подышать воздухом, напоенным вечерним ароматом садов. Кто-то стал развлекать толпу исполнением фривольной песенки, кто-то выступил с предложением увенчать Людовика XVI императорской короной. Было ли сделано это предложение спьяну? Трудно сказать...

А месяц спустя, 14 июля, Париж любовался новым зрелищем, совсем не похожим на праздник буржуазии, зрелищем, полным величия и силы, которое должно было заставить крупных собственников призадуматься. Празднование годовщины взятия Бастилии превратилось в грандиозную демонстрацию мощи революционного народа, могущества, которое не могли сковать никакие антидемократические акты буржуазной Ассамблеи. На этот Праздник федерации, как его называли, собрались делегаты из всех департаментов Франции. Трудовое население различных областей и провинций впервые встречалось в своей столице в день, который навеки должен был остаться днем народа. На улицах Парижа бретонцы обнимались с провансальцами, гасконцы приветствовали бургундцев, овернцы провозглашали тосты за здоровье жителей Иль-де-Франса. Многотысячные толпы нескончаемым потоком устремлялись к Марсову полю, где происходило главное торжество. Несмотря на плохую погоду, весь революционный Париж принял участие в своем празднике. Было

организовано торжественное шествие федератов. На Марсовом поле воздвигли «алтарь отечества», около которого делегаты при восторженных криках полумиллионной массы зрителей приносили присягу на верность нации, закону и... королю! Да, королю. Иллюзии еще не рассеялись, буржуазия напрягала все силы для того, чтобы их сохранять. Здесь можно было увидеть и подобие трона с неизменными лилиями, и толстого разряженного монарха с кислым лицом, и его супругу, капризно надувшую губы, и всю хмурую придворную камарилью.

Что общего было у этих теней прошлого с народным праздником? С какой злобной радостью они залили бы его кровью всех этих поденщиков и мастеровых, перед которыми они вынуждены сейчас играть роль статистов! Но час не пробил. Народ ликовал, упиваясь своей мощью и силой, мэ, улыбаясь, приветствовал федератов. А народная кровь... Да, она прольется, прольется на этом же самом священном месте, во имя этого же толстого монарха, по приказанию этого же улыбающегося Байи, но не сегодня, а год спустя!..

Как-то во время одного заседания Ассамблеи председатель огласил записку, полученную от короля, в которой монарх извещал, что прибудет сегодня в Собрание, и просил, чтобы его приняли «без церемоний».

Со всех сторон раздались аплодисменты, и мужи Собрания выслали депутацию навстречу монарху. Чехол из фиолетового бархата, усеянного золотыми лилиями, срочно переделал в трон кресло председателя, который стоя ожидает августейшую персону. Наконец предшествуемый несколькими пажам и сопровождаемый министрами входит Людовик XVI, одетый в черный фрак. При виде его зал оглашается радостными криками. Все продолжают стоять в почтительной позе. Король произносит речь. В этой речи замаскированные жалобы и пожелания монарха искусно переплетались с комплиментами и реверансами в адрес Собрания. Король заранее обязуется защищать, поддерживать и сохранять конституционную свободу, принципы которой освящены волей всех и согласованы с его желанием... Он заверяет, что будет с детства готовить ум и сердце наследника престола к новому порядку вещей. После произнесения речи Людовик и сопровождающие его лица удаляются. Собрание, распираемое восторгом и верноподданныческими чувствами, провожает их со слезами умиления. Будущий член Комитета общественного спасения Барер де Вьезак, обливаясь слезами, восклицает: «Ах, какой добрый король! Да ему следует воздвигнуть золотой, усыпанный алмазами трон!»

И законодатели не оставили этой реплики без внимания. Среди

лицемерных восторгов, без обсуждений и дебатов Собрание вотировало «на содержание короля» так называемый гражданский лист — ежегодную сумму в двадцать пять миллионов ливров плюс четыре миллиона для нужд королевы!

Общественное мнение было возмущено этим новым актом попрания народных нужд. Один журналист с негодованием указывал, что оплата прихотей королевы будет стоить столько же, сколько обходится годовое содержание всего Собрания со всеми его комиссиями, комитетами и подкомитетами!

Но собственники не жалели народных денег, брошенных в фонды гражданского листа. Ибо они смотрели на трон, как на преграду, спасавшую их от выступлений демократии, ибо им нужен был король против народа, король буржуазии; а такого короля, если он будет послушным орудием в осуществлении их планов, не грех было и озолотить.

Слепцы! В своей ненависти к народу они забыли простую истину: как ни золоти прутья клетки, она все равно останется клеткой.

А король, королева, их близкие, осколки их двора, которым еще не удалось эмигрировать, — все они чувствовали себя в клетке. Было наивным надеяться, что Людовик XVI, с детства смотревший на себя как на помазанника божьего, окруженный духовной и светской знатью, блестящей и раболепной, монарх, усвоивший себе раз и навсегда гордую, презирающую все и всех мысль «государство — это я!», согласится стать королем буржуазии, королем без дворянства и духовенства, лишенным своего величия и своих прерогатив, обреченным на роль рычага в руках новой власти.

Король и королева никогда не думали серьезно о примирении с новым порядком вещей. Когда народ сорвал все попытки обратиться к силе, было решено проявить показную покорность и тайно вести переговоры с врагами революции. Для этого нужны были деньги — теперь их с избытком давал гражданский лист! Законодатели обеспечили монархии средства, чтобы она могла вести под них планомерный подкуп! Секретная агентура заработала. Одновременно двор составил план действий: было решено, что король и его семья тайно уедут из Парижа, отдадутся под покровительство контрреволюционного генерала Буйе, стоявшего со своими войсками близ границы, и затем с помощью иностранной интервенции разгромят силы революции и восстановят прежнюю абсолютную монархию.

Утром 21 июня 1791 года Париж был разбужен гудением набата и тремя пушечными выстрелами. Свершилось: птички улетели, золоченая

клетка оказалась пустой.

В Учредительное собрание был доставлен запечатанный пакет. В нем оказался королевский манифест, в котором монарх разрывал завесу лицемерия и, не стесняясь в выражениях, предавал анафеме все деяния революции. Он указывал, что был лишен свободы с октября 1789 года и поэтому опротестовывает все утвержденные им акты, начиная с этого времени. Он жаловался на насильственные действия народа, на скудость гражданского листа (!!!), на всевластие клубов, на утеснения, чинимые духовенству. Он обращался к французам с призывом «не доверять внушениям бунтовщиков», а министрам запрещал «подписывать от его имени какие бы то ни было приказания впредь до получения последующих повелений».

Эта расписка в двуличии была прочтена при гробовом молчании депутатов. Вслед за тем Собрание объявило заседания непрерывными, постановило взять в свои руки высшую исполнительную власть, но одновременно заявило о намерении сохранить монархию. Несмотря на манифест короля, Ассамблея выпустила воззвание, в котором говорилось не о бегстве, а о «похищении» короля. Протестующий возглас депутата Редерера: «Это ложь! Он подло покинул свой пост!» — остался гласом вопиющего в пустыне.

Но народ реагировал на бегство короля иначе, чем Собрание.

Волнение и негодование охватили парижан. Обвиняли Лафайета и национальную гвардию, разбивали королевские бюсты, повсюду разыскивали оружие.

Клуб Кордельеров направил Учредительному собранию петицию, требующую немедленного уничтожения монархии. К петиции кордельеров присоединялись голоса многих прогрессивных журналистов.

«Заметили ли вы, — писал журналист Бонвиль, — какие братские чувства поднимаются в вас, когда раздается набат, когда бьют сбор и короли обратились в бегство? Не нужно больше ни королей, ни диктаторов, ни императоров, ни протекторов, ни регентов! Наш враг — это наш повелитель, говорю вам это ясным французским языком. Не надо Лафайета, не надо Орлеанского!»^[6].

Волнения охватили всю страну.

Максимилиан был страшно взволнован. Он сжимал пальцы до боли в суставах. Невеселые мысли одолевали его. Промучившись все утро в одиночестве, днем он не выдержал и побежал к Петиюну. Там уже был Бриссо. Бриссо и Петиюн, очень возбужденные, радостно приветствовали

своего соратника. Они полны надежд: король, совершив побег, лишь очистил место для республики! Победа близка. Но Робеспьер с сомнением смотрит на них. Он грустен и задумчив. Что такое республика, когда власть сосредоточена в руках ставленников реакции? Сомнительно, чтобы королевская семья рискнула на побег, не оставив сил, готовых устроить патриотам Варфоломеевскую ночь.

Вечером 21 июня открыл свое заседание Якобинский клуб. Робеспьер явился туда более мрачным, чем обычно. Рассеянно слушал он первые выступления. Барнав добивался постановления, которым клуб одобрил бы меры, принятые Учредительным собранием, и заявил бы о поддержке конституции. Это постановление он хотел распространить по всем филиальным клубам. Значительная часть якобинцев поддержала предложение Барнава. Максимилиан пожимает плечами. Об этом ли нужно сейчас говорить? Он берет слово; указывает, что народу со всех сторон расставлены ловушки; обвиняет короля, его сообщников, контрреволюционную эмиграцию, министров, наконец Собрание, пытающееся обмануть общественное мнение относительно характера побега короля. Он глубоко возмущен тем, что буржуазная Ассамблея оставляет управление народом в руках служителей опозоренного трона. Он предвидит кровавые события в недалеком будущем. Быть может, погибнут многие патриоты... Робеспьер обводит грустным взглядом присутствующих. Внемлют ли они его предостережениям?

— Я хотел по крайней мере воздвигнуть в вашем протоколе памятник тому, что с вами случится... Обвиняя почти всех моих собратьев, членов Ассамблеи, в том, что они контрреволюционеры — одни из страха, другие по неведению, третьи из мстительности, четвертые из оскорбленной гордости или слепой доверчивости, — я знаю, знаю, что этим точу на себя тысячу кинжалов. Но если еще в начале революции, когда я был едва замечен в Национальном собрании, если еще в то время, когда на меня смотрела только моя совесть, я принес мою жизнь в жертву истине, то теперь, когда голоса моих сограждан хорошо заплатили мне за эту жертву, я приму почти как благодеяние смерть, которая не даст мне быть свидетелем бедствий, на мой взгляд неизбежных!

...Гробовая тишина воцарилась в зале якобинской церкви. Присутствующие были потрясены. Но вот вскочил молодой человек с развевающимися волосами и, устремив на оратора горящий взор, поднял руку, как бы призывая своих товарищей к античной клятве.

— Робеспьер! Мы будем твоим оплотом! Мы все умрем раньше тебя!

И восемьсот членов клуба, как один, встали со своих мест вслед за Демуленом. Подняв правую руку, каждый из них поклялся именем свободы сплотиться вокруг Неподкупного и защищать его жизнь хотя бы ценою своей жизни.

Это заседание принесло Робеспьеру власть над сердцами якобинцев.

Утром 22 июня парижане, потягиваясь и зевая, говорили:

— Короля у нас нет, а между тем мы спали очень хорошо.

По улицам бегали газетчики, распространяя свежие листки.

«...Пришло время, — писал Марат, — снести головы министрам и их подчиненным, всем злодеям главного штаба и всем антипатриотическим генералам, мэру Байи, всем контрреволюционным членам городского управления, всем изменникам Национального собрания». Другу народа вторил пылкий Камилл Демулен, считавший себя убежденным сторонником республики.

Между тем Учредительное собрание продолжало работу. Законодатели отредактировали текст присяги для офицеров и составили ответный адрес на манифест Людовика XVI, где снова повторили версию о похищении королевской семьи. Медленно тянулось время. Вдруг около половины десятого вечера в помещении манежа возникло волнение. По коридору бежал вспотевший, запыхавшийся курьер. Кто-то закричал:

— Он арестован!..

Король был опознан в местечке Сен-Менеуль, совсем неподалеку от конечного пункта своего тайного маршрута. Его узнал начальник почты Друэ, который тотчас же принял все меры для задержания королевской семьи. Карету беглецов остановили в Варение, почти на глазах у передовых отрядов Буйе. Жители Варенна проявили большую революционную стойкость. Тысячи крестьян прибыли из соседних сел на помощь местным отрядам национальной гвардии. В окружении многочисленных толп вооруженных патриотов упавшие духом беглецы вынуждены были тронуться обратно.

Учредительное собрание выделило трех комиссаров, в числе которых оказались Барнав и Петион, для сопровождения пленников и благополучной доставки их в Париж. Петион держался с большим достоинством и не снисходил до особых церемоний со своими подопечными. Иное дело Барнав. Этот лощеный щеголь, прекрасно образованный и знавший свет, не преминул блеснуть своими утонченными манерами перед августейшими особами; он сидел в карете между королем

и королевой и — верить ли молве? — был очарован последней. В этом не было, впрочем, ничего удивительного... Мария-Антуанетта, быстро поняв, с кем имеет дело, употребила все свое обаяние, чтобы пленить видного депутата Ассамблеи. Как бы то ни было, в период вареннского кризиса прежний вожак левой Собрания — уже до этого значительно поправевший — совершенно забыл свои старые позиции и вплоть до эшафота оставался верным приверженцем короля и трона.

13 июля Учредительное собрание приступило к обсуждению вопроса о судьбе монарха. Был заслушан доклад комиссии, которой поручалось расследовать обстоятельства бегства в Варенн. Докладчик сделал вывод, что Людовик XVI должен быть объявлен невиновным в силу принципа неприкосновенности особы короля; его следует восстановить на троне; вместе с тем, по мысли докладчика, надлежало привлечь к ответственности генерала Буйе (бежавшего за границу) и ряд лиц, сопровождавших короля, которые находились под арестом и которые якобы были виновны в похищении королевской семьи.

Прения по докладу комиссии были очень жаркими и продолжались три дня подряд. 14 июля с речью против неприкосновенности короля выступил Робеспьер:

— Король, говорите вы, неприкосновенен; он не может быть наказан — таков закон. Вы сами на себя клеветеете! Нет, вы бы никогда не издали декрета, по которому один человек стоял бы выше закона и мог бы безнаказанно покушаться на свободу, на существование нации. Нет, вы не сделали этого, и если бы вы осмелились издать подобный закон, то французский народ всеобщим криком негодования напомнил бы вам, что суверен вступает в свои права!..

Король неприкосновенен! Но вы, вы тоже неприкосновенны! Распространили ли вы эту неприкосновенность до права совершить преступление?..

И Максимилиан шаг за шагом разбивает все уловки и ухищрения защитников отвергнутого им принципа.

— Королевской рукой действовали другие? Но разве король не обладает сам способностью совершать те или иные поступки? А если король угрожает счастью и даже жизни народа? Если он навлекает на страну все ужасы внутренней и внешней войны, если, став во главе интервентов, он покушается на свободу и завоевания революции, он тоже сохраняет неприкосновенность?

Разумеется, это абсурд. Конечно, подобные «принципы» могут

высказываться только врагами революции или людьми, не отдающими отчета в своих словах.

В заключение оратор с железной логикой доказывает полную беспринципность авторов версии о похищении короля, которые предлагали всю силу правосудия обрушить на головы похитителей, то есть соучастников побега.

— По заключениям ваших комитетов, король невиновен, преступления нет. Но там, где нет преступления, нет и соумышленников. Господа, если щадить виновного является слабостью, то пожертвовать из числа виновных более слабым ради более сильного является подлой несправедливостью. Не думаете же вы, что французский народ настолько низок, чтобы наслаждаться зрелищем мук нескольких жертв, действовавших в качестве подчиненных, не думаете же вы, что он без горя будет смотреть, как представители его следуют все еще по обычному пути рабов, старающихся всегда слабого принести в жертву сильному и заботящихся лишь о том, чтобы обмануть народ и безнаказанно продлить несправедливость и тиранию? Нет, господа, надо или признать вину всех, или всех оправдать.

Правые были до такой степени ошеломлены и напуганы этой, речью, что объявили Робеспьера... сумасшедшим!!! Некоторые иностранные дипломаты обратились к своим правительствам с соответствующими донесениями и через несколько дней вынуждены были их опровергать!



Открытие Генеральных штатов 5 мая 1789 года.



Мирабо.



Барнав.



Байи.



Лафайет.

В этой речи Робеспьер обронил, между прочим, фразу, которая отвечала мысли, непрестанно беспокоившей и волновавшей его со дня бегства короля.

— Недостаточно свергнуть деспота, если потом попадешь под гнет другого деспотизма...

Людовик XVI показал себя деспотом, вероломным и негодным монархом. Его нужно отстранить. В этом для Максимилиана не было никаких сомнений.

Но что делать дальше? Учреждать республику, как полагали Бриссо и Петион? Вот в этом-то он и сомневался. Он не был уверен, что в сложившихся условиях республика лучше монархии.

И правда, рассуждал Робеспьер, что является самым страшным, самым угрожающим в данный момент? Деспотизм богатых, олигархия денежного мешка, тирания реакционных элементов Учредительного собрания. Что же принесет в таком случае немедленное установление республики? Ничего, кроме легализации власти этого «другого деспотизма».

Робеспьер сильно опасался, что при недостаточной организованности народа уничтожение монархии отдаст всю полноту власти в руки крупной буржуазии, в то время как наличие монархии в какой-то степени сможет ограничить эту власть и тем облегчит массам возможность решительной победы в грядущей борьбе.

Мысль эта была непоследовательной и ошибочной. Но в то время так думали многие. В вопросе о республике и монархии в период вареннского кризиса Неподкупный не смог подняться над уровнем представлений, господствовавших в демократическом лагере.

Мужи Собрания подняли перчатку, брошенную Робеспьером на заседании 14 июля. На следующий день от лица подавляющего большинства Ассамблеи выступил Антуан Барнав. Законодатели знали, кого противопоставить Неподкупному. После смерти Мирабо Барнав считался чуть ли не лучшим оратором. Он был сух, подтянут, сдержан, догматичен. На Робеспьера, взявшего верх в Якобинском клубе, он смотрел как на личного врага. Свою пространную речь Барнав посвятил защите принципа неприкосновенности короля. Вместе с тем — и это особенно знаменательное место в его речи — он невольно выдал сильное утомление и жгучий страх крупной буржуазии перед новыми выступлениями революционных масс.

— Нам причиняют огромное зло, когда продолжают до бесконечности революционное движение, уже разрушившее все то, что надо было разрушить, и доведшее нас до предела, на котором нужно остановиться... Подумайте, господа. Подумайте о том, что произойдет после вас. Вы совершили все, могущее благоприятствовать свободе и равенству... Отсюда вытекает та великая истина, что если революция сделает еще один шаг вперед, она сделает его не иначе, как подвергаясь опасности. Первое,

что произошло бы вслед за этим, была бы отмена королевской власти, а потом последовало бы покушение на собственность. Я спрашиваю, существует ли еще какая-нибудь другая аристократия, которую можно низвергнуть, кроме аристократии собственности?..

Таким образом, несомненно, что революцию уже сейчас пора закончить... В настоящий момент, господа, все должны чувствовать, что общий интерес заключается в том, чтобы революция остановилась. Те, которые потерпели от революции, должны сказать себе, что невозможно заставить ее повернуть обратно; те же, кто желал и совершил революцию, должны признать, что она достигла своего крайнего предела и что благо их родины, как и их собственная слава, требует, чтобы она прекратилась.

Гром аплодисментов покрыл последние слова оратора. Трудно было более метко попасть в самую точку, нельзя было более точно высказать то, что наболело в душах депутатов буржуазии. Восстановленный король должен был помочь остановить эту треклятую революцию, которая уже так надоела и которая угрожала все новыми опасностями аристократам денежного мешка!

В тот же день было принято постановление о привлечении к судебной ответственности «похитителей» короля, обвиненных в заговоре против конституции и в подготовке иностранной интервенции. Этим косвенно снималось всякое обвинение с Людовика XVI и подготавливалась его реабилитация.

Развязка приближалась. Клуб Кордельеров составил новую петицию, призывавшую к отстранению изменника-короля. 16 июля кордельеры обратились к якобинцам с просьбой поддержать эту петицию. Внутри Якобинского клуба закипела напряженная борьба. Но исход ее, в свете предшествующих событий, был ясен: большинство якобинцев решило поддержать петицию. Тогда якобинцы — депутаты Собрания — во главе с Барнавом почти полностью покинули клуб. Так произошел раскол Якобинского клуба. Правая часть якобинцев не только фактически, но и формально порвала с клубом и основала новое общество в помещении Фельянского монастыря, получившее название Клуба фельянов.

В состав нового клуба вошла большая часть членов «Общества 1789 года». Его лидерами оказались Барнав, Дюпор, Александр Ламет, Лафайет и Байи. Клуб фельянов стал внепарламентским центром крупной буржуазии. Как и «Общество 1789 года», он установил очень высокие членские взносы, обеспечивавшие замкнутый характер организации.

Раскол произошел и во всех отделениях Якобинского клуба.

Большинство якобинцев периферии сохранило верность основному ядру старого клуба, возглавляемому Бриссо, Петионом и Робеспьером.

Оставалась кровь... Кровь патриотов, о которой говорил Робеспьер, пролитие которой он считал неизбежной и которая еще не была пролита. Этой крови не хватало, чтобы закрепить новый порядок вещей, чтобы окончательно и бесповоротно разъединить прежнее третье сословие. И она потекла, эта священная кровь простых людей.

Поддерживая петицию кордельеров о низложении Людовика XVI, Неподкупный вместе с тем, в противовес многим своим товарищам по клубу, прекрасно понимал, что буржуазные хозяева Собраний и ратуши могут сделать из этого акта удобный повод для провокации. Робеспьер не скрыл своих опасений и высказал их во время заседания клуба 16 июля.

Законодатели шли именно этим путем; узнав о том, что происходило у якобинцев, они тотчас же поспешили издать декрет, реабилитирующий короля. Этот декрет, помимо своего прямого назначения, имел целью превратить петицию в мятежный акт.

Действительно, до тех пор пока судьба арестованного короля не определилась, петиции не имели характера противозаконных деяний; ведь не было закона, против которого они якобы шли! Однако после того как закон был принят, с точки зрения правительства всякое оспаривание этого закона становилось антиправительственным заговором, который можно и должно было покарать! Конечно, это была юридическая тонкость и нужно было слишком сильно желать провокации, чтобы эту тонкость использовать. Но Максимилиан, прекрасный законовед и зоркий наблюдатель, ни секунды не сомневался, что именно за этот повод и ухватятся реакционные депутаты, давно жаждавшие свести счеты с ненавистным им народом. Поэтому, как только стало известно о декрете, реабилитировавшем короля, комитет Якобинского клуба по настоятельному совету Робеспьера решил приостановить печатание текста петиции и отказаться от участия в демонстрации. Однако было поздно.

Тысячи людей, среди которых преобладали рабочие и мелкие ремесленники, 17 июля собирались на Марсовом поле по зову клуба Кордельеров и других народных обществ. Народ был совершенно спокоен, так как его представители заранее поставили в известность парижский муниципалитет и ратуша легализовала мирную демонстрацию.

Около середины дня Марсово поле было заполнено народом. Стояла прекрасная погода. Как в праздничный день, мужья вели с собою жен, матери — детей. Продавщицы пряников и пирожков расхваливали свой

товар. Молодежь веселилась, развлекалась песнями и танцами. Все хорошо помнили величественный и радостный Праздник федерации, который происходил здесь почти ровно год назад.

Но вот появился посланец якобинцев. Он сообщил о решении своего клуба. Тогда по предложению руководителей кордельеров — Бонвиля, Робера, Шомета и других — тут же, на «алтаре отечества», была составлена новая петиция. Петиция заканчивалась словами: «Мы требуем, чтобы вы приняли во внимание, что преступление Людовика XVI доказано и что этот король отрекся от престола. Мы требуем, чтобы вы приняли его отречение и создали новое Учредительное собрание для того, чтобы приступить к суду над виновным и к организации новой исполнительной власти». Петицию подписали более шести тысяч человек. Между тем около двух часов дня прибыли в сопровождении отряда национальной гвардии три муниципальных чиновника с целью уловить настроения толпы. Они были вполне удовлетворены господствовавшим спокойствием, о чем, возвратившись, и доложили муниципалитету. Однако кровавая десница уже была занесена над народом. В половине второго совет ратуши получил от председателя Собрания Шарля Ламета настойчивое требование применить силу; несколько позднее это требование было повторено. Муниципальный совет после споров и колебаний к пяти часам принял, наконец, решение: применить к петиционерам военный закон. И вот Байи, опоясанный трехцветным шарфом, спускается со ступенек ратуши. Вот он ходит по рядам национальных гвардейцев, вызванных заранее на Гревскую площадь, и что-то шепчет на ухо каждому из офицеров. Вот отданы приказы, заряжены ружья, и буржуазная гвардия во главе с доблестным Лафайетом тронулась, громяхая пушками по мостовой.

Когда народ услышал барабанный бой и увидел отряды войск, со всех сторон окружавшие Марсово поле, раздались крики недоумения. Почему оцепляют выходы? Что хотят предпринимать? На одном из участков поля слышались крики негодования: «Долой штыки!», и несколько камней полетело в гвардейцев. Прозвучал одинокий выстрел... Кем он был сделан? Провокатором? Байи, собиравшийся было предъявить народу требуемые законом три предостережения, отошел в сторону. Раздался первый залп. Ружья гвардейцев были направлены в воздух. Тогда по толпе прокатился гул: «Не трогайтесь с места! Стреляют холостыми зарядами!» Но тут последовал второй залп, который рассеял все сомнения: «алтарь отечества» обогрелся кровью женщин и детей! Воздух огласился отчаянными воплями, безоружная толпа бросилась бежать. Куда? Проходы были предусмотрительно заняты войсками. И тогда в дело вступила конница.

Врезываясь в смятенную толпу, гвардейцы рубили саблями и топтали копытами коней несчастных, ни в чем не повинных людей. От применения артиллерии воздержались.

Все было кончено с наступлением темноты. На поле осталось несколько сотен трупов и раненых; ни один из «победителей» не пал в этой безопасной для них битве...

На обратном пути «шпионы Лафайета», как презрительно величал Марат национальных гвардейцев Парижа, разгоряченные кровью своих жертв, изрыгали угрозы по адресу демократов. Париж замер. Проходя по улице Сент-Оноре, солдаты стали грозить Якобинскому клубу, который заседал в это время. Послышались предложения разгромить помещение клуба пушечными выстрелами.

Вскоре заседание окончилось, и якобинцы стали расходиться. Их провожали проклятиями и улюлюканьем. Вдруг на пороге появился Робеспьер. Почти одновременно в вечерней темноте прозвучали крики: «Да здравствует Робеспьер!» — и грубая брань...

Что угрожало Неподкупному? Хотя он и не был непосредственно связан с делом Марсова поля, но его слишком хорошо знали как вождя демократии.

Когда преследуемый приветствиями и злобными криками Максимилиан переходил улицу Сент-Оноре, какой-то человек схватил его за руку и увлек под кровлю своего дома, находившегося поблизости. Это был столяр Морис Дюпле, горячий патриот и якобинец. Он уговорил Робеспьера остаться у него, переждать эти горячие часы. Неподкупный после некоторого колебания согласился. Когда он захотел потом уйти, это оказалось невозможным: его стали горячо удерживать не только сам столяр, но и члены его семьи. Уговаривать долго не пришлось: Робеспьеру пришелся по вкусу скромный уклад жизни Дюпле, понравились люди, которые с такой заботой и вниманием отнеслись к нему, и он без сожаления расстался со своим уютным жилищем на улице Сентонж. Так дом Дюпле сделался его домом, а семья, в которую он столь неожиданно вошел, стала его семьей.

На следующий день, 18 июля, Байи сделал с трибуны Собрания доклад о событиях на Марсовом поле, представлявший грубейшую фальсификацию и издевательство над жертвами расстрела. Собрание торжественно поздравило его, а Барнав высокопарно распространялся о верности и храбрости национальной гвардии.

После этого был принят декрет о суровом наказании «мятежников» и преследовании участников демонстрации. Начались дни репрессий. Многие газеты, в том числе и газета Демулена, закрылись. Марат вновь ушел в подполье. Дантон эмигрировал в Англию.

Состояние растерянности, временно охватившее демократические круги, коснулось и Робеспьера. В эти дни он делает несколько неверных шагов.

Кажется, как будто он ищет примирения. С кем? С теми, против кого он непримиримо боролся и будет бороться? Робеспьер — вдруг один из инициаторов посылки парламентаров к фельянам! С какой целью? Предложить... воссоединение! Он составляет проект письма в филиальные якобинские общества, в котором о кровавых событиях 17 июля говорится в духе христианского сожаления и всепрощения: «Мы не намерены упрекать... мы можем проливать лишь слезы» и т. п. Подобным же элеем наполнено письмо, посланное им в Учредительное собрание от имени Якобинского клуба; читая это письмо, не хочешь верить, что оно принадлежит перу обличителя, который 21 июня клеймил тех же «мудрых», «твердых», «бдительных» депутатов как контрреволюционеров, служителей трона и врагов народных интересов!

Что все это? Мудрая политика, как считали одни, или минутный упадок духа и сил, как полагали другие? Если политика, то она слишком уж гибка и лицемерна, чтобы быть делом рук Неподкупного. А если слабость?..

Подобные моменты слабости не раз бывали у Робеспьера. Юрист по образованию и по призванию, Максимилиан был строгим законником. Он уважал закон даже в том случае, если считал его несправедливым. Он мог в очень резкой форме выступать против законопроекта, но очень редко поднимал голос против закона. Он не аристократ и, следовательно, не может побуждать к сопротивлению закону; спокойствие и порядок — вот, по его словам, принципы друзей революции. Он любил порядок, порядок во всем: об этом свидетельствовали и его внешний облик и весь его жизненный уклад.

И при этом он был страстным борцом! Противоречило ли одно другому? И да и нет. Во всяком случае, несомненно, в жизни Максимилиана бывали моменты, когда наличие этих двух начал вступало в страшнейший внутренний конфликт, приводивший к минутной растерянности, к душевному упадку.

Почти всегда борец побеждал законника, и в этом заключалось

величие Робеспьера! Никогда не участвуя в том или ином народном движении, никогда не руководя толпой на улице, великий демократ имел острую прозорливость, с которой правильно указывал народу его цель и средства к достижению этой цели. Испытывая в качестве поборника законности определенную неловкость перед народным восстанием, ниспровергающим все старые законы и устои, он всегда имел смелость и мужество в положенный час выступить глашатаем этого восстания, умел оправдать его и направить всю свою энергию на закрепление его результатов.

Подобная двойственность, как и целый ряд других противоречий и слабых сторон программы и деятельности Максимилиана Робеспьера, в конечном итоге вытекала из его классовой принадлежности, из общего положения и места той социальной прослойки, интересы которой он и возглавляемая им партия защищали и охраняли в первую очередь.

Расстрел на Марсовом поле оказался событием большой политической важности. Им закончился первый этап революции. Он означал — впервые от начала борьбы — подлинный раскол бывшего третьего сословия: одна часть этого сословия с оружием в руках пыталась подавить другую и пролила ее кровь. Это было невозможно забыть. До сих пор народ поддерживал крупную буржуазию и обеспечил ей господствующее положение. Теперь пелена спала с глаз победителей Бастилии, рассеялись их иллюзии, стало ясно, что пути народа и крупных собственников — разные пути.

То, что Робеспьер раскрыл народу в теории, кровавые действия буржуазии доказали на практике. Борьба вступала в новую фазу. Тщетно вопили напуганные идеологи, вроде Барнава или Дюпора, о том, что революцию надо остановить. Ее нельзя было остановить! Не было такой силы, которая могла бы наложить на нее узду!

События на Марсовом поле, где во имя монархии расстреляли народ, на многое открыли глаза Неподкупному: от убеждения в негодности монарха он должен был прийти к мысли о негодности монархии. Постепенно исчезали сомнения и колебания, и дальняя дорога теперь не могла не казаться гораздо более прямой, чем раньше: это была дорога к республике!

Конец заседаний Учредительного собрания неуклонно приближался. Основная цель деятельности Ассамблеи — выработка конституции — была выполнена.

13 сентября конституцию дали на подпись реабилитированному королю. Людовик XVI использовал этот случай, чтобы предъявить в письменной форме пространнейшее и лживейшее объяснение своих предыдущих деяний, включая попытку бегства.

Собрание аплодировало, как обычно, продемонстрировав свои верноподданнические чувства: все было забыто и прощено. Воспрянувшие духом контрреволюционеры устраивали монархические манифестации. В театрах возобновились постановки роялистских пьес. 30 сентября, в день закрытия Учредительного собрания, депутаты встретили Людовика XVI криками: «Да здравствует король!»

Король, в свою очередь, поспешил подчеркнуть то же, что недавно вещал Барнав: «Наступил конец революции!»

И лишь один депутат осмелился заявить: «Нам предстоит снова впасть в прежнее рабство или снова братья за оружие!»

Этим депутатом был Максимилиан Робеспьер.

Часть II
Гора против Жиронды



Глава 1

Жирондисты



1 октября 1791 года начало свои заседания новое Законодательное собрание.

А 13 октября Максимилиан Робеспьер занял место в почтовой карете, отправлявшейся на север. Отдых! Два с половиной года неустанного труда, без единой передышки, без единого, хотя бы самого маленького интервала. Все пролетело, как во сне. Но что это был за сон! Он не освежал, нет, это был кошмар, ломавший тело и терзавший душу, это была борьба с горечью многих поражений и с бледным призраком победы. Он бездумно верил в нее, в желанную и неизбежную победу, но как до нее было еще далеко!..

Максимилиан закрыл глаза и засмеялся беззвучным смехом. А может быть, и не так уж далеко? Может быть, гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд? Ведь раздувшееся от спеси Учредительное собрание, мнившее себя пупом земли, лопнуло как мыльный пузырь. Оно закончило свою эгоистическую деятельность самоубийством, и он, Робеспьер, был тому причиной! После его тщательно продуманной и вовремя произнесенной речи был проведен декрет, согласно которому, члены старого Собрания не могли быть переизбраны. А это значило, что всякие там барнавы, ламеты, ле-шапелье, байи, лафайеты и иже с ними должны

были исчезнуть с главной политической арены. Все те, кто хотел остановить революцию, пока что были вынуждены сами убраться с дороги, предоставив место другим. Конечно, они так просто не уйдут. Конечно, они будут судорожно цепляться через свой Фельянский клуб за остатки популярности и за связи с верхами. Но связи с верхами не спасение, когда сами верхи колышутся под страшными порывами вихря свободы, а остатки популярности... Да о какой популярности вообще можно было мечтать после событий, завершившихся бойней на Марсовом поле? Характерно, что триумф «героев» этого кровавого дня был непродолжительным. Первым получил возмездие блистательный Лафайет: его отстранили от должности начальника национальной гвардии под предлогом упразднения самой этой должности, и, преследуемый презрительными шутками толпы, генерал уехал в свое поместье. Всем стало ясно, что, потеряв свою шпагу, недолго протянет и многомудрый Байи. Действительно, вскоре и он подал в отставку. Было очень много шансов, что на его место парижане изберут Петиона. Вот вам и популярность! Нет, уж если говорить о популярности, то надо иметь в виду в первую очередь Якобинский клуб, который с каждым днем становится все ближе к народу, который уже сделал свои заседания публичными и который непрерывно по всем городам страны приобретает тысячи новых членов. Якобинский клуб — сердце революционного Парижа, а Неподкупный — любимый оратор и вождь Якобинского клуба...

Максимилиан не без удовольствия вспоминает день 30 сентября — последний день работы Учредительного собрания. Толпы народа ждали своих любимых депутатов много часов подряд. И когда Робеспьер с Петионом показали на пороге манежа, труженики Парижа приветствовали их восторженными криками. Им надели на головы венки из дубовых листьев, их подхватили на руки. Крики: «Да здравствуют непоколебимые законодатели! Да здравствуют неподкупные депутаты!» — огласили воздух. Желая избежать дальнейших проявлений народной благодарности, оба депутата пытались укрыться в наемном экипаже; но окружавшие их тотчас же распрягли лошадей, чтобы самим везти своих избранников! С немалым трудом Максимилиан уговорил толпу отказаться от этой затеи; депутаты покинули экипаж и пошли пешком, а манифестанты сопровождали их до самых дверей их жилищ...

«На третий или четвертый день существования Законодательного собрания, — пишет Антуан Барнав, — я отправился посмотреть его. Все сидевшие на трибунах обернулись в мою сторону с видимым чувством

доброжелательства, и если бы один человек начал, то, быть может, раздались бы общие аплодисменты. Три недели спустя я вторично посетил его и был совершенно осмеян, особенно когда вышел через двери Фельянского клуба...» ^[7]

Такова была судьба прежних кумиров Учредительного собрания: их ждало забвение и осмеяние. Новые люди размещались теперь в здании Тюильрийского манежа; новые партии и группировки рвались померяться силами на арене истории.

Члены Законодательного собрания в значительной своей части вышли из рядов выборной администрации, созданной за годы революции. Это была новая буржуазная интеллигенция. В Собрание попало много писателей, журналистов и адвокатов. Прошло также известное количество офицеров, примкнувших к революции. Зато в отличие от старого Собрания здесь было очень мало прежних дворян и епископов. Законодательное собрание вследствие этого оказалось более однородно-буржуазным, более решительно настроенным по отношению к силам абсолютизма.

Левая сторона Собрания состояла из меньшинства в сто тридцать шесть депутатов, главным образом членов Якобинского клуба и клуба Кордельеров. Она распадалась на две группы соответственно группировкам, сложившимся к этому времени среди якобинцев. Ее подавляющую часть составляли сторонники Бриссо, которых позднее стали называть жирондистами ^[8].

Группа единомышленников Робеспьера была представлена лишь несколькими депутатами. Из них вскоре особенно выделился умный и проникательный Жорж Кутон. Ни Марат, ни Демулен, ни Дантон не были избраны в новую Ассамблею.

Бриссо и его товарищи очень беспокоили Робеспьера. Кто они? Друзья или враги? До сих пор они шли одной дорогой. Они вместе боролись против конституционалистов, вместе срывали маски с Барнава и других триумвиров, вместе отстаивали единство и идейные заповеди Общества друзей конституции. Но дальше? Что будет дальше? Как поведут себя эти люди, возглавив левую Законодательного собрания?

Жирондисты экономически были связаны с сильной и богатой буржуазией юга и юго-запада Франции.

Среди них были выдающиеся организаторы, а по части ораторского искусства их лидеры не знали равных.

Один Бриссо стоил целой армии. Человек бесшабашный в личной

жизни, в делах партийных он был резким, честолюбивым, способным на хитрость, лицемерие и любую интригу. «В нем было рвение монаха, — писал один современник. — Будь он капуцином, он любил бы свою братию и свой посох; будь он доминиканцем, он сжигал бы еретиков». Его двуличие и политическая нечистоплотность с течением времени стали настолько широко известны, что в качестве синонима глагола «интриговать» вошло в обиход слово «бриссотировать». Впрочем, Бриссо раскрыл всю «многогранность» своего характера не сразу. Массы, увлеченные его демагогией, долго верили чистоте взглядов и поступков вождя жирондистов.

Но главной их ораторской силой был, бесспорно, Верньо. Выходец из потомственной буржуазии Лиможа, в юные годы пользовавшийся покровительством Тюрго, он получил юридическое образование в Бордо и здесь же работал в качестве адвоката. Уже тогда ему предсказывали незаурядную карьеру.

Работа в суде, деятельность в клубе бордоских якобинцев и в департаментском совете открыли ему доступ в Законодательное собрание. Этот вялый, ничем не привлекательный внешне человек совершенно преображался на трибуне, покая слушателей мощью и страстностью своего слова. Его импровизаторский талант современники сравнивали только с бессмертным даром Мирабо. Многие жирондисты считали Верньо своим главой; однако он совершенно не подходил к роли вождя партии. Вялый и апатичный, он не был способен к длительной упорной борьбе; его талант проявлялся в виде вспышек молнии, чередующихся с полусонным состоянием; он, по словам Бриссо, был слишком проникнут беспечностью, которая присуща человеку одаренному и заставляет его держаться одиноко.

После Верньо самым заметным оратором Жиронды был Гюаде. В отличие от Верньо он всегда казался полным жизни. Гюаде происходил из служилой буржуазии и был человеком действия. Запальчивый, гневный и раздражительный, он искренне ненавидел своих врагов и стремился причинить им как можно больше зла; его считали одним из наиболее опасных лидеров партии. Адвокат по профессии, в своих речах он делал ставку на язвительную логику; его остроумие вызывало смех аудитории, его холодные и оскорбительные сарказмы наносили чувствительные удары.

Незаурядными ораторскими способностями обладали также бордосец Жансоне и провансалец Инар.

Последний был наиболее неустойчивым из лидеров партии. В ходе своей карьеры Инар эволюционировал от демагогической революционности до крайнего роялизма; пережив всех своих друзей и

самое революцию, этот беспринципный деятель кончил тем, что стал апологистом монархического режима и воинствующего католицизма.

Несколько особняком среди жирондистов стоял математик и философ, член Парижской и Петербургской академий наук, бывший маркиз Кондорсе. Последний представитель блестящей плеяды «энциклопедистов», он знал лично Вольтера, д'Аламбера, Дидро и сотрудничал с ними. На его философские работы большое влияние оказали экономические и исторические воззрения Тюрго, с которым он также был близко знаком. Кондорсе, казалось, был соткан из противоречий. Твердый характер уживался в нем с природною робостью, светские манеры и вкус к изящному — с привычками простолюдина, холодный ум — с горячим сердцем; «это — вулкан под снегом», говорил о нем д'Аламбер. В период вареннского кризиса Кондорсе оказался в числе пионеров республиканского движения. В Законодательном собрании он должен был сблизиться с жирондистами, преклонявшимися перед философией XVIII века, и действительно сблизился с ними. Его называли Сиейсом Законодательного собрания. Плохой оратор, всегда чувствовавший себя крайне стесненно на трибуне, он помогал жирондистам своим умом и своими познаниями, став, как и Бриссо, одним из идеологов партии.

Таковы были те люди, которым вскоре предстояло войти в силу и стать господами положения. Они тем скорее вытесняли из памяти современников впечатления о Мирабо, Барнаве или Байи, чем деятельнее и шире осваивали демагогические приемы воздействия на массы.

Максимилиан со свойственным ему острым политическим чутьем предвидел будущее. Поэтому-то он и покидал Париж с тяжелым сердцем. Впрочем, сейчас он старался гнать от себя неприятные мысли. Впереди были родной Аррас, широкие просторы полей и лесов, долгожданный отдых среди милых и близких людей.

Максимилиан заблаговременно известил Шарлотту о дне своего приезда. Однако, не желая излишнего шума и торжественной встречи, он просил сохранять это в тайне. Предосторожность не помогла. Сестра не утерпела и поделилась своим секретом с госпожой Бюиссар. Вскоре передаваемая из уст в уста новость стала всеобщим достоянием.

Робеспьер едет в Аррас! Неподкупный собирается проводить отдых в своей родной провинции! Не все были обрадованы этим событием. Судейская аристократия из совета Артуа, всегда ненавидевшая молодого адвоката, изощрялась в сарказмах и старалась подготовить «де Робеспьеру-старшему» достойную встречу. Господа Девьенн, Либорель, Рюзе и другие

вспоминали, как бледно начинал этот «ублюдок Руссо» свои дебюты. Жалкий адвокатишка, за восемь лет работы едва выступивший сто раз на суде, десять раз получивший отказ в иске и тридцать раз приговоренный к уплате издержек! Подумаешь, как он воспарил! Все помнили, что этот нищий, когда его избрали в Генеральные штаты, не имел средств, чтобы выехать в Версаль, и вынужден был занять чемодан и десять луидоров у монастырского учителя Футе. Его, правда, — хе-хе! — как следует пропесочили в Национальном собрании господ Мирабо, Барнав и многие другие. Прокурор Рюзе заботливо хранил и выучивал наизусть вырезки из газет, в которых ораторы прежней Ассамблеи, смешивали с грязью «аррасскую свечу»... Но он и не подумал облагоразумиться! Он продолжает свое. И этот выскочка рассчитывает на хорошую встречу в Аррасе? Он ошибается! Его встретят полным пренебрежением и ледяным молчанием...

Однако простые люди Артуа думали совершенно иначе, и вскоре недоброжелателям Максимилиана в этом пришлось убедиться.

Путь из Парижа в Аррас был подлинным триумфальным шествием. По прибытии в Бапом Максимилиан увидел огромную толпу местных патриотов и национальных гвардейцев, которая преподнесла ему гражданский венок и выразила желание сопровождать его экипаж до места следования. Здесь, в Бапومه, его уже второй день ожидали Шарлотта и Огюстен. Сразу двинуться дальше не удалось. Администрация Бапома, вынужденная считаться с требованиями народа, устроила банкет в честь Неподкупного и выражала ему всяческие знаки внимания. От Бапома до Арраса, на протяжении более, пяти лье, экипаж Максимилиана, эскортируемый национальной гвардией, двигался среди толпы, собравшейся из всех окрестных мест. Приветствия не смолкали. Крики: «Да здравствует Робеспьер! Да здравствует защитник народа!» — сотрясали воздух. В полулье от Арраса толпа сделалась настолько густой, что были вынуждены с рыси перейти на шаг. Несмотря на все противодействие врагов, Аррас встречал своего великого гражданина с исключительной теплотой и сердечностью. Как и в Париже в день 30 сентября, его экипаж распрягли, чтобы везти на себе. Робеспьер вышел из кареты. Тогда под тысячи криков «браво!» его подхватили на руки. Сыпались букеты цветов, слышалась музыка. Национальные гвардейцы стреляли В воздух... Вечером, несмотря на категорический запрет высшей администрации, в честь депутата-патриота была устроена иллюминация.

— Смотрите, сударь, — говорил хорошо одетый господин своему

брюзгливому соседу, — его встречают с большей торжественностью, чем короля!

— Да, вы правы, — с горечью ответил сосед. — Нам никто не оказывал такого почета, когда мы вступали в наши должности!

Робеспьер оставался в Аррасе недолго. Он уехал в одну из соседних деревень, чтобы укрыться от докучных восторгов и поразмыслить на досуге о прошедшем и будущем. В деревне он пробыл около пяти недель. Это был последний отдых в его жизни.

Впрочем, можно ли было назвать это отдыхом? Да и мог ли Неподкупный отдыхать, зная, что народ, за счастье которого он боролся, продолжает страдать?

Во время своих уединенных прогулок Максимилиан невольно вспоминал детство: он снова видел настоящие горе и нужду. Познакомившись ближе с жизнью деревни, он понял многое, над чем задумывался и раньше. Он воочию убедился сколь ничтожными были для народа плоды аграрного законодательства Учредительного собрания. Он видел земельную тесноту, в которой задохнулись бедняки, слышал проклятия по адресу помещиков и буржуазии, нажившейся на распродаже национальных имуществ. Он не мог не заметить, что крестьянин, как и прежде, стонал под гнетом неотмененных феодальных повинностей... А голод? А дороговизна, возраставшая с каждым днем? Обесценение бумажных денег, наводнивших город и деревню, исчезновение сахара, кофе, чая и других товаров... И главное — хлеб, хлеб, которого по-прежнему было мало, который становился похожим на глину и все сильнее дорожал. В чем причина всего этого? Как превозмочь эти невероятные трудности? Мозг Максимилиана напряженно работал. Быть может, именно в эти дни рассеивались последние монархические иллюзии Неподкупного, быть может, именно теперь он начал задумываться о республике. Действительно, как было устранить следствия, не устранив причины? Как было стабилизировать положение в стране, не убрав основной преграды, которая постоянно мешала, во имя которой непрерывно пускала все более глубокие корни неумолимая контрреволюция?

Главной цитаделью внутренней контрреволюции, бесспорно, оставался королевский двор с его цивильным листом и многочисленной тайной агентурой. Агенты двора не только подкупали депутатов и стремились овладеть настроениями законодательной власти. Они вызывали экономический саботаж, содействовали распространению провокационных слухов, широко используя положение голодающей бедноты. Одним из

боевых отрядов двора был легион священников. Духовенство, не присягнувшее конституции, в своих проповедях поносило новые порядки.

Максимилиан видел собственными глазами, как неприсягнувшие священники ловили крестьян на «чудеса исцеления». Он убеждался, что в Париже очень мало знали о власти провинциального духовенства и о его подрывной деятельности.

«...Почти все ораторы Национального собрания, — писал он своему другу в столицу, — ошибались в вопросе о духовенстве. Они рассуждали как риторы о веротерпимости и о свободе религиозных культов. Они видели лишь вопросы *философии и религии* там, где дело касалось *революции и политики*. Они не замечали, что везде, где священник-аристократ находит слушателя, он проповедует деспотизм и контрреволюцию, делая вид, будто отстаивает религиозные взгляды... Депутаты Национального собрания не видели, что следовало охранять все культы, за исключением того, который сам объявляет войну всем остальным культам и который является оружием, служащим для нападения на еще не окрепшее дело свободы...»

Не эти ли строки, опубликованные в парижской прессе, явились одним из толчков к принятию Законодательным собранием декрета против неприсягнувших священников?

Но двор был не только естественным центром внутренней контрреволюции: от королевской семьи и ее окружения тянулись многие незримые нити к внешней контрреволюции, угроза которой в это время начинала становиться все более и более реальной.

Французская революция произвела огромное впечатление на соседние страны. Передовые люди Англии, Испании, России, Италии, Германии, Соединенных Штатов с большим сочувствием и энтузиазмом восприняли события 14 июля и последующих революционных дней.

Французская революция оказала непосредственное влияние на развитие национальной борьбы в Бельгии против гнета австрийских Габсбургов, борьбы, перешедшей затем в бельгийскую буржуазную революцию. Революционное движение развернулось в ряде областей Германии, в Северной Италии, в Венгрии, в Чехии, в Польше. Естественно, что реакционные правительства европейских государств, в первую очередь правительства Австрии, Пруссии, Англии и России, были крайне обеспокоены событиями во Франции. Положение осложнял нескончаемый поток контрреволюционных эмигрантов, обивавших пороги европейских монархов с призывами к выступлению против «взбунтовавшейся черни». С самого начала эмиграции образовались три контрреволюционных центра:

Лондон, Турин и Кобленц. К 1791 году Кобленц стал местом основного скопления и наиболее активной деятельности беглых аристократов. Принцы и князья, возглавлявшие кобленцкую эмиграцию, вели себя крайне вызывающе. Брат короля, граф Прованский, на основании того, что Людовик XVI находился якобы в плену у бунтовщиков, объявил себя регентом Франции. Принц Конде создал в Кобленце пятнадцатитысячную армию эмигрантов и открыто грозил вторжением. Королевская семья и в особенности Мария-Антуанетта после вареннского конфуза все свои чаяния и надежды возлагали на иностранную помощь. Для виду публично осуждая контрреволюционных эмигрантов и их зарубежных покровителей, король и королева поддерживали с ними тайные связи и с нетерпением ждали их победоносного вступления в голодную, обескровленную, подготовленную внутренней контрреволюцией страну.

Европейские державы готовились к интервенции. Они начали с подавления революции в Бельгии, и этот первый успех окрылил их. 27 августа 1791 года в замке Пильниц, в Саксонии, австрийский император подписал с прусским королем декларацию о совместных действиях в помощь французскому престолу. Пильницкая декларация подготовила складывание первой коалиции абсолютистских сил старой Европы против революционной Франции. За Австрией и Пруссией стояли реакционные правительства Англии, России и других государств, согласных поддержать эмигрантов и принять участие в разгроме «мятежа».

Все эти обстоятельства, становившиеся чем дальше, тем более явными и угрожающими, заставили нерешительное Собрание перейти в контрнаступление.

И вот, в то время когда Робеспьер все еще находился в деревне, в начале ноября 1791 года левая Законодательного собрания подняла вопрос об эмигрантах. Все главные лидеры жирондистов — Бриссо, Верньо, Инар — показали свое блестящее красноречие при обсуждении этой проблемы. В ярких речах они требовали от правительства Людовика XVI самых решительных мер против эмигрантов. «Пора внушить другим нациям, — говорил Бриссо, — уважение к Франции и ее конституции». Несмотря на энергичное сопротивление фельянов, жирондисты добились проведения декрета, объявлявшего всех эмигрантов, не вернувшихся во Францию до 1 января следующего года, изменниками родины. Король, как и следовало ожидать, по совету фельянов наложил вето на этот декрет, как и на принятый Собранием декрет против неприсягнувших священников. Атмосфера сгущалась. На горизонте все явственнее вырисовывался призрак войны.

Максимилиан, с тревогой следивший за всем из глуши своего уединения, не мог более пребывать в бездействии. 17 ноября он пишет своему домохозяину и другу Морису Дюпле, что на этот раз намерен безотлагательно вернуться в столицу, и действительно через одиннадцать дней спускается с подножки почтового дилижанса на парижскую мостовую. Днем 28 ноября он обедает в роскошном особняке нового мэра — Петиона и приходит к выводу, что душа его старого соратника «по-прежнему проста и чиста», а вечером вновь переступает после шестинедельного перерыва порог библиотеки якобинского монастыря. Якобинцы с бурным восторгом встречают своего вождя. Ему устраивают овацию. Председательствующий Колло д'Эрбуа встает со своего места и восклицает:

— Я предлагаю, чтобы этот член Учредительного собрания, по заслугам прозванный Неподкупным, занял председательское кресло!

Новый гром аплодисментов. Его подхватывают и несут к креслу.

Но овации никогда не опьяняли Неподкупного. Он присматривается и прислушивается к тому, что происходит вокруг. Что это? Повсюду бряцание оружием... Сабли! Пушки!.. Знамена!..

На следующий день с трибуны Ассамблеи жирондист Инар произносит речь, отзывавшуюся во многих сердцах, как призывный звук военного горна:

— Не думайте, будто наше положение в настоящее время не позволяет нам наносить сильные удары; народ, творящий революцию, непобедим; знамя свободы — победное знамя; минута, когда народ одушевляется страстью к нему, есть минута жертв всякого рода, минута отречения от всех интересов, минута грозного взрыва воинственного восторга!

...Скажем Европе, что если правительства вовлекут государей в войну против народов, мы вовлечем народы в войну против государей!

...Скажем ей, что десять миллионов французов, пылающих огнем свободы, вооруженных мечом, пером, разумом, красноречием, могли бы — если их раздражить — одними собственными силами изменить лицо земли и заставить всех тиранов дрожать на их глиняных тронах!..

Аплодисменты покрывают и прерывают голос оратора. Собрание постановляет напечатать речь и разослать ее по департаментам.

И вдруг среди гула воинственных восторгов, среди опьяненных призывов и победных прогнозов раздается холодный и спокойный голос, произнесший слова, упавшие, как удар меча:

— Самая странная идея, которая может зародиться в голове политика, — это верить, что народу достаточно проникнуть с оружием в руках к

соседнему народу, чтобы заставить его принять свои законы и свое государственное устройство. Никто не любит вооруженных миссионеров, и первый совет, который дают природа и благоразумие, — выгнать их, как врагов...

Прежде чем вторгаться в политику и во владения государей Европы, обратите ваши взгляды на внутреннее положение страны; приведите в порядок дела у себя, прежде чем нести свободу другим!..

Эти слова, выплеснутые, подобно ушату ледяной воды, на разгоряченные головы слушателей, принадлежали Максимилиану Робеспьеру. Они были произнесены 18 декабря 1791 года. Ими Неподкупный начал свою долгую кровопролитную борьбу против Жиронды.

Глава 2

Война объявлена

Позиция, занятая Робеспьером и его единомышленниками в вопросе о войне, определялась весьма серьезными соображениями.

Война революционной Франции с реакционной Европой была неизбежна. Контрреволюционная коалиция активно складывалась; рано или поздно она развязала бы агрессивную карательную войну против ненавистного очага революционной заразы. Весь во-про с заключался лишь в том, когда, при каких условиях война начнется и какой она будет.

Король и его окружение стремились развязать войну незамедлительно, считая, что, чем раньше она вспыхнет, тем скорее осуществятся их заветные мечты. Явно недооценивая патриотизм и революционную решимость народа, роялисты смотрели на «малую» войну как на удобный предлог для окружения двора армией. Опираясь на контрреволюционный офицерский состав, монарх смог бы, по их мнению, своим присутствием и ловкими щедротами завоевать симпатии солдат, и тогда исход войны был бы для него совершенно безразличен: если война окажется победоносной, то, опираясь на армию, он раздавит революцию, а если война будет неудачной, то он раздавит революцию, опираясь на интервентов! Фельяны полностью разделяли планы двора, считая, что «малая» война укрепит трон, а следовательно, и их положение.

Жирондисты также желали скорейшего начала войны, но они мечтали не о «малой» войне, а о мировом пожаре. Они хотели потрясать троны и экспортировать революцию соседним народам. Подобного рода агитация могла разжечь — и действительно разожгла — воинственный энтузиазм трудящихся масс, отвечая революционному патриотизму французского народа. Однако под внешним блеском жирондистского красноречия скрывалась эгоистическая и тонко продуманная политика, толкавшая народ на авантюру. Заботясь на словах о низвержении деспотизма и расширении революционного движения, на деле жирондисты помышляли лишь о расширении экономических возможностей торгово-промышленной буржуазии за счет захвата северо-восточных пограничных территорий. Призывая на словах к спасению нации, на деле они стремились лишь отвлечь массы от внутренних проблем и этим облегчить установление своего политического господства.

Робеспьер прекрасно понял и короля, и фельянов, и жирондистов.

Сознавая неизбежность смертельной схватки с силами коалиции, он был далек, однако, от опьянения Инара и его друзей. Ему глубоко претила мысль о насильственном навязывании другим народам чуждого им строя. Для Франции война могла быть только справедливой, оборонительной. При этом, отнюдь не представляя себе войну в виде воскресной прогулки под звуки фанфар, Робеспьер считал крайне неразумным ее ускорение. В речи, произнесенной в Якобинском клубе 18 декабря, он с предельной остротой сформулировал свою точку зрения и вскрыл истинную подоплеку махинаций реакционеров.

— Я тоже хочу войны, — сказал он, — но войны такой, какую требуют интересы нации: укротим сперва наших внутренних врагов, а потом двинемся против врагов внешних...

— Существуют ли у нас враги внутри страны? — обращался он к жирондистам. — Вы их не признаете, вы признаете только Кобленц... Знайте же, что, по мнению всех осмотрительных французов, подлинный Кобленц находится во Франции...

Подчеркнув, что самого опасного врага следует искать поблизости, в центре Парижа, около трона, на самом троне, Неподкупный раскрыл картину заговора, составленного дворян и фельянами. Он разоблачил военного министра Нарбонна, стремившегося создать армию в качестве силы для подавления революции, он показал, как в сложившихся условиях, когда королевские вето поощряют реакционное духовенство и предателей-дворян, любая внешняя война неизбежно осложнится внутренней, междоусобной войной, а также войной религиозной, что сделает достижение победы весьма маловероятным. И он, возражая против объявления войны, требовал в первую очередь вооружения народа.

Но особенно неизгладимое впечатление как на друзей, так и на врагов произвела его вторая речь о войне, произнесенная в Якобинском клубе 11 января 1792 года.

Предыдущее выступление Робеспьера крайне обозлило жирондистов, ибо его речь, идя вразрез с их планами, значительно ослабила впечатление от тех ярких, зажигательных призывов, с которыми они неоднократно обращались к своим слушателям в Собрании и вне его. Бриссо ответил на речь от 18 декабря резким выпадом, полным грубой клеветы и натяжек. Он защищал Нарбонна и выгораживал двор, хотя не смог при этом ничего противопоставить разоблачениям Неподкупного. Речь вождя жирондистов возмутила многих представителей демократии. «Я вас больше не уважаю, г. Бриссо; я считаю вас изменником», — писал один прогрессивный

журналист. Однако часть якобинцев поддержала оппонента Робеспьера. Тогда последний выступил с большой речью, потрясшей всех. В речи Максимилиана не было ни брани, ни клеветы. Он не собирался отвечать клеветникам их оружием. Но если первая его речь о войне была выдержана в холодных, бесстрастных тонах, то новое выступление дышало гневом обличения и благородной патетикой.

Оратор начал с заявления, что он готов согласиться с требованиями жирондистов. Не хотят выполнить его предварительного условия — обуздать сначала внутренних врагов — ладно, он согласен и на это. Мало того, теперь он сам требует войны, если не как акта мудрости, то хотя бы как акта отчаяния. Но он ставит другое условие, как будто совпадающее с тем, о чем неоднократно кричали жирондистские ораторы: он требует, чтобы войну объявил дух свободы и чтобы вел ее сам французский народ.

Такое вступление всех заставляет насторожиться: неужели Неподкупный сдает свои позиции? Неужели он действительно готов согласиться со своими вчерашними противниками? Но это предположение тотчас же разбивается в прах, как только оратор начинает рассматривать пункт за пунктом возможности выполнения поставленного им условия.

Чтобы вести подлинную народно-освободительную войну, необходимо иметь армию и военачальника.

Но где же военачальник, который был бы неизменным охранителем прав народа и врагом тирании? Где полководец, руки которого не были бы запятнаны кровью народа и придворными подачками? Пока что оратор такого не видит...

Сформировать армию нужно из преданных революции людей, победителей Бастилии, солдат, первыми перешедших на сторону народа. Но где они? Их нет. Их развеяли голод, нищета, гонения, они расстреляны на Марсовом поле или томятся в окопах...

Может быть, в таком случае собрать всех национальных гвардейцев? Но, оказывается, они не имеют ни обмундирования, ни оружия, их начальство сделало все для того, чтобы их обессилить.

Хорошо! Пусть все это так! Оратор верит в нестигаемую силу народного духа! Пусть соберутся все, кто есть, голые и голодные, третируемые и безоружные. Можно объединить все состояния и купить оружие, можно проявить нечеловеческие усилия и драться разутыми и раздетыми! Лишь бы только народ сам объявил и сам вел эту войну!..

Здесь оратор вдруг замолкает и делает вид, будто прислушивается. На лице его написано удивление.

— Но что это? Оказывается, все ораторы за войну останавливают

меня. Вот господин Бриссо говорит мне, что все это дело должен вести *граф Нарбонн*, что поход надо совершить под начальством *маркиза Лафайета*, что вести нацию к победе и свободе подобает *исполнительной власти*...

О французы! Эти слова разбили все мои мечты, уничтожили все мои планы! Прощай, свобода народов!..

Говорю прямо: если война в том виде, в каком я ее представил, неосуществима, если нам следует согласиться на войну, проектируемую двором, министрами, патрициями и интриганами, то я, ничуть не веря во всемирную свободу, не верю даже и в свободу вашу. Все, что мы можем сделать наиболее благоразумного, это защищать родину от вероломства внутренних врагов, которые убаюкивают вас сладкими иллюзиями...

В Якобинском клубе, где Неподкупный опять одерживал победу, в Париже и повсюду в стране эта речь произвела глубокое впечатление. На мгновенье затихли даже лидеры жирондистов. Во всяком случае, на следующем заседании клуба Бриссо, чувствуя двусмысленность своего положения, в волнении сказал своему противнику:

— Умоляю господина Робеспьера кончить столь скандальную борьбу, которая выгодна только для врагов общественного блага...

Тогда Максимилиан обнял Бриссо, и враги расцеловались.

Но, открывая объятия своему политическому сопернику, Максимилиан хотел лишь показать, что не смешивает личных и партийных отношений...

— Пусть наш союз, — сказал он, — зиждется на священной основе патриотизма и добродетели; мы будем бороться, как свободные люди, энергично, с прямоотой, но с уважением и чувством дружбы.

Неподкупный еще раз оказался триумфатором. И если в начале своей кампании против войны он был почти одинок, то теперь его поддерживали такие люди, как Марат, Дантон, Демулен, Сантер, Билло-Варен и множество других выдающихся якобинцев.

Однако реальная сила медленно, но верно концентрировалась в руках жирондистов. Их красноречие и, главное, направление их политики уже начинали пленять Законодательное собрание. В их руках сосредоточивались главные муниципальные должности в провинциях и в столице; сам парижский мэр был их ставленником и приверженцем. Если в начале сессии новой Ассамблеи большинство их лидеров были мало кому известны, то теперь их голоса гремели и в Собрании, и в Якобинском клубе, и на улице. Двор, предвкушая скорое осуществление своей заветной мечты, для виду готов был расшаркаться перед теми, кто стремился

превратить мечту двора в действительность. В марте 1792 года король согласился сформировать министерство из жирондистов. Это был апогей их могущества! Главные роли в новом министерстве играли министр внутренних дел Ролан и министр иностранных дел Дюмурье. Впрочем, первый из них прославился преимущественно тем, что был мужем госпожи Ролан. Деятель недалекий и ограниченный, он был креатурой Бриссо и своей жены. Иное дело — Дюмурье. Этот невысокий смуглый человек с лживым и мягким взором, вкрадчивой, но решительной речью и галантными манерами был, несомненно, одарен. При этом, однако, он был бесстыднейшим пройдохой и авантюристом. Конечно, новое министерство крайне шокировало двор. Его прозвали «министерством санкюлотов». Рассказывают, что когда долговязый Ролан с прилизанными волосами, в черном фраке и туфлях с тесемками первый раз появился на заседании совета министров, смущенный церемониймейстер подошел к Дюмурье и, указывая глазами на столь конфузное отступление от этикета, тихо сказал:

— Ах, даже нет пряжек на башмаках!

— О! — с полнейшей невозмутимостью ответил министр иностранных дел. — Все погибло!

Но как бы там ни было, жирондисты упивались своей славой. Их политическим центром стал салон госпожи Ролан, умной, честолюбивой и красивой женщины, умевшей в непринужденной беседе за чашкой чаю организовать обсуждение вопросов, связанных с политикой и тактикой жирондистской партии. Госпожа Ролан давала частые обеды, на которых встречались новые министры и лидеры Собрания — ведущие депутаты Жиронды. Влияние последних увеличивалось с каждым днем, и министерство чувствовало себя под охраной их красноречия, как за каменной стеной.

Но если жирондисты были сильны своим влиянием в Ассамблее и в ратуше, если в их руках сосредоточивались министерские должности, то главную мощь — мощь на час — им создавала поддержка широких народных масс, которые были увлечены ими и которые им пока что, безусловно, верили.

Тяжелое экономическое положение, в котором уже давно находилась Франция, резко ухудшилось с начала нового, 1792 года. Эмиграция духовной и светской аристократии понизила спрос на предметы роскоши, производство которых прежде занимало одно из первых мест во французской промышленности. Мелкие и средние предприниматели, занятые этой отраслью производства, начали разоряться. Одновременно

сократился общий объем строительных работ. Тысячи рабочих потеряли свою грошовую заработную плату и оказались выброшенными на улицу. Неуклонно продолжал падать уровень жизни сельского населения. Цены не переставали расти, хлеба не было, сахар исчезал. Ухудшению положения народных масс содействовал ажиотаж капиталистов, спекулировавших на народной нужде. Так, некий Жозеф Франсуа Эльб, выдававший себя за американца, прося покровительства со стороны Законодательного собрания, заявил, что он владеет запасом сахара на два миллиона ливров и кофе на миллион, но пока не намерен продавать своих товаров, ожидая дальнейшего повышения цен. Подобные случаи были не редки.

Уже в январе 1792 года начались волнения рабочих и ремесленников на почве дороговизны и отсутствия продуктов питания. В ряде кварталов столицы голодные бедняки громили лавки и склады, добиваясь, чтобы торговцы продавали продукты по твердым ценам. Продовольственные волнения охватили ряд районов страны. В Париже и в провинции сельская и городская беднота стала выступать с требованиями установления государственной таксации цен на хлеб, зерно, сахар.

9 марта 1792 года мэр города Этампа Симоно отдал приказ стрелять по толпе, потребовавшей установления твердых цен. Возмутившаяся толпа убила его. Дело Симоно на какой-то момент привлекло всеобщее внимание к продовольственному вопросу. Священник якобинец Доливье отправил в Ассамблею послание от имени граждан Этампа, оправдывавшее и теоретически обосновывавшее движение бедноты. Он осуждал чрезмерное скопление богатств в руках частных лиц, призывал к таксации цен и протестовал против неприкосновенности земельных владений крупных собственников.

Но Законодательное собрание осталось глухо к справедливым требованиям народа. Оно поддерживало темных дельцов вроде «американца» Эльба, оно, несмотря на протесты Робеспьера и Марата, увековечило память этампского мэра, но оно встретило молчанием послание Доливье, равно как и другие протесты возмущенного народа.

Только Робеспьер в газете «Защитник конституции», которую он начал издавать в это время, напечатал петицию Доливье и снабдил ее своими комментариями. Но, нападая на буржуазию, обогащающуюся на народных бедствиях, Максимилиан заявлял одновременно, что никакой «аграрный закон», никакой передел земли в настоящих условиях невозможен, что требование подобного рода не более как вредная утопия..

Что же касается жирондистов, то они решили спекулировать на народных бедствиях, спекулировать на свой особый манер. Они стали на путь

откровенной демагогии. Не сделав ровным счетом ничего для облегчения нужд народа, не выступив ни с одним конкретным предложением к ослаблению тисков голода, они начали пропаганду немедленной войны, считая ее могучим средством отвлечения народных масс от наболевших социальных и экономических вопросов. И здесь они попали в самую точку. Народ видел грубые провокации со стороны эмигрантов и поддерживавших их реакционных европейских правительств, Народ верил, что вся его нужда, все его бедствия — прямой результат этих провокаций, следствие давления контрреволюции зарубежной на, контрреволюцию внутреннюю. И разве трудно было в этих условиях доказать народу, охваченному патриотизмом и горящему желанием дать отпор вероломному врагу, что этот отпор следует дать немедленно, прежде чем будут разрешены внутренние проблемы?

Вместе с тем — и в этом заключалась другая сторона жирондистской демагогии — в отличие от фельянов, афишировавших свое пренебрежение к простому люду, жирондисты умели льстить народу, подделываться под настроения толпы.

Они выпустили своеобразный манифест в виде письма Петиона и Бюзю, в котором указывали на союз народа с буржуазией как на главное средство общественного спасения. Согласно выражению этого манифеста «буржуазия и народ должны были слиться воедино». Таким образом, если прежние крупные собственники — либеральная буржуазия и дворянство, объединявшиеся под флагом конституционализма, — боясь утратить власть, расстреливали народ на Марсовом поле, что вызвало раскол прежнего третьего сословия, то новые собственники — буржуазия, идущая под флагом жирондизма, — стремясь захватить власть, демагогически пытались вновь скрепить это бывшее сословие...

И одно выражение, которое внимательного читателя должно было насторожить: «Буржуазия и народ, — писал Петион, — совершили революцию; только их единение может сохранить ее». Значит, сохранить, а не завершить! Не слышалось ли здесь отдаленного погребального звона? Не напоминает ли эта фраза того места в речи Барнава о неприкосновенности короля, где он приказывает революции остановиться? Итак, жирондисты, пробираясь к власти, уже начинали подумывать о сохранении достигнутого; пройдет время — Петион и Бриссо заявят об этом не менее решительно, чем некогда Барнав!

Призывая народ к единению с буржуазией, жирондисты развлекали и отвлекали его побрякушками.

Они ввели в моду слово «санкюлот», чтобы хвастаться своим

«санкюлотизмом», своей демократичностью; они ввели в моду красный колпак, чтобы, надев этот головной убор на народ и на себя, показать, как они близки к народу! Бриссо дошел даже до того, что стал расхваливать красный колпак в своей газете, «потому что он веселит, выделяет лицо, делает его более открытым, более уверенным, покрывает голову, не пряча ее, красиво оттеняет природное достоинство и поддается всякого рода украшениям» (!!!).

Истинный демократ, Робеспьер до глубины души возмущался всем этим шутовством и притворным подлизыванием к народу. Он ясно видел подоплеку всех этих демаршей. Цель была одна — развязать войну, и развязать как можно скорее.

Робеспьер прекрасно понимал, что призыв жирондистов к войне — не более чем авантюра. Он, как и другие радикальные демократы, знал, что войной не уменьшишь голода и спекуляции, а, напротив, лишь увеличишь их. Он видел, что народ к войне не готов, что внутри страны поднимает голову контрреволюция, что во главе армии ставят генералов-предателей. Он не сомневался, что в этих условиях война с самого начала ознаменуется поражениями, которые, взбодлив силы реакции, могут привести к гражданской войне и к удушению революции. Он чувствовал все это и своими бессмертными речами, написанными кровью сердца, предостерегал народ!

Но чего он не разглядел — а этого пока не разглядел никто, — так это всей силы народного воодушевления, всей глубины народного патриотизма, всего величия народного терпения и всей мощи народного гнева. Народу, воодушевленному ложным порывом, который зародили жирондисты, было суждено перед достижением победы пройти гораздо более тяжелый, несравненно более опасный и значительно более кровавый путь, чем тот, на который звал его Неподкупный. Но народ этот путь прошел и победу достиг!

Война была объявлена 20 апреля 1792 года. Провозглашая войну австрийскому императору, Законодательное собрание приветствовало фразу оратора крайней левой Мерлена из Тионвилля: «Вотируем войну государям и мир народам».

Итак, война началась! Робеспьеру и его единомышленникам не удалось предотвратить ее слишком быстрый приход. Но раз дело сделано, не время жалеть о прошедшем. И теперь Неподкупный обращает всю свою энергию на воодушевление народа к мужественной борьбе с неприятелем, к достижению быстрой и полной победы. Теперь волею обстоятельств план был изменен: раз не удалось сокрушить врага внутреннего до столкновения

с врагом внешним — оставалось мобилизовать все силы против коалиции, грудью защитить свободу и затем повести революцию по пути к республике!

Глава 3

Отечество в опасности

Война! Сколько сокровенного смысла в этом коротком зловещем слове! Сколько ужаса, слез, крови, безнадежности! Разрушенные города, сожженные деревни, нескошенные поля! А голодные семьи, лишенные кормильцев? А безногие и безрукие калеки, выброшенные за борт созидательной жизни? Горе, смерть, уничтожение повсюду сопутствуют роковому призраку войны и остаются там, где этот призрак проходит.

Видел ли все это французский народ 20 апреля 1792 года, в день, когда был принят декрет о войне? Догадывался ли он, что, начиная с этого дня, война четверть века подряд будет потрясать Европу? Нет, не видел. Нет, не догадывался. Французский народ воспринял декрет с восторгом и воодушевлением. Патриоты, рукоплескавшие Собранию и жирондистам, ждали успешной и короткой войны, которая сокрушит троны и даст мир народам. Армия тиранов, согласно вещаниям Бриссо и его друзей, с первых же дней должна была дрогнуть и отступить. Но получилось иначе. С первых же дней и даже часов начала отступать французская армия, причем в ряде случаев отступить, не придя в соприкосновение с противником.

Робеспьер знал, что делает, когда говорил о «внутреннем Кобленце», когда требовал отставки генералитета и вооружения народа. Худшие опасения Неподкупного не замедлили оправдаться.

Вопреки заверениям военного министра французская армия не была готова к большой войне. Она не была даже полностью отобилизована, солдатам не хватало оружия и снаряжения. Подразделения добровольцев, наиболее проникнутые революционным патриотизмом, умышленно — не обучались и не вводились в состав регулярной армии. Двор сумел тайно передать австрийцам план военной кампании. Генералы, командовавшие армиями — Рошамбо, Лафайет и Люкнер, — были явными предателями. Первый из них — больной, апатичный старик, преклонявшийся перед австрийским генеральным штабом, прямо писал королю, что следовало бы подождать несколько дней с началом военных действий, пока силы австрийцев полностью развернутся. Вскоре он подал в отставку. Лафайета многие называли Кромвелем; в действительности же он готовился сыграть роль Монка: уже до начала военных действий он составил план «спасения» короля и разгона «бунтовщиков». Контрреволюционное офицерье помогало заговорщикам-генералам. Предаваемые своими командирами, не

подготовленные к войне, солдаты отступали по всему фронту, и только отсутствие координации действий между Австрией и Пруссией, которые не успели развернуть и сосредоточить военные силы на Рейне и в Нидерландах, спасло Францию от немедленной катастрофы.

Первые вести с фронта произвели в Париже ошеломляющее впечатление. Народ был беспредельно возмущен. Теперь голос, к которому прислушивались и раньше, стал доходить до глубины души и рассудка. Смутились и жирондисты. Подобного развития событий и, главное, в таком темпе они не ожидали! Как ни вертись, как ни старайся представить дело, создавалась прямая угроза для их власти, для всего того, чего они, наконец, добились! Оказывается, Неподкупный был прав, когда предсказывал измену! Оказывается, он не ошибался, когда требовал удаления Лафайета! Теперь жирондистов душила бешеная злоба. Сделав столь решительный шаг вперед, они не могли тотчас же податься назад. Пропагандировавшие раньше Лафайета, не могли вдруг признать того, что их предали, ибо, признай они это открыто, симпатии народа тотчас же бы их покинули. Но весь ужас их положения заключался в том, что, как бы они теперь ни поступили, победителем все равно оказывался Робеспьер! Действительно, в их руках сосредоточились Ассамблея, король, ратуша, печать; их ставленниками были министры и парижский мэр; они располагали первоклассными ораторами, политическими умами, а его популярность все более возрастала. Он становился, следуя их выражению, кумиром народа.

Дольше терпеть этого нельзя... Неподкупный прав — что же, пусть будет тем хуже для него! Его надо стереть в порошок! И вот началась травля, перед которой померкли былые выпады Мирабо, Бомеца и их друзей.

Повод для атаки был быстро найден. Когда в июне 1791 года Максимилиан согласился принять должность общественного обвинителя парижского уголовного суда, он сделал оговорку, что может отказаться от этого места, если более священные обязанности перед народом заставят его это сделать. Теперь такой момент наступил. Теперь вся его энергия, все его силы, весь его ум нужны были на ином поприще. И он, не колеблясь, в том же апреле отказался от должности обвинителя, отказался, по его словам, так же, как бросают знамя, чтобы было удобнее сразиться с неприятелем.

Это ему сейчас же поставили в вину. Его обвинили в гордости и дезертирстве. На заседании Якобинского клуба 25 апреля Бриссо, который недавно лобызался с Робеспьером, разразился истеричной тирадой, в которой брал под защиту Лафайета и извергал хулу в адрес Неподкупного.

Более определенно высказался Гюаде:

— Я разоблачаю в нем, в Робеспьере, человека, который из честолюбия или по несчастью, стал кумиром народа. Я разоблачаю в нем человека, который из любви к свободе своего отечества, быть может, должен был бы сам подвергнуть себя остракизму, потому что устранился от идолопоклонства со стороны народа — значит оказать ему услугу...

Трудно было выразиться яснее! Они предлагали ему уйти, не замечая того дикого противоречия, рабами которого они оказались: обвиняя Максимилиана в дезертирстве, они требовали, чтобы он отказался от общественной деятельности!

Неподкупный ответил умно, великодушно и скромно:

— Пусть будет обеспечена свобода, пусть утвердится царство равенства, пусть исчезнут все интриганы; тогда вы увидите, с какой поспешностью я покину эту трибуну... Отечество свое можно покинуть, когда оно счастливо и торжествует; когда же оно истерзано, угнетено, его не покидают: его спасают или же умирают... Я с восторгом принимаю эту участь. Или вы требуете от меня другой жертвы? Да, есть жертва, которой вы можете требовать от меня еще. Приношу ее отечеству: это моя репутация. Отдаю ее в ваши руки...

Его репутация! Именно она и была нужна ненасытным преследователям. И они вцепились в эту репутацию, принялись ее порочить, кромсать, втоптывать в грязь. Бриссо, Гюаде и другие, стремясь перекричать друг друга, в своих газетах, брошюрах, речах подняли остервенелый вой. Его обвиняли в стремлении к тирании, ему приписывали кровожадность, жестокость, глупость, трусость, действия посредством клеветы и т. д. и т. п. Рекорд побил Бриссо, обвинивший Неподкупного ни много, ни мало, как в том, что он дал себя подкупить двору.

Травили и преследовали не только Робеспьера, но и его сторонников. Их всячески утесняли, старались не допустить к занятию общественных должностей или дискредитировать. Напротив, противникам Максимилиана были широко раскрыты двери всех ведомств. «Произнесите-ка хорошую речь против Робеспьера, — говорил один наблюдатель, — и я ручаюсь вам, что раньше чем через неделю вам дадут место».

Как он реагировал на все это? Он долгое время сдерживал себя, долгое время верил, что можно биться по принципиальным вопросам, не становясь на личную почву. Когда эта вера исчезла, он все еще предлагал мир.

В течение всего периода своей борьбы с жирондистами он был очень далек от мести за личные обиды и оскорбления.

И не он первый выступил со своей защитой. Выступил Демулен, подвергший едкому осмеянию клеветников в своей газете и в брошюре «Разоблаченный Бриссо», каждая страница которой была подобна удару кинжалом. Выступил Друг народа — Марат, снова загнанный жирондистами в подполье. Выступил Дантон, поддержавший Неподкупного громовыми раскатами своего голоса. Возражая в Якобинском клубе на заявление, обвинявшее Робеспьера в стремлении к тирании, Дантон сказал:

— Господин Робеспьер всегда проявлял здесь только деспотизм разума. Значит, противников его возбуждают против него не любовь к отечеству, а низкая зависть и все вреднейшие страсти... Быть может, наступит время — и оно уже недалеко, — когда придется метать громы в тех, кто уже три месяца нападает на освященного всею революцией добродетельного человека, которого прежние враги называли упрямым и честолюбцем, но никогда не осыпали такими клеветами, как враги нынешние!

Журналист Эбер в своей газете «Отец Дюшен» подметил характерную деталь. «Лица, так громко твякующие на Робеспьера, — писал он, — очень похожи на ламетов и барнавов в ту пору, когда этот защитник народа сорвал с них маски. Они называли его тогда бунтарем, республиканцем. Так же называют его и теперь, потому что он вскрывает всю подноготную...»

Решительно поддержал своего вождя Клуб якобинцев, который издал постановление, осуждавшее клевету Бриссо и Гюаде; принятое единогласно, оно было разослано по всем филиальным отделениям клуба.

Что же касается самого виновника всей этой кампании, то он проявлял себя гораздо более сдержанно, чем его враги и друзья. Он отвечал клеветникам и клеймил их грязные махинации; на страницах «Защитника конституции» он обвинял вождей жирондистов в демагогии, обличал их властолюбие и интриги; но при этом Робеспьер подчеркивал, что чрезмерного внимания демагогам и интриганам уделять не следует. Они не смогут развратить народ, как невозможно отравить океан! Они сами разоблачат себя — пусть пройдет время. Сейчас гораздо более важно другое. Сейчас в центре внимания всех патриотов должна находиться война и связанные с ней проблемы. И Неподкупный говорит и пишет прежде всего об этих злободневных проблемах.

Да, без сомнения, война началась не вовремя. Но раз она началась, она

должна быть только выиграна — иного выхода нет. Ее необходимо закончить решительной победой и в предельно сжатые сроки. Можно ли добиться этого, оставив во главе армии старый генералитет? Робеспьер по-прежнему с настойчивостью утверждает, что самая большая опасность — в изменниках-генералах. Но не только в этом дело. Нынешняя война носит совершенно иной характер, чем любая из прежних войн: перед ней народные цели, а потому пусть вооруженный народ будет по-новому организован и дисциплинирован. И, развивая мысли, некогда высказанные с трибуны Учредительного собрания, Максимилиан доказывает, что без революционной дисциплины не может быть революционного солдата; если дисциплина устанавливается только палочной муштрой, солдат забывает о своем гражданском долге и превращается в простое орудие истребления.

Робеспьер вносит ряд практических предложений в целях укрепления армии. Он предлагает создать особые легионы солдат патриотов в количестве до шестидесяти тысяч человек, которые бы играли роль передовых отрядов революции и содействовали выковыванию нового духа в армии. Он поддерживает даже своих противников всякий раз, когда по тем или иным соображениям считает их действия полезными для народа, для победы. Так было, например, в вопросе о лагере федератов.

4 июня военный министр Серван внес в Ассамблею предложение созвать от каждого кантона Франции по пять обмундированных и снаряженных федератов, с тем чтобы, явившись в Париж к 14 июля, они образовали затем лагерь в двадцать тысяч человек к северу от столицы.

Этот проект был составлен жирондистами в своих эгоистических целях. Рассчитывая на зажиточное население департаментов, они хотели создать из него силу, которая могла бы помочь им держать в страхе всех своих врагов, оказывая давление и «а короля и на демократические клубы. Так именно и расценил планы жирондистских лидеров Максимилиан и на первых порах оказал резкое противодействие проекту. Однако вскоре он понял, какой важной революционной силой может стать лагерь федератов, воодушевленных патриотизмом и собранных воедино! И тотчас же Неподкупный меняет тактику: вместо оппозиции проекту он поддерживает его. События недалекого будущего покажут, насколько он был прав в данном случае и какую роль сыграют федераты в победном марше революции.

В эти дни под давлением демократического движения сильно смущенное положением дел на фронтах Законодательное собрание сделало крен влево. Чтобы как-либо реабилитировать себя в глазах народа,

жирондистские лидеры настояли на принятии трех декретов. Кроме постановления о лагере федератов, было решено издать новый закон против неприсягнувших священников и декрет о роспуске королевской охраны, состоявшей из явных контрреволюционеров.

Но теперь король и двор не были склонны идти навстречу жирондистам. Поражения на фронтах опьяняли заговорщиков. Казалось, — ничто не преградит движения войск коалиции — оставалось спокойно ждать их прихода в Париж. Людовик XVI заговорил другим языком, чем несколько месяцев назад. Он явно не собирался утверждать представленных законопроектов, а когда Ролан направил к нему укоряющее письмо — дал отставку жирондистским министрам. Это произошло 13 июня.

Дюмурье, разошедшийся с жирондистами, пытался сыграть на возникшем конфликте, что, однако, ему не удалось; через несколько дней он сам подал в отставку и уехал в северную армию. Фельяны, призванные королем к власти, вновь торжествовали.

Реакция перестала стесняться и сбросила маску. Дюпор прямо советовал Людовику XVI распустить Законодательное собрание и сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Роялисты призывали к закрытию Якобинского клуба «как источника всех беспорядков». Лафайет прислал в Ассамблею письмо, составленное в повелительном тоне, полное угроз по адресу демократии; он требовал «обуздать» якобинцев и «освободить отечество от внутренней тирании».

Теперь уже скрыть от народа истинное положение дел было невозможно. «Герой двух частей света» предстал в своем подлинном виде! На страницах «Защитника конституции» Робеспьер подвел итог своим прежним разоблачениям. Он напоминал о интригах Лафайета против революционеров, о поддержке им махрового врага свободы генерала Буйе, не забыл и о бойне на Марсовом поле... В заключение, кивая на Бриссо и его друзей, Неподкупный писал: «Я сто раз тщетно указывал на абсурдную непоследовательность вручения защиты государства самым опасным врагам свободы». Новая публичная пощечина лидерам Жиронды!

Да, ничто им не удавалось, все уплывало между пальцами. Оппортунистическая политика показывала свою оборотную сторону! Они заигрывали с народом и старались прибрать к рукам монарха; в результате народ в них разочаровывался, а монарх оттолкнул! Они развязали войну под демагогическими лозунгами «во имя нации», рассчитывая отвлечь бедноту от жгучих внутренних проблем и увеличить свои богатства и власть; в результате власть они явно теряли, богатства не увеличивались, а

война шла неудачно, заставляя бедноту задумываться как раз над внутренними проблемами. Они сделали ставку на Лафайета, обласкали его, создали ему репутацию, а он их предал, высмеял и выдал на поругание Неподкупному.

Было отчего прийти в ярость и уныние! Но самые горячие слезы жирондистские вожаки лили по случаю потери министерской власти; это было особенно досадно. Собрание вотировало сожаление по поводу ухода «министров-патриотов», но что проку в сожалениях? Гораздо более заинтересовало жирондистов то обстоятельство, что отставка министров вызвала возбуждение в предместьях и некоторых секциях центра Парижа. Значит, народ их не совсем покинул! Значит, можно продолжить игру на демагогии и, распалив народ, нажать на короля, добиться возвращения министерских портфелей! Этот план, раз возникнув, не давал им покоя. Они решили организовать демонстрацию для устрашения двора, причем, временно забыв свое недавнее поведение по отношению к Неподкупному, рассчитывали на его поддержку, как и на помощь других вождей демократии. Но Робеспьер не собирался таскать из огня каштаны для своих недавних оскорбителей. И что за дело было вождям демократического лагеря до жирондистских министров! Неподкупный и его соратники думали сейчас о другом. Они видели, что атмосфера накаляется, что возмущение народа растет, что близок час, когда можно будет поднять восстание против монархии! Поэтому, на их взгляд, незачем было растрчивать энтузиазм народа на пустые демонстрации с игрушечными целями. Робеспьер был вполне уверен, что подобная половинчатая мера не приведет к осязаемым результатам. «Частичные восстания только обессиливают народное дело», — заявил он в Якобинском клубе. Но жирондисты думали о своем. И вот 19 июня мэр Петион устроил совещание с командирами батальонов секций предместий. Манифестацию было решено провести на следующий день. В качестве руководителей движения были выделены Сантер, Лежандр, будущий революционный генерал Россиньоль и другие люди, популярные в предместьях.

В демонстрации 20 июня приняло участие около двадцати пяти тысяч парижан. В колоннах людей, продефилировавших по улице Сент-Оноре и подошедших к зданию манежа, можно было видеть рабочих, вооруженных пиками, саблями, вилами, крючников и угольщиков, национальных гвардейцев, молодых девушек и матерей с оборванными детьми. Тут же были и музыканты, слышались напевы знаменитой песенки «Са ира» — «Все пойдет на лад».

Законодательное собрание, явно встревоженное, после некоторых колебаний вынуждено было впустить и выслушать депутацию манифестантов. Оратор депутации выразил недоумение и гнев народа по поводу всего происходившего. «Мы жалуемся, — заявил он, — на бездействие наших армий. Мы требуем, чтобы была выяснена причина бездействия. Если она зависит от исполнительной власти, то пусть она будет уничтожена! Кровь патриотов не должна проливаться для удовлетворения гордости и честолюбия дворца!.. Один человек не должен оказывать влияние на двадцать пять миллионов людей!..»

Затем толпа хлынула в Тюильрийский парк. Дворец охранялся национальной гвардией, но она не оказала сопротивления манифестантам, и им удалось проникнуть в королевское жилище. Придворные трепетали. Людовику XVI пришлось выйти к народу и около четырех часов подряд, обливаясь потом, с лицемерной улыбкой изображать удовольствие от лицезрения ненавистной «черни». Королю протянули красный колпак — он надел его; дали выпить вина из солдатской бутылки — он выпил за здоровье парижан.

— Вы вероломны, — сказал монарху Лежандр. — Вы всегда нас обманывали, вы и теперь нас обманываете. Но берегитесь: мера терпения переполнена, и народ устал видеть себя вашей игрушкой.

Король пробурчал в ответ, что ни в чем не нарушает конституции.

Представление затягивалось, а результатов не было видно. Лидеры жирондистов, обеспокоенные, как бы народ не сделал худого королю, решили, что пора кончать. Во дворец срочно прибыли Инар и Верньо, следом за ними появился Петион. Все они стали уговаривать манифестантов оставить дворец и разойтись. Добиться этого было нетрудно, так как народу и без того надоело слоняться по анфиладам королевских покоев. К восьми часам вечера дворец опустел, демонстрация закончилась.

Как и ожидал Робеспьер, гора родила мышь. Чаяния жирондистов не сбылись: демонстрация не вернула к власти прогнанных министров. Напротив, она лишь разозлила двор. Король направил в Ассамблею резкий протест против событий 20 июня. Петион был уволен от должности мэра. Встревоженный Лафайет спешил в Париж. Таким образом, те, кто вызвал события 20 июня, на них же и погорели. Но сама по себе народная демонстрация явилась знаменательным событием. Она показала мощь народа и его настроения; она явилась прелюдией к более серьезным делам. Робеспьер и другие вожди демократии воочию убедились, что народ воодушевлен и полон решимости; нужно было лишь направить его

движение по верному руслу!

В одну из своих бессонных ночей королева развлекалась беседой с любимой камеристкой. Тюильрийский дворец был объят тишиной. Бледный свет луны пробивался сквозь полупущенные жалюзи.

— Всего через месяц, — прошептала Мария-Антуанетта, щурясь на голубоватый луч, — мы вместе с королем будем смотреть на эту луну, освобожденные от наших цепей...

Считали дни и придворные. Прикидывали, когда враг овладеет Лиллем, когда падет Верден. Предатели-генералы, со своей стороны, прилагали все усилия, чтобы оправдать надежды двора. Армия Люкнера, действовавшего согласно тайным инструкциям, без видимых причин оставляла город за городом. Лафайет покинул свои войска и прибыл в Париж, чтобы поднять мятеж национальной гвардии столицы и вывезти королевскую семью. Первый из этих планов провалился — генерал слишком понадеялся на свою утраченную популярность, но второй не был осуществлен лишь по вине самой королевы: Мария-Антуанетта, питавшая личную антипатию к бывшему маркизу, не пожелала получить освобождение из его рук, тем более что желанные интервенты были так близко.

Законодательное собрание, дряблое и нерешительное, чувствовало себя между молотом и наковальней: депутаты буржуазии не могли не видеть планов и козней двора, но, подобно своим предшественникам, членам Учредительного собрания, они безумно боялись народа и перед угрозой восстания готовы были идти на любой стговор с монархией. Лидеры жирондистов больше всего жаждали вновь утвердиться у власти и вернуть потерянные министерские портфели. После неудачи демонстрации 20 июня они не прекращали своей двойственной игры. Не имея возможности более защищать Лафайета, они оставили его, чем косвенно признали справедливость оклеветанного ими Робеспьера.

Они продолжали осторожно грозить монарху. 3 июля их главный оратор Верньо произнес сильную речь, обличавшую вероломство Людовика XVI, в которой показал, что король боится побед на фронте. Однако каких-либо радикальных выводов оратор не делал. Напротив, Бриссо и его друзья, трепетавшие перед назревающими событиями, были согласны все простить двору, если бы последний вновь стал с ними считаться.

Но народное патриотическое движение вопреки всему и всем

неуклонно росло и ширилось, увеличиваясь день ото дня, подобно снежному кому. Не случайно жирондисты так легко вызвали июньскую демонстрацию: возмущенный народ не собирался уклоняться от борьбы. Правительство от него отрекалось, генералы ему изменяли; что ж, он был готов взять судьбу революции и страны в собственные руки. И чем более измена и настроения в верхах становились очевидными, тем внимательнее массы прислушивались к разъяснениям Робеспьера и других идеологов-демократов, тем сильнее и могущественнее разливалась по всей Франции неудержимая волна революционного патриотизма. Не случайно в лексиконе этого времени слова «революционер» и «патриот» сделались синонимами: пламенная любовь к родине, воля к победе над внешним врагом отныне сливались воедино с представлениями о революции и республике. Да, теперь как нельзя более своевременным был лозунг, брошенный Неподкупным и услышанный массами: «В таких критических обстоятельствах обычных средств недостаточно. Французы, спасайте сами себя!»

Отечество в опасности! Этот клич, подобно вихрю, пронесся над встревоженной страной; он звучал и на равнинах Фландрии, и на полях Шампани, и на высотах Вогезов, и в цветущих долинах солнечного Прованса. Его слышали эльзасские горняки и лионские ткачи, моряки Нанта и Марсея, рабочие Лилля, Сент-Этьенна и Крезо. По всей Франции, охваченной единым патриотическим порывом, прокатилось массовое движение добровольного вступления в армию. Повсюду формировались отряды волонтеров. Первые подразделения воинов-федератов вступали в Париж.

Всеобщий патриотический подъем заставил колеблющееся Собрание принять 11 июля декрет, объявлявший отечество в опасности; еще раньше было проведено решение о сборе федератов в Париже для празднования дня 14 июля. Король не рискнул отвергнуть эти постановления Ассамблеи, как и ее отказ признать увольнение Петиона. Началась всеобщая мобилизация. Все мужчины, способные носить оружие, подлежали призыву. Новые формирования регулярной армии вместе с отрядами добровольцев-федератов двинулись к восточным границам. Внешний враг должен быть отброшен и будет отброшен! А внутренний?.. Как и предсказывал недавно Робеспьер, первого нельзя было отделять от второго, ибо они были связаны неразрывными узами.

Когда-то король рассчитывал, что война позволит ему опереться на армию для разгрома народа. Произошло обратное: армия слилась с народом

для разгрома монархии. Долго сдерживаемое народное негодование теперь обрушивало свой гнев не только на интервентов, но и на тех, кто открывал им дорогу в Париж. Революционный инстинкт поднявшихся масс верно указывал им на главный форпост измены и контрреволюции, окопавшихся в Тюильрийском дворце. Неподкупный оказался прав: необходимо было прежде всего уничтожить «внутренний Кобленц», и раз не удалось сделать это до начала войны, нужно было торопиться теперь! Отечество в опасности! И эта опасность не исчезнет до тех пор, пока не будет сломлен хребет монархии!

Глава 4

На пути к республике

К середине июля складываются два очага будущего восстания. Первым из них было собрание комиссаров столичных секций, вторым — центральный комитет федератов, собиравшихся в Париже.

Секции давно подняли свой голос. Уже в июне некоторые из них выступали с требованием свержения Людовика XVI. С 23 июня комиссары секций стали регулярно собираться в здании ратуши, явочным порядком присвоив себе права нового революционного органа столицы. С начала июля требования секций приобретают все более решительный характер. В Ассамблею направляется поток петиций, призывающих не только к отставке Лафайета и других предателей-генералов, но и к свержению короля, нарушившего конституцию и подло изменившего родине. Руководящая роль в деятельности секций принадлежала якобинцам и кордельерам. Бурную энергию в эти дни развивают Дантон и Шомет. Под влиянием агитации Дантона одна из секций проводит решение об отмене деления своих граждан на активных и пассивных; этот смелый акт становится примером для других районов столицы.

Одновременно в Париже образуется лагерь вооруженных федератов. К 11 июля их было зарегистрировано свыше тысячи шестисот человек, к 24 июля — уже около четырех тысяч. Согласно декрету Собрания федераты должны были присутствовать в Париже для празднования дня взятия Бастилии, а затем их надлежало перевести в Суасеон. Но вожди демократии настаивали на том, чтобы сохранить лагерь федератов в самой столице. 16 июля Робеспьер доказывает в Якобинском клубе необходимость пребывания федератов в Париже до тех пор, пока не будет ликвидировано напряженное положение. На следующий день он пишет от имени федератов адрес Законодательному собранию, в котором формулирует основные принципы программы демократов: отстранение исполнительной власти в лице короля, возбуждение обвинения против Лафайета, смещение военных и административных должностных лиц, обновление состава судов. Таким образом, парижский народ, объединявшийся с населением всей страны, под руководством Якобинского клуба и других демократических организаций готовился приступить к осуществлению последнего акта низвержения старого порядка...

Жирондисты дрогнули, и тяжелые томительные думы овладели ими. Опять не то, чего они желали, не то, к чему они стремились! Они хотели лишь припугнуть монархию, чтобы завладеть ею, а ее собираются уничтожить! Они призвали федератов в Париж для того, чтобы те защитили их от якобинцев, а федераты под руководством якобинцев готовятся брать приступом Тюильрийский дворец! Но если монархия будет низвергнута, кто же защитит тогда буржуазию от народа? Где плотина, сдерживающая стихию потока? Где противовес, дающий возможность искусно лавировать? Нет, этого нельзя допустить! Барнав и Дюпор, оказывается, были не такими уж профанами, когда требовали остановить революцию! И жирондистские вожди в Ассамблее, в клубе, в печати начинают новую кампанию — кампанию за спасение утопающей королевской власти.

24 июня Верньо с трибуны Законодательного собрания в ответ на предложение депутата крайней левой заняться вопросом о низложении короля предлагает не поддаваться пустым страхам и бесцельным порывам.

День спустя Бриссо, тот самый Бриссо, который так недавно был одним из пионеров республиканского движения, истошно вопит с той же трибуны, призывая громы и молнии на «партию цареубийц, стремящуюся установить республику!». «Если существуют люди, — кричит он, — желающие создать ныне республику на развалинах конституции, то их должен поразить меч правосудия точно так же, как и всех... кобленцких контрреволюционеров!» Яснее выразить свою мысль было невозможно: перед угрозой падения трона жирондисты заявляли, что слова «республиканец» и «контрреволюционер» — синонимы! Это было плохо, но по крайней мере откровенно. Гораздо более мерзким в политике жирондистов было другое, о чем пока в деталях никто ничего не знал, что происходило в глубокой тайне.

Заручившись содействием придворного живописца Бозе, ведущие лидеры жирондистов Верньо, Гюаде и Жансоне секретно передали королю письмо. В этом письме они извещали Людовика XVI о готовящемся страшном восстании, в ходе которого он потеряет корону, а быть может, и жизнь. Единственный путь к спасению, утверждали новые советники престола, дать отставку Лафайету, вернуть уволенных министров и согласиться на жирондистскую опеку. Так вчерашние революционеры становились на грязный путь антинародных заговоров, по которому шли до них конституционалисты и фельяны.

Впрочем, двор гордо отверг их помощь, отверг, несмотря на повторное ее предложение. Король и его окружение все еще продолжали надеяться на интервентов; если они не пожелали использовать услуг Лафайета,

предлагавшего вывезти королевскую семью из Парижа, то еще менее приемлемым для них казался союз с жирондистами, которых они презирали и до переговоров с которыми не желали унижаться.

Все эти демарши обошлись жирондистам дорого. Якобинский клуб от них отвернулся. Народ, который еще в июне поддерживал их, теперь больше им не верил. Они не могли повлиять на быстро развивающиеся события, не могли приостановить того, что им уже не подчинялось; они лишь все больше и больше компрометировали себя и свою политику.

Между тем король знал, что делает, когда отказывался от жирондистских услуг. В то время как тайные агенты Людовика XVI за рубежом торопили союзное командование, требуя скорейшего издания угрожающего манифеста и одновременного наступления на всех фронтах, двор, извещенный жирондистами о подготовке народного восстания, принимал срочные меры к концентрации внутренних сил реакции. В Париж было вызвано до семи тысяч солдат тех полков, на верность которых роялисты в какой-то мере могли рассчитывать. В чердачном помещении Тюильрийского дворца размещали походные кровати, заготавливали оружие и мундиры. Отовсюду собирались дворяне, готовые сражаться и умереть за своего короля. Надеялись на некоторые батальоны национальной гвардии, формировали новые подразделения из авантюристов и провокаторов, которым предписывалось вносить смуту и раскол в ряды народной армии. Фельяны и конституционалисты, со своей стороны, готовили силы, чтобы в нужный момент составить резервы двора.

Атмосфера страшного напряжения установилась над Парижем. Обе стороны готовились к нанесению решительного удара. Собрание, руководимое жирондистами, тщетно пытавшееся стать между борющимися сторонами, покатилося вправо и в своем падении опустилось до роли охвостья обреченной монархии. Чего же ждали? Каждая из сторон — своего. Монархия ожидала добрых для себя известий с фронтов и поощрительных сигналов от руководства интервентов, силы революции не хотели выступать, пока не соберутся в полном составе батальоны федератов: еще не прибыли добровольцы из Бреста, еще не было долгожданных марсельцев. Но всем было ясно: час скоро пробьет.

Это было ясно и Неподкупному, ясно до предела, до боли. Да, боль наполняет его душу в 20-х числах июля. Он по-прежнему в авангарде движения, хотя никто его не видит в эти дни на улице; он не участвует в формировании народных отрядов, не ведет, подобно Дантону, агитации в секциях. Что же он делает? Большую часть времени, свободного от

заседаний в клубе, он проводит сейчас в своей каморке, за письменным столом; он думает, взвешивает, пишет... Вот и сегодня, едва лишь закончились прения, Максимилиан спешит покинуть библиотеку Якобинского монастыря. Лицо его угрюмо и сосредоточено. Он идет быстрым шагом.

Улица Сент-Оноре. Церковь Успения. Напротив — ворота. На растрескавшейся дощечке старательно выведен номер 366. Это дом честного якобинца, почитателя и друга Максимилиана, столяра Мориса Дюпле. Пройден двор, скрипят ступени, ведущие на второй этаж. Вот он, скромный приют добродетели, обитель борца за народные права! Это комната Неподкупного, настоящая конура, с голыми стенами, единственным украшением которым служат сосновые полки с разбросанными на них книгами, газетами, рукописями. Простая кровать, покрытая грубым одеялом, кресло, набитое соломой, проглядывающей сквозь вытертую обивку, два цветочных горшка на окне.

Вот стол, за которым он думает и пишет в течение долгих вечеров и бессонных ночей. Здесь, за этим столом, рождаются речи, которые потрясут Францию и Европу, и единственными свидетелями их рождения будут старая свинцовая чернильница и лампа, бросающая тусклый свет. Под полом каморки — сарай, в котором спят работники, окно выходит во двор, где сушится белье, визжат пилы и стучат топоры. Таково жилище Неподкупного вместе со всем тем, что его окружает. Простота, скромность, бедность, достоинство — те принципы, которые он проповедует в своем учении, которые сопутствуют всей его жизни, — здесь налицо.

Но это не просто рабочий кабинет, не просто угол для спанья. Это кусок жизни в доме, который является его домом, в семье, которая является его семьей. Здесь все его глубоко уважают и горячо любят; нигде больше он не нашел бы таких условий для работы, создаваемых заботливыми руками.

Госпожа Дюпле, дама передовых взглядов, радушная, гостеприимная, по четвергам собирала в своем маленьком «салоне» кружок людей, близких по взглядам к — Робеспьеру, его друзей и соратников. Здесь можно было встретить Камилла Демулена с его молодой супругой; Паниса, исполнявшего роль доверенного лица при Неподкупном; Антуана, худощавого холодного человека, бывшего члена Учредительного собрания, которому Дюпле также давал квартиру. Сюда захаживал Дантон, здесь были завсегдатаями Сантерр и Лежандр. В непринужденной беседе собравшиеся обсуждали проблемы, волновавшие страну. Душой кружка был, разумеется, Максимилиан.

Но в эти дни он мало делился своими впечатлениями и взглядами с

окружавшими его людьми. Он выглядел мрачным, задумчивым, стремился к уединению. Всем было ясно, что его настойчиво преследуют какие-то невеселые мысли.

Так в действительности и было. Сидя за своим столом, Робеспьер напряженно думал, и чем больше он думал, тем страшнее ему становилось. Вновь ожили сомнения и колебания, подобные тем, которые тревожили его в дни, связанные с бойней на Марсовом поле.

Все ли подготовлено для победы?.. Справится ли народ с внутренней реакцией и внешним врагом одновременно? Хватит ли сил?.. А если нет?..

Лишь с двумя людьми он хочет поделиться своими сомнениями. Один из них — Жорж Кутон, депутат Законодательного собрания, его друг и соратник. Этот человек правильно поймет Неподкупного: он умен и проницателен, у него зоркий взгляд. Второй — старый аррасский корреспондент Максимилиана, Бюиссар. Но Кутон болен. И Неподкупный пишет ему письмо, датированное 20 июля. Это письмо показывает всю глубину душевного смятения его автора.

«...Мы подошли к развязке конституционной драмы. Революция пойдет более быстрым течением, если она не свалится в бездну военного и диктаторского деспотизма.

В том положении, в котором мы находимся, друзья свободы не могут ни предвидеть событий, ни управлять ими. Судьба Франции, кажется, покидает ее на волю интриг и случайностей. Утешением для нас может служить сила общественного духа в Париже и во многих департаментах и справедливость нашего дела...»

Письмо Бюиссару отослано позднее. Оно не датировано, очень кратко, написано прерывистым почерком. В нем есть мысли, перекликающиеся с письмом к Кутону.

«...Пусть нам всем придется погибнуть в столице, но прежде мы испытаем самые отчаянные средства. Подготавливаются события, характер которых трудно предвидеть.

До свидания, быть может, прощайте».

В этих скупых словах поразительное внутреннее противоречие.

С одной стороны, Робеспьер видит силу общественного духа народа Парижа и провинций, справедливость затеянного дела, верит в энергию и мудрость секций, говорит о крайних средствах, к которым демократы готовы прибегнуть, то есть как будто не сомневается в успехе.

С другой стороны, он заявляет, что характер грядущих событий трудно предвидеть, что вожди демократии не в силах руководить этими событиями, что нет гарантий от интриг и случайностей, что революция

может свалиться «в бездну военного и диктаторского деспотизма».

Эти противоречия вполне объяснимы. Нельзя забывать, что Робеспьер исходил из представления о невозможности одновременного ведения внутренней и внешней войны. В свое время он звал народ к разгрому сначала внутреннего врага, с тем чтобы после победы над ним заняться внешним. Так не получилось. Война началась. Теперь, по мысли Неподкупного, надо было все силы отдать для скорейшего завершения внешней войны, с тем чтобы потом, высвободив силы, нанести удар внутренней контрреволюции. По ходу действий необходимо убрать враждебный генералитет, укрепить армию, обезвредить исполнительную власть; все это в совокупности подготовит падение монархии и обеспечит решительную победу.

Но события развивались слишком быстро, опережая планы Робеспьера. Народ видел, что без свержения монархии он не добьется перелома на фронтах. Монархия, со своей стороны, торопясь с осуществлением своих планов, не собиралась ждать, пока закончится война. И вот стороны стремились начать кровавую борьбу в то время, когда интервенты наступали, когда мятежники-генералы действовали, когда власть находилась в руках реакционных министров, а Ассамблея была в резерве у двора. Все это вместе взятое и вызывало тяжкие сомнения Неподкупного. Он верил в народ, но плохо знал его. Он видел силы врага и не был до конца уверен в силах революции. Далекое он видел лучше, чем близкое, и, когда нужно было принимать немедленно практическое решение, он не раз в смущении останавливался. В этом была его слабость. Именно эту слабость имел в виду Марат, когда писал о результате одной из своих бесед с Робеспьером.

«...Это свидание утвердило меня во мнении, что с просвещенным умом мудрого законодателя в нем сочетались цельность и неподкупность истинного патриота, но что ему одинаково не доставало ни широты взглядов, ни отваги, необходимых для государственного деятеля».

Определение резкое, не вполне справедливое, но разве нет в нем доли истины? Не видел ли Друг народа чуть-чуть больше и глубже, чем остальные соратники Неподкупного?..

Робеспьер не участвовал в практической подготовке восстания 10 августа. Этим занялись другие люди. Якобинцы берегли своего вождя для будущего и не хотели втягивать его в опасное, кровавое дело.

Но тем не менее в этот период он сделал много. Смотря вперед, он занимался теперь вопросом о том, как надо поступить после победы

восстания. Этой проблеме была посвящена его речь в Якобинском клубе 29 июля.

Робеспьер указывал, что для успешного завершения революции недостаточно свергнуть короля. Он обращал взоры своих слушателей на Законодательное собрание. Что это такое, как не политический атавизм? Оно избрано по цензовой системе активными гражданами при устранении основной массы народа. И вот результат: постоянные виляния, колебания, а в конечном итоге — полная измена народному делу. Ассамблея должна издавать законы, полезные для народа, в действительности же она занимается лавированием и демагогией. Выход один. После победы следует созвать народ, на этот раз весь народ, без всякого деления «а «активных» и «пассивных» граждан. Народ должен сам решить свою судьбу, избрав Национальный Конвент, который займется выработкой новой конституции, ибо старая, составленная в период господства умеренных и фельянов, показала свою полную непригодность.

Такова была программа, намеченная вождем якобинцев. Она была глубоко продумана; ее вызвали к жизни события всех предшествующих этапов революции.

3 августа был оглашен манифест командующего армией интервентов герцога Брауншвейгского. Манифест открывал истинные цели иностранного вторжения. От имени австрийского императора и прусского короля заявлялось, что соединенные армии намерены положить конец анархии во Франции, восстановить «законную власть» и расправиться с «бунтовщиками». Если королю и его семье будет причинено малейшее утеснение, если они подвергнутся оскорблению, то Париж будет разгромлен и полностью разрушен... Именно подобного манифеста и ждал Людовик XVI! Двор торжествовал: теперь напуганный народ дрогнет и подчинится! Теперь парижане не посмеют противиться воле своего короля! Эти надежды были напрасными. Манифест вызвал взрыв народного гнева и лишь ускорил развязку.

В тот же день в зал заседаний Ассамблеи вошел Петсион в сопровождении делегации от Парижской коммуны. Он был смущен. В качестве должностного лица — парижского мэра — он был вынужден прочесть заявление сорока семи секций.

— «Глава исполнительной власти есть первое звено контрреволюционной цепи, — читал Петсион. — Он участвует в заговорах, которые орудуют в Пильнице и о которых он так поздно довел до нашего сведения. Его имя служит яблоком раздора между народом и властями,

между солдатами и генералами. Он отделяет свои интересы от интересов народа. До тех пор пока у нас будет подобный король, свобода не может быть упрочена, а мы хотим быть свободными... Людовик XVI всегда ссылается на конституцию; мы также сошлемся на нее; мы требуем его низложения».

Собрание постановило передать эту петицию в один из своих комитетов, то есть положить ее под сукно. Успокоенный мэр со вздохом решил, что как-нибудь обойдется. Но народ уже давно не возлагал надежд на Собрание; петиция была лишь демонстративным актом. Секции открыто готовились к восстанию.

А вечером и ночью того же 3 августа природа как будто захотела исполнить прелюдию к делам, совершенным людьми несколько дней спустя...

Над Парижем неожиданно стали собираться медно-красные тучи. Духота была нестерпимой, небо выглядело столь зловеще, что обыватели спешили закрыть окна домов и лавок. Около полуночи прорвало. Ужасающий вихрь, вдруг поднявшийся, сносил трубы, кровли, заборы. Молния разрывала небо, гром грохотал, подобно канонаде. Улицы мгновенно наполнились ревущими потоками, смывавшими запоздалых пешеходов. До двух десятков людей погибло в эту страшную ночь.

И вот в то время как небо смешалось с землей, а вода и огонь в диком единоборстве оспаривали друг у друга свои жертвы, послышался отдаленный звук пения. Он шел от Пале-Рояля. Постепенно он становился все громче и громче. Свист ветра не в силах был заглушить мотива песни, грохот бури не мог перекрыть нескольких десятков молодых голосов.

«Вперед, сыны отчизны! День славы настал...»

Группа людей, взявшихся за руки и вооруженных морскими фонарями, шла наперерез потокам с громким пением. Их отвага, казалось, бросала вызов ярости стихии. И парижане, забыв про бурю, напряженно слушали необычных певцов.

То был один из отрядов марсельских федератов, прибывших в Париж, и пел он «Марсельезу», сделавшуюся гимном революции.

Глава 5

Тираны мира, трепещите!

4 августа в доме столяра Дюпле весь день было тревожно. Приходили и уходили какие-то люди, Панис то и дело поднимался к Неподкупному, чтобы сообщить ему последние новости. Когда Максимилиан вышел к обеду, госпожа Дюпле своим опытным взглядом сразу обнаружила, что не все благополучно. Ее постоялец был необычно взволнован и отвечал на вопросы явно невпопад. После обеда на несколько часов все как будто затихло. А затем поднялся невообразимый шум. Хлопали двери, десятки ног стучали по коридору, несколько голосов говорили одновременно. Госпожа Дюпле, выбежав из своей комнаты, прислушалась. Да, это у ее второго жильца, бывшего депутата Учредительного собрания мсье Антуана. Госпожа Дюпле знала гораздо больше, чем все они думали. Ей было хорошо известно, что мсье Антуан играет важную роль среди организаторов готовящегося восстания. Неужели у него сегодня собирается весь повстанческий комитет? Это было бы ужасно. Ведь они могут скомпрометировать Неподкупного!

Женщина стоит и слушает. Время идет, отстукивая секунды в ее висках. Дверь хлопнула последний раз. Но шум не стихает. Они кричат, стучат кулаками по столу. Уж не ломают ли они мебель? Боже мой, что будет!.. Какое страшное время!.. Уже несколько дней совершенно нет покоя. Сколько гаму приносит с собой один только этот длинноволосый Демулен! Вот и сейчас она отчетливо слышит его голос.

Госпожа Дюпле поворачивает голову в противоположную сторону. А у того, другого, все тихо. Изредка слышен легкий скрип. Она знает: это Неподкупный прохаживается по диагонали своей комнатухи. Но он не выходит. И не выйдет. И правильно сделает.

Страшный крик прерывает размышления почтенной дамы. Они совсем лишились рассудка! Они орут, как крючники в порту! Разве нельзя вести себя потише?

Хозяйка подбегает к двери мсье Антуана и стучит. Мгновенно все стихает, и сам Антуан приоткрывает дверь.

— Сумасшедшие! — шипит госпожа Дюпле. — Вы что, хотите совсем погубить Робеспьера?

Антуан несколько мгновений смотрит на нее отсутствующим взглядом. Затем понимает. Лицо его становится жестким.

— Робеспьер? Кто ему угрожает? Не волнуйтесь. Уж если и будет убит кто-либо, то, во всяком случае, не он...

И дверь резко захлопывается перед носом заботливой охранительницы покоя Неподкупного.

В этот вечер в доме № 366 по улице Сент-Оноре было вынесено важное решение. После горячих споров окончательно утвердили общий план действий. Восстание было назначено на 10 августа 1792 года.

Народ Парижа энергично готовился к последнему штурму вековых твердынь. Секции гудели, как потревоженные ульи. Предместья забыли о голоде и тяжелой жизни. До этого ли было сейчас! В тот самый день, когда хозяйка Максимилиана трепетала за жизнь своего жильца, одна из секций Сент-Антуанского предместья вынесла ультимативное постановление: если Ассамблея до 11 часов 9 августа не выскажется за низложение короля, в полночь ударит набат.

Затем собрания районов и предместий столицы одно за другим стали заявлять, что не признают более Людовика XVI. 5 августа это решение было принято двумя третями секций. После 5 августа все демократические клубы и организации Парижа начали открыто призывать к восстанию.

Готовились и федераты. Марсельцы чистили ружья и запасались порохом. Казармы превращались в крепости.

Тщетно металась жирондисты. Напрасно Собрание пыталось удержать могучий порыв. Впустую бесился Бриссо, требовавший привлечь к ответственности Антуана и Робеспьера.

Конец монархии приближался.

Жером Петийон, мэр города Парижа, переживал мучительные часы. Ведь, кажется, еще совсем недавно все было так хорошо! Он переселился в роскошный особняк и стал жить как порядочный человек, не отказывая себе ни в чем. У него была любящая жена, он имел прекрасных друзей. Народ его боготворил, а партия, с которой он связал свою судьбу, преуспевала. Как он тонко вел свою игру, как умело лавировал! Все его считали прекраснейшим и порядочнейшим человеком. И вдруг — конец всему...

Сегодня уже не радуют Петийона ни теплая ванна, ни лепные украшения на потолке гостиной, ни ласки жены. Ничто его больше не радует. Он видит перед собой зияющую пропасть.

Чего он только не делал, как не бился эти последние дни! Он разъяснял, уговаривал, заклинал, наконец угрожал. Он ездил по

секционным собраниям и доказывал неразумность спешки. Зачем торопиться с восстанием? Неужели нельзя немножко обождать? Ведь Законодательное собрание для того и избрано, чтобы заниматься государственными делами. Зачем же вмешиваться в его работу? Зачем давить на него? Подождите, добрые граждане, все как-нибудь образуется, ваши депутаты позаботятся о вашей судьбе и дадут вам такое правительство, которое лучше всего подойдет для вас!

Бестолковый народ не желал его слушать. Его, которого так недавно осыпали цветами, которого носили на руках! Что это? Всеобщее бешенство? Или ослепление? Или агитация зловердных лиц?..

Агитация?.. И Петион внезапно вспоминает о своем старом соратнике, Максимилиане Робеспьере. Вот о ком он забыл, вот к кому надо идти! Робеспьер теперь прозван Неподкупным, и народ слушает каждое его слово. Робеспьер человек осторожный, разумный. Он может стабилизировать положение. Он может спасти будущее Петиона, и его репутацию, и его состояние. Последнее время, правда, они несколько охладели друг к другу, но это ничего не значит. Робеспьер не может его не понять. Он, как здравый человек, разделит его взгляды. И он, конечно, приостановит этот проклятый бунт.

7 августа у Неподкупного было очень много работы. Он заканчивал большую статью для очередного номера «Защитника конституции» и продумывал детали речи, которую собирался произнести у якобинцев. Глубоко погруженный в свои мысли, перебирал он стопу исписанной бумаги, когда ему сообщили, что пришел Петион. Робеспьер был рад старому другу. Он быстро вскочил из-за стола и порывисто обнял вошедшего.

Как давно они не виделись! А ведь было время, когда они казались неразлучными.

После первых приветствий и излияний мэ́р перешел прямо к цели визита. Он пространно изложил свою точку зрения. Да, он действительно зачитывал в Собрании адрес сорока семи секций, хотя нельзя сказать, чтобы этот адрес ему особенно нравился. Однако теперь как будто не собираются ждать результатов. Это по меньшей мере неосторожно. Его друг Робеспьер всегда был на страже законности. Он, конечно, согласится с тем, как опасно и несвоевременно вооруженное восстание. Он поможет добиться, чтобы восстание было отложено до тех пор, пока Ассамблея обсудит вопрос о короле со всей возможной осмотрительностью.



Патриотический триумвират Учредительного собрания: Редерер, Петион, Робеспьер (современная гравюра).



Жан Поль Марат (современный портрет).

Максимилиан внимательно слушал длинную тираду своего гостя. Он ни разу не перебил его. Он долго молчал после того, Как Петион закончил. Наконец, подняв усталый взгляд на мэра, он тихо сказал:

— Друг мой, я не могу с вами согласиться. Народ Мудр, добр и справедлив. Народ страдал очень долго. Народ принял решение. Неужели вы, старый республиканец, когда-то так умело разбивавший мои монархические иллюзии, неужели вы, ликовавший в дни бегства короля, теперь хотели бы остановить революцию?..

Петион покраснел и передернул бровью.

— Нет, вы меня не так поняли. Я хочу остановить не революцию, но бессмысленный и опасный бунт.

— Бунт?.. Бессмысленный и опасный? И это говорите вы, мой Петион, вы, столько лет борющийся за права народа? Разве вы не видите, что теперь нет иного выхода? Разве вам не ясно, что Ассамблея, на которую вы возлагаете такие надежды, сгнила до основания и превратилась в придаток двора?

Петион терял терпение. Не для того пришел он в эту вонючую квартиренку, не для того лез на темные антресоли, чтобы слушать всю эту белиберду о народе. Все это он и сам мог бы прекрасно изрекать на каком-нибудь собрании. Неужели Робеспьер настолько глуп, что не понимает главного? Или он притворяется?..

— Милый мой, — обратился он к Робеспьеру, едва сдерживая себя, — я не буду спорить с вами. Все это верно, все это хорошо: народ, права, справедливость и так далее и тому подобное... Но поймите вы, поймите непреложную истину: если не остановить это безумие немедленно, оно зальет все, ниспровергнет все... Начнется с низложения короля, а кончится уничтожением собственности... Подумайте, на что мы с вами будем нужны этой разнузданной черни, которая помышляет только о грабежах и пожарах! Подумайте вы, человек трезвый и здравый!

Робеспьер стоит, скрестив руки на груди, и внимательно смотрит на расхолодившегося Петиона. Так вот оно что! Неужели же это правда? Неужели все честные и порядочные люди теряют свою честность и порядочность, как только их охватывает боязнь за свой кошелек и свое положение? Где, где он слышал те же самые слова, которые сейчас произнес Петион?..

Вспомнил! С трибуны Учредительного собрания! Гол назад почти то же говорил Барнав, против которого тогда сражались они с Петионом!..

Стоит ли продолжать разговор? Ведь это борьба с ветряными мельницами! И, смотря в упор в глаза Петиону, Робеспьер медленно и отчетливо произносит:

— По-видимому, мы с вами придерживаемся сегодня разных точек зрения, мой друг, и едва ли возможно будет их примирить. Но хочу вам сказать лишь одно. Если бы я даже стремился помочь вам, я был бы бессилен...

Робеспьер подходит к окну.

— Вот взгляните на эту толпу. Каждый из них в отдельности — это клерк, поденщик, мастеровой, лавочник. Но все вместе они составляют державный народ. И это не пустые слова. Это разрушенная Бастилия, поникший деспотизм, это мы с вами и тысячи других, созданных революцией. И имейте в виду: тот, кто идет одной дорогой с народом и

помогает ему, тот, кому народ верит и кого он делегирует, тот может быть депутатом Ассамблеи, парижским мэром, генералом или министром. Тот же, кто потеряет доверие народа, — лицо Неподкупного вдруг становится жестким, а в голосе его появляются стальные нотки, — тот будет смят и уничтожен, как бы его ни звали: Людовик, Робеспьер или Петион...

Петион, изумленный и растерявшийся, во все глаза смотрит на человека, который всегда казался ему таким понятным и которого он, как видно, никогда не понимал.

Он ни на мгновение не верит искренности слов Робеспьера. И тем не менее ему становится страшно.

Старые соратники прощаются со всеми видимыми признаками дружелюбия, но, едва расставшись, погружаются каждый в свои мысли.

Наступило 9 августа. Мэр Парижа видел, что он бессилен что-либо предпринять. Все делалось помимо него и вопреки ему. Сегодня вечером истек срок ультиматума секций. Как поступить? Может попробовать надавить на клубы?.. Он вызвал несколько вожakov, чтобы сделать им внушение. Когда пришли Шабо, Мерлен из Тионвиля и Базир, он встал, принял важный вид и строго официальным тоном спросил:

— Так что же? Вы все-таки намерены действовать безрассудно? Одумайтесь! Жирондисты через Бриссо обещали мне, что король будет низложен. Я не допущу до бунта. Надо ждать, что скажет Собрание.

— Вас обманывают, — ответил Шабо. — Собрание не может спасти народ, да ваши друзья-жирондисты и не помышляют об этом. Сегодня вечером предместья ударят в набат.

— В таком случае я вас арестую, — сухо сказал Петион.

Присутствующие весело переглянулись.

— Вы сами будете арестованы, — ответил Шабо и, насмешливо поклонившись мэру, вместе со своими спутниками вышел из комнаты.

Что было делать? Плакать от бессильной злости? Ехать в Собрание? Или во дворец?.. Куда ни поезжай, везде он теперь будет выступать лишь в роли зрителя, он, парижский мэр, еще несколько дней назад считавший себя наделенным такой властью!..

Камилл Демулен пригласил к себе на обед несколько марсельцев. Было очень весело. Всего месяц назад Камилл стал счастливым отцом. Он назвал своего сына Горацием и отказался его крестить. Сегодня он желал обедать только в обществе своего сына. Люсиль держала малютку на коленях, а Камилл, прежде чем отпить глоток вина, каждый раз, несмотря на

возмущение молодой матери, подносил бокал к маленьким розовым губкам. Кончилось тем, что младенец громко заревел и его пришлось отнести в люльку.

После того как распили несколько бутылок, стало еще веселее. Камилл пытался что-то декламировать. Гости шумели. Люсиль хохотала как сумасшедшая и никак не могла остановиться. Когда немного отрезвели, решили всем скопом идти к Дантону.

Дантон становился новым кумиром Демулена. Это был человек с внешностью циклопа. Могучий как дуб, страшный как исчадие ада, он казался попеременно то грозным, то добродушным. Многие считали его пьяницей, забудыгой, пропащим человеком. В действительности Дантон обладал недюжинным умом и тонким политическим чутьем. Он совершенно не умел писать, но был непревзойденным оратором. После Мирабо Демулен не встречал такого оригинала. Мог ли он не влюбиться в него до потери сознания?..

Дантон встретил незваных гостей приветливо. Он казался исполненным решимости. Говорили о ночи и будущем дне. Скоро должен был загудеть набат.

Вечером пошли погулять. Встревоженная Люсиль во все глаза смотрела на конных солдат, на простолюдинов, кричавших «Да здравствует народ!», на все увеличивавшуюся толпу. Ей стало страшно. Она вспомнила свой дневной смех и еще более испугалась: ведь говорят, что после слишком сильного смеха обязательно бывают слезы! И, прижимаясь к своему Камиллу, она действительно чуть не плакала.

Поздно вечером Камилл снова наведился к Дантону. С ним вместе пришел его старый школьный приятель Фрерон. В руках у Камилла поблескивало ружье. Дантон с насмешливым удивлением посмотрел на него.

— Зачем ты притащил эту штуку?

— Как зачем? Разве ты забыл, что будет завтра?

— Завтра! — передразнил Дантон и шумно зевнул.

Фрерон страшно волновался.

— Жизнь надоела мне, — стонал он. — О, как бы я хотел умереть!

— Не ищи смерти, — возразил Дантон. — Она придет за тобой в положенное время...

Разговор явно не клеился.

— Что же делать, друзья? — спросил, наконец, Демулен.

— Спать, — ответил Дантон. — Ночь предназначена для сна, и это

следует помнить прежде всего. — С этими словами он грохнулся на постель и тут же захрапел.

Между 8 и 9 часами вечера начали собираться секции. Заседания были необычными. Впервые повсюду наряду с активными присутствовали и пассивные граждане. Огласили письмо Петиона, в котором мэр призывал к сохранению спокойствия. Письмо не произвело впечатления.

В 11 часов секция Кенз-Вен постановила начать восстание для «немедленного спасения общего дела». Секцию поддержало все Сент-Антуанское предместье. Постепенно стали присоединяться и другие районы. Для руководства восстанием было решено выделить по три комиссара от каждой секции. В числе избранных оказались Билло-Варен, Эбер, Россиньоль и ряд других видных патриотов. Комиссары должны были собраться в здании ратуши.

Не дожидаясь приказа от комиссаров, граждане секции Французского театра около 12 часов ударили в набат. Тотчас же набат зазвучал по всему Сент-Антуанскому предместью.

В полночь на Гревской площади появились представители двадцати восьми секций. Пройдя между рядами национальных гвардейцев, они поднялись по ступеням ратуши. Старый муниципалитет оказался вынужденным уступить им место. Так возникла революционная Парижская коммуна 10 августа.

В тот самый час, когда секция Кенз-Вен обратилась с призывом к народу, мэр Петион принял, наконец, решение. Он поедет во дворец и разнюхает, каковы настроения «в верхах», а там будет видно.

Подъезжая к Карусельной площади, мэр обратил внимание на огромное количество войск, расположившихся у моста и вдоль стен Тюильри. Здесь были национальные гвардейцы, пешие и конные жандармы, отборные швейцарские части. Везли одиннадцать орудий. Около ворот дворца толпились бывшие «благородные», одевшиеся ради такого случая в свои парадные платья; атласные камзолы, белые шелковые чулки, трости непривычно мелькали там и тут, напоминая о давно ушедших временах.

Когда мэр проходил сквозь толпу офицеров и придворных, он почувствовал легкий трепет. Его проводили свирепыми взглядами. Король встретил его сурово.

Говорят, в городе большое волнение?

— Да, ваше величество, народ сильно волнуется.

Подошел главнокомандующий национальной гвардией, рьяный конституционалист и приверженец двора.

— Ничего! У меня приняты все меры. Бунтовщиков ждет плачевная участь.

Сославшись на жару, Петион отклонялся и спустился в парк. Лицо мэра действительно было покрыто потом, но это был холодный пот... Теперь он ясно почувствовал, что сидит между двумя стульями.

Была половина пятого утра. Революционная Коммуна действовала с энергией и решительностью. Она подвергла Петиона домашнему аресту и назначила Сантерра командующим повстанческой армией. По распоряжению Коммуны с Нового моста быстро убрали орудия, поставленные там по приказанию двора. Затем был вызван для объяснений начальник национальной гвардии. Вызов пришлось повторить дважды, но в конце концов, не имея возможности уклониться, главнокомандующий покинул Тюильри и прибыл в ратушу. Он был до крайности поражен, увидя новые лица. И тотчас понял, что погиб. Его допросили. «Почему во дворце удвоена стража? Почему приказали выставить орудия? Что собирается предпринимать двор?» Он кое-как пытался оправдаться и сваливал всю вину на Петиона. Его арестовали. В то время как он в сопровождении конвоя сходил с крыльца ратуши, какой-то человек выстрелом в упор разmozжил ему голову.

Во дворце никто не спал. Только его величество, сильно утомившись за день, во всем своем облачении и в парике прилег было на диван, чтобы часочек вздремнуть. Долго проспав ему не удалось. В половине шестого по настоянию королевы его разбудили. Король должен лично осмотреть караулы, уверяла придворные. Такой смотр подбодрит войска. Делать нечего, пришлось вставать. Костюм монарха помялся, ордена съехали на сторону, парик сбился комом, и пудра с одного боку совсем осыпалась. Кряхтя, он спустился во двор. Забили барабаны, и раздались крики: «Да здравствует король!»

Людовик пробормотал несколько бессвязных фраз.

— Говорят, они идут сюда... Я не знаю, чего они хотят... Мое дело — дело моих добрых граждан... Мы встретим их твердо, не правда ли?

По мере того как он проходил вдоль рядов, приветствия становились все более вялыми и под конец совсем смолкли. И вот вдруг раздались громкие крики: «Да здравствует народ!» Это кричали артиллеристы и батальон Красного Креста. Людовик остановился как вкопанный и часто заморгал глазами. Затем, почувствовав страх, он быстро пошел назад. В

спину ему неслись громкие восклицания: «Долой вето! Долой изменника!»

Когда бледный, упавший духом король вернулся во дворец, королева, все видевшая из окна, пылая негодованием, обратилась к придворным:

— Все пропало, господа. Король не выказал ни малейшей энергии. Это жалкое подобие смотра принесло нам скорее вред, чем пользу...

Мария-Антуанетта не ошиблась. Вскоре целые части национальной гвардии стали покидать свои места. Придворные, стараясь поправить дело, только содействовали расколу в рядах дворцовых защитников. Своей наглостью и своими раззолоченными костюмами «благородные» вызывали ненависть и злобу у простых гвардейцев.

К одному из батальонов подошел раздушенный фронт в атласном жилете и белых чулках.

— Ну-с, господа национальные гвардейцы, пришло время показать вашу доблесть!

— За этим дело не станет, — ответил взбешенный командир батальона, — но мы ее покажем, сражаясь не рядом с вами. — И, круто повернувшись на каблуках, офицер повел своих солдат на Карусельную площадь.

В это время несколько членов муниципалитета уговаривали артиллеристов быть мужественными и стойко выполнять свой долг. Канониры отошли в сторону и стали смотреть на небо, делая вид, что ничего не слышат. Один из них громко вздохнул, подошел к своему оружию, вынул запал, вытряхнул из него порох и затоптал фитиль.

Только наемные швейцарские войска стояли нерушимой стеной, готовясь умереть за чуждое им дело.

Звуки «Марсельезы» плыли над площадью. Предшествуемые федератами, появились первые отряды народных бойцов. Они были плохо вооружены, но полны мужества. Их приветствовали национальные гвардейцы и канониры, покинувшие Тюильри. Подошли к воротам. Под ударами пик и прикладов ружей ворота затрещали и, казалось, были готовы развалиться в щепы. Стражники вступили в переговоры с народом.

В это время представитель департаментской власти, бывший член Учредительного собрания Редерер уговаривал короля покинуть дворец и удалиться под защиту Законодательного собрания.

— Но я не вижу, — возражал король, — чтобы бунтовщиков было особенно много.

— Ваше величество, там выставлено двенадцать орудий, а из

предместий движутся целые армии!

Король повернулся к Марии-Антуанетте. Лицо ее было иссиня-бледным, а под глазами шли темные круги. Она отрицательно покачала головой.

— Но, ваше величество, — настаивал Редерер, — имейте в виду, что весь Париж вскоре придет сюда!

Людовик XVI вдруг поднял голову, пристально посмотрел на Редерера и затем сказал, обращаясь к королеве:

— Идем!

В Тюильрийском парке было прохладно, но уже чувствовалось приближение душного летнего дня. Было 7 часов. Небольшая группа людей двигалась по аллее, ведущей от дворца к манежу. Впереди шел Людовик XVI, покинувший своих верных дворян и швейцарцев. Королеву вел под руку один из министров. Маленький наследник престола, обрадовавшись, что вырвался на волю, собирал охапки листьев и кидал их под ноги идущим впереди: Король наблюдал за этой забавой.

— Как много листьев, — сказал он вдруг. — Как рано они начали падать в этом году!

Королю никто не ответил. Разговаривать не хотелось. Свинцовая тяжесть давила всех идущих по аллее Тюильрийского парка.

Придя в манеж, королевская семья и министры заняли места рядом с председательским креслом. Король произнес, обращаясь к Собранию:

— Я пришел сюда, чтобы предотвратить ужасное преступление. Я полагаю, что могу быть в безопасности только среди вас, господа.

Королю ответил Верньо, председательствовавший в то утро:

— Вы можете положиться, ваше величество, на твердость Национального собрания; его члены поклялись умереть, защищая права народа и конституционные власти.

После ухода короля во дворце царило подавленное настроение. Ушло еще несколько батальонов «национальной гвардии». Дворяне плакали от бессильной злобы. Швейцарцы колебались. Кого было защищать, если монарх покинул дворец? Но их командиры горели желанием покончить с «грязной сволочью».

Теперь отряды повстанцев занимали уже всю площадь. Прибывали новые и новые подкрепления. Национальные гвардейцы шагали рядом с людьми, вооруженными палками. Мещане и рабочие, федераты из Марселя и Бреста, бедняки из пригородов и предместий — все были воодушевлены

едиными чувствами и помыслами. Это была непобедимая армия.

Но народ казался настроенным дружелюбно и, по-видимому, не хотел пролития крови. Когда привратник открыл ворота, осаждающие, высоко подняв свои пики и ружья, приветствовали швейцарцев, приглашая, чтобы те присоединились к ним. Несколько солдат ответили на приветствия и стали выбрасывать патроны. Четверо покинули свои ряды и решительно направились к повстанцам. Грянуло «ура». Но тут из верхних покоев, где засели дворяне, раздались выстрелы, и два швейцарца, перешедшие на сторону народа, упали мертвыми. Произошло секундное смятение. А затем, по команде своих офицеров, шеренга швейцарцев, стоявшая на крыльце, дала залп.

Мостовая покрылась трупами осаждавших. Залпы следовали один за другим. Вскоре и двор и площадь опустели; только груды тел пестрели там и тут...

Защитники дворца торжествовали легкую победу. Это была преждевременная радость. Раздавленным оказался лишь авангард доверчивого народа. Основные силы предместий готовились к решительному штурму.

В манеже все напряженно прислушивались к выстрелам... Всех тревожила одна и та же мысль: чем кончится это сражение? Какова будет судьба монархии? Только один человек, казалось, оставался совершенно бесстрастным и равнодушным к происходившему. Это был сам монарх. В разгар битвы, стоившей ему короны и жизни, он почувствовал голод и потребовал, чтобы ему дали персик. И вот, несмотря на удивленные взоры окружающих, он спокойно ел этот персик, ел с видимым удовольствием и аппетитом.

А кровь лилась и лилась...

К Людовику стали обращаться с настойчивыми просьбами, чтобы он прекратил напрасную бойню. Приходили сообщения, из которых становилось ясно, что победы швейцарцам не одержать; их уже выбивали из дворца. Но они сопротивлялись, удваивая ярость осаждавших. Нужно было, чтобы король письменно приказал защитникам Тюильри сложить оружие. После некоторых колебаний король отложил свой персик и подписал приказ. Но придворный, который должен был его передать, предупредил, что выполнит свою миссию, «... когда сочтет это наиболее удобным».

Надежда на победу еще не была полностью утрачена, и пока она сохранялась, ни король, ни его окружение не беспокоились о напрасном

пролитии крови.

Люди бежали по городу, призывая к отмщению.

— Нас предали! Нас осыпали градом пуль в то время, когда мы говорили с ними дружески, когда мы считали их своими братьями!

На улицах, на набережных, на бульварах создавались новые отряды.

— Горе иноземцам, пришедшим убивать французов, чтобы защитить опустелый дворец!

Конные жандармы, стоявшие на дворе Лувра, спешно оставили свои посты и перешли на сторону народа. Прикатали пушку и жерло ее направили на дворец.

Атака возобновилась. Она была жестокой и кровавой, но закончилась полной победой повстанцев. Лишь немногим защитникам Тюильри удалось спасти свою жизнь.

Последняя твердыня монархии, Тюильрийский дворец был во власти народа. Какой-то человек, растерзанный и окровавленный, выйдя из покоев короля, погрозил кулаком в направлении манежа и сказал громким голосом:

— Будь проклят деспотизм, унесший столько пота и крови тружеников! Тиран пал! Пусть же трепещут все тираны, видя свою судьбу!

Грохот орудий полностью смолк в одиннадцать часов утра.

Вожаки Жиронды сменяли друг друга на ораторской трибуне. Они чувствовали себя не очень-то хорошо. До последнего момента они ждали: кто кого победит? Когда народ сказал свое последнее слово и взял Тюильри, они поняли, что старая песня окончена.

— Увы, ваше величество, мы ничего больше не можем сделать для вас!

Не глядя на короля, они провели декрет о его временном низложении (!). Затем королевскую семью вывели из зала заседаний. Ну что ж! Старого не воротишь! Нужно приспособливаться к создавшемуся положению и выжать из него все, что можно.

И жирондисты занялись серьезными делами.

А следующей ночью Камилл Демулен и Фабр д'Эглантин, один из его новых приятелей, дружно тузили спящего Дантона.

— Несчастный! Ты проспичь все на свете, включая и свой министерский портфель!

При этих словах Циклоп мигом проснулся и сел на кровати.

— Ты должен назначить меня секретарем печати, — заявил Фабр.

— А меня одним из твоих личных секретарей, — присовокупил

Демулен.

— Да подождите вы, ради бога, несчастные болтуны! Уверены ли вы, что я избран министром?

— Это так же неоспоримо, как и то, что дважды два — четыре!

Дантон проснулся окончательно и, улыбаясь, поглаживал свой массивный подбородок. Да, черт возьми! Жизнь хороша! Милостью пушек он стал министром!

Это была правда.

В тот же день Робеспьер и Марат были избраны членами революционной Коммуны.

Всем казалось, что после дурного кошмара начинается новая жизнь.

Глава 6

«Робеспьериада»

Отгрохали ружейные залпы, умолкли пушки. Тюильрийский дворец был взят народом. Победа над деспотизмом стоила трудящимся большой крови. Но кровь народа пролилась не даром. Монархия рухнула. Напуганная размахом движения, Ассамблея на первых порах оказалась вынужденной не только отрешить короля от власти, но и провести ряд постановлений, отвечавших насущным требованиям и интересам трудящихся масс. Так были приняты декреты, практически отменявшие, наконец, многие феодальные права и повинности; была утверждена программа, выдвинутая Робеспьером накануне восстания, — декретирован созыв Национального Конвента; прекращалось изжившее себя деление граждан на активных и пассивных.

На гребне событий теперь оказалась революционная Коммуна. Состоявшая из стойких, преданных своему делу демократов-якобинцев, Коммуна руководила восстанием. И после победы, опираясь на секции, она продолжала сохранять значение главного очага народовластия. Действия Коммуны отличались решительным характером. Она закрывала роялистские газеты, арестовывала контрреволюционеров, производила обыски у подозрительных лиц. Она добилась создания Чрезвычайного трибунала для борьбы с врагами народа. Ей, наконец, принадлежит заслуга организации первых успехов в боях против интервентов.

Когда 19 августа прусско-австрийская армия под командованием герцога Брауншвейгского, овладев важными крепостями Лонгви и Верденом, вторглась в глубь территории Франции, революционная Коммуна во главе со своими вождями приняла на себя руководство национальной обороной. И в то время как струсившие «законодатели» упаковывали чемоданы, собираясь покинуть Париж и перенести свои заседания в глубь страны, Коммуна, бросив лозунг «К оружию! Враг у ворот!», объявила поголовную мобилизацию всех мужчин, декретировала набор армии в шестьдесят тысяч бойцов, двинула новую армию навстречу интервентам, и вот победа при Вальми 20 сентября остановила врага, передала инициативу в руки французов и вновь спасла родину и революцию.

Но, обладая несомненным авторитетом, Коммуна не располагала достаточной полнотой власти. Обстоятельства сложились так, что основная

власть сосредоточилась в руках жирондистов.

Восстание 10 августа раздавило фельянов. Лафайет, Дюпор и другие вожди бывшего дворянства и крупной буржуазии бежали из Франции, чтобы пополнить ряды контрреволюционных эмигрантов. Однако место фельянов тотчас же заняли Бриесо и его друзья, все эти «государственные люди», как, явно не без иронии, окрестил их Марат.

В то время когда народ сражался на улицах и брал штурмом Тюильри, жирондисты, бывшие противниками переворота 10 августа, сумели использовать этот переворот, захватив в свои руки почти все министерские портфели и добившись своего преобладающего влияния сначала в Законодательном собрании, а затем и в Конвенте.

В результате в Париже установились две власти: буржуазные слои, представленные жирондистами, окопались в Ассамблее и действовали непосредственно через Исполнительный совет (Совет министров); народные массы, сохранявшие в руках оружие, взятое 10 августа, группировались вокруг Якобинского клуба и революционной Коммуны.

Правительство жирондистов боялось и ненавидело Коммуну. Оно использовало каждый повод для того, чтобы нанести ей удар или подорвать ее авторитет. Так, всего через две с небольшим недели после восстания Собрание поставило вопрос о роспуске Коммуны; был подготовлен соответствующий декрет, но утвердить его и привести в действие не рискнули. Опасаясь вооруженного народа, правительство жирондистов вместе с тем не чувствовало достаточного единства в собственной среде. Хотя министерство было в руках «государственных людей», самым влиятельным человеком в министерстве оказался министр юстиции Жорж Дантон, полностью поддерживавший Коммуну.

Борьба между Собранием и Коммуной, по существу, отражала дальнейшее развитие тех противоречий внутри сил, некогда выступавших совместно, которые вполне обнаружались в предшествующий период и достигли своего апогея в Конвенте. Это была борьба Горы и Жиронды.

Выборы в Национальный Конвент проходили в весьма сложной обстановке. Париж, вполне раскусивший игру жирондистов, Париж, кровью своих сыновей завоевавший республику, отдавал свои голоса преимущественно якобинцам. Во главе всех избирательных списков парижских округов значилось имя Максимилиана Робеспьера: он прошел первым депутатом столицы. После него наибольшее количество голосов получил Дантон. Париж избрал также Марата, Демулена, Лежандра, Билло-Варена, Колло д'Эрбуа, Огюстена Робеспьера, художника Давида и др. В

числе имен видных якобинцев, избранных провинциальными департаментами, значились имена Кутона и Сен-Жюста. Однако провинция в отличие от столицы в значительной мере находилась под обаянием демагогии жирондистов.

В особенности позиции жирондистов были сильны в западных, юго-западных и некоторых южных департаментах. Торговая и промышленная буржуазия юга и юго-запада возлагала все свои упования на «государственных людей». Вследствие этого в Конвент пришли не только все прежние жирондистские лидеры Законодательного собрания — Бриссо, Верньо, Гюаде и др., но и ряд новых деятелей, в том числе соратник Робеспьера по Учредительному собранию Бюзо и горячий марселец Барбару.

Якобинцы-демократы на первых же заседаниях Конвента заняли верхние скамьи амфитеатра зала манежа. Вследствие этого их стали называть партией Горы (монтаньярами). Эта партия состояла из старых закаленных в боях членов Общества друзей конституции и тех, кто по пути борьбы шел под их знаменем. С социальной точки зрения якобинский блок Конвента был довольно пестрым. В состав монтаньяров входили представители средней и мелкой буржуазии, крестьянства, рабочих, неимущего и малоимущего люда города и деревни. В связи с этой социальной пестротой внутри якобинского блока должны были неизбежно сложиться различные по своим программам группировки. Но сейчас все эти разнородные элементы объединяло стремление — закрепить завоевания революции и не допустить поворота вспять, к монархии и господству фельянов. Кроме того, различные социальные слои, входившие в состав монтаньяров, не получили еще полного удовлетворения своих требований в ходе революции и поэтому стремились развивать ее дальше, вширь и вглубь.

Что касается партии Жиронды, то она была значительно более однородной, чем монтаньяры. Представляя в основном крупнособственнические слои, жирондисты страшно боялись возрастающего влияния демократических элементов и больше всего желали, как некогда конституционалисты и фельяны, преградить путь дальнейшему развитию революции. Если монтаньяры стремились продолжать революцию, то для жирондистов она уже окончилась. Развивая взгляды, выраженные некогда в письме Петиона, Бриссо заявил вскоре после восстания 10 августа:

— Эта революция должна остановиться, так как иначе ею будет порождено опасение, не ниспровергнула бы она все...

В количественном отношении жирондисты значительно преобладали над монтаньярами: они располагали ста шестьюдесятью пятью депутатскими мандатами против неполных ста, имевшихся в распоряжении монтаньяров.

Жирондисты увлекли за собой в первый период деятельности Конвента и ту аморфную, но многочисленную группу депутатов (их было около пятисот человек), которая получила характерное прозвище «болота» или «брюха».

Среди депутатов «болота» попадались незаурядные люди, вроде аббата Сиейса, проявившего себя в годы Учредительного собрания. Но подавляющее число «болотных жаб» были просто дельцами, ловкачами, стремившимися использовать самоотверженную борьбу народа в целях личного обогащения. Политические обыватели, больше всего дрожавшие за свою шкуру, каждый раз пристраивающиеся к наиболее сильной в данный момент партии, «жабы» сумели пережить выдающихся деятелей революции, а позднее на их крови и костях учинили термидорианский разгул и утвердили подлинное господство денежного мешка.

Так выглядел состав нового законодательного органа, созданного восстанием 10 августа. Такова была политическая арена, на которой предстояло вскоре разыгаться жесточайшей борьбе.

Конвент начал свои заседания 21 сентября 1792 года. День его открытия был объявлен первой датой новой эры — эры республики.

Учитывая сложность внутреннего и внешнего положения страны, вожди монтаньяров не хотели начинать войны с жирондистами на первых заседаниях Конвента. Напротив, жирондисты, исходя из преимущества своего формального большинства, а также из того, что на поводу за ними шло послушное «болото», первыми ринулись в атаку. Еще 15 сентября одна из жирондистских газет назвала якобинцев... «остервенелой шайкой, которая не блещет ни талантами, ни заслугами, но, одинаково ловко владея и кинжалом мести и стилетом клеветы, хочет добиться господства путем террора». Позднее вождям монтаньяров было брошено в лицо обвинение в том, что они якобы спровоцировали так называемые сентябрьские убийства — стихийную расправу народа с роялистами, заключенными в парижских тюрьмах в дни острой опасности иностранного вторжения (2–5 сентября 1792 года), хотя ранее сами жирондисты и одобряли этот акт народного правосудия. Робеспьера, Дантона и Марата прямо называли дезорганизаторами, приписывая им стремление учредить триумvirат, диктующий свою волю Конвенту и стране. Под влиянием подобных

инсинуаций Дантон счел себя вынужденным оставить пост министра юстиции, и монтаньяры лишились единственного министерского портфеля, который им ранее удалось вырвать у жирондистов.

Вместе с тем, боясь и ненавидя основной оплот монтаньяров — трудящееся население Парижа, — вожаки Жиронды продолжали подкапываться под Коммуну. Вопя о тирании Коммуны, они потребовали для себя «департаментской стражи» — специальных вооруженных сил из провинции, которые они хотели противопоставить революционному Парижу. С особенной злобой Верньо, Гюаде и другие обрушивались на ненавистного им Марата; Робеспьеру же они буквально не давали говорить, заглушая криками и шиканьем его голос всякий раз, как Неподкупный поднимался на трибуну Конвента.

Монтаньяры вынуждены были отвечать. Не располагая необходимым большинством в Конвенте, но уверенно опираясь на Коммуну, первый бой жирондистам они дали в стенах Якобинского клуба. 10 октября после бурных дебатов из клуба был исключен Бриссо. Затем клуб покинули и другие жирондисты. Уход жирондистов содействовал превращению клуба в боевую политическую организацию революционной демократии.

Чувствуя руку Робеспьера и зная его популярность, вожди жирондистов решили сосредоточить огонь на нем. Стали вспоминать все старые наветы, собирать воедино всю прежнюю грязь, которую они щедро расточали против Неподкупного в мае — июне. В салоне мадам Ролан, прежней поклонницы Максимилиана, из всего этого состряпали «Робеспьериаду» — лживейший клубок обвинений, который решено было бросить прямо с трибуны Конвента. Орудием избрали автора любовной истории кавалера Фоблаза, романиста Луве.

29 октября на ораторскую трибуну манежа поднялся маленький тщедушный блондин с плешивой головой. Он был взволнован. Речь свою он начал так:

— Над городом Парижем слишком долго тяготел крупный общественный заговор; был момент, когда он едва не охватил всю Францию...

Конвент слушал. Наконец оратор дошел, до знаменательных слов:

— Робеспьер, я обвиняю тебя! — И дальше каждый следующий период своей длинной речи он вновь начинал этими же словами.

В чем же жирондисты обвиняли Неподкупного?

В том, что он был самым популярным оратором Якобинского клуба; в том, что якобинцы боготворили его, объявляя единственным во Франции

добродетельным человеком; в том, что он согласился войти в состав руководства Коммуны; в том, что он угрожал Законодательному собранию и отдельным его членам; в том, наконец, что он был в числе «провокаторов», призывавших Францию к «сентябрьским убийствам».

Речь Луве, слабая и неудачная по существу, была произнесена в очень повышенных тонах, с яростью и запальчивостью. Когда оратор кричал, значительная часть нижних скамей Конвента ему аплодировала.

Робеспьер мог бы тут же без большого труда опровергнуть своего обвинителя. Он поступил иначе, верный обычной для него осмотрительности. Он попросил недельной отсрочки для ответа. Враги злобно торжествовали, считая, что их жертва растеряна и уничтожена. В действительности Неподкупный прекрасно знал, что делает. Он сразу понял, что речь Луве, построенная на внешних эффектах, может произвести минутное впечатление, но ведь она внутренне глубоко лжива. Пусть пройдет немного времени. Пусть выскажется общественное мнение, выступят якобинцы, определят свое отношение секции. Все это само по себе решит исход дела. А он пока что спокойно подготовится к тщательному расследованию всех аргументов и тезисов своих противников. Жирондисты пытались донять его клеветой и раньше; тогда он, поглощенный другим, предоставил свою защиту друзьям и единомышленникам; клеветники оскандалились и временно отстали. Но это не сделало их благоразумными. Ну что ж, он ответит им сам. Он постарается сделать свою отповедь такой, чтобы к неоднократно будируемому вопросу больше не приходилось возвращаться.

Сегодня окно каморки на улице Сент-Оноре, в квартире столяра Дюпле, мерцает тусклым светом далеко за полночь и, вероятно, не погаснет до рассвета. За письменным столом сидит согбенный худощавый человек с бледным лицом. Его усталые близорукие глаза внимательно пробегают строчки только что исписанного листа. Потом он откидывается на спинку кресла и задумывается.

Все... Надо кончать. Он долго верил в возможность если не искреннего примирения, то по крайней мере временного худого мира. Но худой мир не удался. Слишком разные принципы. Слишком разные взгляды на настоящее и будущее. А ведь когда-то они шли одним путем, борясь за общее дело, вместе выступая против злоупотреблений монархии, вместе выдвигали новые лозунги. И трибун вспоминает пламенные выступления в салоне Манон Ролан, очаровательной Манон, души жирондистов, неотразимой по уму и красоте женщины, которая с таким вниманием

относилась лично к нему, Робеспьеру, и одной из первых вслед за Мирабо предсказала его дальнейший блистательный путь на поприще революции. Робеспьер улыбается краями губ. Как немного прошло времени с тех пор и как все изменилось, изменилось безвозвратно!.. И в своих последних письмах та же прекрасная Манон, отчаявшись вновь увидеть его в своей свите, не скрывает горечи и раздражения. «Время все покажет, его суд не скор, но справедлив...» — такими пророческими словами, которым суждено было в недалеком будущем обернуться против «ее самой и ее партии, заканчивает жирондистская львица свое последнее безответное письмо к обманувшему ее ожидания трибуну. И вот теперь «Робеспьериада»... В то время как положение голодающего народа с каждым днем ухудшается, в то время как ассигнаты падают более чем на 40 процентов их стоимости, в то время как комиссии Конвента и комитеты Коммуны завалены петициями, требующими, чтобы законодатели перешли к экономическим вопросам, правительство обеспокоено лишь собственной безопасностью и занято травлей демократов. «Департаментская стража» наводняет Париж. По улицам бродят жирные молодчики и кричат, пытаясь взбудоражить толпу: «На гильотину Марата и Робеспьера! Да здравствует Ролан!»

Робеспьер встает и медленно прохаживается по комнате. Скрипят старые половицы, умирает пламя коптящей лампы. Впрочем, она уже скоро будет не нужна: рассвет слабо проступает в четырехугольнике растрескавшейся рамы окна. Прижимая лоб к стеклу, Робеспьер смотрит в голубой туман тихой улицы. Зачался новый день, знаменательный день 5 ноября 1792 года. Сегодня ему предстоит произнести речь, текст которой он только что дописал, речь, которая будет не столько его реабилитацией, — ибо Неподкупного реабилитировал сам ход событий, — сколько ответом на клевету против народа и последним предостережением для тех, кто сеет ветер. Захотят ли они внять этому предостережению? То их дело. Робеспьер, впрочем, почти не сомневается в обратном. Ну что ж! Тем скорее народ уберет их с пути революции. Долг настоящего якобинца — раскрыть глаза народу, помочь ему увидеть то, что скрыто под маской демагогии и лицемерия. Именно так всегда и поступал Неподкупный. Именно так он поступит и сегодня.

И теперь, собираясь нанести удар, пристально вглядываясь в постепенно все более бледнеющую голубизну рассвета, маленький усталый человек напрягает свою мысль, чтобы еще раз четко, до боли четко представить себе сущность идущей сейчас в Конвенте борьбы и всю глубину пропасти, лежащей между жирондистами и той партией,

фактическим вождем которой является он сам.

Утром здание Конвента было оцеплено патрулями. И друзья и враги напряженно ожидали.

Когда Робеспьер вошел в зал заседаний, верхние скамьи и галереи огласились восторженными аплодисментами.

Не спеша поднявшись на трибуну, Неподкупный начал говорить. В отличие от своего обвинителя он говорил с величайшим спокойствием, не употребляя бранных слов и резких формулировок.

— В чем же меня обвиняют? В том, что я составил заговор с целью достижения диктатуры? Но в таком случае, как могло произойти, что я первый в своих публичных речах и в своих сочинениях указал на Национальный Конвент как, на единственный для отечества выход из бедствий? Правда, это предложение было встречено моими теперешними противниками как предложение мятежное. Однако восстание 10 августа вскоре не только узаконило его: оно сделало больше — оно его осуществило. Говорить ли мне о том, что для достижения диктатуры мало было господствовать в Париже, нужно было бы покорить восемьдесят три департамента? Где же были мои сокровища, или моя армия, или видные должности, которые я занимал? Вся власть находилась как раз в руках моих противников...

С легкостью показав лживость всех остальных обвинений, направленных лично против него, оратор взял под защиту революционную Коммуну и патриотическую деятельность народа. При этом свою собственную роль он охарактеризовал с большой скромностью.

— Я горжусь тем, что мне приходится защищать здесь дело Коммуны и свое собственное, — сказал он. — Нет, я должен только радоваться тому, что многие граждане послужили общественному делу лучше меня. Я отнюдь не претендую на славу, не принадлежащую мне. Я был избран только десятого числа; те же, кто был избран раньше, собрались в ратуше в ту грозную ночь — они-то и есть настоящие герои, боровшиеся за свободу...

Я видел здесь граждан, которые в напыщенных словах изобличали поведение совета Парижской коммуны. Незаконные аресты? Да разве возможно оценивать со сводом законов в руках те благодетельные меры, к которым приходится прибегать ради общественного спасения в критические моменты, вызванные бессилием самого закона?.. Все это было так же незаконно, как революция, как ниспровержение трона, как разрушение Бастилии, как незаконна сама свобода...

Граждане, неужели вы желали переворота без революции? Какое гонение воздвигнуто против революции, разбившей наши оковы! Но возможно ли учесть последствия, какие повлечет за собой этот великий переворот? Кто возьмется задним числом указать тот пункт, где волны народного восстания должны были разбиться о берег?...

Пославший вас народ санкционировал все наши действия — ваше здесь присутствие служит тому доказательством. Он не поручал вам окинуть суровым, инквизиторским взором факты, ознаменовавшие собою восстание: он уполномочил вас упрочить при помощи справедливых законов свободу, которую это восстание ему вернуло. Мир и потомство увидят в этих событиях лишь те священные побуждения, которые ими руководили, и те великие результаты, которые ими достигнуты...

Объясняя и оправдывая народное правосудие над арестованными реакционерами в дни 2–5 сентября, оратор напоминает, что тогда сам жирондистский министр внутренних дел Ролан одобрял действия народа, называя их осторожными и справедливыми.

Робеспьера удивляет неожиданная чувствительность его собратьев по Конвенту, оплакивающих казненных народом роялистов и фальшивомонетчиков.

— Побережем наши слезы для более потрясающих бедствий. Плакните сто тысяч патриотов, павших жертвою тирании; плакните граждан, испускающих последний вздох под своими пылающими кровлями; плакните сынов наших граждан, убитых в колыбелях или на руках своих матерей. Разве у вас нет братьев, детей, жен, взывающих о мщении?..

И тут Робеспьер обращает взор прямо на своих врагов. Он бросает им предостережение, всей значимости которого они пока что не хотели да и не могли понять и о котором им придется вспомнить незадолго до того, как их головы падут под ножом гильотины.

— Но подумайте о самих себе; взгляните, как неумело вы запутываетесь в своих собственных сетях. Вы уже давно стараетесь вырвать у Собрания закон против подстрекателей к убийству — пусть он будет издан. Кто же будет первой его жертвой? Не вы ли, так смешно клеветавшие на меня, будто я стремлюсь к тирании? Не вы ли, клявшиеся Брутом, что умертвите тиранов? Итак, ваше собственное признание изобличает вас в том, что вы призываете всех граждан убить меня. Разве я не слышал с этой самой трибуны криков ярости в ответ на ваши поучения? А эти прогулки вооруженных людей, которые свидетельствуют о неуважении к закону и авторитету властей? А эти крики, требующие голов

некоторых народных представителей, в которых к проклятиям по моему адресу присоединяются похвалы вам и апология Людовику XVI? Кем они вызваны? Кто вводит народ в заблуждение? Кто возбуждает его? И вы еще говорите о законах, о добродетели, об агитаторах!..

Однако, сделав этот намек на будущее, оратор в заключение подчеркивает, что сам он далек от низменного чувства личной мести. Нет, он не собирается отвечать преследователям их презренным оружием. Он хочет лишь мира и свободы, и во имя этих принципов он готов пожертвовать не только своей репутацией, но и своей жизнью.

Речь Робеспьера была выслушана при напряженном внимании всей аудитории. Ни один противник вопреки обычному не рискнул прервать его. Вот сидят они, Верньо, Бриссо, Жансоне, хмурые, задумчивые, с опущенными головами. Их тактика опять потерпела поражение, Неподкупный опять победил их, и не только победил: он их унизил, не прибегая к ругани, он их устрасил, не прибегая к угрозам.

Едва оратор кончил, как раздались столь громкие проявления восторга, столь бурные аплодисменты, что председатель долгое время не мог установить порядок. Несчастный Луве — недавний триумфатор, к которому Робеспьер отнесся с полнейшим презрением, — пытался взять слово, но этого сделать ему не удалось. Вдруг нетерпеливо вскочил горячий Барбару, ярый ненавистник Максимилиана. Он требует слово, он вопит, стремясь перекричать аплодисменты галерей, он задыхается от злобы. Но его не хотят слушать. Тогда он сбегает вниз к решетке Конвента. Слушайте!

Он собирается сделать новый донос на Робеспьера! Он готов подписать этот донос, он готов его высечь на мраморе! Но его все же не слушают: одни делают жесты удивления, другие возмущаются, третьи смеются... Какой позор! Барбару, иссушенный своим порывом, сникший, возвращается на место. Победа полная! Большинство собрания — пускай ненадолго — на стороне Неподкупного!

Капля горечи отравляет радость победы. Старый друг Робеспьера, его соратник в течений почти трех лет, бывший мэр Парижа Жером Петион подготовил речь к заседанию 5 ноября. Он не смог ее произнести из-за возбужденного состояния Конвента, он ее напечатал.

До этого момента Петион, давно уже склонявшийся к жирондистам, крепился; в бурные дни мая — июня он старался примирить Бриссо и Робеспьера. Теперь, наконец, его прорвало. В своей речи он прежде всего стремился снять с себя всякую ответственность за 20 июня, 10 августа, 2–5 сентября. Он восхвалял Бриссо и оплевывал Марата. Что же касается Неподкупного, то бывший друг не поспешил на черные краски, давая ему

характеристику. Он изобразил Робеспьера подозрительным и вместе с тем не прощающим ни малейшего подозрения, слишком склонным превозносить свои заслуги, не терпящим противоречия, жаждущим аплодисментов и гоняющимся за преклонением народа. Отсюда мысль о диктатуре вне зависимости от того, желал или не желал таковую сам Максимилиан.

«...Как непостоянны дела человеческие, дорогой Петион, — отвечал Неподкупный своему прежнему единомышленнику, — коль скоро вы, недавно мой собрат по оружию и самый мирный человек, являетесь неожиданно самым ярым из моих обвинителей?..

...Своим новым друзьям, жирондистам, вы пожертвовали своей славой; дай бог, чтобы вы сохранили по крайней мере свою добродетель!..»

Но добродетель в подобных условиях сохранить трудно.

И Максимилиан с удивительной тонкостью намечает разницу в главном, отделяющем его, тоже осторожного и осмотрительного, от его бывшего соратника, которого народ когда-то называл «неподкупным законодателем».

«...Случается, что человек, казавшийся республиканцем в то время, когда не было республики, перестает быть им, когда республика существует. Он готов был принизить то, что стояло выше его, но сам не хочет спуститься с той высоты, на которую он вознесен. Он любит лишь те революции, в которых он является героем, и не видит ничего, кроме анархии и беспорядка там, где он сам не управляет. Народ считается им бунтовщиком, если народ победил без него...»

«...Избавимся, дорогой Петион, от этих позорных слабостей...»

Да, печально разочаровываться в близком человеке, еще печальнее, когда покидает старый друг. Это был первый, но — увы! — не последний. Сколько еще раз придется пережить Максимилиану боль разрыва с теми, кто казался ему самым близким, самым дорогим, связанным с ним самыми неразрывными узами.

В эти дни, когда разрываются старые связи, он все более и более привязывается к своей новой семье, к своему новому дому. Правда, и здесь не обходится без конфликтов, подчас неприятных и тягостных. Он живет в семье Мориса Дюпле вместе со своим младшим братом, тоже членом Конвента. Сюда еще раньше, покинув родной Аррас, приезжает их сестра Шарлотта. Она видит, какой любовью окружен ее великий брат. Она наблюдает, с какой заботой опекает его домовитая мадам Дюпле, с каким вниманием прислушиваются к каждому его слову дочери столяра. А

старшая, Элеонора, не питает ли она к Максимилиану чувств более нежных и глубоких, чем остальные? Трибун, погруженный о свои дела и думы, быть может, и не замечает этого. Но ревнивый глаз Шарлотты улавливает каждую мелочь. Ах, вот как! Ее дорогого брата, который теперь стал одним из самых знаменитых людей в стране, они, эти глупые Дюпле, хотят прибрать к рукам! Они держат его нахлебником и готовят приманку в лице своей старшей дочери! Пропусти момент — и все! Ловушку захлопнут! Но нет. Она-то видит и понимает достаточно хорошо, она не допустит подобного конфуза.

И вот начинается домашняя женская война, объектом которой становится человек, сотрясающий троны и партии. Как известно, от великого до смешного один шаг. Непреклонный и непоколебимый в большой политике, в семье, среди женщин Максимилиан хуже малого ребенка. Он робок и покорен, он не хочет обидеть никого из тех, кто его любит. Шарлотта с жаром доказывает, что Максимилиану при его положении просто неприлично находиться в роли приживальщика. Занимаемый им высокий пост обязывает его иметь собственную квартиру, и найдет ли он себе лучшую домоправительницу, чем она, его любящая Шарлотта, которая готова ради него отказаться от личной жизни и всю себя посвятить заботам о его очаге!

Максимилиан признавал справедливость подобных доводов, но поддавался им нехотя. Однако его настойчивая сестрица действовала с таким жаром и упорством, что в конце концов добилась своего. Была снята квартира на улице Сен-Флорантен, и Робеспьеры не замедлили в ней водвориться. Шарлотта приложила все старания, чтобы обеспечить Максимилиану надлежащий уход. Тщетно! Трибун скучал и тосковал о том, что было им так неблагодарно оставлено. В конце концов он даже прихворнул.

Когда мадам Дюпле узнала об этом, она, подобно разъяренной фурии, нагрянула на улицу Сен-Флорантен. Вот как! Здесь так много говорят, а охранить покой и здоровье великого человека не могут! Разгневанная почтенная дама пускает множество злобно отточенных стрел в сердце своей соперницы. Новая ожесточенная борьба между женщинами — и объект этой борьбы оказывается вновь в своей каморке на улице Сент-Оноре. Надо ли говорить, что теперь его окружили еще большими заботами и любовью, чем прежде? Надо ли говорить, что теперь он отсюда никогда и никуда уже больше не уедет? Да, в горькие дни и часы, когда его обливают грязью Луве, когда его предает Петион, когда звено за эвенном разматывается ржавая цепь «Робеспьерады», здесь, в этой дружной семье,

среди преданных сердец он найдет забвение и покой, столь необходимые для напряженной борьбы.

Но ничто не проходит бесследно. Медленными планомерными усилиями можно свернуть столетний дуб. Вода, падающая по капле, долбит камень. Судорожная злоба и клевета в течение трех с лишним лет, впивавшиеся в мозг и сердце, незримо делали свое дело, а кампания мая — июня и сентября — октября подвели роковой итог. К концу этого, столь богатого событиями 1792 года Максимилиан Робеспьер был уже не тем, каким видели его современники в начале революции. Внутренне в отношении своих принципов и идеалов он оставался, правда, по-прежнему Неподкупным, Непреклонным, Непокколебимым — здесь ничто не могло его изменить. Но взгляните на его внешность, попробуйте присмотреться повнимательнее к его характеру.

Вот он идет между рядами депутатских мест, пробираясь к трибуне. Он бледен до синевы, его светлые глаза полузакрыты, лицо нервно подергивается. На лбу — две пары очков: зрение непоправимо ослаблено. Его улыбка, если она изредка появляется, кажется принужденной, мягкое от природы выражение лица испорчено налетом озлобленности.

Когда-то он был добродушен, доверчив, общителен. А как он заразительно смеялся! Теперь никто более не слышал его смеха. Враги корили его подозрительностью. Да, он стал подозрительным до болезненности, но кто же был тому виной?

Он не строил никаких иллюзий относительно своей судьбы. Он знал, что погибнет смертью мученика, и, казалось, жаждал этой смерти. Подобная мысль, во всяком случае, проскальзывает в некоторых его письмах и речах. Но о чем он не помышлял никогда — это об отступлении. Биться до конца, если нужно для пользы дела, погибнуть, но добиваться осуществления своих идеалов. Жить свободным или умереть! Этот девиз революции был и его девизом.

И вот теперь, измученный, но не отступивший, только что одержав победу, он готовился к новой, еще более трудной и жестокой борьбе.

Глава 7

Процесс короля

Наиболее острая и принципиальная борьба вскоре разыгралась вокруг вопроса о судьбе низложенного короля. Именно в этой борьбе монтаньярам удалось взять решительный верх над жирондистами в Конвенте, и именно в этой победе особенно значительную роль сыграл вождь монтаньяров — Максимилиан Робеспьер.

Решив судьбу монархии, восстание 10 августа не решило судьбы бывшего монарха. Между тем, не покончив с этим, нельзя было ни закрепить успехов революции, ни двигаться дальше.

Если монтаньяры, продолжая идти вперед, ясно сознавали, что жалкая фигура Людовика XVI является ненужным препятствием, которое должно быть безжалостно устранено, то жирондисты, предпочитая пятиться назад, напротив, с самого начала прилагали все усилия, чтобы любой ценой сберечь низложенного монарха. По верному замечанию Робеспьера, жирондисты были республиканцами при монархии и монархистами при республике. Боясь как огня дальнейшего развития революции, они не хотели сжигать за собой мосты и смотрели, на Людовика XVI как на удобный рычаг, всегда годный к повороту или, во всяком случае, к закреплению на месте. Боясь, разумеется, открыто признаться в этом, они стремились, используя любую возможность, оттянуть разрешение вопроса о короле, с тем чтобы в конечном итоге спасти его. Позиция жирондистов в отношении короля выявилась буквально в первые часы восстания 10 августа. Король под давлением масс был отрешен от власти, но... временно (!), ему с семьей в качестве резиденции отводился Люксембургский дворец (!!). Только 12 августа Коммуна своей властью отменила это решение и заключила бывшего короля в Тампль. Людовик стал узником Тампля, и ему теперь ничего более не оставалось, как ждать суда и приговора. На полтора месяца после этого о короле, казалось, забыли. «Государственные люди» были бы не прочь и вообще положить королевское дело под сукно, но это оказалось невозможным.

1 октября депутация от Комитета надзора Коммуны представила Конвенту ряд важных документов, свидетельствующих о том, что бывший король имел тайные сношения с эмигрантами и иностранными дворами, а также истратил около полутора миллионов ливров на подкуп депутатов

Законодательного собрания. Депутация рекомендовала незамедлительно приступить к следствию, и Конвент вынужден был согласиться с ее доводами. 6 октября от имени специальной комиссии Конвенту был представлен доклад, насыщенный цифрами и фактами, который полностью изобличал Людовика как вероломного нарушителя конституции и врага французского народа. Однако конституция 1791 года гарантировала королю неприкосновенность. Казалось бы, после разоблачения преступлений двора всякий вопрос о неприкосновенности должен отпасть сам собой. Но не тут-то было! Лидеры жирондистов стали доказывать невозможность осуждения преступлений бывшего короля в силу того, что, совершая их, он пользовался гарантированным конституцией правом. И вот жирондисты, вспомнившие Барнава и его друзей, навязали Конвенту прения по вопросу о королевской неприкосновенности. 13 ноября жирондист Мориссон выступил с тщательно подготовленной речью. Оратор начал с «величайшего негодования», которое-де его обуревают «при мысли о всех изменах и преступлениях Людовика XVI» и которое побуждает «заставить это кровожадное чудовище искупить свои злодеяния в самых жестоких муках...». Однако, умело жонглируя юридическими терминами, Мориссон приходит к заключению, что особа короля... священна и неприкосновенна!!!

«Людовик XVI может пасть только под мечом закона, — заканчивает оратор, — закон безмолвствует, а следовательно, мы не имеем права его судить».

Пламенная речь Сен-Жюста, в которой он доказывал, что короля нужно судить как врага, не вдаваясь в излишнюю формалистику, была ответом на выпад жирондистов. Сен-Жюста поддержал один из видных представителей Горы — Грегуар.

Жирондисты пытались увернуться от прямых ударов. Теперь они выдвинули тезис о том, что для деспота низложение хуже смерти. Оставить тирана в живых, вырвав у него когти, — не худшее ли это наказание для тирана? Унижение и позор низложенного короля, обреченного влачить жалкое существование среди свободного народа, — не живой ли это урок народам и правителям?.. А если так, то суд над королем кончается с его низложением.

Вместе с тем на случай, если вся эта демагогия не даст результатов, — а этого можно было очень и очень опасаться, — жирондисты стремились использовать и всякий повод для прямого оттягивания суда. Когда на следующих заседаниях были прочтены многочисленные адреса из департаментов, в которых, наряду с требованием наказания короля,

слышались жалобы на крайне тяжелое экономическое положение, на голод и дороговизну, и когда вслед за тем стало известно о ряде волнений в провинции, депутаты Жиронды были явно не против, чтобы немедленно заняться экономическими' вопросами, а дело короля пока отложить.



Верньо.



Бриссо.



Г-жа Ролан.



Жорж Кутон (современный портрет).

Против такой постановки вопроса гневно выступил Дантон. Робеспьер до сих пор молчал. Он слушал все, что говорили другие ораторы, делал заметки в своем блокноте и ждал. Теперь он попросил слова с целью поддержать Дантона. Нужно было раз и навсегда покончить с попытками оттянуть или отложить суд над королем. И в своем кратком выступлении Робеспьер, показав истинную подоплеку демарша жирондистов, заверил депутатов, что народ все равно не успокоится до тех пор, пока не будет разрешен основной, волнующий всех вопрос. Последние слова оратора звучали почти как внушение:

— Пока Конвент будет откладывать этот процесс, до тех пор он будет

поддерживать заговоры и питать надежды роялистов. Вы перейдете к вопросу о съестных припасах лишь по окончании процесса.

Среди блестящих ораторов-жирондистов, которым пришлось выслушать это заявление Робеспьера, не нашлось ни одного, кто сумел бы ему ответить. Спрятаться за экономические проблемы не удалось. Конвент вынужден был вернуться к вопросу о судьбе короля.

Между тем неожиданное разоблачение ускорило ход дела. Слесарь Гамен заявил министру внутренних дел жирондисту Ролану о том, что за несколько дней до 10 августа в стене одного из коридоров Тюильри им был сделан по заданию короля потайной железный сейф для хранения документов. Ролан, не поставив в известность Конвент, ибо он опасался бумаг, компрометирующих жирондистов, один, без свидетелей, вскрыл сейф и взял к себе обнаруженные документы для предварительного просмотра. Только после этого, так как скрыть сам факт было уже все равно невозможно, документы были переданы Конвенту. Утаил ли что-нибудь Ролан? Были ли в железном сейфе документы, прямо компрометирующие жирондистов? Это остается тайной. Но и того, что было передано в Конвент, оказалось вполне достаточным, чтобы уничтожить попытки жирондистов цепляться за пресловутую «неприкосновенность». Документы доказывали измену Мирабо и Лафайета, подкупленных двором, обнаруживали сношения Людовика XVI с его братьями-эмигрантами, показывали двуличность его в вопросе о гражданском устройстве духовенства, раскрывали многочисленные подкупы и тайную организацию бегства в Варенн.

Это открытие произвело бурю во всей Франции и особенно в Париже. 2 декабря в Конвенте с речью, полной упреков в адрес депутатов, выступает посланец Коммуны.

— Свершители национальной мести, что же медлит рука ваша, которую вы поднимали, произнося клятву? Эта рука ждала лишь меча, почему же теперь, вооруженная мечом, она все еще бездействует? Или она парализована?..

Что же задерживает ваши удары: мнение ли нации, мнение ли других народов или один лишь панический страх?..

Мешкать теперь — значит добровольно увеличивать продолжительность наших бедствий. Народ при всей своей терпеливости может устать ожидать; дерзайте же закончить историю самого возмутительного заговора! Клянемся, мы готовы утвердить ваш приговор!..

Конвент постановил напечатать петицию Коммуны и разослать по

секциям и департаментам.

Теперь ожидания Робеспьера кончились. Народ сказал свое слово и требовал ответа. Необходим был последний решительный удар, и победа в вопросе о короле осталась бы за монтаньярами и народом. И вот вождь монтаньяров нанес этот удар своею речью, произнесенной в Конвенте 3 декабря.

— Собрание бессознательно уклонилось в сторону от настоящего вопроса. Здесь незачем возбуждать процесс. Людовик не обвиняемый, вы не судьи, вы — государственные деятели, представители нации, и не можете быть ничем иным. Вам предстоит не произнести приговор «за» или «против» известной личности, а принять меры общественного спасения, сыграть роль национального провидения...

Голос постепенно крепнет, становится более громким, сохраняя прежнюю ровность и отточенность.

— Пресловутый вопрос, занимающий вас, решается в нескольких словах. Людовик лишен престола за свои преступления; он объявил мятежным французский народ и в наказание призвал против него своих братьев-тиранов. Победа и народ решили, что мятежником был он. Следовательно, Людовик не может быть судим: он уже осужден, или республика не оправдана. Привлекать к суду Людовика XVI в какой бы то ни было форме — это значит возвращаться вспять к монархическому и конституционному деспотизму; эта идея контрреволюционная, ибо она ставит под сомнение самое революцию.

Оратор указывает, что если Людовик может быть предан суду, то он может быть и оправдан. Но если он может предполагаться невиновным, значит виновны все борцы за свободу, все патриоты, значит правы мятежные роялисты и иностранные дворы, издающие угрожающие манифесты.

Но даже вне зависимости от того, будет Людовик оправдан или осужден, само воскрешение короля, уничтоженного народом, сама организация процесса — это новый предлог для смут и мятежей; процесс дает оружие в руки поборников Людовика XVI, разрешает хулить республику и народ, ибо право защищать деспота есть право пропагандировать роялистские взгляды. Длительный процесс, таким образом, не может привести ни к чему иному, кроме как к оживлению реакции, к возвращению надежд на восстановление монархии, к ажиотажу всех темных контрреволюционных сил.

Людовика хотят упрятать за конституцию 1791 года, прикрывая его

пресловутой неприкосновенностью, которую якобы ему гарантировала эта конституция.

Но как можно сослаться на конституцию, желая защищать короля, если король сам эту конституцию уничтожил?

Взор оратора останавливается на жирондистских лидерах. Секунду он молчит, потом в голосе появляется злая ирония.

— Но конституция запрещала вам все, что вы сделали с ним! Если он мог быть наказан только низложением, то вы не имели права принимать эту меру без суда над ним; вы не имели никакого права держать его в тюрьме; мало того, он имеет полное право требовать от вас своего освобождения и вознаграждения за потери. Конституция вас осуждает. Бросайтесь же к ногам Людовика, чтобы вымолить его прощение! Что касается меня, я не могу без краски стыда вдаваться в обсуждение этих конституционных тонкостей. Я не умею вести долгие прения там, где убежден, что много рассуждать — позорно. Почему то, что так легко разрешается здравым смыслом народа, превращается для его представителей в почти неразрешимую проблему? Вправе ли мы обладать волей, противной воле народа, и мудростью, отличной от его разума?

Для Робеспьера вопрос о полной мере виновности Людовика, о его осуждении самой революцией, самим народом не подлежит сомнению. Остается вопрос о наказании.

Оратор напоминает депутатам, что некогда, еще в Учредительном собрании, он сам требовал отмены и запрещения смертной казни. Но данный случай — случай совершенно особого рода. Даже если бы смертная казнь была отменена для всех, ее пришлось бы сохранить для тирана.

— Когда речь идет о короле, сброшенном с трона ураганом революции, которая далеко еще не упрочена справедливыми законами, о короле, одно имя которого навлекает бич войны на восставшую нацию, тогда ни тюрьма, ни изгнание не могут обезвредить его. И это жестокое исключение из обычных законов, которое допускается справедливостью, обуславливается самой природой его преступлений. С прискорбием высказываю роковую истину: пусть лучше погибнет Людовик, чем сто тысяч добродетельных граждан. Людовик должен умереть, потому что родина должна жить!..

Железная логика слов, спокойно и ровно идущих одно за другим, складывающихся во фразы, в мысли, создает непреложную истину, которая не оставляет места сомнениям, которая завораживает, заставляет разжаться напряженные кулаки и опуститься ненавидящие глаза.

Что можно этому противопоставить?

Но вот оратор кончил. Он спокойно собирает листы речи, не спеша складывает их в папку, спускается с трибуны. Зал молчит как зачарованный.

И вдруг раздается гром рукоплесканий. Аплодируют все — и друзья и враги, аплодируют вожди жирондистов и «болотные жабы». Почему они с таким энтузиазмом бьют в ладоши? Неужели порыв так велик, что захватил и их вопреки тому, что именно они должны были почувствовать всю силу удара? Или понимая, что их карта бита, они стремятся спасти себя лицемерием?.. Во всяком случае, депутаты «брюха» теперь поостерегутся бездумно следовать за жирондистами.

Один современник Робеспьера отметил, что эта речь «склонила правосудие в сторону казни». Конечно, Конвент не мог принять сразу постановления о казни короля. Но Робеспьер знал, что он делает: требуя казни, он добился суда. Под непосредственным впечатлением от его речи немедленно принимается декрет: «Национальный Конвент будет судить Людовика XVI».

Это заседание стало поворотным пунктом как в истории процесса низложенного короля, так и в истории борьбы монтаньяров с жирондистами. В этот день жирондисты потеряли большинство в Конвенте.

Его бывшее величество, теперь называемый просто Людовиком Капетом, жил со своей семьей в унылой Тампльской башне. Узники Тампля находились под строгим надзором Коммуны. Впрочем, им не чинили никаких утеснений. К услугам Людовика была обширная библиотека. В то время как люди, совершившие революцию, питались отрубями, к столу низложенного короля подавали белый хлеб особой выпечки, вина нескольких сортов, фрукты, пирожные и печенье. Одежда и пропитание королевской семьи обходились Коммуне до двадцати тысяч ливров в месяц.

11 декабря однообразие жизни Тампля было нарушено. В Париже с утра забили тревогу, и кавалерийский отряд, предшествуемый несколькими орудиями, вступил во двор башни. В этот день Людовика должны были отвезти в Конвент для допроса.

И вот он стоит перед решеткой Конвента. Ничего не выдает в нем бывшего короля: нет ни орденов, ни золотого шитья, щеки обросли волосами, взгляд тускл и апатичен.

Собрание молчит. Депутаты смотрят на человека, перед которым они еще так недавно снимали шляпы, которому многие из них восторженно

рукоплескали как своему повелителю. Уж не чувство ли жалости к поверженному прокрадывается в их души?..

Но едва он заговорил, и всякое подобие жалости должно было безвозвратно рассеяться.

Из всех способов защиты Людовик выбрал самый неудачный. Он стал на путь огульного отрицания очевидных истин, на путь прямой, неприкрытой лжи.

Все его ответы на обвинения носили одну и ту же форму: «Это было до принятия конституции»; «Я имел в то время на это право»; «Это касается министров»; «Я не помню»; «Я не имею об этом ни малейшего понятия».

Когда ему предъявили компрометирующие документы, Людовик отверг их подлинность. Когда его спросили о железном сейфе, он ответил, что ничего о нем не знал.

Ложь была очевидна. Это должно было ожесточить депутатов, враждебно относившихся к королю, и увеличить затруднения тех, кто хотел его спасти.

При выходе из Конвента Людовик увидел одного патриота, который ел черный хлеб. Король, как обычно чувствующий голод, попросил кусочек.

— Пожалуйста, — ответил Шомет, — отломите, это спартанский завтрак...

Когда король сел в карету мэра, чтобы отправиться в Тампль, он все еще держал в руках кусок народного хлеба. Увы! Несмотря на голод, этот темный мякиш, напоминавший замазку, не лез ему в горло!..

Заместитель мэра, видя, что хлеб явно стесняет бывшего монарха, взял его из рук короля и выбросил на улицу.

Все предшествующее сильно поколебало первоначальную уверенность жирондистов. Но они не хотели признать себя побежденными. Время между 10 и 26 декабря, пока составляли и зачитывали длинный обвинительный акт, допрашивали Людовика и выслушивали речь адвоката, они использовали для того, чтобы собраться с силами и выработать новый план действий. Теперь надо было приступить к реализации этого плана: время не ждет, ибо последнее слово Людовиком произнесено и осталось лишь вынести приговор.

Наступило 26 декабря. Заседание Конвента в этот день напоминало базар или сумасшедший дом. Среди невероятного шума и криков выступали представители обеих партий, прерывая и обвиняя друг друга. Многие реплики было невозможно разобрать из-за свистков и проклятий,

раздававшихся со всех сторон.

Вот вскакивает монтаньяр Дюгем.

— Все формальности соблюдены! — восклицает он. — У Людовика Капета были защитники; он сам заявил, что ничего не имеет прибавить в свое оправдание. Я требую немедленной подачи голосов за наказание!

Его поддерживает Базир:

— Пусть его судят безотлагательно!

Но вот среди общего шума на трибуну взбегает жирондист Ланжюне. Его камзол распахнут, жабо помято, парик съехал на сторону.

— Граждане депутаты! — кричит он. — Да, Людовик должен быть предан суду, но его будет судить не Национальный Конвент! Его будут судить не те заговорщики, которые сами с этой трибуны объявили себя виновниками десятого августа.

Но это уже явно чересчур. Бурный взрыв негодования покрывает слова Ланжюне. Поднимаются угрожающе сжатые кулаки.

— Вы слишком открыто выказываете себя сторонником тирании! — восклицает Тюрио.

— Это роялист! Он порицает дело десятого августа! — раздается одновременно несколько возгласов. — К порядку! В тюрьму! Долой с трибуны!.. — И вот уже добрый десяток рук протягивается к незадачливому оратору.

Ланжюне видит, что переборщил. Прячась за председателя, он вновь возвышает голос, стремясь исправить создавшееся впечатление.

— Я вовсе не хотел омрачить славу десятого августа, я употребил это слово потому, что оно здесь вполне подходит, потому что бывают святые заговоры против тирании. Я говорю, что вы не можете быть одновременно обвинителями, судьями и присяжными! Благо народа требует, чтобы вы воздержались от суда, который навлечет на него страшные бедствия! Я предлагаю, чтобы Собрание отменило декрет о том, что оно будет судить Людовика XVI...

Шум усиливается.

— А кто же будут судьи? — восклицает Амар. — Вам говорят, что все вы заинтересованная сторона. Но разве французский народ не заинтересованная сторона, если на него падали удары тирана? К кому же обратиться за правосудием? К планетам, конечно!

— Нет, к собранию королей! — иронически подхватывает Лежандр.

Дюгем напоминает о своем предложении. Некоторые депутаты предлагают отсрочить поименное голосование.

— Когда тираны избивали патриотов, — с жаром возражает Дюгем, —

они не думали об отсрочке. Когда австрийцы бомбардировали Лилль от имени Людовика, они не хотели отсрочки!

Снова усиливается шум, снова несколько ораторов пытаются говорить одновременно. Часть депутатов требует немедленного голосования, другие кричат об отсрочке. Попытки председателя успокоить разбушевавшихся депутатов и поставить вопрос на голосование ни к чему не приводят.

Положение спасает Кутон. Понимая, куда клонят жирондисты, он стремится их предупредить. Пускай говорят — они лишь разоблачат себя. Ведь теперь мнение большинства переметнулось на сторону монтаньяров, и их не может испугать никакая новая дискуссия. И Кутон предлагает согласиться еще на небольшую, на этот раз последнюю отсрочку и дать возможность высказаться всем желающим.

Предложение Кутона принимается. Но напрасно торжествуют жирондисты: их противники теперь знают, как парализовать любой выпад.

План жирондистов, на который прозрачно намекнул в своем выступлении Ланжюне 26 декабря и который окончательно раскрыл жирондист Салль день спустя, заключался в следующем. Не имея больше возможности настаивать на неприкосновенности короля, на отказе от суда и тому подобных явно исчерпавших себя предложениях без риска окончательно потерять доверие народа и навлечь на себя обвинение в роялизме, лидеры жирондистов решили выдвинуть тезис об апелляции к народу. Если, как утверждал Ланжюне, члены Конвента не могут быть одновременно и обвинителями и судьями, значит для окончательного решения судьбы короля нужна какая-то более высокая инстанция. Такой инстанцией может быть только сам народ. Предлагая Конвенту высказаться лишь по вопросу о виновности Людовика, Салль указывал, что этому органу одинаково опасно и приговорить короля к казни и оставить его в живых: в первом случае народы окружат Людовика ореолом мученика, а монархи Европы используют казнь как предлог для новой войны с Францией; во втором — останутся безнаказанными чудовищные преступления: Поэтому, заключал Салль, Конвенту остается только признать себя некомпетентным для вынесения приговора и обратиться к народу. Народ должен высказаться по секциям и департаментам на первичных собраниях, а результаты голосования будут подсчитаны в Конвенте. С подобным же предложением в несколько измененной форме выступил 28 декабря Бюзо.

Предложение апеллировать к народу представляло весьма остроумный трюк, предпринятый с целью — буквально в последний момент — сорвать

вынесение приговора, который был уже у всех на устах.

На этот раз Неподкупный гневен. Теперь он не только объясняет, не только дает свою положительную программу, теперь он обвиняет, причем обвиняет прямо в упор. Но вся сила гнева оратора обнаруживается не сразу, она постепенно нарастает по мере того, как раскрывается перед слушателями пункт за пунктом существо нового предложения жирондистов.

Робеспьер начинает свою речь выражением крайней степени удивления тем, что вопрос, ясный сам по себе, обсужденный со всех точек зрения, вдруг вызвал новые разногласия.

Оратор признается, что, когда он увидел Людовика на допросе, униженного, жалкого в своем заперательстве, в душе его шевельнулось чувство милосердия. Но чувства такого рода нужно безжалостно изгонять. Людовика судят не потому, что хотят ему отомстить, — хотя народ имеет все права на священную месть, — а потому, что этого требует безопасность нации, необходимость скрепить свободу и общественное спокойствие наказанием тирана. Каждая минута промедления влечет за собой новую угрозу, пробуждает преступные надежды, поощряет дерзость врагов свободы и еще более растрavляет распри внутри Конвента.

Но вот суд окончен. Обвиняемый сам признал, что все формальности выполнены, что ему нечего больше сказать в свое оправдание. Ряд депутатов пожелал отсрочки в вынесении приговора, чтобы иметь возможность свободно обменяться мнениями, и эта отсрочка была дана.

Казалось бы, все. Но нет, именно теперь вносится предложение, которое грозит продолжить процесс до бесконечности, а республику привести к гибели. И оратор подробно разоблачает содержание и смысл пресловутой апелляции к народу.

Судьба короля, согласно новому предложению, должна обсуждаться в первичных собраниях, то есть в сорока четырех тысячах отдельных секций. Каждое из этих первичных городских и сельских собраний немедленно станет ареной ожесточенной борьбы. Туда неминуемо проникнут фельяны и агенты аристократов, которые напрягут все силы, чтобы разжалобить в пользу тирана наивных простаков. Между тем истинные представители народа на эти собрания попадут лишь в самой незначительной мере. Захочет ли земледелец покинуть свое поле, решится ли ремесленник бросить свою работу, дающую ему хлеб насущный, чтобы углубиться в дебри уголовного кодекса и изыскивать род наказания для Людовика Капета? На этот вопрос можно ответить только отрицательно, А если так,

то очевидная слабость этих собраний послужит для консолидации всех роялистских сил, придаст им смелость для более решительных действий. Таким образом, эта апелляция к народу превратится в апелляцию против народа, ко всем врагам народа.

Но это еще далеко не все. Разбор дела в сорока четырех тысячах отдельных трибуналов означает затягивание его практически на совершенно неопределенное время. Между тем война с иностранными державами далеко не кончена; и не подлежит сомнению, что коалиция врагов двинет свои силы именно тогда, когда нация будет погружена в прения об участии Людовика и занята изучением разного рода юридических тонкостей.

В таких условиях народ — истинные патриоты, естественно, бросят это схоластическое обсуждение и уйдут на фронт защищать родину. И вот тогда-то в собраниях, обсуждающих участь короля, полностью восторжествуют те, кто и до этого успел объединиться и организовать: силы аристократов и реакции.

Напряженное внимание в зале усиливается. Еще оратор только анализирует, еще, холодный и сдержанный, он только взвешивает преподносимые аудитории положения, но уже чувствуется, как с каждой новой фразой приближается гроза. Вот он, наконец, формулирует и бросает обвинение, страшное обвинение, от которого не уйти тем, против кого оно направлено.

— Вот ужасающий план, который дерзко предлагают нам, — будем называть вещи их именами — глубочайшее лицемерие и наглейшее мошенничество, прикрываясь флагом ненавистного им народного самодержавия!

И эту безрассудную меру вам предлагают во имя общественного спокойствия, ее прикрывают желанием избежать гражданской войны!

Стало быть, чтобы уничтожить тиранию, надо сохранить тирана! Чтобы предотвратить гражданскую войну, надо немедленно возбудить ее! Жестокие софисты! Так рассуждали всегда те, кто желал обмануть нас! Не во имя ли мира и даже свободы Людовик, Лафайет и все их сподвижники сеяли смуту в стране, не под этим ли предлогом поражали они патриотизм оружием и клеветой как в Учредительном собрании, так и вне его?

Постепенно оратор преображается. Теперь это уже не холодный исследователь истины, это пламенный обвинитель. Его уста извергают громы, его глаза мечут молнии...

— Не очевидно ли, в самом деле, что здесь ведется процесс не столько против Людовика XVI, сколько против самых горячих защитников

свободы? Разве здесь восстают против тирании Людовика? Вовсе нет! Здесь возмущаются тиранией маленькой кучки угнетенных патриотов. Разве здесь страшатся заговоров аристократии? Ничуть! Нас пугают диктатурой каких-то представителей народа, которые будто бы хотят узурпировать его власть. Здесь хотят сохранить тирана, чтобы выставить его против обезоруженных патриотов. Предатели! В их распоряжении вся военная сила, вся государственная казна — и они обвиняют нас в деспотизме! В республике нет ни одной деревушки, где они не закидали бы нас грязью; они растрачивают общественное достояние на свои пасквили; они осмеливаются изменять общественному доверию, нарушая тайну корреспонденции, чтобы перехватывать депеши патриотов и заглушать крик истины, и они же кричат о клевете! Они отнимают у нас даже право голоса и нас же клеймят именем тиранов! Они видят бунт в скорбных порывах патриотизма, оскорбленного неслыханной изменой, они оглашают это святилище воплями ярости и мести!..

Но вот Неподкупный вновь спокоен. Он подводит итоги. Он констатирует. И эта холодная констатация для многих сидящих здесь страшнее самых пламенных призывов.

— Да, это несомненно: существует проект унижить Конвент, а может быть, и уничтожить его, пользуясь этим бесконечным процессом. И не в тех людях гнездится измена, которые стойко защищают принципы свободы, не в народе, который пожертвовал для нее всем, не в Национальном Конвенте, который стремится к добру и истине, и даже не в тех личностях, которые являются лишь игрушками злополучной интриги и слепым орудием чужих страстей: она гнездится в дюжине-другой плутов, которые держат в своих руках все нити заговора. Храня молчание, когда обсуждаются важнейшие вопросы дня, они втихомолку возбуждают смуты, раздирающие нас теперь, и готовят бедствия, ожидающие нас в будущем...

В заключение оратор призывает народ к бдительности и повторяет требование о вынесении Людовику смертного приговора.

После этой речи нет такого единодушия в аплодисментах депутатов, как прошлый раз. Часть их точно окостенела. Страх сковал члены, немота парализовала языки... «Государственные люди» раздавлены. Их истинные планы разоблачены. Напрасно думали они, что можно спрятаться за апелляцию к народу, за самое слово «народ». Неподкупный, сорвавший с них все маски и не оставивший камня на камне в фундаменте их постройки, убедительно доказал, насколько они враждебны народу. И самое страшное было в том, что оратор якобинцев говорил не от себя, не от своей партии, а от лица того самого народа, именем которого жирондисты

пытались так неудачно спекулировать и которого, по существу, они не знали и боялись больше всего на свете. И поэтому не только речь их поражает. Их окончательно добивает то, свидетелями чего они становятся в ближайшие дни после заседания 28 декабря.

Народ услышал и понял Робеспьера. Его речь была напечатана на общественный счет, по подписке, распространенной среди парижан. Она нашла отклик даже в департаментах, где жирондисты еще сохраняли свои позиции. В эти дни вновь стали приходить из разных концов страны петиции с требованием смертного приговора Людовику XVI. Наконец 30 декабря Конвенту пришлось стать свидетелем внушительного и печального зрелища. На очередное заседание явилась делегация от восемнадцати парижских секций. В ее рядах находились ветераны революции, получившие увечья 10 августа, вдовы и сироты граждан, павших в этот день. После короткого гневного слова оратора делегации, в котором осуждалась политика оттяжек и выдвигалось требование немедленной казни тирана, посланцы секций прошли через зал заседаний, обойдя его по кругу вдоль нижних скамей. Страшная это была картина! Женщины, поднимающие к депутатам своих осиротевших малюток, юноши на костылях, безногие обрубки на тележках... Некоторых совершенно искалеченных людей проносили на носилках, других, потерявших зрение, вели поводыри...

Депутаты на нижних скамьях старались не смотреть на проходивших, не встречаться глазами с отыскивающими их пламенными взглядами, полными упрека.

Теперь уже ничто не могло спасти позиции жирондистов. Тщетно было красноречие Верньо, речь которого, запоздало выдвинутая в качестве тяжелой артиллерии, поглотила все заседание 31 декабря, тщетны были строго продуманное выступление Бриссо и полная ядовитой клеветы против Горы и ее лидеров короткая, но злобная речь Жансоне. Красноречие не могло изменить хода событий.

Опасаясь возрастающего народного гнева, жирондисты после этих последних взлетов смолкли и сникли: кампания была явно проиграна. Боясь обвинений в роялизме, которые действительно раздавались тут и там, «государственные люди» должны были прекратить свою парламентарную игру в пользу короля и пожертвовать Людовиком в интересах самосохранения.

16 января началось заседание Конвента, посвященное поименному

голосованию меры наказания королю. Оно продолжалось тридцать шесть часов подряд.

Как и можно было предвидеть, трепещущие жирондисты предали короля, за жизнь которого перед этим так отчаянно боролись: подавляющее большинство их не рискнуло выступить против казни. Людовик был осужден на смерть большинством в 387 голосов при 721 голосовавшем депутате.

Робеспьеру было суждено сорвать и последнюю слабую попытку группы двадцати шести жирондистов во главе с Бриссо добиться оттяжки если не приговора — приговор был уже вынесен, — то хотя бы самой казни.

Два дня подряд, на заседаниях 18 и 19 января, Бриссо, Бюзо, Кондорсе, Казенав, сменяя друг друга на трибуне, с жаром доказывали, что приговор не следует приводить в исполнение тотчас же. Поспешность исполнения приговора, уверяли эти депутаты, вооружит против Франции всю Европу и навлечет на головы французов неслыханные бедствия; она восстановит не только королей, но и нации, которые припишут ее жажде мести и давлению кучки интриганов; наконец и для внутреннего спокойствия страны было бы лучше отложить казнь до принятия новой конституции.

В своем коротком выступлении Робеспьер с обычной для него логикой показал слабость всех этих аргументов. Приговор выносится для того, чтобы быть исполненным. Действительно, стоило ли так горячо дебатировать, так спешить с судом, наконец стоило ли в течение двух последних месяцев заниматься исключительно делом короля для того, чтобы, вынеся, наконец, приговор, спрятать его под сукно? Откладыванием казни нельзя улучшить ни внутреннее, ни внешнее положение страны. Напротив, это будет вселять преступные и гибельные надежды и будить чувства малодушной жалости, что может привести к волнениям внутри страны, не ослабляя ненависти и злобы внешних врагов. Тираны, без сомнения, примут этот факт как проявление малодушия и лишь еще более укрепятся в своей надежде поработить французский народ.

При голосовании подавляющее большинство депутатов отклонило предложение группы Бриссо.

Так закончился этот процесс между целой нацией и одним человеком, как назвал его защитник Людовика XVI, или, точнее, процесс между двумя главными партиями на решающем этапе Великой буржуазной революции.

Утром 21 января Морис Дюпле наглухо запер ворота своего дома.

— Зачем вы делаете это? — спросила его Элеонора.

— Ваш отец поступил правильно, — ответил вместо столяра Робеспьер, — здесь вскоре произойдет кое-что, чего вам не следует видеть.

Действительно, около десяти часов утра обитатели дома № 366 услышали стук колес и топот лошадей: это бывший король проезжал по улице Сент-Оноре, совершая свой последний путь из Тампля на эшафот.

В 10 часов 20 минут палач показал отрубленную голову народу под единодушный крик: «Да здравствует республика! Да здравствует нация!»

Момент казни предполагалось ознаменовать пушечным выстрелом. Этого, однако, не сделали, ибо, по словам одного журналиста, «...голова короля не должна была произвести при падении больше шума, чем голова всякого другого преступника».

Процесс короля непосредственно не привел к гибели жирондистов, но он еще раз дискредитировал их в глазах народа, ускорив подготовку событий 31 мая — 2 июня.

Глава 8

«Бешеные»

К началу 1793 года внешнее и внутреннее положение молодой республики значительно ухудшилось.

Реакционные европейские государства использовали процесс и казнь Людовика XVI как повод к дальнейшей активизации сил контрреволюционной коалиции. К австро-прусским интервентам открыто присоединились Англия, Испания и Голландия. Зарубежная реакция оказывала помощь и поддержку всем контрреволюционным движениям внутри страны. Подвергнутая блокаде и изолированная Франция вступала в единоборство с монархической Европой.

Война все сильнее сказывалась на состоянии экономики. Занятие врагом пограничных территорий в начальный период войны, колоссальные затраты на содержание и снабжение больших армий, полное свертывание некоторых отраслей производства — все это ложилось, в первую очередь, на плечи трудящихся масс. Легион безработных увеличивался с каждым днем. В народе все решительнее раздавались требования таксации цен — обуздания спекулянтов и саботажников.

Правительство жирондистов обнаруживало полное бессилие и нежелание преодолеть создавшиеся трудности. Некогда призывавшие к войне, жирондисты оказались неспособными наладить национальную оборону. Занятые интригами и фракционной борьбой, они не сумели обеспечить побед на фронтах войны. Их ставленник, бывший министр Дюмурье, не выполнив приказа Конвента о занятии Голландии, бездействовал всю зиму, дав австрийцам возможность реорганизовать и усилить свою армию.

Подозрительные махинации генерала проходили при прямом попустительстве со стороны жирондистского Исполнительного совета. Скрывая от народа правду, жирондистские газеты вопреки действительности не переставали сообщать об успехах Дюмурье в Голландии.

Ничего не сделали жирондисты и в области ликвидации внутренних затруднений. Они не собирались облегчать положение трудящихся. При изыскании средств на покрытие растущих военных расходов они, вместо того чтобы увеличить налоги, падавшие на богачей, предпочли продолжать выпуск обесцененных ассигнатов. Верные ученики физиократов и Тюрго,

они были противниками вмешательства государства в экономические отношения, а потому решительно осуждали народные волнения и призывы к установлению твердых цен. Ролан утверждал, что законодатели не должны заниматься продовольственным кризисом, что экономика выправится сама по себе и тем скорее, чем... меньше ей будут уделять внимания (!). Практически это означало, что жирондисты отказываются от принятия каких-либо мер по отношению к скупщикам и спекулянтам., ибо «государственным людям» были близки интересы оптовых торговцев, наживавшихся на вздувании цен.

Зато жирондисты не скупились на репрессии по отношению к народу и организациям, защищавшим его интересы. По их настоянию был издан декрет, грозивший смертной казнью за всякую попытку препятствовать свободному передвижению съестных припасов. В районы, охваченные волнениями, посылались войска. В Конвенте лидеры жирондистов обрушивались на «дезорганизаторов», заявляя, что продовольственный вопрос инспирирован роялистами и эмигрантами. С особенной ненавистью, как и прежде, «государственные люди» относились к Парижской коммуне. Они заявляли, что своей деятельностью, направленной на поддержку голодающей бедноты, Коммуна льстит народу и разоряет государство.

Стремясь нанести сокрушительный удар Коммуне, они добились ее переизбрания. Но этим они ничего не выиграли. Новый состав Коммуны оказался еще более радикальным, чем прежний, а прокурором ее был избран Шомет, честный и стойкий патриот, глубоко преданный интересам народа. Тогда же от секции Гранвилье был выдвинут в члены Коммуны священник Жак Ру — признанный вождь «бешеных», беспощадный обличитель экономической политики жирондистов.

«Бешеными» жирондисты окрестили группу народных агитаторов, представлявших самое левое крыло в лагере демократов. В состав этой группы, кроме Жака Ру, начавшего свою разоблачительную деятельность еще с весны 1792 года, входили Варле, Леклер, Клэр Лакомб и др. Хорошо знакомый с тяжелой, беспросветной нуждой городской бедноты, Ру был видным членом клуба Кордельеров. Он находился в близких отношениях с Маратом и одно время скрывал Друга народа у себя на квартире. «Нет большего преступления, — говорил Ру в своих проповедях, — чем наживаться за счет народных бедствий и производить ростовщические сделки, вызывая слезы и разорение народа. Нация, сбросившая с себя иго тирана, должна обрушиться на жестокие происки аристократии богатства».

«Бешеные» требовали установления смертной казни для барышников и спекулянтов, введения строгих законов в отношении хлебной торговли, декретирования максимума (предельных твердых цен) на продукты и предметы первой необходимости. Не ставя вопроса об уничтожении частной собственности, «бешеные» вместе с тем гораздо последовательнее и принципиальнее всех других демократических группировок боролись за установление социального равенства между гражданами новой Французской республики. Агитация «бешеных» зимой — весной 1793 года отвечала борьбе и чаяниям широких народных масс, в первую очередь беднейших слоев населения Парижа. Требование максимума стало главным лозунгом городского плебса столицы.

Выступление «бешеных» осложняло борьбу, кипевшую в Конвенте. Поскольку Ру и его товарищи своими призывами били прямо по жирондистам, мысль о союзе монтаньяров с «бешеными», казалось, напрашивалась сама собой. Но к этой мысли лидеры монтаньяров пришли не сразу. Правда, они не разделяли жирондистской теории невмешательства государства в экономические отношения. В равной мере они не поддерживали и экономических мероприятий жирондистов. Еще в декабре 1792 года Сен-Жюст резко обрушивался на правительственные махинации с необеспеченными выпусками бумажных денег. Тогда же Робеспьер в сильной речи осудил теоретические построения «государственных людей». Критикуя экономический либерализм жирондистов и их учителей — физиократов, Неподкупный указывал, что защитники ничем не ограниченной свободы торговли доводят страну до голода. «Необходимая для человека пища, — указывал Робеспьер, — так же священна, как и его жизнь. Все нужное для сохранения этой последней составляет достояние всего общества; только излишек является частной собственностью, только его можно отдавать коммерсантам. Всякая спекуляция, производимая в ущерб жизни себе подобных, есть не торговля, а разбой. Никто не имеет права собирать у себя груды хлеба, когда рядом люди умирают с голоду. Первое из прав есть право на существование, первый закон общежития есть обеспечение за всеми членами общества средств существования». Однако выводы, делаемые вождями якобинцев, были слабее, чем можно было бы ожидать, исходя из его речи. Робеспьер требовал, чтобы Конвент произвел учет имеющихся налицо запасов зерна, позаботился об обеспечении им рынков и определил строгие наказания за спекуляцию; до идеи таксации и установления твердых цен Неподкупный не доходил. Ученик Руссо, он опасался, что пропаганда «бешеных» может нанести непоправимый удар принципу частной собственности, которую он считал

одной из основ общества. Требования социального равенства наводили Максимилиана на мысль о ненавистном ему «аграрном законе» — полном переделе земли, который, на его взгляд, находился в вопиющем противоречии с принципами законности и естественного права. Под влиянием всех этих соображений Робеспьер не только резко осудил Жака Ру и его соратников, но в феврале — марте ослабил остроту своих выступлений против жирондистов. Позиции Неподкупного разделяло подавляющее большинство демократов-якобинцев. Марат сожалел, что на дверях разгромленных парижских лавок не повесили для примера несколько скупщиков, однако он также не сочувствовал экономическим требованиям «бешеных». Что же касается Дантона и возглавляемой им группы монтаньяров, то они теперь были не прочь пойти даже на примирение с «государственными людьми», и не их вина была в том, что это примирение не удалось.

Таким образом, якобинцы в целом не поддержали «бешеных». Их смущали сформулированные с предельной резкостью требования Ру и его единомышленников, Сторонники широкой буржуазной демократии, они боялись серьезных ограничений в области экономики, ибо всякая система радикальных ограничений казалась им нарушающей принципы свободы. В требовании максимума они видели чуть ли не возврат к дореволюционной государственной регламентации. А главное, те слои мелкой буржуазии, интересы которой прежде всего представляли якобинцы, страдали от продовольственного кризиса в значительно меньшей степени, нежели небогатые мастера и рабочие; распространение же таксации на все предметы первой необходимости могло задеть интересы этой мелкой буржуазии самым непосредственным образом.

Только крайняя левая часть якобинского блока, группировавшаяся вокруг Коммуны и возглавляемая Шометом, занимала более решительные позиции. Левые якобинцы, близко связанные с трудящимися массами, лучше понимали и защищали их интересы, чем остальные монтаньяры. Шомет заявлял, что бедняки в большей степени, чем богачи, совершали революцию; почему же теперь их интересы игнорируют во имя интересов богатых? Указывая на резкое несоответствие между заработной платой бедняка и ценами на предметы первой необходимости, Шомет приближался к поддержке «бешеных» в требовании максимума. Однако даже левые якобинцы, не хотевшие раскалывать единство якобинского блока, в угоду большинству монтаньяров отказались в этот момент от прямого союза с Жаком Ру и Варле.

В начале весны деятельность «бешеных» особенно активизировалась. Они стали призывать к немедленному осуществлению своих социальных требований. 4 марта ими был прочитан адрес к якобинцам, содержащий следующие знаменательные слова:

«...Депутаты-изменники не только должны быть отозваны, но их головы должны пасть под ударом меча закона... Имуущественная аристократия — крупные торговцы и финансисты, вообще хищники, собираются возвыситься на развалинах феодальной аристократии. Никакой коронованный разбойник не осмелился бы напасть на нас, если бы он не был уверен в поддержке целой партии в Конвенте».

Ближайший соратник Жака Ру, Варле настаивал на необходимости народного восстания с целью изгнания жирондистов из Конвента. Попытка поднять восстание в дни 9–10 марта, однако, не увенчалась успехом. Влияние якобинцев в массах на этом этапе было значительно более сильным, чем влияние «бешеных», а якобинцы выступили против восстания. На призыв Варле не откликнулись ни клубы, ни Парижская коммуна, ни большинство секций. Не поддержали монтаньяры и требование «бешеных» об изгнании жирондистов из Конвента. Своевременным ли было восстание, предложенное Варле? События будущего показали, что путь, которым шли «бешеные», принципиально был правильным, и Робеспьеру вместе с его единомышленниками в конце концов пришлось пойти именно этим путем.

И вдруг в том же марте два страшных удара, направленных опытными руками, внезапно один за другим обрушились на республику. Первым было восстание в Вандее, вторым — измена Дюмурье.

Вандея и соседние с ней области представляли собой экономически отсталые провинции страны. Патриархальное крестьянство, составлявшее основное их население, было связано крепкими узами со своими помещиками. Почти изолированные от идей революции, слабо проникавших в эти окраинные районы, завидовавшие быстро богатеющей буржуазии и подстрекаемые кулацкой прослойкой, забитые крестьяне Вандеи оказались весьма восприимчивыми к контрреволюционной пропаганде дворянства и духовенства. Орудовавших здесь роялистов-эмигрантов и иных проповедников реакции щедро субсидировала Англия. В первые же дни мятежа повстанцы захватили крупный город Нант и устроили резню, в которой погибло более пятисот сторонников революции. Вскоре из Вандеи восстание перекинулось в Нормандию и Бретань.

Что касается Дюмурье, то этот авантюрист и двурушник давно уже вел недостойную игру. В первые дни марта он начал отходить из Голландии

якобы под ударами австрийцев. Мятежный генерал вступил в тайные переговоры с врагом. Мечтая о военной диктатуре с помощью союзников, Дюмурье отправил в Париж наглое письмо, в котором называл Конвент «сборищем дураков» и требовал уничтожения Якобинского клуба. Но генерал просчитался, переоценив свое влияние на солдат. Пойдя по стопам Лафайета, он вынужден был разделить и его судьбу. Когда измена стала явной, армия его не поддержала, и в конце марта он с небольшой группой приближенных бежал к австрийцам. Французам пришлось оставить Бельгию. Войска интервентов вновь оказались у порога республики.

И вандейский мятеж и в особенности измена Дюмурье сильно дискредитировали жирондистов, значительно увеличив число сторонников «бешеных».

Жирондисты не предприняли каких-либо действенных шагов, чтобы подавить вандейский мятеж в его зародышевой стадии. Напротив, ему дали окрепнуть и перебраться в соседние районы. В этом не было ничего удивительного: многие из «государственных людей» втайне сочувствовали контрреволюционному восстанию. В равной мере не могла смутить жирондистов измена Дюмурье, отнюдь не являвшаяся случайным делом: она символизировала настроения крупной буржуазии, окончательно отошедшей от революции и стремившейся объединиться с роялистами. Да, теперь жирондисты видели единственное спасение для себя и тех слоев, которые они представляли, в поражении республики. Это было очевидно. И очевидность этого проявилась в первую очередь в стремительном росте влияния «бешеных». Отныне их поддерживали не только плебейские массы, но и значительная часть мелкой буржуазии. Отныне их социальная и политическая программа стала казаться этим слоям единственно пригодной для спасения независимости и завоеваний революции.

Все это заставило монтаньяров пересмотреть свою тактику. Левые якобинцы во главе с Шометом уже давно находили точки соприкосновения с Жаком Ру и его сторонниками. Теперь, в начале апреля, Коммуна решительно поддержала требование максимума и тем самым подала руку «бешеным».

Очнулся и Дантон. Как бы стыдясь за свою недавнюю слабость, он начал действовать с порывистой горячностью, тем более что лидеры жирондистов, сваливая с больной головы на здоровую, пытались обвинить его в близости к Дюмурье. Выступая в Конвенте 2 апреля, он потребовал, чтобы монтаньяры отказались от каких-либо соглашений с «государственными людьми». Он был одним из инициаторов организации вновь восстановленного Чрезвычайного трибунала для борьбы с

контрреволюцией, переименованного вскоре в Революционный трибунал. Наконец Дантон сделался самым влиятельным членом образованного 6 апреля Комитета общественного спасения — нового органа, получившего весьма широкие полномочия, вплоть до права контроля над Исполнительным советом.

Очередь была за Неподкупным.

Неподкупный, казалось, выжидал. Он молча наблюдал за происходившим в Конвенте, в клубе и на улице. Колебался ли он? Во всяком случае, он не терял времени даром. Среди прочих дел Робеспьер был занят сбором материалов для обвинительного акта, мысль о котором зародилась давно, быть может, еще во время кампании клеветы в мае 1792 года. Мысль эта вызревала в период «Робеспьериады» и окончательно утвердилась в дни суда над королем. Выступления «бешеных» в феврале — начале марта отсрочили ее осуществление. Но теперь ничто не удерживало Робеспьера от того, чтобы провести ее в жизнь. Обвинительный акт, каждое положение которого взвешено, проверено и еще раз проверено, составлен. До сих пор Неподкупный в основном предупреждал. Теперь он будет обвинять. Слушайте!

Робеспьер выступил с трибуны Конвента 10 апреля. Свою длинную речь он начал следующими словами:

— Сильная партия ведет вместе с европейскими тиранами заговор с целью дать нам короля и аристократическую конституцию.

И далее оратор показал всю деятельность этой «сильной партии» от первых шагов Законодательного собрания до измены Дюмурье. Он вспомнил им все: и пресмыкательство перед тронem в охоте за министерскими портфелями, и многократную травлю патриотов, и покровительство реакционным генералам, и недостойную игру во время суда над королем, и старинную дружбу с нынешними мятежниками. Он не забыл ни одного факта, не упустил ни одной важной подробности. Медленно и строго разматывалась цепь обвинений, ударяя своими металлическими звеньями по головам притихших депутатов.

Речь длилась добрых два часа подряд.

Монтаньяры с нетерпением ожидали резолютивной части выступления своего вождя.

Вывод как будто напрашивался сам собой: он должен совпасть с тем, чего требуют «бешеные». Но Максимилиан не ставит всех точек над «и». Он нарисовал потрясающую картину, он сгруппировал и восстановил в памяти присутствующих все факты недавнего прошлого, пусть же вывод

сделают они сами. Он лишь намекнет, в каком направлении следует заострить этот вывод.

Потребовав в резкой форме наказания всех сообщников Дюмурье, оратор вдруг останавливается. Его взор становится насмешливым. С ироническим вниманием осматривает он из-под очков депутатов, притихших на нижних скамьях.

— Смею ли я назвать здесь таких заслуженных патриотов, как господина Верньо, Гюаде и другие?.. Я убежден в бесплодности моих усилий в этом отношении и во всем касающемся этих «славных» членов. Я полагаюсь на мудрость Конвента...

Конечно, о «мудрости Конвента» в эти дни можно было говорить лишь в ироническом смысле. При робком, нерешительном молчании «болота» Жиронда и Гора с остервенением набрасывались друг на друга.

— Мы умрем, но не одни! — кричат несколько голосов сразу. — За нашу смерть отомстят наши дети!

— Вы злодеи! — отвечает им Дантон голосом, напоминающим рычание льва.

— Диктатура будет твоим последним преступлением! — в свою очередь, бросает Дантону жирондист Бирото. — Я умру республиканцем, а ты умрешь тираном!

Вот зловеще бормочет что-то Гюаде. Он сравнивает общественное мнение с кваканьем нескольких жаб.

— Молчи, поганая птица, — не выдерживает Марат.

На обвинения Робеспьера пытается отвечать Верньо. Но чем? Старыми, избитыми, давно изжившими себя и разоблаченными клеветами.

Луве, Гюаде, Лекуантр и другие орут, стараясь перекричать друг друга. В воздух поднимаются кулаки. Жирондист Дюперре выхватывает шпагу. Петион, сам респектабельный Петион, всегда спокойный и старающийся всех примирить, доходит чуть ли не до белой горячки. «Парень был в течение часа с четвертью в конвульсиях, — пишет, вспоминая об этом, Марат. — Подхожу к нему, а у него глаза блуждают, лицо мертвенно-бледно, у рта пена...»

Да, не «мудрость Конвента», а сила и мужество народа должны были решить исторический спор, вот уже больше года раздиравший страну. «Бешеные» были правы. Робеспьер, взирая со своего места на хаос, царивший в зале заседаний, не мог этого не понимать. И тем не менее он считал, что нужно подождать еще немного. Еще не обсуждались проекты новой конституции. Пусть жирондисты представят и защитят свой проект!

Пусть народ увидит, что борьба, происходящая в Конвенте, это не только борьба страстей, но и борьба идей!..

Всю силу ответного удара жирондисты решили сосредоточить на Марате. Друга народа особенно ненавидели «государственные люди», которых он безжалостно обличал и выставлял на позор. Он был самым яростным из триумвиров, его больше других боялось покорное «болото». На нем сейчас и следует отыграться! Дантон хотел примирения — его можно оставить в резерве. Свалить Робеспьера — дело безнадежное, практика прошлого тому порукой; сейчас, сразу после обвинительного акта, об этом вообще нечего и думать. Другое дело — Марат! С ним, казалось, расправиться тем легче, что ни Дантон, ни Робеспьер не испытывали к нему личных симпатий. Как всегда, жирондисты не учли лишь того, кто был главной силой: простого народа, трудящихся столицы.

Удар был нанесен 12 апреля. В этот день Гюаде прочитал тенденциозно подобранные выдержки из письма Якобинского клуба в провинцию, подписанного Маратом. Письмо призывало к отзыванию жирондистов из Конвента. Оратор процитировал фразу, в которой Конвент назывался местопребыванием... «продавшейся английскому двору интриги».

Буря негодования потрясла стены манежа. Жирондисты и депутаты «болота» с одинаковой яростью вопили:

— В тюрьму его!.. Издать декрет о привлечении его к суду!..

Несмотря на то, что Друг народа спокойно оправдался от всех обвинений, несмотря на то, что на следующий день его горячо защищали другие монтаньяры, заявлявшие, что все они готовы подписаться под пресловутым письмом, большинство Конвента послушно проштамповало декрет об аресте и предании суду ненавистного им глашатая правды.

Народные массы Парижа не дали арестовать Марата. Но декрет о его аресте усилил революционное возбуждение. Поднялась Коммуна, вспыхнули секции, загремели предместья. Простые люди не скрывали своих намерений.

В ответ на угрозы Марату 14 апреля тридцать пять секций потребовали очищения Конвента от руководителей жирондистской партии.

К петиции присоединился и мэр Парижа, якобинец Паш. Становилось ясно, что весь революционный Париж против жирондистов.

Суд над Маратом, состоявшийся 23 апреля, стал его апофеозом. Марат не защищался, а обвинял. Революционный трибунал оправдал Друга народа. Народ, занявший все подступы к зданию суда, подхватил на руки

своего защитника, украсил его лавровым венком и осыпал цветами. Во главе стотысячной толпы, выражавшей свои чувства криками «Да здравствуют республика, свобода, Марат!», Друг народа был внесен в Конвент, где в это время шло обсуждение проекта конституции. Среди жирондистов началась паника. Многие из них поспешили оставить зал заседаний. Торжествующий Марат занял свое место. Он заявил, что по-прежнему со всей энергией, на какую только способен, будет защищать права народа. Так и это «мероприятие» жирондистов решительным образом обернулось против них. «В этот день, — говорил позднее Марат, — я набросил им веревку на шею...»

23 апреля в Конвенте начались прения по вопросу о конституции, прения, которых так нетерпеливо ожидал Робеспьер. Во время обсуждения проекта конституции он рассчитывал с предельной ясностью показать всему народу истинную природу политических и социальных идей жирондистов. Вместе с тем именно теперь с такой же ясностью он должен открыть свое кредо, свои взгляды на собственность и право. Когда-то он развивал эти темы с трибуны Учредительного собрания, но в то время еще не все было ясно, и как тогда было трудно говорить ему, неизвестному новичку, над которым смеялись и которого не хотели слушать! Теперь он все додумал до конца. Теперь его кредо будет также символом веры всей его партии, а его партия, опирающаяся на поддержку народа, ныне является той силой, которой суждено завоевать арену истории.

Отправным пунктом выступления Робеспьера была Декларация прав, написанная им и обсужденная в Якобинском клубе за два дня до начала прений в Конвенте. Прежде всего он поспешил успокоить всех тех, кто боялся «аграрного закона» и посягательства на собственность со стороны якобинцев.

— Грязные души, уважающие только золото! Я отнюдь не хочу касаться ваших сокровищ, как бы ни был не чист их источник... Что касается меня, то для личного счастья я считаю равенство имуществ еще менее необходимым, чем для общественного благосостояния. Гораздо важнее заставить уважать бедность, чем уничтожить богатство...

Однако после этого «успокоительного» введения Неподкупный сосредоточивает весь огонь своей речи на Декларации прав жирондистов, составленной Кондорсе. Главным объектом внимания оратора становится формулировка понятия собственности. И здесь он высказывает взгляды, обнаруживающие всю глубину расхождений между Горой и Жирондой в плане социальных и экономических идей.

Жирондистский проект заявлял, что право собственности заключается в праве каждого гражданина располагать без всяких ограничений своим имуществом, своим капиталом, своим доходом, своим производством.

Робеспьер показывает, что термин «собственность» есть понятие условное, что каждый социальный слой вкладывает в понимание этого термина свои представления. Так, с точки зрения работорговца собственностью являются рабы, которыми он владеет; с точки зрения феодала собственностью будут его поместья и крестьяне; для наследственного монарха собственностью окажется право угнетать миллионы людей, населяющих управляемую им страну. Принять формулировку жирондистов — это значит дать неограниченный простор экономическому ажиотажу, спекуляции, обогащению немногих в ущерб основной массе граждан, ибо жирондистский проект не ставит никаких границ собственности, ибо в этом проекте интересы всего общества приносятся в жертву отдельным его членам. Действительно, формулировка жирондистов фактически гарантирует и собственность работорговцев, и собственность феодала, и даже собственность наследственного монарха!..

— Ваша декларация, — указывает, исходя из этого, Робеспьер, — по-видимому, написана не для всех людей, а только для богачей, скупщиков, тиранов и спекулянтов...

Что же противопоставляет Неподкупный декларации жирондистов? Если они на первое место ставят право собственности, то он основными правами человека считает право на существование и свободу. Говоря же о собственности, он обуславливает ее определенными границами, за которые она выходить не может.

— ...Право собственности есть право каждого гражданина пользоваться и распоряжаться той частью имущества, которая гарантируется ему законом.

Право собственности, как и все другие права, ограничено необходимостью уважать права других людей.

Оно не может наносить ущерб ни безопасности, ни свободе, ни существованию, ни собственности наших ближних.

Всякая собственность и сделка, нарушающая этот принцип, являются по своему существу безнравственными и незаконными...

Эта формулировка Робеспьера давала, по существу, конституционное обоснование для преследования скупщиков и ажиотеров — всех тех, чьи сделки и махинации нарушали основной установленный им принцип.

Что еще можно к этому прибавить? Декларация Робеспьера провозглашала право на труд и на средства к существованию для тех, кто

не мог найти работы, необходимость обложения прогрессивным налогом зажиточных граждан, содействие прогрессу разума и общедоступному образованию, верховный суверенитет народа и право любого гражданина на занятие любой государственной должности, гласность всех мероприятий правительства и должностных лиц.

Заключительные положения декларации подчеркивали солидарность всех народов в борьбе за свое лучшее будущее.

Так Неподкупный в этом программном документе, созданном на грани своей победы и победы своей партии, до конца развил те идеи, которые заложил в нем Руссо и которые он лишь наметил некогда в Учредительном собрании.

Декларация Робеспьера, как и вся речь от 24 апреля, ее сопровождавшая, говорили сами за себя. Все демократы приняли новую декларацию с воодушевлением, а Франсуа Бабеф, будущий организатор «Заговора равных», рассматривал ее как свой идейный манифест... Народу ясно показали, кто его друзья и кто враги. Неподкупный и его соратники стремились возможно более полно обеспечить демократические завоевания народных масс.

Борьба вокруг жирондистского и якобинского проектов конституции не только завершала разрыв между двумя партиями. Она ускорила формирование единого фронта всех демократических сил против жирондистов и предопределила их близкое падение.

После этой речи Робеспьера исчезли последние преграды, отделявшие якобинцев от «бешеных». Ру и Варле поддержали монтаньяров в борьбе за их проект конституции. С конца апреля союз якобинцев и «бешеных» оформился. Первым его результатом стало декретирование Конвентом, несмотря на сопротивление жирондистов, единого для всей Франции максимума твердых цен на зерно. Это произошло 4 мая. Позднее было проведено и предложение о принудительном займе у богачей.

Все это означало установление нового государственного курса. Единственной преградой на пути претворения этого курса в жизнь были те, кто все еще стоял во главе государства, — жирондисты.

Глава 9

Падение Жиронды

Столько поражений за такой короткий срок привели жирондистов в состояние страшной ярости. Еще в апреле Петион, ставший одним из наиболее активных вожаков Жиронды, обратился с провокационным письмом к зажиточным парижанам:

«Ваша собственность подвергается угрозе, а вы закрываете глаза на эту опасность. Разгорается война между имущими и неимущими, а вы ничего не предпринимаете для ее предупреждения... Граждане, встряхнитесь от летаргии и заставьте этих вредных насекомых уйти в свои убежища!..»

Но в Париже, где резко преобладали революционно настроенные элементы, жирондистам трудно было добиться понимания и успеха. Другое дело — в департаментах, в особенности на юге и юго-западе страны. Здесь они чувствовали себя хозяевами. На стенах домов Бордо давно уже пестрели плакаты, в которых жирондисты грозили междоусобной войной силам демократии. В Лионе, Тулоне и Марселе подготавливались контрреволюционные мятежи. И вот, опираясь на реакционные слои департаментов, жирондистские лидеры решили объявить настоящую войну революционному Парижу.

18 мая по инициативе двуличного Барера они создали Комиссию двенадцати якобы для обеспечения общественного спокойствия, фактически же для концентрации власти в своих руках с целью нанесения решающего удара Парижской коммуне и другим революционным организациям. Комиссия стала терроризировать Конвент, пугая его несуществующими заговорами и наводняя доносами. 23 мая комиссия предложила Конвенту принять чрезвычайные меры и усилить охрану, порученную буржуазным секциям, под предлогом раскрытия большого заговора. В тот же день по приказу комиссии были арестованы Варле и член Коммуны, заместитель Шомета журналист Эбер. Арест Эбера, по своему должностному положению пользовавшегося неприкосновенностью, заставил насторожиться Коммуну. После случая с Маратом неприкосновенность народных представителей нарушалась уже второй раз! Не было ли это опасным для Жиронды прецедентом, который мог обрушиться на ее же голову? Кроме того, арест Эбера, которому вменяли в вину его статью, направленную против жирондистов, являлся прямым

покушением на свободу печати.

25 мая депутация Коммуны, явившаяся на заседание Конвента, потребовала немедленного освобождения Эбера. За Коммуной стояли революционные секции Парижа. И вот тогда-то разыгралась ничем не спровоцированная сцена, которая, произведя крайне тягостное впечатление на столицу, значительно ускорила ход событий.

Встал Инар, один из наиболее горячих и злобных лидеров жирондистской партии. Он занимал в эти дни место председателя Конвента. Его лицо перекосила гримаса. Его голос дышал сдержанной яростью.

— Слушайте истину, которую я скажу вам. Франция избрала нашим местопребыванием Париж... Если бы на нас попытались покушаться, то заявляю вам именем всей Франции...

— Да, да, да, именем всей Франции! — закричали хором депутаты-жирондисты, вскочив со своих мест.

— Да, заявляю вам именем всей Франции, что Париж был бы... уничтожен.

На мгновенье Конвент оцепенел. Потом с верхних скамей раздались гневные крики протеста. Вскочил Марат. Подняв руку по направлению к Инару, он воскликнул:

— Председатель! Оставьте занимаемое вами место! Вы трус, вы позорите Собрание!

Подождав несколько секунд, Инар мрачно продолжал при бешеных рукоплесканиях жирондистов:

— Скоро придется искать на берегах Сены то место, где стоял Париж...

Подобная выходка не могла сойти им с рук, тем более что почти в это же время в Якобинском клубе было оглашено письмо Верньо к жителям Бордо, в котором говорилось: «Мужи департамента Жиронды! Будьте наготове: если меня вынудят к тому, я призову вас с трибуны, чтобы вы шли защищать нас и отмстить за свободу истреблением тиранов. Нельзя терять ни минуты. Если вы проявите должную энергию, вы силою приведете к миру тех людей, которые вызывают междоусобную войну».

Итак, жирондисты откровенно развязывали гражданскую войну. По их почину в Париж летели многочисленные адреса из Марселя, Лиона, Версаля, Авиньона, Нанта, Бордо, адреса, угрожавшие монтаньярам и парижскому плебсу; их комиссары в Вандее не столько боролись с мятежом, сколько ему потворствовали; их друзья в Лионе, Тулоне и других городах юга готовились кровью патриотов залить ненавистную им

революцию! А в это же время в Париже их агенты формировали отряды из населения буржуазных секций, чтобы окружить Конвент лесом штыков!

Все это привело к тому, к чему и должно было привести. Поднялся народ. Простые люди Парижа не желали оставаться пассивными зрителями борьбы, готовившей им новые цепи. Державный сюзерен, разрубивший гордые узел 14 июля и 10 августа, снова поднимался во весь свой богатырский рост и брал инициативу в свои руки.

Первым очагом восстания стал епископский дворец, в котором собирались «бешеные». Большинство секций прислало во дворец своих уполномоченных. После бурного совещания было решено прибегнуть к «чрезвычайным мерам». Слова «восстание» старались избегать, но всем было хорошо понятно, о чем идет речь.

В епископском дворце был сформирован новый организационный центр — Революционный комитет. Комитет поспешил наладить связь с Парижской коммуной. Начались переговоры об установлении единства действий.

Такие вожаки Коммуны, как Шомет, были настроены очень решительно. Однако, соглашаясь с «бешеными», что жирондисты стали опасны для революции, Коммуна так же, как и Якобинский клуб, вначале сомневалась относительно целесообразности немедленного применения «чрезвычайных мер». Демократы-якобинцы не хотели нарушить неприкосновенность депутатов Конвента, полагая, что путем мобилизации революционных сил и морального давления можно будет мирным путем лишиться жирондистов руководящей роли в Конвенте. Одним из вдохновителей этого плана был Робеспьер.

Неподкупный оставался верен себе. Он, которому давно уже стало ясно, что жирондистские лидеры должны быть устранены из Конвента, он, который столько раз изобличал их, а в апреле поставил на них крест своим обвинительным актом и разгромом их идейной программы, он, который в начале мая протянул руку «бешеным», он все еще продолжал сомневаться и в своих выступлениях 8 и 12 мая в Якобинском клубе предостерегал народ от решительных действий.

— Вы может быть думаете, — говорил он 8 мая, — что вам следует поднять бунт, придать своим действиям вид восстания? Ничуть; врагов наших надо искоренять путем закона. Очень возможно, что не все члены Конвента одинаково любят свободу и равенство, но большее число их решилось поддерживать права народа и спасти республику. Часть Конвента, пораженная гангреной, не помешает народу бороться с

аристократами...

Был ли Максимилиан принципиальным противником восстания? Отнюдь нет. Об этом говорит факт союза якобинцев с «бешеными». Это ясно из слов самого Неподкупного. Так, еще в феврале, во время продовольственных волнений, он не возражал против возможности восстания, но указывал, что, поднимаясь, народ должен иметь достаточно серьезные перспективы.

— Я не хочу сказать, что народ не прав, но когда народ восстанет, не должен ли он иметь достойную себя цель?.. Народ должен восстать, но не для того, чтобы набрать сахару, а для того, чтобы уничтожить негодяев...

Таким образом, Робеспьер не исключал восстания, напротив, признавал, при известных условиях, его желательность и даже необходимость. Почему же он стремился оттянуть решительный час? Несомненно, по тем соображениям, что в данный момент не видел еще наличия этих условий. Осмотрительный и осторожный, не любивший без нужды выходить за рамки закона, Максимилиан всегда считал восстание самым крайним средством, к которому нужно прибегать, когда все другие возможности *полностью* исчерпаны. Исчерпаны ли они сейчас? В этом он не был уверен. Податливость Конвента, согласившегося утвердить максимум вопреки жирондистам, казалось, намекала на возможность освободиться от «государственных людей» легальным путем. К тому же, по мнению Робеспьера, восстание следовало начинать лишь тогда, когда можно было с *наибольшим* вероятием рассчитывать на успех. В свое время он протестовал против демонстрации 20 июня, считая, что *накануне* восстания, низвергнувшего монархию, не следует даром растрачивать народные силы. Точно так же и теперь он не хотел *половинчатых* выступлений, возмущений, которые могли остановиться на полдороге. А до тех пор, пока жирондисты ориентировались на серьезную поддержку со стороны части парижан, не говоря уже о провинциалах, до тех пор, пока ненависть к ним народа не дошла до *максимального* предела, можно было опасаться именно *незавершенности* начавшегося восстания. Свергнуть партию, прочно утвердившуюся у власти и опирающуюся на изрядные силы парижской и главным образом провинциальной буржуазии, а также на значительную часть обманутого народа в департаментах, было не таким уж простым и легким делом. Быть может, это окажется не менее трудным, чем свергнуть монархию! И Максимилиан, колебавшийся накануне 10 августа, естественно, колебался и теперь.

Однако в последние дни мая этим колебаниям приходил конец. Вождь якобинцев видел, как зрело народное возмущение, увеличиваясь буквально

с каждым часом. Силы народа росли и концентрировались. Вместе с тем поведение лидеров Жиронды и в особенности их демарш в Конвенте 25 мая делали легальные методы борьбы в дальнейшем совершенно невозможными. «Государственные люди» рвались в бой, закусив удила.

Довольно! Хватит сомнений и колебаний, решительный час близок. Жирондисты хотят истребительной войны; что ж, они получают ее! Поднявший меч от меча да погибнет. Пусть партия врагов народа, сама роющая себе могилу, сойдет в нее, захлебнувшись собственной кровью. Он долго ждал. Он сделает сейчас все для того, чтобы ускорить развязку.

После 25 мая выступления Робеспьера в Якобинском клубе меняют характер. Уже 26 мая он призывает народ к восстанию. Все законы нарушены, деспотизм дошел до последнего предела, и нет уже ни грана добросовестности или стыда. Лучше умереть с республиканцами, чем праздновать победу с злодеями! Пусть Коммуна, если она не хочет нарушить свой долг, соединится с народом! Когда становится очевидным, что отечеству угрожает величайшая опасность, народные представители должны либо погибнуть за свободу, либо добиться ее торжества!.. Этими же настроениями проникнута и речь Неподкупного от 29 мая.

Взгляды Робеспьера вполне совпадали с практической деятельностью Коммуны и Якобинского клуба. К концу мая все организационные центры восстания объединились в своих усилиях. Восстание готовилось почти открыто. Как и перед 10 августа, народ вооружался. Кипучую деятельность развивал Марат.

Комиссия двенадцати ничем не могла помешать назревающим событиям. Да и не было такой силы, которая могла бы им помешать...

В три часа утра с 30 по 31 мая с Собора Парижской богородицы раздались первые звуки набата. Это начиналось восстание. Революционный комитет, по согласованию с Коммуной, назначил начальником национальной гвардии левого якобинца Анрио, быстро организовавшего вооруженные силы революционной столицы. Конвент был окружен.



Анрио (современный набросок).

Депутации повстанцев, сменявшие одна другую в зале заседаний, требовали ареста жирондистских лидеров, обуздания контрреволюционеров в южных департаментах, понижения цен на хлеб. Барер пытался сгладить острые углы и внес от имени Комитета общественного спасения иезуитский проект, имевший целью обезглавить восстание. Он предложил ликвидировать Комиссию двенадцати и предоставить вооруженные силы Парижа в распоряжение Конвента. Упразднением Комиссии двенадцати, которая и так уже фактически пала, Барер рассчитывал предотвратить арест главарей Жиронды; требуя передачи вооруженных сил столицы в руки Конвента, он рассчитывал обессилить повстанцев и сделать хозяином положения большинство Конвента, то есть «болото» и тех самых жирондистов, против которых было поднято восстание. Этот план тотчас же разгадал Неподкупный и в своем коротком выступлении раскрыл его Конвенту.

В тоске застыли жирондисты на своих скамьях. Они молча слушают и ждут. Верньо, который незадолго перед этим своими порывами тщетно

пытался увлечь Собрание, следит воспаленным взглядом за оратором. Когда Неподкупный доходит до последних слов, Верньо не выдерживает.

— Делайте же ваш вывод! — раздраженно кричит он.

— Да, я сделаю сейчас свой вывод, — спокойно отвечает Робеспьер, — и он будет направлен против вас! Мой вывод — это обвинительный декрет против всех сообщников Дюмурье и против всех тех, кто был изобличен здесь петиционерами!

Стараниями Барера и других соглашателей в день 31 мая восстание было остановлено на полпути. Конвент отказался выполнить требование народа и Робеспьера: распустив Комиссию двенадцати, он сохранил жирондистских депутатов в своем составе.

Монтаньяры прекрасно понимали, что останавливаться на достигнутом невозможно.

— Сделана только половина дела, — говорил в клубе Билло-Варен. — Не надо давать народу успокоиться.

Но народ и не собирался успокаиваться. Повстанцы не сложили оружия. Храбрый Анрио держал свои войска наготове. Сохраняя строгую дисциплину и порядок, продолжая свой ежедневный труд, рабочие предместий были готовы по первому сигналу возобновить борьбу.

1 июня Революционный комитет выпустил прокламацию, в которой призвал всех граждан Парижа к бдительности. Марат произнес в Коммуне зажигательную речь, после которой среди восторженных рукоплесканий народа поднялся на башню ратуши и ударил в набат. Во всех секциях дали сигнал к сбору.

Набат не переставал гудеть. С раннего утра 2 июня национальная гвардия окружила Конвент. Сто шестьдесят три орудия были наведены на манеж, сотысячная народная армия заняла все прилегающие к зданию Конвента улицы и переулки. Что ж, если граждане депутаты не в силах сами вынести нужное решение, народ готов оказать им помощь.



Барер де Въезак (современный набросок).

В самом начале заседания Конвента были оглашены сообщения из департаментов, которые определили весь последующий ход дебатов.

Депеши из Вандеи извещали, что артиллерия, провиант и боевые припасы республиканцев попали в руки мятежников. В департаменте Лозер начиналась гражданская война и лилась кровь патриотов. В Лионе, сообщения из которого давно уже носили тревожный характер, вспыхнул жирондистско-роялистский мятеж; восемьсот якобинцев-патриотов были убиты и замучены. Вождь лионских патриотов Жозеф Шалье, избитый и полуживой, ждал в тюрьме смертного приговора. Было прочитано также письмо от бежавшего в ночь на 2 июня жирондистского министра Клавьера.

Жирондисты, понимая, какое впечатление произвели все эти новости на депутатов-монтаньяров, ринулись в атаку, прежде чем последние успели опомниться.

На трибуне Ланжюне. Не обращая внимания на рев галерей и страстные выкрики монтаньяров, он стыдит Конвент за его «слабость», требует уничтожения революционной Коммуны и издевается над народной петицией...

— Сходи с трибуны, — кричит возмущенный до бешенства Лежандр, — а не то я убью тебя!

— Прежде добейся декрета о признании меня быком^[10], — иронизирует Ланжюне.

Но ирония мало ему помогает. Распаленные гневом, на клеветника бросаются Шабо, Друэ и Огюстен Робеспьер. Лежандр приставляет к его груди пистолет. С противоположной стороны уже несутся, потрясая оружием, депутаты-жирондисты, не желающие дать в обиду своего собрата. Завязывается дикая свалка. Ее прекращает выступление делегата от революционных властей Парижского департамента.

— Представители нации, — говорит он, — граждане Парижа уже четыре дня не расстаются с оружием. Народ устал и не хочет откладывать больше своего счастья. Спасите его, или он заявляет вам, что сам будет спасать себя!

Эти слова отрезвляют, как, ушат холодной воды. Председатель уверяет делегацию, что Собрание внимательно рассмотрит и удовлетворит ее справедливое требование.

Несколько голосов из напуганного «болота» призывают к временному аресту лидеров Жиронды. Однако «болото» в делем молчит и ждет.

Хитрый Барер еще раз хочет поправить положение. Желая избавить депутатов-жирондистов от ареста, он предлагает от имени Комитета общественного спасения, чтобы перечисленные в петиции лидеры Жиронды добровольно отказались от своих полномочий.

Но монтаньяры дружно протестуют против такого решения.

— Если они не виновны, пусть остаются, — заявляет Билло-Варен, — если виновны, пусть будут наказаны.

И, следуя заявлению Неподкупного, сделанному 31 мая, Билло предлагает поименно вотировать обвинительный декрет. Завязываются прения. Некоторые депутаты пытаются выйти из зала заседаний, но оказывается, что все проходы заняты вооруженным народом. Опять возникает перебранка.

Барер и его сторонники выражают крайнее возмущение. Для объяснений вызывают Анрио. Но он и не думает являться. Тогда Барер предлагает всем членам Конвента сообща выйти к вооруженному народу, чтобы выяснить реальное положение дел и продемонстрировать свою

независимость от внешнего давления. Это предложение принимается.

И вот большинство депутатов во главе с председателем Эро де Сешелем спускаются к выходу. Только Марат и группа его сторонников остаются на своих местах...

Странное зрелище представляло собой это молчаливое шествие.

Впереди медленно шел председатель, надевший шляпу в знак печали; за ним следовали жирондисты, «болото», монтаньяры — все с непокрытыми головами. Вооруженный народ с любопытством рассматривал своих избранников. Насколько хватало взгляда повсюду волновался лес пик и штыков.

Дойдя до ворот, выходящих на Карусельную площадь, депутаты оказались вынужденными остановиться. Дальше ходу не было. Им навстречу подъезжал Анрио в полной парадной форме, держась за саблю, с холодной миной на лице.

Эро де Сешель прочитал декрет о снятии караулов и удалении вооруженной силы. Анрио молча смотрел на председателя. Тогда последний тихим голосом, с оттенком упрека спросил:

— Чего же хочет народ? Конвент озабочен только его счастьем.

— Народ восстал, — сухо ответил Анрио, — не для того, чтобы выслушивать фразы, а для того, чтобы давать приказания. Он хочет, чтобы ему были выданы избобличенные преступники.

В рядах депутатов произошло движение. Тогда Анрио осадил своего коня на несколько шагов и громко приказал:

— Канониры, к орудиям!

Кто-то взял под руку Эро и оттащил его назад. Конвент двинулся в обратный путь. Надо было продолжать заседание.

По предложению Кутона в этот же день Конвент декретировал арест двадцати девяти депутатов-жирондистов, в том числе Верньо, Бриссо, Гюаде, Петиона, Инара, Жансоне, Бюзо, Луве, Ланжюне и Барбару. Это был конец Жиронды.

Народное восстание в эти дни сокрушило политическое господство крупной торгово-промышленной буржуазии, превратившейся в контрреволюционную силу. Революция шла к своему апогею. Это была прелюдия триумфа Горы и ее вождя — Максимилиана Робеспьера.

Часть III
Монтаньяры



Глава 1

Под грохот сражении



— Умер Марат!.. Друга народа нет больше с нами!.. Они убили его!..

Страшная весть передавалась из уст в уста. Тысячи людей с разных концов Парижа тянулись к улице Кордельеров. Против дома № 18 толпа была настолько густой, что отряд жандармов во главе с полицейским комиссаром едва смог протиснуться к подворотне. На всех лицах, этих усталых, изможденных лицах простых людей, были написаны скорбь, отчаяние, гнев. Вопли ярости сотрясали воздух, руки, поднятые вверх, сжимались в кулаки. Вновь прибывавшим рассказывали то, что удалось узнать.

...Она приехала из Нормандии, гнезда жирондистского мятежа... Ее подослали изменники, бежавшие после 2 июня из Парижа... Она обманом пробралась к больному Другу народа, доверчиво впускавшему к себе всякого просителя, и нанесла ему смертельный удар ножом.

Но вот кто-то закричал: «Ее ведут!» Из ворот показалась группа во главе с комиссаром Гюлар дю Менилем, который придерживал за

связанные руки стройную девушку с нежным овальным лицом и длинными каштановыми волосами. Глаза ее были широко раскрыты. При виде толпы она отпрянула.

— Смерть убийце!.. Голову злодейки!.. Пусть она немедленно ответит за свое преступление!..

Многоголосый рев захлестнул улицу. Арестованная была близка к обмороку. Но комиссар, подняв руку, стал увещевать разъяренных, смятенных людей.

— Из уважения к памяти Друга народа никто не посмеет нарушить закон! Кто любил Марата, тот станет вести себя с достоинством! Правосудие будет скорым и справедливым!..

И толпа, вдруг притихшая, послушно расступилась, чтобы пропустить подъезжавшую тюремную карету.

Тело Марата выставили в церкви Кордельеров на эстраде, украшенной трехцветной драпировкой. Голову увенчали лавровым венком. Два человека, стоя у изголовья, поливали тело и покров ароматическим уксусом. Жгли благовония.

Смертное ложе Марата осыпали цветами. Секции одна за другой шли, чтобы проститься со своим вождем и глашатаем. Час убегал за часом, но людской поток не иссякал, — казалось, ему не будет конца. Скорбь застилала все. Страшная рана зияла в груди. Клинок убийцы, почерневший от крови, был тут же. Святая кровь Марата! Люди клялись идти по его стопам. И отомстить за него. Клятвы давали на почерневшем ноже, как на евангелий.

Художник Давид заканчивал черновой набросок головы Марата. Этот эскиз лег в основу картины, выставленной позднее для всенародного обозрения во дворе Лувра. «О, этого человека я писал сердцем!» — говорил Давид. Написанная в светлых тонах, лишённая театральных эффектов, она поражала своей античной суровостью и простотой. И люди шли снова, чтобы увидеть своего друга, воплощенного в полотне картины. Он жив! Он будет жить вечно! Его убийцы просчитались. Марат так же бессмертен, как неистребима идея свободы.

Похороны Друга народа происходили ночью 16 июля. На скорбной процессии присутствовал Конвент в полном составе. До перенесения в Пантеон прах Марата был погребен в особом склепе в саду церкви Кордельеров. Факелы ярко пылали. Председатель Конвента произносил последнее слово над открытой могилой. Присутствующие с обнаженными

головами внимали оратору.

Лицо Робеспьера при необычном освещении казалось восковым. Он полузакрыв глаза. Мысли проносились с необычайной быстротой...

Итак, удар нанесен. Удар из-за угла, достойный иуды... Он щадил их, он считал, что можно бороться с поднятым забралом. Даже после народного восстания 2 июня дело ограничилось нестрогим домашним арестом для вожаков. Сен-Жюст в своей речи, выражая мысль Неподкупного, говорил о прощении для большинства, о нежелании Горы смешивать заблуждения с преступлением. Он щадил их, несмотря на все прошлое, он слишком долго верил, что можно обойтись без братоубийственной войны, без пролития крови. И вот результат. Кровь все же пролилась, но чья?..

Председатель продолжал говорить. Слова падали одно за другим в открытую пасть могилы. Но Максимилиан не слушал его. Он еще раз оценивал мыслью недавнее прошлое. Сколько зла принесли жирондисты своей демагогией, как замедляли они победный ход революции! Вот яркое тому доказательство: едва отстранили их лидеров, и за полтора месяца, с начала июня до середины июля 1793 года, якобинцы сумели сделать для народа больше, чем жирондисты и фельяны сделали за все годы своей власти! За две недели был обсужден и утвержден текст новой конституции, вдохновленной учением великого Руссо и проникнутой искренним стремлением к широкой политической свободе. Робеспьер не считал новую конституцию совершенной. Он сам согласился на некоторые уступки имущим элементам и пошел на смягчение в их пользу ряда статей своей Декларации прав, в частности статьи, определявшей право собственности. Это было необходимо, чтобы не оттолкнуть от монтаньяров в столь трудное время те буржуазные слои, которые иначе могли быть увлечены мятежниками-жирондистами. Но Максимилиан рассчитывал в будущем еще вернуться к тексту конституции. Как бы то ни было, и в ее настоящем виде новая конституция была несравнима ни с цензовой конституцией 1791 года, ни с проектом жирондистов, разгневанный автор которого, идеолог поверженной партии, философ Кондорсе находился сейчас в «бегах». Новая конституция была встречена народом с восторгом и получила почти единодушное одобрение; за нее проголосовали даже в тех департаментах, где хозяйничали жирондисты. Но якобинцы не ограничились конституцией. Они смело принялись за тот коренной вопрос революции, от которого отмахивались все предшествующие им партии и политические группировки: вопрос аграрный. Уже 3 июня, на следующий день после падения власти жирондистов, Конвент принял декрет о разделе на мелкие

доли и продаже на льготных условиях эмигрантских земель. Через неделю после этого был принят новый закон, окончательно передававший общинные земли, также поделенные на мелкие доли, крестьянам. Наконец был вполне подготовлен и завтра подлежал принятию декрет о полной и окончательной отмене всех феодальных повинностей. Эти смелые акты должны были сплотить — и действительно сплотили — вокруг Горы самые широкие массы крестьян. Крестьянство становилось мощной опорой новой республики в ее борьбе с армиями иностранцев и внутренним врагом.

Да, это были замечательные деяния революции. Неподкупный мог почувствовать удовлетворение. И нельзя забывать, что все они проходили под грохот сражений, в период трудностей поистине беспримерных. В то время как пять иностранных армий теснили обескровленные французские войска, вандейское восстание расширялось, охватывая весь запад, англичане усиливали блокаду и высаживали десанты, а в шестидесяти департаментах разгорались организованные жирондистами контрреволюционные мятежи. Огненное кольцо сжимало якобинскую республику.

Председатель закончил свою речь. Многие факелы догорели, их заменяли новыми. Высокие силуэты домов, чуть заметные сквозь деревья на фоне черного неба, казались, фантастическими. Раздался отдаленный раскат грома. Прощай, Друг народа, прощай, старый соратник!.. Дело, в котором ты сгорел, продолжим мы, мы доведем его до полной победы...

Неподкупный следил за движением огромной черной ленты народа под знаменами секций. Вот идут они, члены Коммуны, представители клубов, трибунала, революционных комитетов, рядовые санкюлоты. Их поток не исчерпает себя до утра. Они, видимо, очень любили покойного. А вот Максимилиан его не любил. Слишком разные люди, слишком разные темпераменты. Они различно смотрели на многое и никогда до конца не могли понять один другого. Но они были соратниками, они боролись плечом к плечу за общее дело, и много ли еще оставалось революционеров такой закалки, как Друг народа? О, жирондисты знали, в чье сердце вонзали нож рукою Шарлотты Корде. Они устранили Марата в тот час, когда его бурная энергия была особенно нужна. Когда-то они окрестили трех боровшихся против них вождей Горы триумвирами. Марат, Дантон, Робеспьер — вот три имени, вызывавшие ужас и ненависть большинства на первых заседаниях Конвента. Триумвират, облеченный доверием и надеждами народа, бесстрашно делал свое дело. Три вождя, если иногда и расходились в частностях, то в основном, осуществляя чаяния масс, неизменно сохраняли единодушие. Они защищали Парижскую коммуны от нападков «государственных людей», они победили в процессе короля, они

добились проведения нужной линии в продовольственном вопросе, они были едины в дни падения Жиронды.

И вот теперь триумvirата больше не было. Марат ушел навсегда. А Дантон...

Неподкупный искоса оглядывает огромную фигуру Дантона. Какая у него страшная внешность! Какое ужасное лицо, изрытое оспой, с перебитым носом! При свете факелов глазные впадины кажутся черными ямами — маленьких запавших глазок не видно вовсе. Зато преувеличенно большими представляются челюсти, страшные челюсти бульдога.

Казалось, эти челюсти должны брать мертвой хваткой. Но нет! Циклоп не был так страшен, как можно было подумать. Робеспьер хорошо знал, что он бывает очень добродушным. Добродушным? Нет, это не то слово. Правильнее сказать слабым, нерешительным, склонным к компромиссу. Он любил жизнь, но жизнь только для себя. Максимилиан не может без отвращения вспоминать то, что он слышал недавно о Дантоне. Однажды, обедая в кругу друзей и будучи под хмельком, Циклоп разоткровенничался. Он заявил, что наступил его черед пользоваться жизнью. Роскошные отели, тонкие блюда, расшитые золотом шелковые ткани, шикарные женщины, о которых мечтает мужчина, — вот что должно наградить его за преданность революции! Революция ведь, в сущности, не что иное, как борьба за власть, а всякая выигранная битва должна закончиться дележом между победителями добычи, взятой у побежденных!.. Робеспьер не верил слышанному. Он не желал верить такому цинизму. Не верилось и разговорам о продажности Дантона, о его склонности к казнокрадству. Хотя факт остается фактом: Дантон не смог дать отчета в денежных средствах, находившихся в его ведении в то время, когда он был министром юстиции. Состояние Дантона за годы революции выросло во много раз, в то время как Марат умер нищим. А постоянное якшание Дантона с различными политическими двурушниками? А его деятельность совместно с Барером в первом Комитете общественного спасения, который Марат называл «Комитетом общественной погибели»? Всем известно, что этот Комитет не обнаружил ни воли, ни способности преодолеть страшные опасности, угрожавшие стране, дал бежать многим вождям Жиронды из Парижа и проморгал возникновение цепи жирондистских мятежей в департаментах. Как объяснить все это? Дантон в свое время сделал много для республики. Но не хочет ли он теперь сказать роковое слово «остановись!», то самое слово, которое произнесли некогда Барнав и Бриссо?

Одно обстоятельство чисто личного свойства сильно смущало спартанскую душу Робеспьера. В феврале текущего года умерла горячо

любимая жена Дантона. Максимилиан знал и глубоко уважал покойную госпожу Дантон. Это была тихая, ласковая и любящая женщина, преданная семье и дому. Ее смерть страшным ударом поразила трибуна. Дантон казался безутешным. Так как жена умерла и была похоронена в его отсутствие, он по приезде раскопал ее могилу, чтобы проститься с ней и увидеть ее в последний раз. Максимилиан был тогда до слез взволнован горем своего коллеги. Он написал ему трогательное, дружеское письмо, которое до сих пор помнил почти наизусть. И вдруг по прошествии нескольких месяцев Дантон вступает в новый брак с шестнадцатилетней девушкой. Сам по себе этот факт казался Робеспьеру непостижимым. Но страшное было не в этом. Родители девушки, католики и реакционеры, поставили условием церковный брак и предварительную исповедь Дантона у... неприсягнувшего священника! И влюбленный Дантон согласился. Он, громивший контрреволюционное духовенство с трибуны Конвента, тайно исповедовался контрреволюционному священнику, находившемуся вне закона. Слово «добродетель» вызывает у Дантона смех. Но как может стать защитником свободы человек, которому чужда всякая мысль о морали?

Нет, после всего этого Неподкупный не в силах по-прежнему относиться к Дантону. Пусть кое-что и преувеличено, но... Но его революционная совесть, его щепетильность, его гражданское целомудрие не позволяли причислять к своим соратникам и друзьям подобного человека. Робеспьера считают склонным к подозрительности... Да, он подозрителен по отношению к тем, кто скомпрометировал себя на службе революции, он подозрителен по отношению к тем, кто думает о себе больше, чем о благе родины... Посмотрим... Время покажет. Его суд, как говаривала некогда мадам Ролан, не скор, но справедлив. А пока что якобинцы настояли на переизбрании неустойчивого Комитета общественного спасения. Незадолго до смерти Марата, 10 июля, Дантон был исключен из Комитетами туда вошли близкие политические друзья Робеспьера — Кутон и Сен-Жюст.

Вот они, рядом. Оба молодые, оба беззаветно преданные делу революции и свободы. Это люди иного склада, чем Дантон. Они мало дорожат личным благополучием. Их не купить щедрым подарком или хорошим обедом. Кутон, старый друг, настоящий рыцарь революции. Как пронизателен его взгляд, как утонченно выражение лица!.. Он истинный гуманист, он любит народ глубокой любовью. Он может быть мягким и великодушным, но когда это необходимо, он становится беспощадным. Его сильный дух не сломило личное несчастье. Кутон тяжело болен. Болезнь парализовала ему ноги, он передвигался в кресле на колесах. Но это не

делает его слабым. Больное тело паралитика содержит неукротимый дух борца. Кутон всегда на своем посту и останется на нем до последнего дня своей жизни.

А Сен-Жюст? О, на него Максимилиан не может смотреть без легкого трепета. Сен-Жюст — это необычайное, неповторимое явление природы. Вот он стоит в первом ряду членов Конвента. Ему двадцать семь лет. Он строен, изящен, его прекрасные длинные волосы спадают на плечи. В правом ухе серьга. Тонкий батистовый галстук доходит до подбородка. Костюм превосходно сшит. Лицо греческого бога: красивое, холодное, строгое. Что это? Представитель золотой молодежи? Дамский угодник? Или, быть может, мраморное изваяние? Нет, это страстный революционер, даровитый, упрямый, непреклонный. Сын кавалера ордена святого Людовика, Антуан Сен-Жюст с ранней юности беззаветно отдался делу революции. Рассказывают, что однажды, положив руку на горящие уголья, в которые был брошен контрреволюционный памфлет, он дал страшную клятву, в то время как пламя пожирало его тело... Его идеалом стал Робеспьер. У Максимилиана хранилось письмо, датированное 19 августа 1790 года, в котором безвестный тогда Сен-Жюст, писавший из далекой провинции, называл его богом, творящим чудеса. Двадцати трех лет он был избран в Конвент. «В жизни силен только тот, кто не боится смерти», — говорил Сен-Жюст. «Дерзать — в этом вся революционная политика». И он не боялся смерти. Он дерзал. Его смелость была холодная, обдуманная и наносившая удары без предупреждений. «Его доклады рубят, как топор», — свидетельствовали те, кто слышал молодого трибуна. Сен-Жюст, так же как и Робеспьер, отдался общественному делу целиком, без остатка. Как и Робеспьер, он не знал личной жизни. Когда-то на заре юности он любил девушку, родители которой, несмотря на взаимность чувства, выдали ее за другого. С тех пор все женщины умерли для Сен-Жюста. В его жизни не осталось места для интимных чувств и семейного очага. Он боготворил Робеспьера, но и сам имел на него огромное влияние.

Таковы они, те борцы-революционеры, которых покидал Марат. Таковы те люди, с которыми Неподкупному суждено пройти свой путь до конца.

Максимилиан очнулся от мыслей. Предрассветная сырость неприятно щекотала «спину. Все кончено... Могильный вход завален. Лента прощающихся продолжает двигаться. Жизнь идет своим чередом. Новый день ставит новые задачи.

Убийство Марата было лишь частью плана, задуманного

«государственными людьми». В тот день, когда в Париже хоронили Друга народа, в мятежном Лионе по приказу жирондистов и их союзников был казнен вождь лионских якобинцев, глубоко преданный делу революции патриот Жозеф Шалье. В мятежных департаментах по прямым призывам Луве, Барбару и других заговорщики точили ножи против Робеспьера и Дантона. Поверженная Жиронда вступала на путь контрреволюционного, белого террора.

Все это требовало ответных мер со стороны правительства. Меры не замедлили последовать. Они выразились прежде всего в предельной концентрации власти в руках якобинцев, в формировании якобинской диктатуры.

26 июля Конвент предоставил Комитету общественного спасения право ареста подозрительных и обвиняемых в государственных преступлениях лиц.

27 июля в состав членов Комитета был введен Робеспьер. В этот же день, уступая требованиям бедноты, Конвент декретировал смертную казнь за скупку и утаивание предметов потребления.

1 августа Робеспьер выступил в Конвенте с энергичным требованием о том, чтобы Комитету общественного спасения была предоставлена вся полнота власти. Мотивируя серьезностью внутреннего и внешнего положения республики, Неподкупный настаивал, чтобы Комитет был превращен во временное правительство, направляющее деятельность министров. Робеспьера поддержал Дантон. Конвент согласился с этим предложением. 1 же августа по докладу Комитета Конвент декретировал привлечение к суду бывшей королевы Марии-Антуанетты, конфискацию имущества эмигрантов и подавление любыми мерами вандейского мятежа.

2 августа Конвент отпустил в ведение Комитета общественного спасения сумму в пятьдесят миллионов ливров. Одновременно Конвент высказался за необходимость сохранения существующего состава Комитета; теперь Комитет становился постоянным и несменяемым органом революционной якобинской диктатуры, а так как самым популярным его членом был Робеспьер, то вскоре, следуя выражению того времени, Комитет превратился в «министерство Робеспьера».

6 августа Конвент декретировал рассылку по департаментам восемнадцати специальных комиссаров, наделенных почти неограниченными полномочиями. Основной задачей посланцев было установление революционного порядка на местах, чистка департаментских властей, смещение и предание суду всех должностных лиц, подозреваемых в измене.

11 августа Якобинский клуб вынес решение, чтобы Конвент сохранил свою власть до окончания войны. Этим, по — существу, временно снималась статья новой конституции, предписывавшая ежегодное переизбрание Законодательного собрания.

12 августа делегаты первичных собраний, прибывшие в Париж на празднование дня 10 августа, обратились в Конвент с предложением, чтобы законодатели, учитывая сложность и остроту переживаемого времени, отсрочили вступление в силу всей конституции.

Наконец 28 августа Комитет общественного спасения декларировал, что простое выполнение конституционных законов, предназначенных для мирного времени, было бы недостаточным среди окружающих республику заговоров.

Этим актом официально признавался фактически уже сложившийся режим революционной якобинской диктатуры. Под натиском широких народных масс, ясно сознавая колоссальные трудности борьбы против превосходящих сил внутренней и внешней контрреволюции, якобинцы во главе со своим вождем шли на решительную и быструю перестройку системы организации государственной власти.

И тут вдруг произошли события, которые многих повергли в смущение. Якобинцы, те самые якобинцы, связь которых с массами казалась неразрывной, патриоты Горы, которые все больше и больше переходят к плебейским методам борьбы с врагами народа, бесстрашные революционеры и новаторы в области демократического законодательства, в эти дни вдруг наносят смертельный удар. Кому же?.. Своим недавним союзникам, идеологам беднейших слоев столичного плебса — «бешеным». И главным инициатором этого удара оказывается... Максимилиан Робеспьер! Факт тем более на первый взгляд непонятный, что те же якобинцы во главе с Робеспьером почти одновременно с разгромом «бешеных» претворяют в жизнь значительную часть их политико-экономической программы. Но если приглядеться внимательней, то окажется, что ничего противоестественного здесь не было: разрыв якобинцев с «бешеными» становился неизбежным по мере углубления революции, причем именно углубление революции ставило в порядок дня многие прокламируемые Жаком Ру и его единомышленниками экономические и социальные мероприятия, и якобинцы не могли уклониться от проведения этих мероприятий в жизнь.

Восстание 31 мая–2 июня оказалось победоносным благодаря единению всех демократических сил против реакционной жирондистской

фракции. В апреле — мае якобинцы пошли на союз с «бешеными» из тактических соображений, как раз учитывая необходимость подобного единения. Но Робеспьер и его соратники смотрели на этот союз как на явление временное. Робеспьеру казались чуждыми многие стороны социальной программы «бешеных»; он опасался «аграрного закона» и других «крайностей», к которым, по его мнению, толкали выступления Жака Ру и Варле. Выражая интересы мелкобуржуазных слоев, монтаньяры считали агитацию «бешеных» опасной и вредной демагогией. После победы над Жирондой нужда в тактическом союзе как будто отпадала сама собой, и монтаньяры не замедлили его порвать. Справедливость требует, впрочем, заметить, что Ру, Варле и другие сами дали повод для перехода робеспьеристов в наступление.

Все началось в дни обсуждения и принятия конституции, еще при жизни Марата.

Вожди «бешеных» глубоко сочувствовали страданиям народа. Они знали, что закон о максимуме от 4 мая фактически не выполнялся. Они видели, что дороговизна, голод, издержки войны по-прежнему тяжелым гнетом ложились на плечи бедноты. И вот, выступая в июне с резкой критикой дантонистского Комитета общественного спасения, «бешеные» с не менее резкими нападками обрушились на новую конституцию.

25 июня Жак Ру прочел у решетки Конвента адрес депутации клуба Кордельеров, составленный от имени последнего самим Ру, Леклером и Варле.

«Здесь на вашу верховную санкцию, — читал Ру, — будет представлен проект конституции. Изгнали ли вы из нее ажиотаж? Нет. Установили ли вы в ней смертную казнь для скупщика? Нет. Определили ли вы, в чем состоит свобода — торговли? Нет. Итак, мы заявляем вам, что вы ничего не сделали для счастья народа...

Напишите в конституции, что ажиотаж, торговля звонкой монетой и скупка приносят вред обществу. Когда народ увидит в конституции ясный и определенный закон против ажиотажа и скупки, он убедится, что вы серьезно хотите бороться с его несчастьями и что среди вас нет банкиров, судовладельцев и монополистов...»

Существо положений адреса, направленного против скупщиков и спекулянтов, совпадало со взглядами якобинцев, в особенности со взглядами их левой группировки. Позднее, в конце июля, Конвент даже декретирует против этих элементов смертную казнь. Но беда Жака Ру и его единомышленников заключалась в том, что правильные, по существу, положения они облекали в форму критики конституции, заявляя, что без

декларирования этих положений конституция не имеет никакой цены и служит только интересам богачей. Такая постановка вопроса была ошибочной. Быстрое принятие новой демократической конституции в условиях борьбы с охвостом жирондистов было делом политического значения даже в том случае, если конституция была не вполне совершенной. Выступая против новой конституции, «бешеные» наносили удар обновленному демократическому Конвенту. Так полагал Робеспьер. В этом пункте с ним вполне соглашались руководители всех группировок якобинского блока — от Дантона до Эбера и Шомета. Поэтому дело «бешеных» было проиграно. Выступая в Якобинском клубе, Робеспьер так сформулировал причины, по которым монтаньяры осуждали Жака Ру:

— Под предлогом того, что конституция не содержит пункта, направленного против барышников, он проповедует, что она не подходит для того народа, для которого она создана... Я утверждаю, что единственными врагами народа являются те, кто выступает с проповедями против Горы Конвента. Если мы станем бриссотинцами, нам придется нести последствия нашего отступничества, но пока этого не случилось, остерегайтесь интриганов под маской патриотизма, стремящихся снова ввергнуть вас в пропасть, из которой вы едва только начинаете выбираться...

И Неподкупный требовал направить все силы на укрепление республики, на создание всех условий для усиления ее обороны, на гарантирование Конвента от каких-либо посягательств на него.

Слово Робеспьера оказалось решающим. Ру и его сторонники были исключены из клуба Кордельеров, а затем и из числа членов совета Парижской коммуны.

Но этим дело не кончилось. Теперь, в дни, когда завершилось формирование органов якобинской диктатуры, в конце августа — начале сентября, «бешеные» вновь выступили. И вновь совершили тактическую ошибку. Если раньше они ополчались против конституции, то сейчас, когда жирондистский террор и ухудшение внешнего положения республики заставляли отсрочить вступление конституции в силу — и прибегнуть к организации революционного правительства, они вдруг потребовали, чтобы конституция была немедленно и целиком введена в действие! Мало того, Жак Ру в вопиющей противоречии со своими прежними речами и взглядами стал проповедовать против революционного террора на том лишь основании, что этот террор шел от органов якобинской диктатуры. Подобная тактика не отвечала интересам революции, она носила узкофракционный характер. Поэтому широкие народные массы, не

сочувствовавшие новым проповедям Ру и некоторых других вождей «бешеных», отвернулись от них. Это изолировало «бешеных» и помогло Робеспьеру и якобинцам довершить их разгром. Против Ру, Варле, Леклера были выдвинуты обвинения, значительная часть которых носила клеветнический характер. Лидеры «бешеных» подверглись аресту. Позднее Жак Ру, находившийся долгое время в тюрьме и знавший, что его ждет, покончил с собой.

Однако разгром «бешеных» не привел к истреблению тех социально-экономических идей, которые они пропагандировали. Эти идеи унаследовала и стала активно проводить в жизнь одна из группировок якобинского блока, участвовавшая в преследовании «бешеных» за их тактические ошибки: то были левые якобинцы и в первую очередь их признанный вождь Пьер Гаспар Шомет.

Шомет! Это имя произносили теперь все чаще и чаще в Париже, причем с особенной надеждой и любовью оно звучало в устах простого люда. Еще бы! Кто лучше знал народные горести и надежды, чем этот коренастый юноша с приветливым лицом и пылким, искренним сердцем? Шомету шел всего лишь тридцать первый год, но какой долгий и трудный путь был у него позади! Он глубоко понимал бедность и нищету, потому что сам познал их. Сын сапожника из Невера, он начал свое житейское поприще в качестве корабельного юнги. Потом занимался ботаникой, был фельдшером, учителем в школе, работал писцом у прокурора. Революцию он встретил как праздник и с самого ее начала отдался общественной деятельности. Став журналистом, он завоевал трибуну в клубе Кордельеров, где его ценили, как одного из популярнейших ораторов.

В период вареннского кризиса он был одним из инициаторов движения за детронацию короля. Он принял активное участие в восстании 10 августа, а затем боролся на стороне Горы против Жиронды. Народ оценил его революционную энергию. В ноябре 1792 года Шомета избрали прокурором Парижской коммуны. Это была важная и ответственная должность. Исполняя ее, Шомет горячо защищал интересы бедноты и рабочих. Вместе с другими левыми якобинцами он напряженно искал меры и средства к ликвидации голода, дороговизны, нужды.

Робеспьер сдержанно относился к Шомету. Он видел в нем прежде всего наследника «бешеных», которые только что были сокрушены общими усилиями монтаньяров. Всегда подозрительно относившийся к людям крайних взглядов, всегда склонный усматривать в их справедливых требованиях демагогию, осторожный вождь якобинцев в конечном итоге не

нашел общего языка с защитником беднейших слоев народа. В этом была трагедия революции. А между тем Шомет и его единомышленники в отличие от «бешеных» вовсе не помышляли о критике или ниспровержении якобинской диктатуры. Во всех важных случаях левые якобинцы поддерживали робеспьеристское большинство Горы, понимая, что только единство сил демократии может спасти республику и завоевания революции. Таким образом, вина за последующий раскол лежит на Робеспьере, а не на Шомете. Но пока что раскола не произошло. При всем своем недоверии к Шомету и левым якобинцам Неподкупный понимал, что в самый острый период борьбы с внешним и внутренним врагом не время давать волю своей подозрительности и вскрывать действительные или кажущиеся партийные разногласия. И скрепя сердце он протянул руку Шомету. Это спасло положение. Разгромив «бешеных», якобинцы в целом сумели услышать справедливые требования народа. Народ, со своей стороны, сплотился вокруг якобинцев и содействовал завершению формирования революционного правительства якобинской диктатуры.

Решающую роль сыграли события 4–5 сентября.

4 сентября в Сент-Антуанском предместье началось волнение рабочих, охватившее затем всю парижскую бедноту. Это движение, подготовленное еще «бешеными», шло под лозунгом усиления революционного террора и установления всеобщего максимума. Шомет сумел придать выступлению народа легальный характер, убедив вооруженных демонстрантов довериться «священной Горе».

5 сентября на заседание Конвента явились представители от сорока восьми секций, а также депутация от Коммуны во главе с Шометом. В своем выступлении Шомет призвал Конвент к более решительной борьбе с богачами и скупщиками, наживающимися на народной нужде. Он указывал, что единственный метод борьбы с богачами — это террор. Он предлагал организовать специальную революционную армию, которая занималась бы выкорчевыванием контрреволюции и экономического саботажа в департаментах. Ораторы секций поддержали Шомета. Всеобщее требование выступавших сводилось к словам: «Поставьте террор в порядок дня. Будем на страже революции, ибо контрреволюция царит в стане наших врагов». Многие голоса требовали быстрого суда над арестованными жирондистами. По предложению Робеспьера делегаты Парижа были приглашены к почетному присутствию на заседании Конвента. Неподкупный в сдержанных выражениях заверил приглашенных, что Конвент примет во внимание их пожелания и удовлетворит законные требования народа.

В развитие решений 5 сентября Конвент провел ряд важных мероприятий, направленных на углубление революции. Прежде всего подвергли новой реорганизации Революционный трибунал, судопроизводство которого было упрощено и ускорено. При каждой секции были учреждены особые революционные комитеты, избираемые самим населением. Эти комитеты, создаваемые также на местах, должны были наблюдать за всеми тайными врагами революции и проводить в жизнь директивы Конвента. Деятельность комитетов облегчалась изданием декрета о «подозрительных», согласно которому подлежали аресту все лица, «своим поведением или своими речами или сочинениями проявившие себя как сторонники тирании». Была создана революционная армия для борьбы с виновными в укрывательстве товаров, со всевозможными спекулянтами и саботажниками, с теми, кто наживал капиталы, используя тяжелое положение страны. Левые якобинцы добились того, что вошли в состав правительства; уже 6 сентября Комитет общественного спасения пополнился близкими к Шомету и Эберу деятелями — Билло-Вареном и Колло д'Эрбуа. Вместе с тем из состава Комитета вышел последний остававшийся в нем дантонист — Тюрио. Комитет вступил в более тесный контакт с клубом Кордельеров и секционными организациями. Так завершалось формирование правительства якобинской диктатуры. Революционное правительство было призвано осуществить волю масс, на которые оно опиралось, в которых черпало всю свою силу. Максимилиан Робеспьер, крепко сжав тонкие губы, стоял у руля.

— Теория революционного правительства, — говорил он в Якобинском клубе, — так же нова, как и сама революция, которая ее выдвинула. Было бы бесполезно искать ее в трудах политических писателей, которые совсем не предвидели нашей революции, или в законах, с помощью которых управляют тираны... Задача конституционного правительства — охранять республику; задача правительства революционного — заложить ее основы...



Жорж Жак Дантон.



Камил Демулен.



Максимилиан Робеспьер — член Конвента (современный набросок).

Революция — это борьба за завоевание свободы, борьба против всех ее врагов, конституция — мирный режим свободы, уже одержавшей победу. Революционное правительство должно проявить чрезвычайную активность именно потому, что оно находится как бы на военном положении. Для него не пригодны строго однообразные правила ввиду, тех бурных, постоянно меняющихся обстоятельств, среди которых оно действует, и особенно потому, что при наличии все новых и грозных опасностей оно вынуждено беспрестанно пускать в ход все новые и новые ресурсы.

Революционное правительство обязано доставлять всем гражданам полную национальную охрану; врагов народа оно должно присуждать только к смерти...

Эта теория, сформулированная с такой четкостью и остротой, была декларирована Робеспьером, однако, лишь в конце декабря 1793 года. Был

ли он столь же решителен и прямолинеен в начале октября? В этом можно усомниться. В те дни, когда меч революционного закона уже был поднят, а террор по настоянию народа стал в порядок дня, Неподкупный колебался. Он покинул бурное заседание Конвента 5 октября, не дожидаясь голосования по вопросам, выдвинутым Шометом и делегатами секций. Согласившись поддержать Шомета и возглавляемую им группу, Робеспьер вместе с тем в вопросе о терроре держался несколько более умеренных взглядов, чем левые якобинцы. Ему удалось уберечь от Революционного трибунала семьдесят пять жирондистов — членов Конвента, подписавших протест по поводу ареста лидеров Жиронды. «Нечего обрушиваться на рядовых членов партии: достаточно уничтожить ее вождей», — так аргументировал Неподкупный этот поступок, не задумываясь над тем, что спасает от гильотины своих самых злейших врагов. По инициативе Робеспьера было проведено постановление о необходимости каждый раз объяснять арестованным врагам народа точные причины их ареста. Такое пожелание в устах Робеспьера-за-конника было вполне объяснимым, но претворить его в жизнь в период жесточайшей борьбы с контрреволюцией, когда удары наносились тысячам явных и тайных мятежников, было практически невозможно. Нельзя было много рассуждать о законах там, где нужно было быстро и беспощадно карать. Это понимали революционные комитеты, обратившиеся с просьбой к Конвенту об отмене последнего постановления. Разъяснения комитетов и, главное, сама жизнь постепенно открывали глаза Неподкупному. Он понял остроту момента и сам выступил с требованием отмены декрета, принятого ранее по его почину.

— Теперь не время ослаблять революционную энергию, — заявил он, мотивируя свой демарш. 24 октября декрет был отменен. В этот же день начался процесс лидеров жирондистской партии, арестованных после 2 июня.

Так история совершала свой путь. Им, всем этим Бриссо, Верньо, Гюаде, которые еще так недавно упивались полнотой своей власти, предстояло сложить голову на эшафоте; а он, некогда третируемый и презираемый ими, входил в зенит своей славы и могущества.

Глава 2

Дело жизни

Да, теперь он был у кормила правления. С ним рядом находились его непоколебимые друзья и единомышленники — Кутон и Сен-Жюст. Его авторитет, выросший с годами, был огромен. Он не занимал никаких высоких должностей, юридически его власть не была большей, чем власть его коллег. Но он имел страшную силу, которая заставляла трепетать. Эта сила проистекала из огромной уверенности в правоте своего дела. Когда-то, в то время, как гордые депутаты Учредительного собрания смеялись над маленьким аррасским адвокатом, нашелся пророк, который правильно его оценил. Мирабо, оратор незаурядного таланта, заглянул в будущее и предсказал Робеспьеру успех; ничему не веривший Мирабо понял превосходство человека, который верил всему, что говорил. Эта сила нравственной убежденности завораживала слушателей Неподкупного, она придавала громадный моральный вес его словам и действиям. В Якобинском клубе его уже давно боготворили и встречали бурными овациями каждое его появление. Теперь его незримая власть распространилась и на Конвент. Но основной цитаделью его, его «министерством» был главный орган революционного правительства — Комитет общественного спасения. В Комитете Робеспьер в отличие от своих коллег не имел определенных функций: ему так же, как и его ближайшим помощникам — Кутону и Сен-Жюсту, было вручено общее руководство, разработка направляющей, генеральной линии.



М. Робеспьер (современная гравюра).

Он был прежде всего идеологом якобинской партии, его уму и перу принадлежали главные документы, которые легли в основу якобинской диктатуры. Он разработал Декларацию прав, ставшую канвой конституции 1793 года, он же вместе с Сен-Жюстом сформулировал теорию революционного правительства. Каждый раз в решающий момент, когда необходимо было теоретически обосновать тот или иной важный шаг правительства, выступал Робеспьер или же по договоренности с ним один из его ближайших соратников.

Но он вовсе не был оторванным от жизни теоретиком, каковым кое-кто пытался его представить. Если у Максимилиана и была некогда известная склонность к абстракции, то это относилось к далекому прошлому. Жизнь

переделала его. Его теория имела самое непосредственное отношение к практике, в этом заключалась ее сила, отсюда проистекали и его нравственная убежденность и любовь к нему со стороны простого народа. Откроем одну из его записных книжек этого периода.

«Четыре существенных для правительства пункта, — писал Робеспьер, — 1) продовольствие и снабжение; 2) война; 3) общественное мнение и заговоры; 4) дипломатия. Нужно каждый день проверять, в каком положении находятся эти четыре вещи». Фактически перед нами директива Комитету общественного спасения. Не это ли сама жизнь? Пункты, перечисленные здесь Неподкупным, не были ли они в действительности самыми важными вопросами времени? И директива осуществлялась. Под руководством своего вождя якобинцы напрягали все силы, разрешая проблемы дня.

Продовольствие и снабжение — это первоочередный пункт в записи Робеспьера. Действительно, продовольственный вопрос был самым трудным, самым мучительным, и без его разрешения революция не могла осуществить ни одной из стоявших перед нею задач.

Робеспьер и возглавляемая им группа якобинцев до мая 1793 года были противниками ограничения торговли и таксации цен. Между тем, только идя этим путем, можно было добиться результатов: сломить спекуляцию и саботаж, организовать снабжение армии, привлечь на свою сторону голодающую бедноту. 11 сентября Конвент установил единые твердые цены на зерно, муку и фураж. Администрация получала право реквизиции зерна и муки. За нарушение декрета налагалась суровая ответственность. Наконец 29 сентября Конвент издал декрет об установлении твердых цен на главные предметы потребления в пределах всей страны (всеобщий максимум). Единые цены устанавливались как на продукты питания, так и на промышленные товары и сырье; таксации, однако, подверглась и заработная плата трудящихся.

В развитие закона о максимуме якобинцами был дополнительно принят целый ряд экономических и организационных мероприятий, направленных на борьбу с голодом. В Париже и других городах были введены продовольственные карточки на хлеб, мясо, масло, мыло, соль. Булочникам было предписано выпекать единый для всех «хлеб равенства». Для упорядочения и централизации снабжения по всей стране, для контроля за проведением всеобщего максимума была создана Центральная продовольственная комиссия, наделенная весьма широкими полномочиями и пользовавшаяся поддержкой революционной армии.

Так, революционная действительность опрокинула теоретическую

доктрину о свободе торговли и промышленности. Сила Робеспьера и его единомышленников заключалась в том, что они поняли железную необходимость временного отказа от своего социально-экономического кредо и под давлением масс пошли на некоторые ограничения частной собственности во благо народа и республики. И, раз приняв решение, они не побоялись проводить его в жизнь вопреки ожесточенному сопротивлению буржуазных слоев города и деревни, проводить плебейскими методами, со всей строгостью революционных законов.

Война — второй пункт записи Робеспьера. Второй по порядку, но не по важности, ибо война была делом не менее значимым, чем продовольственный вопрос. Вряд ли кто понимал это лучше, чем Неподкупный: ведь исход той борьбы, которую он возглавлял, решался в конечном итоге на полях сражений с европейской коалицией. Между тем до прихода якобинцев к власти вопрос об армии и войне не получил своего разрешения. Жирондисты много кричали о войне и были ее инициаторами, но задача обороны республики оказалась им не по плечу. Только победа якобинского блока изменила положение вещей. И опять-таки решительный перелом оказался возможным потому, что якобинцы сумели чутко прислушаться к требованиям народных масс и поддержать их инициативу.

Так, снизу, по инициативе первичных собраний возникла идея всеобщей мобилизации французского народа для защиты отечества. Эта идея была поддержана и проведена в жизнь Комитетом общественного спасения. 23 августа по предложению Комитета Конвент принял декрет о всенародном ополчении и всеобщей мобилизации масс на борьбу с врагом. Народ с энтузиазмом приветствовал решение правительства. В короткий срок был проведен первый набор, давший республике четыреста двадцать тысяч бойцов. Оставшиеся дома работали в оружейных мастерских и на военных заводах, добывали селитру, заботились о снаряжении бойцов. Женщины, дети не отставали от мужчин, вкладывая свою посильную лепту в общее дело. К разрешению задач обороны были привлечены ученые: химики, физики, математики; всем находилось дело, каждый получал свой участок работы, на котором он помогал выковыванию победы.

И вот к началу 1794 года армия насчитывала, включая резервы, один миллион двести тысяч человек. По тем временам это была колоссальная цифра. Новая армия была по-новому и организована; она обладала революционным воинским духом, дисциплиной, несгибаемой волей к победе. Правда, солдатам не всегда хватало обуви и обмундирования, правда, они не всегда были сыты, но правительство и его агенты —

комиссары Конвента на местах — зорко следили за тем, чтобы сделать все возможное для облегчения материального положения армии, не останавливаясь перед самыми жесткими мерами по отношению к собственникам. Вот, например, один из характерных приказов Сен-Жюста в бытность его комиссаром Эльзаса:

«Десять тысяч солдат ходят босиком; разуйте всех аристократов Страсбурга, и завтра, в десять часов утра десять тысяч пар сапог должны быть отправлены в главную квартиру». Сен-Жюст железной рукой проводил реквизиции у богачей, когда этого требовали нужды фронта. С такой же решительностью действовали член Комитета общественной безопасности Леба, брат Робеспьера Огюстен и другие.

Новая армия имела новых генералов и офицеров. Многие из них вышли из простого народа. Так, прославившийся в Вандее революционный генерал Россиньоль был рабочим-серебряником, талантливый Клебер происходил из семьи каменщика, родители Ланна, ставшего позднее маршалом Франции, были крестьяне. Якобинское правительство смело разрешило проблему создания командных кадров: оно открыло к высшим воинским должностям доступ всякому, кто мог практически доказать преданность революции и умение побеждать.

Максимилиан Робеспьер был душой этих преобразований.

Теперь, наконец, республика начала одерживать решающие победы на фронтах. После победоносных сражений при Гондсхооте и Ваттиньи (сентябрь октябрь) французские войска взяли инициативу в свои руки. К зиме 1793/94 года восточная граница была восстановлена. В декабре был освобожден от англичан Тулон. Территория Франции полностью очистилась от врага. Впереди была дорога славы.

Третьей из наиболее существенных для правительства проблем Робеспьер считал общественное мнение и заговоры. Действительно, до тех пор, пока внутренняя контрреволюция охватывала страну, до тех пор, пока белый террор тормозил все мероприятия якобинской диктатуры и угрожал самому ее сердцу, никакие внешние победы не могли спасти республику. И здесь решающее слово сказал народ.

Робеспьер колебался недолго. Он поддержал народную инициативу и стал одним из организаторов системы террора. В дальнейшем история свяжет эту систему как раз с его именем.

Общественное мнение создавалось жизнью. Огромную роль в его формировании играл Якобинский клуб. Народ поддерживал якобинцев и служил им опорой, собственники их ненавидели, но вынуждены были

действовать тайно. Вот эту тайну и нужно было вскрыть, с тем чтобы обезвредить внутреннего врага. Проверкой общественного мнения занимались революционные комитеты и секции. Главную роль в выкорчевывании внутренней контрреволюции играл Комитет общественной безопасности, руководивший полицией и тайной наблюдательной агентурой; деятельность этого Комитета протекала в тесном сотрудничестве и контакте с Комитетом общественного спасения. Судебные функции по делам политического характера были возложены на Революционный трибунал.

Осенью 1793 года Меч революционного закона стал опускаться с большой быстротой и силой. Он разрубал гордиев узел контрреволюции, он безжалостно падал на головы врагов народа. После убийцы Марата Шарлотты Корде на эшафот вступила другая женщина — вдова Людовика XVI, бывшая королева Мария-Антуанетта. За ней наступил черед вождей Жиронды, обвинительным актом против которых была тяжелая действительность, переживаемая Францией.

На суде жирондисты держались плохо. Они стремились всю вину в приписываемых им преступлениях свалить либо на отсутствовавших, либо друг на друга. Некоторые из них пытались подкупить зрителей, находившихся в зале суда, бросая им деньги. Но народ топтал ассигнации. Все подсудимые в количестве двадцати одного человека, в том числе Бриссо, Верньо, Жансоне, были приговорены к смертной казни. Казнь состоялась 31 октября. Смерть осужденные встретили мужественно. Что сказать о их друзьях, переживших день 31 октября? Почти всех их ждала та же участь. В начале ноября гильотина снесла голову бывшему герцогу Орлеанскому, близкому к жирондистам и тесно связанному с Дюмурье. Через два дня после него наступил черед Манон Ролан. Ее муж, скрывавшийся в мятежной Нормандии, не смог пережить известия о ее казни и покончил с собой. В декабре погибли его коллеги: бывшие жирондистские министры Лебрен и Клавьер; первый из них был гильотинирован, второй — покончил самоубийством в тюрьме. Весной следующего, 1794 года принял яд философ Кондорсе, долго скрывавшийся, но в конце концов задержанный. Что касается жирондистов, бежавших в департаменты, то из них уцелели, пережив якобинскую диктатуру, лишь оскорбитель Робеспьера Луве да многоликий Инар. Гюаде и Барбару были гильотинированы в Бордо летом 1794 года; соратники Робеспьера по Учредительному собранию Петион и Бюзо неудачно пытались скрыться после разгрома контрреволюции на юге; они погибли на пути бегства, и их трупы были обглоданы собаками. Все это произошло всего за месяц до

падения Робеспьера.

В дни, когда падали головы герцога Орлеанского и госпожи Ролан, Революционный трибунал вспомнил об одном видном деятеле, теперь пытавшемся уйти в тень забвения, о герое побоища на Марсовом поле, о многомудром Жане Байи. Можно ли было забыть о нем, если кровь невинных жертв требовала отмщения? Престарелый Байи был привлечен трибуналом 10 ноября; через два дня его обезглавили во рву, близ места, где некогда по его приказу были расстреляны сотни патриотов. Две недели спустя дошла очередь и до предателя Барнава. Его попытки отпереться от тайных махинаций с двором были бессмысленны. Он разделил участь Байи, с которым некогда делил лавры.

Так действовала Немезида революции. Ее рука карала без промаха. Те, кто изменил делу 14 июля, кто интриговал, старался повернуть вспять или ослабить победный марш свободы, теперь несли на эшафот свои головы. На белый террор освобожденный народ отвечал революционным красным террором. И первые спасительные результаты не заставили себя ждать. Уже 25 августа республиканские войска вошли в Марсель. В начале октября был взят Лион. В октябре же подчинился власти Конвента и Бордо. Благоприятные вести шли из Вандеи. Жирондистский мятеж в провинции подходил к концу. Огненное кольцо контрреволюции было прорвано, напротив, теперь революция кольцом сжимала своих внутренних врагов. К зиме власть Конвента была восстановлена в большинстве департаментов. Контрреволюция, шипя и изрыгая яд, уползала в подполье.

Дипломатия — это четвертый и последний пункт записи Робеспьера. Продуманная внешняя политика должна была увенчать военные успехи якобинцев и их победу над внутренней контрреволюцией. Внешнеполитические проблемы особенно волновали Неподкупного в конце осени и начале зимы 1793 года, то есть в дни решающего перелома на фронтах. В своих докладах этого периода Максимилиан с предельной ясностью сформулировал те принципы, которые следовало положить в основу взаимоотношений Франции с соседними государствами.

В основе этих принципов лежат терпимость государств в отношениях друг с другом, невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение государственной независимости и суверенитета. Франция, говорил Робеспьер, не намерена навязывать другим народам революцию силой оружия. Но она не потерпит ни малейшего нарушения суверенных прав ее народа самостоятельно решать свою судьбу. Призывая французов к разгрому интервентов, к изгнанию их войск за пределы страны, Робеспьер

подчеркивал, что эта национальная задача французского народа отвечает интересам всего человечества.

«Погибни свобода во Франции, — говорил он, — и природа покроется погребальным покрывалом, а человеческий разум отойдет назад ко временам невежества и варварства. Деспотизм, подобно безбрежному морю, зальет земной шар... Мы боремся за людей живущих и за тех, которые будут жить...»

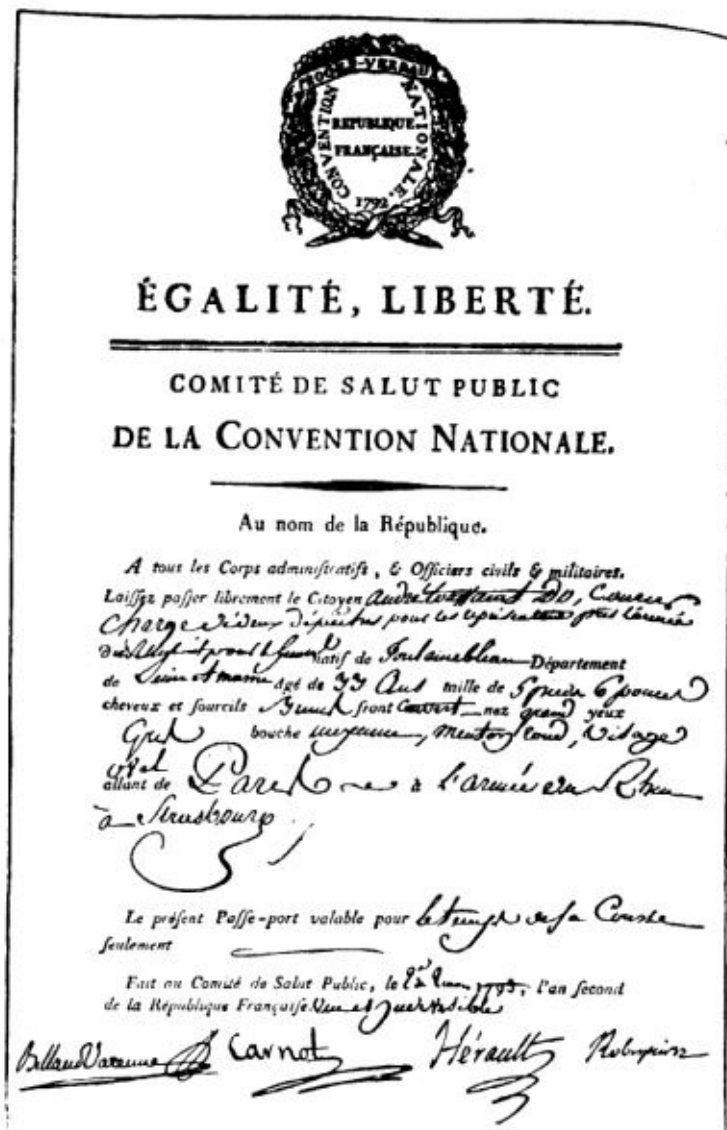
Эти слова, перекликающиеся с Декларацией прав, составленной Неподкупным, показывают, с какой замечательной прозорливостью он разглядел всемирно-историческое значение Великой Французской революции. И однако, подчеркивая ее роль для других стран не только в настоящем, но и в будущем, Робеспьер с враждебностью относился к программе эбертиста Клоотса, проповедовавшего революционную войну за создание всемирного союза республик. Вождь якобинцев считал подобную программу вредной и бессмысленной утопией. Считая, что революция не приносится извне, не экспортируется соседним народам, у которых еще не созрели достаточные для нее условия, Робеспьер полагал вместе с тем, что подобная революционная война, непрерывно увеличивая число врагов республики, может затянуться до бесконечности. Однако, возражая Клоотсу, Неподкупный не хотел согласиться и с друзьями Дантона, склонявшимися к заключению компромиссного мира с врагом. Когда в декабре 1793 года Пруссия и Австрия через посредство нейтральных стран стали прощупывать почву для начала мирных переговоров, якобинское правительство им не ответило. Время для выгодного республике мира еще не настало; компромиссный же мир мог привести лишь к капитуляции.

Таковы были основы дипломатии Робеспьера и его единомышленников в сложных, условиях войны с интервентами. Они стремились установить дружественные отношения с теми, кто на миролюбие отвечал миролюбием, но исключали всякую возможность переговоров с врагами, посягавшими на целостность Франции и на ее революционную независимость.

Но жизнь республики не ограничивалась всем этим. Под грохот сражений и стук гильотины шел непрерывный процесс созидания. Старое ломалось, новое занимало его место. Никогда и нигде еще в мире до этой революции не было пересмотрено и создано так много, как за несколько месяцев якобинской диктатуры. И в этом потоке творчества свободная инициатива народа сыграла также ведущую роль. Комитет общественного спасения во главе с Робеспьером и Сен-Жюстом чутко прислушивался к

нуждам страны и с якобинской смелостью реагировал на них. Многочисленные декреты и постановления, лично составленные или отредактированные Робеспьером, касались почти всех сторон общественной и культурной жизни революционной Франции.

Огромное внимание якобинцы уделяли проблеме народного образования. 13 июля 1793 года Робеспьер выступил с планом, предопределявшим широкое общее образование в сочетании с производственным трудом, с физическим и моральным развитием, необходимым для всех подрастающих граждан республики. Неподкупный предложил, чтобы дети с пяти до одиннадцати-двенадцати лет воспитывались совместно, без всяких различий и исключений, в особых интернатах за счет государства. Такое воспитание, по мнению докладчика, содействовало бы укреплению в сознании граждан идеи равенства. Конвент с энтузиазмом аплодировал этому предложению. И хотя после многодневных дебатов оно было отклонено — в буржуазном обществе реализация подобного плана была невозможна, — тем не менее в конце того же года законодатели декретировали обязательное и бесплатное трехлетнее начальное образование по единой программе, что было также большой победой.



Мандат, выданный Комитетом общественного спасения (внизу подписи Билло-Варена, Карно, Эро де Сешеля и Робеспьера).

Значительной перестройке подверглось высшее и специальное среднее образование. Старые университеты, находившиеся в материальной и идейной зависимости от католической церкви, были упразднены. Ликвидации подлежали и королевские академии — научные учреждения, проникнутые корпоративным духом и неспособные пойти за революцией. Вместо этого было запроектировано создание в Париже Центрального лицея для высшего народного образования с чисто практическими наглядными методами обучения на конкретных объектах хранилищ и музеев. Конвент декретировал организацию высшей Политехнической школы, которая должна была выпускать инженеров и специалистов по

точным наукам, а также Нормальной школы, готовившей новые преподавательские кадры. Наконец утверждались специальные школы и курсы: учительские (для начальной школы), военные, навигационные, медицинские и т. д. Заботясь о политическом просвещении, о борьбе с религиозными предрассудками, о распространении научных знаний, Конвент содействовал новой организации библиотек, архивов и музеев, делавшей сокровища науки и искусства доступными народу.

Целая плеяда ученых оказалась связанной с трудами революции. Математики Монж и Лагранж, астроном и физик Лаплас, химики Лавуазье, Бертолле, Леблан, биологи Ламарк и Сент-Илер, а также десятки других ведущих деятелей науки были и исследователями, и педагогами, и практиками-организаторами научных учреждений и предприятий оборонной промышленности. Комитет общественного спасения и Конвент сохраняли тесный контакт с учеными, поддерживая всякое открытие и изобретение, будь то новый метод дубления кож или воздухоплавание на аэростате, способ извлечения бронзы из колоколов для переливания их на пушки или оптический телеграф.

Одним из бессмертных деяний якобинской республики было введение метрической системы мер. Вопрос о новой системе мер и веса был поднят еще в Учредительном собрании, но только революционное правительство провело это важнейшее мероприятие в жизнь. Декрет о метрической системе прошел 1 августа — в том самом замечательном заседании Конвента, которое постановило предать суду Марию-Антуанетту, конфисковать имущество эмигрантов и мобилизовать все силы на покорение Вандеи. И недаром позднее на эталоне метра был выгравирован гордый девиз: «На все времена всем народам». Новая система осталась жить в веках и сделалась достоянием всего человечества.

Значительное воздействие оказало революционное правительство на развитие театра, литературы, музыки, живописи. Из литературы и искусства безжалостно изгонялись легкомысленные, фривольные моменты; их заменили суровая тематика гражданской доблести, политический водевиль, патриотический гимн. Борясь со всем старым и реакционным в области культуры, уничтожая отжившие свой век учреждения, вроде королевской Академии живописи и скульптуры, якобинцы с большой чуткостью и вниманием относились к подлинным памятникам искусства, беря их под свою охрану и защиту. На этой стезе особенно много сделал монтаньяр и человек, близкий Робеспьеру, — Жак Луи Давид, замечательный художник и выдающийся организатор. Давид и другие деятели искусства, сотрудничая с Конвентом, принимали активное участие

в устройстве регулярных художественных выставок, конкурсов на лучшие произведения живописи, скульптуры и архитектуры, оформление революционных праздников и т.д.

Огромную работу провели якобинцы в области построения революционного права. Они пустили в обиход совершенно новые юридические категории, некоторые из которых — наименее радикальные — прочно вошли затем в фонд буржуазного права позднейшего времени. Достаточно вспомнить Декларацию прав, написанную Робеспьером, или его же высказывания в докладах по международному положению, чтобы уловить ряд подобных категорий. Конституция 1793 года, несмотря на то, что она не была действующим законом, остается в истории революции документом большого значения: она провозгласила идею народного суверенитета, она отражала наиболее смелые демократические настроения мелкобуржуазных кругов, их готовность идти на предоставление политических прав плебейским массам. Уделяя главное внимание конституции и проблемам, связанным с теорией революционного правительства, якобинцы не забывали и гражданское право. Конвент обсудил и ввел в действие ряд статей нового гражданского кодекса, устанавливавшего свободу развода, равноправие супругов, свободу брачных договоров, отмену родительской власти и т. д. В целом и законченном виде ввести кодекс в жизнь якобинское правительство не успело. Позднейшее буржуазное гражданское законодательство использовало право якобинцев, выхлостив, однако, всю его революционную сущность.

Наконец якобинцы активно стремились изменить быт и нравы родной страны в соответствии со своими республиканско-демократическими идеалами. Считая переживаемое ими время началом новой эры, открывающей путь к счастливому будущему, они рисовали себе это будущее в покровах строгой античной простоты. Увлечение героическими образами и гражданской добродетелью античности наложило свой отпечаток на внешние формы жизни республики. Конвент официально декретировал замену обращения на «вы» обращением на «ты». Многие деятели меняли свои имена на имена любимых героев древности. Так, Шомет называл себя Анаксагором, Клоотс — Анахарсисом, Бабеф — Гракхом. В целях увековечения новой эры был введен революционный календарь. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом, пять дополнительных дней назывались санкюлотидами. День провозглашения республики, 23 сентября, считался первым днем первого месяца — вандемьера, за ним, с 22 октября шел брюмер, затем последовательно:

фример, нивоз, плювиоз, вантоз, жерминаль, флореаль, прериаль, мессидор, термидор, фрюктидор. Каждый месяц делился на три декады, дни которых обозначались названиями растений, овощей и животных.

Новый революционный календарь приобрел обязательную силу. Однако он далеко не везде был встречен с одинаковым энтузиазмом. Крестьянство, религиозное и неграмотное в своей массе, держалось за традиционные названия дней и месяцев, не желая отказываться от христианских праздников.

Робеспьер, очень чутко прислушивавшийся к настроениям масс, сомневался в целесообразности революционного календаря и даже отметил в своей записной книжке, что следует затормозить его введение в жизнь. Это мнение Неподкупного теснейшим образом было связано с его отношением к так называемой «дехристианизации», распространявшейся по стране осенью 1793 года.

«Дехристианизаторское» движение, возникшее в ходе борьбы против контрреволюционного духовенства, ставило своей целью полное уничтожение религии и церкви. Его возглавили левые якобинцы и эбертисты (Шомет, Клоотс, Эбер, Фуше и др.). В городах и сельских местностях «дехристианизаторы» стали закрывать церкви, превращая их в места празднований «культы Разума»; многие священнослужители, в том числе и высшие, как парижский епископ Гобель, торжественно отреклись от сана.

Хотя «дехристианизация» не была официально санкционирована правительством, Робеспьер и его соратники вначале не препятствовали ее проведению, желая узнать, как она будет воспринята в народе. Вскоре стало ясно, что движение это было несвоевременным: оно вызвало резкое недовольство среди городского и в особенности сельского населения. Секретные агенты Комитета общественной безопасности доносили, что «огонь тлеет под пеплом», и можно было опасаться серьезных эксцессов. На религиозных настроениях народа готовы были сыграть и интервенты и роялисты. Учитывая все это, Робеспьер в конце ноября резко выступил против «дехристианизации», осудив ее прежде всего с государственной и политической точки зрения. Тогда Шомет, бывший одним из инициаторов движения, первым отказался от него; за прокурором Коммуны последовали Эбер и другие. 5–8 декабря Конвент по докладу Робеспьера принял декрет о свободе культов.

Так, в религиозном вопросе революционное правительство якобинской диктатуры действовало с трезвым учетом специфики реального положения, верно оценивая настроения народа и идя им навстречу.

Теперь влияние общественного мнения увеличивалось соответственно небывалому до той поры размаху общественной жизни; последняя же, особенно в столице, была ключом. Санкюлоты принимали деятельное участие в работе клубов, секций, революционных комитетов, заполняли галереи для публики на заседаниях Конвента, толпились в здании Революционного трибунала. Женщины стремились не отставать от мужчин. Политические страсти зачастую так разгорались, что посетители галерей заставляли законодателей прерывать заседание. Человек, не аплодирующий выступлению Робеспьера, немедленно слышал угрозы и обидные клички, которые ему щедро выдавала толпа почитателей. На улицах, в кафе, у газетных киосков — повсюду с жаром обсуждали события дня: известия с фронта, очередной декрет Конвента, приговор Революционного трибунала, выдающуюся речь в Якобинском клубе. На газеты набрасывались с жадностью. Толпились у пестрых афиш и многоцветных плакатов, расклеенных на стенах центральных кварталов столицы. У дверей многих домов в определенные часы можно было видеть большие столы, за которыми обедали или ужинали все граждане данного квартала. Это было новое явление: братская трапеза. Мужчины, женщины, дети, люди разного положения и достатка собирались за этими трапезами, каждый внеся предварительно свою продуктовую лепту. За едой вели оживленные политические споры, пели патриотические песни, дети читали наизусть отдельные статьи конституции...

Да, сделано было много, и все переменялось радикально. Революция переворошила жизнь сверху донизу. Большими были дела, еще большими — планы.

А между тем уже назревали роковые события, которые должны были расколоть якобинское правительство и поломать то кажущееся единство, которое сложилось к осени 1793 года и которое не имело под собой достаточно твердой основы.

Неподкупный не мог этого не чувствовать.

Но пока что он не хотел думать о неизбежном. Так было отрадно верить в добродетель и счастье народа! Неподкупный сроднился с этой мыслью. Сам он жил по-прежнему бедно. Та же крохотная каморка в доме Дюпле служила ему убежищем и рабочим кабинетом. Та же оловянная лампа была единственной свидетельницей его ночных бдений. С теми же людьми он встречался в «салоне» госпожи Дюпле. Нет, впрочем, не совсем с теми. Кое-кто не появлялся здесь больше. Исчез Дантон. Лишь очень изредка заходил Камилл Демулен. Он теперь был постоянно с Дантоном,

который таскал его по трактирам Пале-Рояля. Максимилиан не мог забыть Камиллу одной дурацкой выходки. Как-то, когда его не было дома, Камилл пришел с книгой под мышкой. Уходя, он таинственно передал ее младшей дочери Дюпле, попросив спрятать и сохранить. Елизавета с любопытством раскрыла книгу: это оказались сочинения Аретино с гравюрами самого непристойного содержания. Бедная девочка сильно растерялась и смутилась, что не укрылось от взгляда вернувшегося Максимилиана. Когда он узнал о случившемся, его охватило крайнее возмущение.

— Забудь об этом, — сказал он взволнованно Елизавете. — Целомудрие грязнится не тем, что случается неволью увидеть, а имеющимися в сердце дурными мыслями.

Демулену он сделал самый строгий выговор. Впрочем, что были выговоры этому шалопаю! Дрянной мальчишка, которого надо высесть. Хотя по летам не такой уж и мальчишка: Камилл был всего лишь на два года моложе Робеспьера, и сейчас ему исполнилось тридцать три. Да что и говорить, пылкий и неустойчивый Камилл портился, он был уже совсем не тем Камиллом, который ораторствовал когда-то перед народом накануне взятия Бастилии. Все знают, как он опозорился недавно в Конвенте, защищая одного изобличенного предателя, и уже слышалось слово «подозрительный», произносимое шепотом по его адресу. Робеспьеру было известно, что Камилл публично плакал, плакал горячими слезами, когда осудили лидеров Жиронды, и кричал о том, что раскаивается в написании памфлета «Разоблаченный Бриссо». Все это было горько и больно. Максимилиан любил своего старого приятеля по коллежу. Неужели дело идет к разрыву? Нет, он еще поборется за Камилла, он не отдаст его так просто врагам..

Если ушли Дантон и Демулен, то вместо них в доме Дюпле появились новые люди. Морис Дюпле был избран членом Революционного трибунала, и теперь сюда частенько заходил председатель трибунала Эрман, земляк Робеспьера, «человек честный и просвещенный», как характеризовал его Неподкупный. С ним вместе появлялись и заместители: искренний и убежденный патриот Дюма и бесстрашный Коффиналь с пылкой душой и внешностью Геркулеса. Нечего и говорить, сколь частыми гостями были Сен-Жюст, Кутон и Леба; последнему из них вскоре предстояло стать мужем Елизаветы Дюпле. Не забывал Максимилиана и его преданный почитатель, художник Давид. С начала 1793 года в салоне госпожи Дюпле можно было встретить Филиппа Буонарроти, потомка Микеланджело, будущего участника и историографа «Заговора равных». Он был музыкантом, хорошо пел и играл на фортепьяно. Под его аккомпанемент

певал и Леба, страстно любивший итальянскую музыку. Что касается Максимилиана, то он в дуэте с Лебой доставлял удовольствие участникам этих импровизированных музыкально-литературных вечеров чтением лучших трагедий Расина. Читал Неподкупный с большим воодушевлением и выразительностью.

Одно время к Дюпле зачастила странная личность: то был бесцветный невзрачный человек со стеклянными глазами, Жозеф Фуше. Он вел себя скромно и помалкивал. Как и Эрман, земляк Робеспьера, этот человек, рядившийся сейчас в одежды крайнего монтаньяра, помышлял о большой политической карьере. Он начал ухаживать за Шарлоттой Робеспьер. Своим любезным обращением он пленил слегка перезревшую девушку. Заговорили о женитьбе. Максимилиан не противился этому браку, тем более что сестра достаточно отравила его домашнюю жизнь. Но свадьбу пришлось отложить: Фуше вместе с Колло д'Эрбуа послали на усмирение мятежного Лиона. А затем произошли события, которые совсем расстроили этот брак.

С сестрой Максимилиану становилось ладить все труднее и труднее. Она не могла забыть кровной обиды, заключавшейся в том, что ее знаменитый брат покинул квартиру на улице Сен-Флорантен. Тайная война между госпожой Дюпле и Шарлоттой превращалась в явную. Дело кончилось страшным скандалом и полным разрывом. К счастью, в августе 1793 года Огюстена Робеспьера направили в длительную командировку в Южную Францию, и он, жертвуя собой во спасение покоя Максимилиана, согласился увезти сестру из Парижа.

Все эти дела и события не оставались в тайне. Любопытные кумушки делали свое дело. По Парижу распространялись сплетни, в которых правда переплеталась с самым невозможным вымыслом.

В городе начинали интересоваться семейством Дюпле. Еще бы! Ведь здесь жил человек, к каждому слову которого теперь прислушивалась Европа! Усиленно поговаривали о близкой женитьбе Неподкупного. О, если бы могли знать, как он был сейчас далек от этой мысли! Элеоноре Дюпле исполнилось 23 года. Это была высокая стройная девушка с приятным спокойным лицом и светлым взглядом. Она боготворила Максимилиана. Между ними давно уже установился род нежной дружбы, той особенной дружбы, которая свойственна замкнутым, застенчивым людям. Робеспьер привык прогуливаться в сопровождении Элеоноры, часто беседовал с ней. Они понимали друг друга с полуслова. Но любовь, брак... Нет, об этом Максимилиан и не помышлял. Были ли у него для этого время и силы? Он горел страшным огнем, огнем, сжигающим начисто душу и тело. Теперь

здоровье его сильно пошатнулось. Он часто болел, по многу дней оставался в постели. Тем более ценил он каждый момент, когда был здоров, каждый миг, который мог отдать общему делу, ради которого жил, ради которого был готов умереть. Нет, Неподкупный не строил себе иллюзий: личная жизнь была не для него, да и жить ему оставалось недолго. Он был твердо уверен, что погибнет в неравной борьбе. Эта уверенность сложилась у него давно, свою судьбу он предчувствовал еще в 1791 году. И он бесстрашно шел навстречу неизбежной судьбе, не ища отдыха и забвения, не помышляя о том, чтобы купить покой и личное счастье ценою компромисса с делом жизни; впрочем, его личное счастье как раз и заключалось в борьбе, единственно в борьбе.

Глава 3

Заговоры и фракции

«Земную жизнь пройдя наполовину, я очутился в сумрачном лесу...» Эти слова Данте с некоторых пор все чаще и чаще приходили в голову Максимилиану Робеспьеру. «Сумрачный лес» возник вдруг перед ним в дни, когда его столь короткая земная жизнь была недалеко от завершения; страшная пропасть разверзлась у его ног в тот момент, когда было почти закончено труднейшее восхождение на самую вершину крутой горы.

Сын третьего сословия, Максимилиан вместе с ним начал борьбу против абсолютной монархии и сил, ею воплощенных. Народ нанес первый удар 14 июля, за ним последовали другие.

Трудной, но прямой дорогой шел Робеспьер вместе с народом и победил. Победила его теория, победила практика народа! И вот, наконец, народ оказался хозяином положения, а Робеспьер стал фактически во главе правительства. Но что же произошло вслед за этим? Оказалось, что народ не однороден, что народ делится на разные группы! Оказалось, что из этого народа в ходе революции вышли всяческие «нувориши», новая буржуазия, удовлетворенная предшествующим ходом событий и теперь готовая сказать роковое слово «довольно»!

Оказалось, с другой стороны, что существует много бедного люда — рабочих, обезземеленных крестьян, разорившихся мастеров, нищего и полунищего плебса, который еще почти ничего не получил от революции и который требовал ее продолжения.

И вот теперь Робеспьер начал впервые смутно сознавать, что он не знал до сих пор народа, что народ в его представлении был чем-то неопределенным, аморфным, идеальным.

Но что же делать дальше? Прямая дорога кончалась. Якобинский блок, представлявший «народ», разорвался изнутри. Впереди была неизвестность. Неподкупный оцупью отыскивал средний путь.

Якобинская диктатура сделала колоссально много. Она завершила уничтожение феодализма, она покончила начисто с остатками средневековья. Новые буржуазно-капиталистические отношения могли теперь развиваться беспрепятственно. Но главным препятствием для этого развития оказывалась сама якобинская диктатура с ее экономическими ограничениями и реквизициями, с ее террором, направленным против

спекулянтов и скупщиков. Это страшное внутреннее противоречие до поры до времени сглаживалось внешними условиями. Нажим коалиции, территориальные потери, угроза иностранного порабощения и реставрации феодально-абсолютистского строя заставляли новую буржуазию города и деревни мириться с революционным правительством, терпеть его как временное меньшее зло во избежание постоянного большего зла. Только революционное правительство оказалось в состоянии мобилизовать все ресурсы страны на борьбу с интервенцией и нанести серьезные удары внешнему врагу. Но по мере того как эти удары наносились, по мере того как прояснялся внешнеполитический горизонт, терпение буржуазии иссякало.

С другой стороны, политика якобинской диктатуры, хотя она и опиралась на поддержку широких народных масс, не могла, разумеется, полностью удовлетворить всех требований бедноты. Установив максимум на цены, правительство одновременно декретировало и максимум на заработную плату рабочих, что лишало последних всяких надежд на улучшение жизненного уровня и ослабление эксплуатации. Этому содействовало также сохранение в силе старого антинародного закона Ле-Шапелье, запрещавшего рабочим объединяться для защиты своих интересов.

Крайне тяжелым оставалось и положение деревенской бедноты. Прежнее феодальное рабство было ликвидировано. Однако за годы революции успела вырасти и окрепнуть новая зажиточная верхушка, сумевшая приобрести земли и заместить прежних феодальных властителей села. Якобинское правительство и его агенты на местах не могли защитить тружеников деревни, напротив, жестко требовали от них выполнения обязательств, налагаемых государством. Классовая борьба в деревне все более обострялась.

В подобной обстановке якобинский блок не мог сохранять даже внешнего единства. От его руководящей, робеспьеристской части все более и более отчетливо отделялись правая и левая фракции, выступающие со своими требованиями и готовые стать на путь непримиримой борьбы.

Правые в дальнейшем получили прозвище «снисходительных» или «модерантистов». Это были лидеры новой, хищнической, спекулятивной буржуазии, возникшей в ходе революции, вполне удовлетворенной ее завоеваниями и больше всего на свете боявшейся ее продолжения.

Признанным лидером «снисходительных» был Дантон. В прошлом у Дантона имелись значительные заслуги перед революцией; об этих

заслугах Робеспьер и его соратники долго не могли забыть. Однако Дантон никогда не отличался политической чистоплотностью. По мере того как складывалось и росло его личное состояние, Дантон становился все большим адвокатом собственников. Именно по его призыву Конвент на первых своих заседаниях провозгласил, что «всякого рода собственность — земельная, личная, промышленная — должна на вечные времена оставаться неприкосновенной», именно по его настоянию Конвент декретировал смертную казнь за предложение «аграрного закона». В душе Дантон никогда не был врагом Жиронды, искренне желал примирения с ее лидерами, и только обструкционистская политика последних помешала этому примирению.

Характерной особенностью Дантона был его великий оппортунизм, его умение всегда и ко всему приспособиться.

Враг революционного правительства, сколько раз он лицемерно защищал его, маскируя свои истинные позиции настолько тонко, что вводил в заблуждение даже хорошо знавшего его Неподкупного. Дантон своим показным добродушием, видимой широтой натуры и незаурядным красноречием покорял сердца. Но он умел отыгрываться на спинах своих сторонников. Умел в решительные моменты остаться в тени и выставить на линию огня других. Загребая жар руками своих соратников, он, когда те попадали под удары, никогда не спасал их. Осенью 1793 года Дантон уехал в свое поместье в Арси-сюр-Об. Он целиком ушел в частную жизнь, однако, поддерживая регулярную связь со своими единомышленниками в Париже, продолжал руководить их борьбой.

Самым близким в это время к Дантону человеком был Камилл Демулен. Демулен мог также гордиться своим революционным прошлым. В прежние годы этот пылкий и остроумный журналист много поработал на благо отчизны. Но не было, пожалуй, другого, столь легковверного, неустойчивого, сгибающегося под ветром и, по существу, беспринципного сына революции, чем капризный и избалованный успехом Камилл. У Демулена всегда оказывался кумир, на которого он молился и в котором впоследствии разочаровывался. Такими кумирами были Мирабо, Шарль Ламет, Барнав, Робеспьер, наконец Дантон. Последний «кумир» оказался роковым для своего поклонника.

Робеспьер искренне любил Демулена, помня его со времени коллеги Людовика Великого. Он прощал Камиллу многое из того, чего не простил бы никому. Он казался даже готовым — случай беспрецедентный — на какой-то момент поступиться ради Камилла своими принципами. Все оказалось тщетным.

Третье место в группе «снисходительных» принадлежало одному из создателей республиканского календаря, Фабру д'Эглантину. До революции Фабр был провинциальным актером и за свою игру в Тулузе получил некогда премию в виде золотого шиповника (эглантин), название которого присоединил к своему имени. Потом он сделался секретарем судебного ведомства, затем вдруг стал заниматься подрядами. Робеспьеру было известно, например, что, взяв подряд на изготовление десяти тысяч пар солдатской обуви (которую он изготовил из негодного сырья), Фабр сумел заработать на них вдвое против стоимости заказа. Отсюда начинался его материальный успех. Вскоре он окружил себя роскошью, завел экипаж, без счета тратил на свою любовницу и разные прихоти. Он сблизился с Дантоном, стал его секретарем и для видимости начал заниматься драматургией. Впоследствии, когда ему указывали на сказочно-быстрый рост его состояния за годы революции, Фабр имел наглость утверждать, что состояние ему дали его пьесы, кстати говоря, весьма посредственные.

На упрек в том, что он окружил себя роскошью, Фабр отвечал: «Я всею душой люблю искусство. Я пишу красками, рисую, занимаюсь лепкой, гравированием, пишу стихи, написал в пять лет семнадцать комедий. Мое жилье отделано собственными моими руками. Вот моя роскошь». Этот «любитель искусств» был хитрым и тонким интриганом. Прячась, как и Дантон, за спины других, он ждал благоприятного момента, чтобы взять наиболее жирный кусок. «Он играл, — говорил о Фабре Сен-Жюст, — на умах и сердцах, на предрассудках и страстях, как композитор играет на музыкальных инструментах». В своей практической деятельности Фабр был связан с кучей темных дельцов, однако долгое время умело сохранял свое алиби, всегда пряча концы в воду и ведя демагогию в стиле Дантона.

Другие деятели, примыкавшие к «снисходительным», по своему политическому и моральному уровню стояли на одной ступени с Фабром, а то и ниже его. Так, видный дантонист Делакруа почти неприкрыто занимался грабежами во время своей командировки в Бельгию. Бывший член Комитета общественной безопасности Шабо, часто выступавший с трескучими речами в Конвенте, человек, развращенный до последней степени, был ажиотером и игроком; он участвовал в попытках к спасению короля, за что получил от иностранцев сумму в пятьсот тысяч ливров; он не пренебрегал самыми темными махинациями, участием в явных заговорах против родной страны, если эти махинации и заговоры давали солидный барыш. От Шабо не отставал его приятель Базир. Многие дантонисты, как Филиппо, Бурдон, Тюрио, тот же Шабо и другие, подвизались на поприще

распространения клеветы.

До зимы 1793 года «снисходительные» не рисковали открыто выступать против революционного правительства. Напротив, Дантон, чувствуя слабость своей позиции, неоднократно поддерживал Робеспьера и даже левых якобинцев. Поздней осенью и зимой положение круто изменилось. Значительные перемены прежде всего произошли в самом левом фланге якобинского блока, занимавшем все более непримиримые позиции по отношению к дантонистам.

Левые якобинцы, возглавляемые Шометом, играли большую роль в событиях лета — начала осени 1793 года. Унаследовав идеи «бешеных», выступив в качестве глашатаев самых широких слоев тружеников города и деревни, они первыми поставили террор в порядок дня и своим мощным натиском содействовали быстрому формированию революционного правительства. Глава этого правительства, Максимилиан Робеспьер, хотя лично и не симпатизировал Шомету, но, понимая правильность пути, избранного левыми якобинцами, в основном следовал этим путем. Однако с ноября — декабря 1793 года от левых якобинцев стала все более и более отделяться значительная группа лидеров во главе с Эбером, заместителем Шомета по должности прокурора Коммуны. Эта группа, начинавшая играть роль самостоятельной фракции, во многом была близка к левым якобинцам, усвоив в общей форме основные их лозунги и требования. Однако между ними были и существенные различия. Главное из этих различий заключалось в принципиально противоположном отношении к революционному правительству якобинской диктатуры: если Шомет, бывший одним из инициаторов организации этого правительства, оказывал ему самую горячую поддержку, то Эбер сначала тайно, а затем и явно боролся против него, считая нужным низвергнуть не только дантонистов, но и робеспьеристов. Это кардинальное расхождение приводило, в свою очередь, и к целому ряду других, более частных противоречий.



Эбер (современный набросок).

Жак Рене Эбер был человеком особого склада. Его личные качества мало кому внушали симпатии. Насмешник и циник, с презрением относившийся даже к своим преданным почитателям, он был лицемерен, труслив и далеко не во всем последователен и принципиален. В революции он выдвинулся сравнительно поздно. Но он обладал незаурядными способностями и прежде всего талантом журналиста. Его газета «Отец Дюшен» имела самую широкую популярность и разбиралась нарасхват.

Читающей бедноте импонировал сам язык газеты — своеобразная грубоватая подделка под цветистую, пересыпанную ругательствами простонародную речь. Но, разумеется, еще большее воздействие оказывало содержание газетных статей, в которых Эбер, всегда отзывавшийся на злободневные проблемы, выражал накипевшую в плебейских массах ненависть к священникам и аристократам, спекулянтам и скупщикам. Все затруднения революции Эбер советовал разрешить с помощью «национальной бритвы», то есть гильотины.

Дабы обеспечить постоянную пищу для этой «святой гильотины»,

Эбер считал необходимым коренным образом реформировать существующую систему судопроизводства, заменив Революционный трибунал импровизированным народным судом. При этом, обрекая на смерть скупщиков и торговцев, Эбер не делал различий между крупными спекулянтами и мелкими уличными продавцами зелени, требуя одинаковых репрессий против тех и других. Подобные взгляды создали эбертистам репутацию «ультрареволюционеров». Характерно, впрочем, что в очевидном противоречии со своими ультрарадикальными положениями Эбер выдвигал требование возврата к конституционной исполнительной власти, то есть фактически добивался отмены революционной диктатуры.

Таким образом, для взглядов Эбера и его сторонников было характерно отсутствие сколь-либо ощутимого программного единства и цельности; эти взгляды представляли сплошную путаницу, и хотя, без сомнения, отдельные их элементы были почерпнуты из требований народа и отражали справедливые чаяния бедноты, в целом они носили явный привкус демагогии и авантюризма. Поэтому нет ничего удивительного в том, что к эбертистам примазывались различного рода темные личности вроде Фуше, которые под флагом политики «решительных революционных мер» занимались хищениями и наживали себе политический капитал. С другой стороны, эбертизм увлек ряд честных и искренних защитников плебейства вроде типографа Моморо, которые были полностью чужды практической деятельности и честолюбивых замыслов Эбера и его ближайшего окружения. Из числа крупных деятелей, разделявших взгляды Эбера, особенно выделялись анархист и космополит, бывший вестфальский барон Анахарсис Клоотс, объявлявший себя «личным врагом бога» и «оратором рода человеческого», затем командующий революционной армией честолюбивый Ронсен и тесно связанный с ним работник военного министерства Венсан; к эбертизму были близки и два члена Комитета общественного спасения: Билло-Варен и в особенности Колло д'Эрбуа.

Нельзя было не заметить — и Неподкупный это заметил очень скоро, — что между обеими внешне непримиримыми и ожесточенно враждующими фракциями, выделившимися из якобинского блока, существовали определенные линии схождения. Эти линии касались общей и равной ненависти как «снисходительных», так и «ультрареволюционеров» к революционному правительству и к представлявшим его робеспьеристам. И умеренные и крайние с одинаковой яростью набрасывались на Комитет общественного спасения при любой представившейся возможности. В первый раз подобное «единство»

обнаружилось 25 октября, вскоре после победы при Гондсхооте. В этот день на заседании Конвента группа депутатов, близких к Дантону, обрушилась на Комитет, а Эбер в Якобинском клубе потребовал установления конституционной исполнительной власти. «Этот день стоит Питту трех побед», — с горечью говорил тогда Робеспьер. Но, видя и понимая стратегию и тактику своих новых врагов, Неподкупный долгое время не желал видеть в них врагов.

Считая единство якобинцев и единство народа необходимым условием для достижения победы, он мечтал о предотвращении раскола, уже совершившегося. На какой-то период он поверил в возможность примирения и употребил все свои силы, весь свой авторитет, чтобы его добиться. В особенности Максимилиан не хотел рвать с некоторыми лидерами «снисходительных»: Демулена он искренне любил, Дантона, старого соратника, он не мог представить в рядах безусловных врагов революции. Но мечтам и надеждам Робеспьера не было суждено сбыться.

Во второй половине осени произошли события, крайне осложнившие положение дел и связавшие борьбу фракций с обстоятельствами совершенно иного рода.

Несмотря на введение максимума и различные мероприятия, проводимые правительством в целях ослабления тисков голода, поздняя осень и зима 1793 года для трудящихся масс Парижа и всей страны были очень тяжелыми. Особенно остро в этом году начинал чувствоваться недостаток мяса. Области, дававшие столице убойный скот, — Вандея и Нормандия — были выведены из строя: Вандея все еще находилась в руках мятежников, Нормандия была разорена в ходе предшествующей борьбы с жирондистами. Большое количество мяса требовала регулярная армия, сражавшаяся на фронтах войны. В результате жены и дочери санкюлотов, выстраивавшиеся с полуночи в длинную очередь у мясных рядов на рынке, в девять часов утра уходили с пустыми руками. Не лучшим было положение с маслом, яйцами, домашней птицей. Почти редкостью сделались сушеные овощи, чечевица, бобы. Так же остро, как и в предшествующие годы, стояла проблема хлеба.

В то время как санкюлоты голодали, растрчивая на поиски пищи свои последние силы, новые богачи, не нуждавшиеся абсолютно ни в чем, устраивали роскошные обеды на загородных дачах и в бывших дворцах аристократов, обсуждая способы и средства, с помощью которых можно было обмануть бдительность правительства и набить карманы новыми барышами.



Билло Варен.



Колло д'Эрбуа.



Антуан Сен-Жюст (мраморный бюст).

Война и связанные с ней обстоятельства, несмотря на все строгости и ограничения, проводимые революционным правительством, содействовали обогащению ловких дельцов, наживавшихся на поставках, подрядах и других спекулятивных операциях. Всячески обходя закон о максимуме, торговцы и промышленники скрывали товары и продавали их из-под полы. В то время как на рынке достать мясо по твердым ценам было почти невозможно, зажиточные люди, имевшие дело со спекулянтами, даже находясь в тюрьмах, не испытывали в нем ни малейшего недостатка. Немалые доходы опытным специалистам по ажиотажу приносила скупка и перепродажа звонкой монеты, а также спекуляция национальными имуществами.

Во всех этих темных махинациях значительную роль играло иностранное золото и иностранные финансисты. Большинство из них так или иначе было связано с вражескими государствами, против которых Франция вела войну. Финансовые заговоры французской спекулятивной буржуазии в той или иной степени переплетались с диверсиями и шпионажем в пользу смертельных врагов революции и отчизны.

В конце июля 1793 года был найден и доставлен в Комитет общественного спасения портфель, утерянный английским шпионом. Из бумаг, обнаруженных в портфеле, явствовало, что были распределены значительные денежные суммы между английскими агентами, рассеянными по всей Франции. Лилль, Нант, Дюнкерк, Руан, Аррас, Сент-Омер, Булонь, Туар, Кан — то есть именно те города, в которых прошли антиправительственные мятежи, как оказалось, щедро снабжались деньгами Питта. Инструкция, найденная в портфеле, предписывала организацию поджогов арсеналов и складов фуража. В свете этой инструкции стали ясны причины пожаров в Дуэ и Валансьенне, в парусных мастерских Лориана и на патронных заводах Байонны. Другие инструкции предписывали понижать курс ассигнаций и повышать цены на съестные продукты, скупать сало, свечи и т.д. с целью дальнейшего повышения цен и создания новых экономических затруднений.

Шпионаж был развит повсеместно. Его агентами оказывались иностранные подданные, водворившиеся во Франции под маской патриотов и революционеров; многие из них были финансистами. Эти люди опутывали густой сетью французских «нуворишей», в числе которых находились многочисленные чиновники государственных учреждений, депутаты Конвента и даже отдельные члены правительственных Комитетов.

Английский банкир Бойд, личный финансист Питта и английского министра иностранных дел, открыл совместно со своим компаньоном Кером отделение лондонского банка в Париже. Бойд пользовался горячей поддержкой депутатов Делоне и Шабо, причем Шабо, бывший в то время членом Комитета общественной безопасности, добился снятия печатей, наложенных на банк Бойда, достал ему паспорт и помог бежать из Парижа.

Прусский подданный, невшателльский банкир Перрего, обосновавшийся в Париже, был постоянным агентом английского правительства и раздавал деньги, ассигнованные Питтом за отдельные услуги по шпионажу и диверсиям. Перрего находился в близких отношениях с Дантоном.

Бельгийский банкир, австрийский подданный Проли основал в Париже и вел до самого начала войны газету «Космополит», защищавшую английскую политику. Проли завязал тесные отношения с Демуленом и членом Комитета общественного спасения Эро де Сешелем, который использовал этого дельца в качестве своего секретаря и осведомителя. Проли выполнял секретные дипломатические миссии Дантона, был в контакте с рядом депутатов Конвента и через своего подручного Дефье проник во все тайны Якобинского клуба. С помощью того же Дефье, бордоского еврея Перейры и драматурга Дюбюиссона Проли сумел объединить народные общества секций и создал Центральный комитет, в котором определил себе ведущую роль. Центральный комитет народных обществ, находившийся в непосредственном контакте с санкюлотами секций, стал могущественной организацией, соперничавшей одно время с Якобинским клубом и Коммуной. Проли, Перейра и их сообщники не скрывали своего презрения к Конвенту, рассчитывая полностью опутать его своими сетями.

Испанский банкир Гюзман благодаря щедрым подачкам составил себе целую клиентуру из парижской бедноты. Ему удалось пробраться даже в повстанческий комитет 31 мая. Гюзман был особенно близок с Дантоном, с которым он устраивал дорогостоящие обеды и интимные попойки.

Моравские финансисты братья Добруска, получившие от австрийского императора за особые услуги баронский титул и фамилию Шенфельд, устроились во Франции сразу же после начала войны под видом преследуемых патриотов Фрей («свободных»). Братья Фрей завязали тесные отношения с рядом влиятельных депутатов Горы и тайно составляли многие из проектов министру иностранных дел Леброну. Они ссужали займы деньги, ажиотировали на национальных имуществах и давали публичные обеды в роскошном отеле эмигрантов. В их цепкие лапы попал депутат Шабо. Обвиненные в шпионаже, они скрывались благодаря Шабо, женившемуся на их красавице сестре, за которой он получил двести тысяч ливров приданого.

Все эти иностранные дельцы рядились в одежды крайнего демократизма и восхваляли революцию. Некоторым из них удалось даже сблизиться с лидерами эбертистов. Так, голландский банкир Кок находился в самых близких отношениях с Эбером, соотечественник Кока финансист Ван-ден-Ивер был другом Клоотса; Проли и Дефье установили позднее тесный контакт с видными эбертистами Ронсеном и Венсаном. Таким образом, посредством иностранных агентов оба враждебных крыла якобинского блока косвенно сблизились между собой гораздо теснее, чем

могли полагать их лидеры.

Одной из главных фигур иностранного ажиотажа был неуловимый авантюрист, шпион и делец барон де Батц, человек замечательный в своем роде. Самозванный дворянин, владеец огромного состояния, созданного спекуляцией, Батц верно и преданно служил делу роялизма. Он несколько раз эмигрировал, сражался в армии врагов, а затем с невероятной дерзостью вновь появлялся во Франции. Он сумел вкрасься в доверие к жирондистскому правительству, пытался спасти короля на пути последнего к эшафоту, организовывал заговоры с целью освобождения королевы и главарей Жиронды. Батц состоял в близких отношениях со многими иностранными банкирами и депутатами Конвента. С ним часто обедал Дантон. Его загородный дом в Шарроне был своеобразным организационным центром. Им были подкуплены некоторые чиновники полиции, которые оказывали ему тайное покровительство и вовремя предупреждали об опасности. С именем Батца было тесно связано одно из наиболее громких мошенничеств того времени — пресловутое дело Ост-Индской компании.

Однажды рано утром сон Робеспьера был нарушен каким-то шумом. Оказалось, что пришел депутат Конвента Шабо и просит немедленно его принять. Максимилиан быстро оделся и вышел навстречу Шабо. Тот был страшно взволнован. Лицо его дергалось, руки дрожали.

— Я тебя разбудил, но сделал это ради спасения отечества: у меня в руках нити ужасного заговора.

— Значит, нужно непременно раскрыть его.

— Для этого я должен продолжать видеться с заговорщиками, так как они приняли меня в свою среду и предложили мне часть выгод от их разбойничьего замысла. Назначено собрание; могу устроить так, что их захватят на месте выступления.

— Тебе нельзя колебаться. А доказательства?

— Вот они.

И он показал пачку ассигнаций, которую держал в руке.

— Это мне дали для подкупа одного из членов Горы, со стороны которого заговорщики опасаются противодействия. Я это поручение принял, но с той целью, чтобы проникнуть глубже в тайну заговора, и с намерением донести на изменников.

— Так отправляйся поскорее в Комитет общественной безопасности.

— Да, но я не хочу, чтобы из моего присутствия в среде заговорщиков вывели заключение, будто я сам заговорщик. Я желаю гарантий. Я готов

умереть за отечество, но не в роли преступника.

— Комитет общественной безопасности примет необходимые меры для раскрытия заговора. Гарантией тебе будут служить твои намерения и данные тобою указания.

Шабо ушел, заявив, что отправится со своим донесением в Комитет общественной безопасности, что в действительности и проделал. Его донос поддержал депутат Базир.

В своем заявлении Шабо указал на существование широкого заговора, во главе которого находился Батц. Цель заговора состояла в удушении республики. Заговор имел, согласно доносу, две ветви. Одна из них — финансовая — включала депутатов, известных своей политической умеренностью: Делоне, Жюльена из Тулузы и других; эта ветвь заговора, в которую поставили целью втянуть и его, Шабо, сгруппировалась вокруг мошеннического дела Ост-Индской компании. Другая часть заговорщиков, во главе с Эбером, была якобы подкуплена Батцем с целью обесславить тех депутатов из числа умеренных, которые не согласились на подкуп: эбертисты должны были громить их репутации и содействовать их падению. В совокупности вся операция должна была привести к финансовому хаосу в стране и к политическому крушению Конвента и правительства. Он сам, Шабо, принимал участие в финансовом заговоре якобы из тех соображений, чтобы его затем выдать и спасти республику.

Базир подтвердил ту часть доноса Шабо, которая касалась дела Ост-Индской компании. Своим доносом он частично скомпрометировал Дантона, указывая, что заговорщики рассчитывали на его содействие. Однако Базир ни слова не сказал об участии в заговоре Эбера и его сторонников.

Члены Комитетов не сомневались, что в рассказах доносчиков содержалась значительная доля истины. Если все, что касалось эбертистов, можно было отнести за счет ненависти к ним Шабо, который хотел им отомстить за их постоянные нападки, то дело о финансовом заговоре, связанное с Ост-Индской компанией, казалось довольно правдоподобным и вполне подтверждалось теми материалами, которые имели Комитеты в своем распоряжении. Вот как выглядело это дело в свете доноса Шабо и того, что было известно ко времени этого доноса. Как-то раз за обедом на даче у Батца собралась теплая компания. В числе присутствующих были депутаты Жюльен, Шабо, Базир и Делоне. Обсуждался вопрос о легкой и быстрой наживе. Делоне пришло в голову весьма простое средство.

— Надо, — сказал он, — заставить понизиться все ценные бумаги

финансовых компаний и, воспользовавшись этим, скупить их, а затем вызвать повышение и восстановить таким образом их первоначальную ценность.

— Но, — возражал Базир, — надо же иметь средства для их покупки!

— Нет ничего проще: поставщик армии аббат д'Эспаньяк просит четыре миллиона; если нам удастся через законные каналы обеспечить их получение, то д'Эспаньяк позволит воспользоваться ими на некоторое время...

План тут же, на месте, получил организационное оформление. Жюльен распределил роли: Делоне должен был выступить в Конвенте и добиться падения курса бумаг, сам Жюльен взялся запугать администраторов и банкиров с целью поддержки компании, остальным надлежало молчать и всеми доступными средствами содействовать общим целям; прибыль было решено разделить поровну между всеми участниками предприятия.

Сначала все пошло как по маслу. Аббат д'Эспаньяк получил просимые деньги, а дельцы занялись работой по понижению ценностей финансовых компаний. Понизить бумаги казалось делом очень легким. Компании, особенно Ост-Индская, допускали крупные злоупотребления, вследствие чего имели много врагов среди членов Конвента; в числе таких врагов находился и Фабр д'Эглантин. Зная это и уловив подходящий момент, Делоне с трибуны Конвента учинил разгром Ост-Индской компании, подробно изложив все ее грехи, и в заключение предложил упразднить все предприятия подобного рода, под какими бы ярлыками они ни значились. В проекте предложенного им декрета были изложены детали ликвидации обязательств компаний, причем — в этом состояла главная цель заговорщиков — ликвидация поручалась *самим компаниям*.

Это последнее предложение до крайности удивило Фабра, который не был в курсе существа интриги; зачем оставлять ликвидацию в руках компаний, что намного увеличило бы злоупотребления и продлило бы существование разоблаченных организаций? Выступив тотчас же вслед за Делоне, Фабр высказался в духе этих соображений, потребовав, чтобы ликвидация была проведена *немедленно и не компаниями, а правительством*, причем чтобы прежде всего были опечатаны все бумаги администрации компаний.

Фабра поддержал Робеспьер, и после его выступления был принят декрет, для окончательной редакции которого выделили специальную комиссию. Легко представить себе, какой удар планам заговорщиков наносил столь неожиданный оборот дела. Делоне, выступая со своим

проектом, рассчитывал скупить по низким ценам акции Ост-Индской компании, а затем, предоставив ей ликвидировать свои дела, найти способ поднять курс бумаг и с выгодой перепродать их. Теперь же оказывалось, что компании просто хотят упразднить!

В первый момент ажиотеры были совершенно подавлены. Они проклинали свою неосторожность, состоявшую в том, что Фабр не был своевременно втянут в дело. Впрочем, учитывая репутацию Фабра, они сочли в конце концов, что еще не все потеряно, что ошибку можно исправить, тем более что в состав комиссии по редактированию ликвидационного декрета наряду с Фабром вошли Делоне и Шабо. Теперь план их принял новый вид. Они решили подкупить Фабра и, заручившись его согласием, подделать декрет для обнародования его не в том виде, в каком он был вотирован Конвентом, а в том, в каком он более подходил для их целей.

Деликатное дело подкупа, как указал Шабо, было поручено ему. На подкуп Фабра ассигновали якобы сто тысяч ливров, каковую сумму и вручили бывшему капуцину. Шабо утверждает далее, что подкупить Фабра ему не удалось, а вследствие этого данную ему сумму он сохранил и представляет теперь в Комитет в качестве вещественного доказательства. На следующий день после попытки договориться с Фабром Шабо якобы принес ему начисто переписанный проект декрета для подписи. Позднее Фабр уверял, что он подмахнул данный ему документ, не читая его. Декрет, разумеется, был сфальсифицирован в духе, нужном Делоне и К⁰, и был сдан в набор после подписи Фабра именно в таком виде. Оставалось ждать и надеяться. Но тут нервы Шабо не выдержали. У него неожиданно начались неприятности по совершенно другому поводу. Доблестный рыцарь наживы вдруг стал объектом самых ожесточенных нападков. Прежде всего его освистали в Якобинском клубе за подозрительный брак с Леопольдиной Фрей. Затем его подвергли допросу в связи с донесением на него служащего аббата д'Эспаньяка, обвинявшего его в содействии грязным махинациям уже арестованного к тому времени поставщика армии. Вспомнился и целый ряд других подозрительных дел, в частности быстрый рост его личного богатства. Не на шутку струсивший Шабо попытался сколотить в Конвенте свою группировку из Базира, Тюрио, Оселена и других дантонистов, но эбертисты их решительно атаковали; в результате Тюрио был 23 брюмера (13 ноября) исключен из Якобинского клуба, а Оселена подвергли аресту. Шабо, который к этому времени по уши увяз в ост-индской махинации, помертвел от страха, предполагая, что у него могут произвести обыск. И вот, уже видя в перспективе призраки

эшафота, мошенник решил, что может спасти свою шкуру, только выдав все предприятие. Тогда-то он и явился к Робеспьеру, а затем по совету последнего в Комитет общественной безопасности. Его другу Базиру не оставалось ничего иного, как присоединиться к нему.

Когда Шабо делал свой донос, он и не подозревал, что его уже опередили. Причем опередил его именно тот человек, которого он и Базири, давая свои разоблачения, пощадили или о котором они действительно не имели компрометирующих сведений. Шабо никак не мог думать, что в октябре — ноябре он стал объектом страстных нападок в Конвенте и клубе в основном потому, что его оговорил Фабр д'Эглантин. Но оказалось, что хитрый и коварный Фабр раньше, чем кто-либо из его товарищей, сообразил, куда дует ветер: Шабо сделал донос в середине ноября, а Фабр провел свой ловкий демарш еще 10–12 октября.

Видя, что в Конвенте начали подниматься эбертисты, что многих иностранцев стали подозревать, что Эспаньяк арестован, Фабр, одной рукой беря от Делоне крупную взятку за свое участие в деле Ост-Индской компании, другой спешно строчил тщательно продуманный донос. 21 вандемьера (12 октября) он потребовал, чтобы его выслушали десять специально отобранных им членов обоих Комитетов, в числе которых оказались Робеспьер, Сен-Жюст, Леба, Давид, Вадье, Амар и другие, и сообщил о якобы им открытом антиправительственном заговоре, инспирированном зарубежной агентурой.

Главный удар Фабр наносил по иностранным банкирам и некоторым лицам, действовавшим совместно с ними. Он указал, что в центре заговора находятся Проли, Дефье и Перейра, объединенные с целым рядом финансистов — агентов Австрии и Пруссии. Эти главари выведывали правительственные тайны и руководили в шпионских целях квазипатриотическими газетами. С ними, согласно заявлению Фабра, играя роль их послушных орудий, были связаны депутаты Жюльен и Шабо и член Комитета общественного спасения Эро де Сешель. Отсюда, между прочим, сообщал доносчик, шел и иностранный брак Шабо и приданое в двести тысяч ливров, которые он получил как оплату своего предательства. Любопытно, что, выдавая Шабо и Жюльена, Фабр ни словом не обмолвился о Делоне — их сообщнике, — ибо сам только что получил от него взятку за согласие потворствовать ост-индской афере.

Фабр бил без промаха. Его расчет был верен. В членах Комитетов во главе с Робеспьером он нашел самых внимательных слушателей, ни на минуту не заподозривших его доноса и целей, в которых он был сделан.

Робеспьер и Сен-Жюст уже давно подозревали наличие иностранного заговора. С некоторых пор им казалось весьма странной также деятельность их соратника по Комитету общественного спасения — Эро де Сешеля.

Эро де Сешель — «прекрасный Эро», как его называли товарищи за особую красоту его лица и телосложения, — был настоящим баловнем судьбы. Природа не обидела его ни внешностью, ни талантами, ни состоянием. Этот богач-сибарит, тонкий ценитель женской красоты и любитель вакхических наслаждений, прямо или косвенно принимал участие во многих важных актах революции. Когда-то он был близок к фельянам, но вовремя отошел от них и примкнул к жирондистам, которых опять-таки вовремя оставил, для того чтобы сесть на Горе. Один из основных авторов текста конституции 1793 года, Эро 30 мая того же года, за день до начала антижирондистского восстания, был приглашен в члены Комитета общественного спасения. Не зная твердых убеждений и ценя в жизни только удовольствия, Эро летом — осенью 1793 года начал лавировать между фракциями, имея друзей как среди эбертистов, так и среди дантонистов. Это обстоятельство само по себе не могло не настроить против него щепетильного в вопросах партийных взглядов Робеспьера. Дружба Эро с темными дельцами вроде Проли, с одной стороны, и одновременное разглашение некоторых тайн Комитета — с другой, превращали подозрения Неподкупного в уверенность. «Гнусное разглашение секретов Комитета, — писал он в своей записной книжке, — либо со стороны канцелярских служащих, либо со стороны других лиц... Изгоните прежде всего предателя, который заседает вместе с вами...» Донос Фабра в этом плане, следовательно, бил в самую точку. Немедленно по получении всех этих сведений Комитеты арестовали целый ряд лиц — эбертистов и агентов Эро де Сешеля. Был арестован и друг Клоотса, банкир Ван-ден-Ивер. Самого Эро фактически исключили из Комитета общественного спасения, послав его в длительную командировку. За Шабо, Жюльеном, Базиром и другими был установлен тщательный надзор, следствием которого явились нападки и допросы, лишившие душевного равновесия Шабо и вынудившие его в конце концов на донос со своей стороны.

Донос Шабо и Базира укрепил членов правительственных Комитетов в сложившихся у них представлениях. Заявление Фабра блестяще подтверждалось, причем подтверждалось совершенно независимо от Фабра людьми, на которых он указал как на участников заговора! Все это казалось

весьма правдоподобным. Позиции Фабра укрепились. Его пригласили принять участие в разборе дела по доносу Шабо. Удовлетворенный Фабр считал себя в полной безопасности. Он и не подозревал, что в бумагах Делоне, которого должны были арестовать с минуты на минуту, содержался документ, явившийся впоследствии для него, Фабра, смертным приговором.

Сделав свое сообщение в Комитете общественной безопасности, Шабо начал лихорадочно разыскивать кого-либо из единомышленников. Он разыскал Куртуа, человека близкого к Дантону, и описал ему положение дел. Куртуа тотчас же известил главу фракции, все еще отдыхавшего в Арси-сюр-Об. Дантон сразу понял остроту положения. Предстояли страшные дела и грозные битвы. Разоблачение грозило и непосредственно ему. Полный страха и сомнений, он оставил свое мирное убежище и вечером 30 брюмера (20 ноября) был уже в Париже, готовый ринуться в бой.

Комитет принял решение арестовать и доносчиков и обвиненных доносом. Шабо, не зная о более раннем заявлении Фабра, полагал, что его арестуют только для виду. Он просил, чтобы его и Базира арестовали в восемь часов вечера у него на квартире, указывая, что в этот час там соберутся все заговорщики, которых можно будет взять сразу. Однако по непонятным причинам Комитет арестовал доносителей в восемь часов утра, что дало возможность главным обвиняемым Батцу и Жюльену заблаговременно скрыться. Батц исчез, как обычно, растворившись в воздухе. Жюльен некоторое время скрывался у друга Дантона, Делакура, а затем бежал из Парижа. Но Делоне, к великому несчастью для Фабра д'Эглантина, был все же арестован. Его бумаги опечатали. С нескрываемым ехидством Делоне заявил, что в этих бумагах разыщут документ, позволяющий определить главного виновника. Специальная комиссия, выделенная Комитетами во главе с Амаром, приступила к расследованию. Расследование тянулось медленно и проходило в тайне.

Тень иностранного заговора упала на Конвент и правительственные учреждения. Еще ничего не было известно в точности, но уже ползли слухи. Шли многочисленные аресты. Фракции и их вожди готовились к смертельной борьбе. Робеспьер, стоявший у руля, с тревогой и недоумением следил за курсом корабля революции.

Его крайне смутило все то, что произошло за последние два месяца. Он догадывался о существовании заговоров еще накануне доноса Фабра;

он ясно говорил об этом 19 вандемьера (10 октября), ставя под подозрение всех иностранцев, прикрывавшихся маской патриотизма, и призывая к усилению бдительности своих коллег. Но его поражало, что с иностранцами оказались связаны люди, которых он долгое время считал товарищами в борьбе. Он еще не вполне верил этому. Он не хотел пока что смешивать борьбы фракций, борьбы идей с диверсиями и шпионажем. Он видел, что хотя Дантон и Демулен задеты своими связями, хотя имя Дантона и фигурировало в заявлении Базира, но все это ведь были, по существу, очень слабые и косвенные улики! А Фабр, этот спесивый человек с лорнетом у глаз, который ему, Робеспьеру, был всегда так несимпатичен, оказался даже горячим патриотом! Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. А пока что нужно прилагать все силы к тому, чтобы тушить внутреннюю фракционную борьбу, чтобы не дать разгореться огню, который может пожрать все дело революции.

Глава 4

Суд якобинцев

Было самое начало зимы, страшной голодной зимы 1793/94 года. Клуб якобинцев переживал бурные дни. Шла чистка. Рядовые члены обсуждали взгляды и поступки прославленных лидеров. Это было страшно. Прошлые заслуги не спасали от остракизма тех, кто казался недостаточно преданным идеям революции сегодня. А быть изгнанным из клуба теперь значило стать на прямую дорогу к гильотине.

И вот 13 фримера (3 декабря) пришла очередь Дантона. Его обвинили в вялости и равнодушии, в том, что он требовал отказа от суровых мер, вызванных обстоятельствами. Не он ли развалил первый Комитет общественного спасения? Не он ли играл на руку жирондистам? Не он ли, прикрываясь решительными фразами, вот уже почти год как топчется на месте, а то и прямо тянет назад? Кто-то не преминул напомнить о состоянии Дантона, выросшем как на дрожжах за годы революции.

Циклоп встал. Крупные капли пота дрожали на его огромном выпуклом лбу. В его голосе не чувствовалось обычной силы. Кругом шумели. Дантон пытался увернуться от прямого удара, взывая к теням прошлого. Разве он уже не тот, кого боготворили патриоты и на кого воздвигали гонения тираны?

Разве он не был самым бесстрашным защитником Марата? Нет, недоброжелатели не могут уличить его ни в каком преступлении. Он хочет оставаться, стоя перед народом во весь рост. Что касается его состояния, то оно не так уж и велико, как считают; оно осталось таким же, каким было до революции. Впрочем, он требует создания комиссии, которой будет поручено рассмотреть предъявленные ему обвинения. Шум усилился. Защита казалась слабой и никого не убедила. Зачем было взывать к памяти Марата? Все присутствующие знали, что Дантон не выносил покойного Друга народа. А разговоры о состоянии, не были ли они пустой болтовней?

Но вот на ораторскую трибуну порывисто взбегают Робеспьер. Он сразу начинает говорить. Его голос непривычно взволнован. Он требует, чтобы обвинители Дантона точно изложили свои жалобы. Однако на это никто не решается. Зал молчит.

— В таком случае это сделаю я, — говорит Неподкупный.

Он обращается прямо к обвиняемому.

— Дантон, разве ты не знаешь, что чем больше у человека мужества и

патриотизма, тем больше враги общественного дела домогаются его гибели? Разве ты не знаешь, да и все вы, граждане, разве не знаете, что это обычный путь клеветы? А кто клеветники? Люди, которые кажутся совершенно свободными от порока, но в действительности не проявившие и никакой добродетели...

Дантон вздрагивает и вытирает пот с лица. Он поражен. Оратор, кажется, собирается не обвинять, а защищать его? Защиты с этой стороны, да к тому же такой энергичной, он никак не ожидал. Всем известно, что между двумя трибунами пробежала черная кошка, что они уже давно говорят на разных языках. И вдруг... Дантон удивленно смотрит на Робеспьера. Но Максимилиан не видит его: он обращается к Дантону, а взор его уходит куда-то в сторону, как бы избегая запавших глазок титана. Он продолжает с нарастающей горячностью:

— Я наблюдал его в политических отношениях; ввиду некоторой разницы между его и моими воззрениями я тщательно следил за ним, иногда даже с гневом; и если он не всегда разделял мое мнение, то неужели я заключу из этого, что он предавал родину? Нет, я всегда видел, что он усердно служил ей. Дантон хочет, чтобы его судили, и он прав; пусть судят так же и меня. Пусть выйдут вперед те люди, которые в большей степени патриоты, чем мы!

Вперед, разумеется, никто не вышел. Репутация Дантона была спасена. Вопрос об его исключении из клуба оказался механически снятым с обсуждения — моральный авторитет Неподкупного сделал свое дело. Но кое-кто недоумевал: зачем, зачем так поступил вождь якобинцев? Кого он ставил на одну доску с собой?

Поздно вечером возвращался Максимилиан из клуба. Никто не провожал его. Он был задумчив. На лице отражалась напряженная борьба. То ли он сделал, что нужно? Не было ли это насилием над собой? Не шло ли это вразрез с его взглядами? Нет. Иначе поступить было нельзя. Он давно уже не верил Дантону, он знал, что их разделяет все увеличивающаяся пропасть, но он должен был вступить за него, ибо лучше Дантон, чем многие другие. Дантон не враг революции. Надо спасти Дантона, чтобы не дать восторжествовать Эберу.

Итак, он начинал лавировать. Он, Неподкупный, Непокколебимый... Будущее представлялось темным. Но правильный путь нужно было найти во что бы то ни стало. Иначе — погибло все...

Клуб якобинцев теперь играл все большую и большую роль. Его

трибуна не только дополняла трибуну Конвента; он предопределял общую линию поведения Собрания и его членов. Суд якобинцев был высшей моральной инстанцией, которая создавала репутацию народному представителю, чиновнику, любому гражданину республики.

Вскоре после Дантона очистительный искуc пришлось проходить и его ближайшему другу — Камиллу Демулену. 24 фримера (14 декабря) он, бледный и взволнованный, предстал перед якобинским судилищем. Его обвиняли в связях с подозрительными людьми и в сочувствии жирондистам; не он ли, написавший некогда «Разоблаченного Бриссо», плакал и изрекал недостойные реплики в день осуждения вожаков Жиронды? Камилл защищался плохо. Он не нашел убедительных аргументов. Он вступил на путь огульного отрицания того, что было всем хорошо известно. Якобинцы переглядывались и пожимали плечами. Положение неустойчивого журналиста казалось предрешенным. Но Робеспьер, спасший Дантона, мог ли теперь вдруг допустить падение Камилла?

И вот он опять, как в день 13 фримера, овладевает трибуной и вниманием слушателей. Он берет Демулена под свое покровительство. Да, он его знает, знает слишком хорошо. Впрочем, кто же не знает Камилла? Он слаб, доверчив, часто мужествен и всегда республиканец. У него правильный революционный инстинкт. Он любит свободу интуицией, мыслью, он ничего и никогда не любил больше, чем свободу, несмотря на все житейские соблазны. Это главное. Что же касается ошибок, то они есть, конечно, не заметить их нельзя. Камиллу нужно серьезно поостеречься в будущем. Ему следует опасаться неустойчивости своего ума и чрезмерной поспешности в суждениях о людях.

Слово Робеспьера, простое, задушевное, было встречено аплодисментами. Камилл был спасен.

Но, как известно, наука никогда не идет впрок тому, кто не хочет учиться. Вместо того чтобы одуматься, Демулен взбеленился. Как, его осмеливаются судить, его хотят учить? Ну что же, он им покажет! Злорадные друзья, привыкшие прятаться за других, шпигуют нервного журналиста. И он бросается в бой очертя голову.

Незадолго перед этим Демулен начал выпускать свою газету «Старый кордельер». Название было симптоматичным. Старого кордельера, кордельера времен господства в клубе Дантона и его друзей, журналист как бы противопоставлял «новому кордельеру», то есть настоящему дню клуба Кордельеров, когда в нем главную роль начинали играть эбертисты. Первые

два номера газеты, увидевшие свет до 24 фримера, ничем особенно не выделялись. Они славословили Робеспьера, защитившего Дантона в день 3 декабря, и осыпали бранью сторонников Эбера. Но третий номер «Старого кордельера», вышедший после заседания 24 фримера, заставил насторожиться очень многих.

В этом номере Демулен дал подборку и перевод ряда пассажей из «Анналов» Тацита. Журналист начал с того, что провел параллель между монархией и республикой, а затем под предлогом описания преступлений римских цезарей заклеил преступления республики. Каждая фраза, заимствованная из Тацита, содержала злобный намек на современность.

«...В тиране все вызывало подозрительность. Если гражданин пользовался популярностью, то считался соперником государя, могущим вызвать междоусобную войну. Такой человек признавался подозрительным...

Если, напротив, человек избегал популярности и сидел смиренно за печкой, такая уединенная жизнь, привлекая к нему внимание, придавала ему известный вес. В подозрительные его!..

Если вы были богаты, являлась неизбежная опасность, что вы щедростью своей подкупите народ. Вы человек подозрительный...

Были ли вы бедны — помилуйте, да вы непобедимый властитель, за вами надо установить строгий надзор! Никто не бывает так предприимчив, как человек, у которого ничего нет. Подозрительный!»

Тиран боялся чужой славы, чужой репутации, он карал талантливых полководцев за их талант, знатных — за их имя, владельцев — за их владения, а очень многих и вообще неизвестно за что.

Единственным средством к преуспеванию был донос, и доносов не чуждались самые прославленные люди. Доносчики пользовались почестями и наделялись самыми высокими государственными должностями.

«Под стать обвинителям были и судьи. Защитники жизни и собственности, суды стали бойнями, в которых все, что называлось конфискациями и казнями, было просто кражею и убийством...»

И Камилл приводит десятки потрясающе-ужасных примеров, отвечающих подобным сентенциям, примеров, тщательно подобранных по Тациту.

Кому предназначала рука Камилла этот коварный удар? Эбертистам? Нет. Демулен бил прямо по Революционному трибуналу, по революционному правительству, то есть стремился нанести кровоточащую рану Неподкупному и его соратникам. Ниже, бросая Тацита, Демулен

прямо обвинял и клеймил весь революционный строй, Конвент, его Комитеты, народные общества.

Хотя, желая ослабить впечатление, журналист в конце статьи и заявлял, что все его намеки относились бы к Франции, если бы в ней была реставрирована королевская власть, хотя он и говорил, что «...доводить революцию до крайности все же менее опасно, чем оставаться по сю сторону...», все эти оговорки не могли, разумеется, снять того основного, что статья давала и ради чего она была написана.

Этот номер мог стать отравленным оружием в руках врагов революции. Стали усиленно поговаривать, что Демулен изобразил под другими именами историю своего времени; роялисты, расхватывая газету, повсюду открыто проявляли свою радость.

Робеспьер почувствовал всю силу удара, и горечь наполнила его сердце. Вот как! Революционный режим осуждался одним из тех, кто некогда ратовал за его создание! Террор клеймил тот, кто некогда призывал народ превращать фонари в виселицы! Какая радость для аристократов, какая скорбь для истинных революционеров! О Камилл, ты неисправим!

Диверсия Камилла была лишь одной из составных частей массированного удара, намечавшегося «снисходительными». Параллельный выпад было решено нанести в Конвенте. Почти одновременно с выходом третьего номера «Старого кордельера» группа дантонистов во главе с Фабром д'Эглантинем и Бурдоном стала подкапываться под Комитет общественного спасения. Член Конвента, дантонист Филиппо, вернувшийся из служебной командировки в Вандею, кричал на всех перекрестках о предательстве, обвиняя эбертиста Ронсена и революционного генерала Россиньоля; клеветца на Россиньоля, Филиппо нападал и на Комитет, обвиняя его в покровительстве мнимому изменнику.

Фабр д'Эглантин, выступая в Конвенте, обвинял Комитет в нерадении, в том, что он, не пресекал «беспорядков», царивших якобы в Париже, не обуздывал своих агентов и других лиц, виновных в «дезорганизации». Бурдон предлагал упразднить министров, стремясь свести счеты с ненавистным военным министром — левым якобинцем Бушотом — и одновременно рассчитывая раздавить Комитет грузом возложенного на него дополнительного бремени. Используя то обстоятельство, что срок полномочий Комитета общественного спасения формально истекает 20 фримера (10 декабря), Бурдон и другие дантонисты выступили с требованием, чтобы правящий состав Комитета был обновлен. Победа казалась близкой. Уже составлен список нового Комитета, уже

отредактирован текст соответствующего декрета. Однако 13 декабря, когда состоялось голосование, большинство членов Конвента высказалось против обновления состава Комитета в столь критическое для республики время. Полномочия Робеспьеровского Комитета были продлены.

Потерпев неудачу в попытке сокрушить Комитет, «снисходительные» с тем большим рвением стали бить по подвластным ему лицам, агентам исполнительной власти. Здесь их старания увенчались успехом. Продолжая вопить о «дезорганизации» и пугать Конвент призраком «беспорядков», они добились декрета на арест Ронсена, Венсана и трех других правительственных агентов. Случай беспрецедентный: терроризованный Конвент наносил удар высшим агентам революционного правительства без всякого расследования, даже не спрашивая мнения ответственных Комитетов.

Положение Робеспьера становилось все более затруднительным. Он протягивал руку вчерашним друзьям и попадал в объятия врагов. Чем более он склонялся к уступкам, желая мира и согласия, тем сильнее нагнали «снисходительные». И вот, продолжая идти по наклонной плоскости умиротворения, Максимилиан совершает еще один тактический промах, который, однако, в дальнейшем призван раскрыть ему глаза. Желая успокоить «снисходительных» и лишиться оснований их упреки, он предлагает организовать Комитет справедливости — особую комиссию, выделенную из числа членов обоих Комитетов, которой надлежало бы собирать сведения о несправедливо арестованных лицах и представлять результаты ее обследования правительству. Это предложение было ошибочным: оно ослабляло террор в то время, когда последний был еще жизненно необходим. Оно могло стать новым источником силы для контрреволюционеров и умеренных. Левые якобинцы и эбертисты единодушно выступили против предложения Робеспьера. Однако Конвент одобрил и принял его.

Слабость — действительная или кажущаяся — всегда вызывает новые атаки нападающей стороны. Демулен и его друзья потирали руки. Неподкупный капитулирует! Надо его добивать, добивать как можно скорее! Он предлагает Комитет справедливости — потребует полного прекращения террора и открытия тюрем! Демулен, всегда готовый к услугам в пользу своей фракции, снова берется за перо.

На этот раз он уже совершенно забывает чувство меры.

В № 4 «Старого кордельера» Камилл прямо говорит о том, что

революцию следует кончить, причем кончить немедленно. Это требование звучит на каждой странице, в каждой строке номера. Теперь, по мысли Демулена, республике ничто более не угрожает. Против кого приходится бороться, спрашивает он, против трусов и больных? Против женщин, стариков и худосочных? Камилл нигде не видит заговорщиков. На его взгляд, «толпа фельянов, рантье и лавочников», заключенных в тюрьмы во время борьбы между монархией и республикой, походит на римский народ, безразличие которого во время борьбы между Веспасианом и Вителлием описано Тацитом. «...Это люди, которых зрелище революции забавляет и которые с одинаковым вниманием относятся к обезглавленному королю и к казни полишинеля. Но Веспасиан, став победителем, отнюдь не приказывал рассадить эту толпу по тюрьмам...» И заключение: «...Вы хотите, чтобы я признал свободу и упал к ее ногам? Так откройте тюремные двери тем сотням гражданам, которых вы называете подозрительными...» Воздавая хвалу Робеспьеру и его предложению, Демулен считает тем не менее необходимым Комитет справедливости заменить Комитетом милосердия.

Все враги революции шумно аплодировали Демулену.

В то время еще не было известно, что за спиной Демулена, Филиппо, Бурдона и других скрывался человек, который молчал и ждал. Этот человек еще в начале зимы составил план, а остальные лишь занимались реализацией этого плана по частям. Сущность этого плана была змеиной. Начать с организации раздоров в Комитетах. Затем обезвредить Робеспьера. При нейтрализации Робеспьера разделить Комитеты, произвести их переизбрание, прибегнув в случае нужды к насилию, и, наконец, добившись своего преобладания, решительно похоронить революцию: заключить хотя бы ценою компромисса мир с внешним врагом, открыть тюрьмы, вернуть богачам их влияние, пересмотреть конституцию и заключить сделку со всеми внутренними врагами.

Глашатаем этого плана, открывавшим его постепенно перед широкой публикой, оказался Камилл Демулен. Его автором был Жорж Жак Дантон.

Робеспьер взвешивал факты. Он совещался со своими коллегами и единомышленниками. Поступали все новые материалы, которые пока что были известны только членам Комитетов; материалы эти были убийственными. По распоряжению Комитета общественной безопасности были произведены новые аресты. Причины арестов не были оглашены. Робеспьер стал подобен стальной пружине. Он напряг до последней степени нервы и мозг. Он был спокоен. Еще несколько наблюдений, еще несколько штрихов, и картина будет ясной. Да, по-видимому, он ошибался.

Ошибку придется исправлять.

Горячий Колло д'Эрбуа стрелой мчался из Лиона в Париж, загоня лошадей. Время было дорого. «Снисходительные» там, в столице, явно одолевали эбертистов. Надо было выручать своих, а заодно и себя самого. Ведь ни для кого не было тайной, что он, Колло, карая вместе с Фуше мятежных лионцев, применял массовые расстрелы картечью. В свете последних событий такие действия можно было квалифицировать как преступление! Уж если осмелились арестовать Ронсена и Венсана, значит дело зашло далеко. Симптоматично и то, что Робеспьер не ответил ни на одно из его писем. Значит, Неподкупный недоволен! Уж не спелся ли он полностью с «усыпителями»?

1 нивоза (21 декабря) Колло был уже в столице.

— Явился великан! — радостно возвестил Эбер.

Резкой походкой шел Колло по улицам Парижа в сопровождении своей свиты. Он был готов к самым решительным действиям. Чтобы поразить воображение парижан, он захватил с собой голову лионского патриота Шалье, замученного мятежниками-жирондистами. Эту священную реликвию он передал с большими церемониями в дар Коммуне. Толпы патриотов сопровождали Колло от площади Бастилии до Конвента. В Конвенте он первым взял слово и в резкой форме стал оправдывать свои действия. Он говорил сильно, смело, решительно, ничего не скрывая и вместе с тем показывая необходимость и неизбежность проводимых им репрессивных мер. Никто не осмелился ему возражать. Конвент одобрил его действия.

Не теряя времени, в тот же день Колло выступал с трибуны Якобинского клуба. Его встретили горячими аплодисментами.

— Сегодня я не узнаю общественного мнения, — сказал Колло. — Если бы я приехал тремя днями позже, меня, может быть, привлекли бы декретом к суду...

Оратор поручился за Ронсена, патриотизму которого воздал хвалу, и закончил свою речь резким осуждением «снисходительных». Мужество заразительно. Эбертисты, которые в течение целого месяца терпеливо сносили брань и угрозы, теперь перешли в контрнаступление. После Колло слово взял Эбер.

Он обрушился на Демулена, Филиппо, Фабра д'Эглантина, назвал их заговорщиками, потребовал, чтобы они были исключены из клуба. Якобинцы решили, чтобы на следующем заседании все названные Эбером лица ответили на высказанные против них обвинения. По отношению к

арестованным Ронсену и Венсану было запроотоколировано свидетельство, что общество сохраняет к ним братские отношения и разделяет их принципы.

Внезапная победа эбертистов в Якобинском клубе не была чудом. Не являлась она и исключительным результатом энергии великана Колло д'Эрбуа. Колло не мог бы добиться успеха, не заручившись поддержкой правительства. За действиями и речами Колло была видна тень Робеспьера. Неподкупный пока что молчаливо наблюдал. Но он уже составил свое мнение. Он отступался от «снисходительных». Он был готов пойти на временное соглашение с крайними. Пусть якобинцы судят друзей Дантона! Моральное осуждение будет лишь началом более серьезного дела.

Допросы арестованных депутатов, бумаги, обнаруженные в их досье, — все это давало Комитетам новые и новые материалы, туже затягивавшие петлю на шее заговорщиков. Так, в бумагах Делоне был найден оригинал подложного декрета о ликвидации Ост-Индской компании. Внимательно изучив этот документ, Амар и Жаго, возглавлявшие расследование, убедились, что он содержит следы руки Фабра д'Эглантина. Оказалось, что оригинал, подписанный Фабром, противоречил его устным выступлениям в Конвенте и как раз содержал все те выгодные для мошенников поправки, которые передавали ликвидацию дел в руки самой компании. Тщетны были все увертки припертого к стене афериста; тщетно было его смехотворное заявление о том, что он подписал оригинал, не читая. Робеспьер понял, что ловкий плут, одурачивший его, был еще более виновен, чем те, на кого он донес, для того чтобы ввести правительство в заблуждение.

Да, теперь Неподкупный уже более не сомневался. Он уловил общие контуры заговора и видел главарей, связанных с ним. Одного лишь человека он по-прежнему хотел спасти: то был его школьный друг, длинноволосый журналист Камилл Демулен.

3 нивоза (23 декабря) Клуб якобинцев был переполнен до отказа. Колло д'Эрбуа обрушился на Демулена, не называя, впрочем, его имени.

— Вы считаете патриотами людей, которые переводят вам древних историков, чтобы представить вам картину того времени, в которое вы живете? Нет, это не патриоты... Они хотят умерить революционное движение. Да разве бурю можно управлять? Отбросим же подальше от нас всякую мысль об умеренности. Останемся якобинцами, останемся монтаньярами и спасем свободу!

Колло был поддержан другими ораторами. Одновременно резким

обличениям подвергся клеветник Филиппо.

Дантон, верный своему оппортунистическому поведению и видя, какой оборот принимает дело, готов был пожертвовать своими соратниками.

— Я, — заявил он, — не составил себе никакого мнения ни о Филиппо, ни о прочих; я говорил ему самому: «Ты должен либо доказать свою правоту, либо сложить голову на эшафоте».

Робеспьер повел себя сдержаннее, чем Дантон.

— Если речь идет о ссоре частного характера, если Филиппо поддался только личным страстям и весь вопрос возник из-за самолюбия отдельных лиц, то он должен отказаться от своего мнения; но если его обвинения против Комитета общественного спасения вызваны более серьезной страстью — любовью к свободе, то это уже не ссора отдельных лиц, а борьба против правительства... Тогда общество должно выслушать этого человека, который, как я хотел бы думать, имеет честные намерения.

Но Филиппо не внял благоразумию Робеспьера и рвался в бой, закусив удила. Тогда по предложению Кутона было решено составить комиссию для разбора существа обвинения. Мост между «снисходительными» и робеспьеристами был окончательно сожжен.

На заседании якобинцев 3 нивоза Робеспьер показал себя деятелем, стоящим выше обеих антиправительственных фракций. Еще с большим блеском он сумел сделать это на трибуне Конвента два дня спустя.

5 нивоза (25 декабря) он произнес в Конvente свой доклад о принципах революционного правительства. Оратор был спокоен и одухотворен. С отточенной логичностью он формулировал свои положения. Из основного различия между конституционным и революционным правительством, различия между состоянием войны и состоянием мира он с большим искусством вывел оправдание террора. Доклад Робеспьера был прямым ответом «Старому кордельеру», ответом, облеченным в ту логичную форму, которой всегда недоставало творениям Демулена. Вместе с тем, подчеркивая серьезность переживаемых событий и несокрушимость идеи общественного интереса, доклад глухо предостерегал обе фракции как фракции, представляющие противоположные крайности: «...модерантизм, который относится к умеренности так же, как бессилие к целомудрию, и стремление к эксцессам, которое похоже на энергию так же, как тучность больного водяжкой — на здоровье».

Дантон услышал и понял предостережение. Тактику надо было менять.

Прямой удар провалился. Хватит нападков на Комитет и на Робеспьера! Робеспьер — это сила, с которой так просто не справишься. Его нельзя нейтрализовать, его необходимо привлечь. Его надо оторвать от этих ультраревolucionеров, от Колло и других. Не следует останавливаться ни перед лестью, ни перед покаянием. Надо оправдывать себя, восхвалять Неподкупного и мешать с грязью эбертистов!

Вечером в тот самый день, когда Робеспьер сделал свой доклад о революционном правительстве, Демулен писал № 5 своего «Старого кордельера». Этот номер носил двойственный характер. С одной стороны, Камилл, изображая свои старые заслуги, стремился оправдаться в возводимых на него обвинениях; в этом плане он прежде всего ссылался на Марата и Робеспьера. Он указывал, что в революции он шел так же далеко, как Марат. Он заявлял, что если бы он был преступен, то Робеспьер не стал бы его защищать. Он выражал готовность сжечь последний номер своей газеты, вызвавший неудовольствие клуба. Он восхвалял Комитет общественного спасения и указывал, что Робеспьер в своем последнем докладе, по существу, выдвигал те же принципы, за которые ратовал и он, Камилл. Вместе с тем Демулен до крайности усилил нападки на эбертистов, перейдя на личную почву и личные оскорбления. Особенно он набрасывался на Эбера, обвиняя его в грязных махинациях и в том, что, примкнув к революции лишь на последнем ее этапе, тот стремился использовать ее в своих корыстных целях. Так дантонисты приступили к осуществлению своего видоизмененного плана.

Робеспьер вступил в переговоры с Колло д'Эрбуа. Хотя Неподкупный относился резко-отрицательно к его лионским репрессиям, тем не менее он понимал, что временно пути их совпали. Колло был как раз той фигурой, которую можно было противопоставить «снисходительным». Робеспьер приоткрыл карты. Он посвятил своего нового союзника в некоторые следственные материалы и предостерег его от слишком большой близости с Эбером и рядом других лидеров фракции. Вместе с тем он заручился согласием Колло на известные послабления в отношении Камилла, которого все еще считал лишь доверчивым орудием интриги и твердо решил вызволить из беды. В результате этих переговоров Неподкупный отказался от идеи Комитета справедливости. На заседании Конвента 6 нивоза (26 декабря) по докладам Барера и Билло-Варена было вынесено решение об отмене этого Комитета. В тот же день изблеченный Фабр д'Эглантин был устранен от участия в работе комиссии по делу Шабо и других заговорщиков.

Жаркая схватка разыгралась вечером в Якобинском клубе. Первым выступил Колло д'Эрбуа. Верный своей договоренности с Робеспьером, он выделил Демулена из числа других «снисходительных». Крайне резко осудив клевету Филиппо, он в совершенно ином тоне заговорил о газете Камилла:

— Обсудим теперь другое произведение, которое послужило оружием для аристократов, — это газета Камилла Демулена, третий номер которой я увидел, вернувшись в Париж. Эта работа не получила нашего одобрения, и уже одно это является для нее достаточным несчастьем. Камилл Демулен проповедует в ней те принципы, которых вы не разделяете; а между тем он является вашим членом. Отделите вопрос о нем самом от его работы и окружите его своей средой плотнее чем когда-либо; пусть он забудет о тех пирушках, которые он устраивал вместе с аристократами; он оказал революции слишком много услуг... Я требую исключить Филиппо из Якобинского клуба и вынести порицание журналу Камилла Демулена.

Такая умеренность в отношении их ярого врага поразила эбертистов. Сам Эбер на некоторое время как бы онемел и, выпучив глаза, смотрел на Колло. Затем он опомнился и побежал к ораторской трибуне.

— Справедливости! Требую справедливости! — дико закричал он. — Как! Его, самого популярного журналиста, его, заместителя прокурора Коммуны, обвиняют в воровстве, в темных махинациях! Его, охранителя народного достояния, грязный листок обвиняет в расхищении этого достояния! Пусть клеветник поплатится за свою гнусную стряпню!

Поднялся Камилл. Потрясая в воздухе какими-то бумажками, он кричал, что располагает доказательствами своих слов.

— Я рад, — воскликнул Эбер, — что меня обвиняют в лицо! Я готов ответить на все обвинения.

Но ответить он не успел. Неожиданно попросил слова Огюстен Робеспьер, только что вернувшийся из Тулона.

— За пять месяцев моего отсутствия, — сказал он с горечью, — Общество якобинцев, мне кажется, странным образом изменилось. При моем отъезде здесь занимались государственными вопросами, а теперь клуб волнуют жалкие личные споры. Да какое же нам дело до того, что Эбер воровал, продавая контрамарки при театре Варьете?

Поднялся насмешливый шум, Замечание Огюстена лишь еще более взвинтило ярость Эбера. Возведя глаза к небу и топнув ногой, он отчаянно закричал:

— Меня, кажется, хотят сегодня убить?..

Шум усилился.

Тогда Максимилиан направил все усилия на то, чтобы восстановить спокойствие. Он указал, как опасно давать пищу мелким страстям, он заявил, что все эти личные споры отнимают время, нужное для общественного дела. Он постарался сгладить впечатление от ремарки своего брата, усомнился в надежности доказательств Демулена и, считая инцидент исчерпанным, предложил перейти к обвинениям Филиппо. Его поддержал Дантон. Следующее заседание было решено посвятить этому вопросу.

Вечером 18 нивоза (7 января 1794 г.) собрались якобинцы на свое очередное заседание. Были вызваны Бурдон, Фабр, Демулен и Филиппо; вызов был повторен троекратно, но не имел ответа. Обвиняемые отсутствовали.

— Так как лица, вызвавшие эту борьбу, избегают боя, — сказал Робеспьер, — пусть клуб отдаст их на суд общественного мнения, которое и будет судить их.

Затем, чтобы отвлечь внимание собравшихся, он предложил поставить на обсуждение вопрос иностранной политики: «Преступления английского правительства и недостатки британской конституции».

Но мысли собравшихся были заняты не тем...

Вдруг на трибуне появился бледный Камилл. Он был взволнован до последней степени и говорил дрожащим голосом.

— Послушайте! — воскликнул он. — Признаюсь вам, я просто не знаю, что со мной. Со всех сторон меня обвиняют, на меня клеветают. Относительно Филиппо, сознаюсь вам откровенно, что я от чистого сердца поверил тому, что у него сохранилось в памяти... Чему же верить? На чем остановиться? Я просто теряю голову...

Однако вслед за этим сбивчивым лепетом Камилл добавил все же, что на страницах своего журнала он дает ответ на любое, могущее возникнуть против него обвинение.

Снова поднялся Робеспьер. Он решил строго пожуричь своего школьного товарища, но все же еще раз спасти его. Подтрунив над его чрезмерным преклонением перед Филиппо, Максимилиан извинил его тем, что ему бывает присуща чисто детская наивность. Затем оратор перешел непосредственно к вопросу о «Старом кордельере».

— Камилл Демулен выпустил новый номер своей газеты, которая явится утешением для всех аристократов. Они разошлют ее в тысячах экземпляров по всем департаментам... Демулен не заслужил той строгости,

которую требуют проявить по отношению к нему некоторые лица; я даже склонен думать, что для свободы невыгодно показывать, что ей необходимо наказать его так же строго, как и серьезных преступников... Я согласен, чтобы свобода обращалась с Камиллом Демуленом, как с ветреным ребенком, который обладает хорошими наклонностями, но вовлечен в заблуждение дурными товарищами. Однако от него надо потребовать, чтобы он доказал свое раскаяние во всех этих ветреных поступках тем, что покинул бы товарищей, которые совратили его с истинного пути...

Надо поступить строго с его газетой, которой сам Бриссо не осмелился бы одобрить, а его самого сохранить в нашей среде... Я кончаю требованием, чтобы номера его газеты подверглись с нашей стороны такому же отношению, как те аристократы, которые их покупают; пусть им будет выражено презрение, заслуженное той хулой, которая в них содержится; я предлагаю обществу сжечь их посреди зала.

Речь Робеспьера, прерываемая несколько раз взрывами смеха и аплодисментами, была встречена общим бурным одобрением.

Но «виновник торжества» не пожелал ухватиться за брошенный ему якорь спасения. Забывая, что он сам предлагал сделать то же с одиозным номером его газеты, и оскорбленный теперь предложением Робеспьера, он ответил не без горечи:

— Робеспьер хотел выразить мне дружеское порицание; я тоже готов ответить на все его предложения языком дружбы. Я начну с первого. Робеспьер сказал, что нужно сжечь номера моей газеты. Отлично сказано! Но я отвечу ему словами Руссо: «Сжечь — это не значит ответить!»

Такой ответ до глубины души возмущает Максимилиана. Взбалмошный мальчишка ничего не хочет понимать и на протянутую руку отвечает укусом змеи! Хорошо, пусть же пеняет на себя.

— Если так, — парирует Робеспьер, — то я беру обратно мое предложение. Знай, Камилл, что не будь ты Камиллом, я не отнесся бы к тебе с такой снисходительностью. Хорошо, я не буду требовать сожжения номеров газеты Демулена, но тогда пусть он ответит за их содержание. Пусть он будет покрыт позором, раз он сам хочет этого! Как можно оправдывать сочинения, которыми с отрадой зачитываются аристократы? Быть может, человек, который так стойко держится за такие статьи, вовсе не является человеком, просто впавшим в заблуждение; если б его намерения были чисты, если б он написал эти статьи по простоте сердечной, то он не мог бы так долго защищать их, раз они осуждаются патриотами и раскупаются нарасхват всеми контрреволюционерами Франции. Его храбрость показывает нам, что Демулен является орудием

преступной клики, которая воспользовалась его пером для того, чтобы с большей смелостью и уверенностью распространить свой яд. Пусть нам станет известен его ответ, который он дал тем, кто бранил его статьи: «Знаете ли вы, что я продал пятьдесят тысяч экземпляров?» Я бы не стал высказывать все эти истины, если б Демулен не проявил такого упорства, но теперь необходимо призвать его к порядку. Итак, я требую, чтобы номера газеты Камилла Демулена были оглашены с трибуны этого общества.

Камилл, только что было окрылившийся, опять не на шутку струхнул.

— Но, Робеспьер, я тебя не понимаю, — быстро затараторил он, — как можешь ты говорить, что мою газету читают одни аристократы? «Старого кордельера» читали Конвент, Гора. Значит, Конвент и Гора состоят из одних аристократов? Ты меня здесь осуждаешь, но разве я не был у тебя? Не прочитывал ли я тебе мои номера, умоляя тебя во имя дружбы помочь мне советами и наметить мне путь, по которому идти?

— Ты показывал мне не все номера, — холодно ответил Максимилиан. — Я видел всего один или два. Так как я не охотник до ссор, то не захотел читать следующих выпусков: стали бы говорить, что составлял их я.

На это Демулену возразить было нечего, и он промолчал. Напряженная тишина воцарилась под низкими сводами зала якобинской церкви. Встрепенулся Дантон. Надо было как-то спасти положение, сглаживать остроту. Дантон встал со своего места и, обращаясь одновременно к Камиллу, Робеспьеру и другим присутствующим, сказал:

— Камиллу не следует пугаться нескольких строгих уроков, которые только что по дружбе дал ему Робеспьер. Граждане, пусть вашими решениями всегда руководят справедливость и хладнокровие. Судя Камилла, поступайте осторожно, чтобы не нанести губительного удара свободе печати.

Затем приступили к чтению № 4 «Старого кордельера».

Ночь между 18 и 19 нивоза Робеспьер провел, не смыкая глаз. Он подводил итоги. На следующий день он решил познакомить якобинцев с существом заговора. Пора сорвать маски! Достаточно бродить вокруг да около! Пусть знают якобинцы, с чем и с кем им надо бороться. Завтра он изобличит Фабра. А Дантона? Нет, с этим следует еще подождать... Его час не пробил. Пускай вокруг него образуется пустота, и тогда он будет бессилён.

На следующий день состоялось чтение 3-го номера «Старого

кордельера». Якобинцы слушали с напряженным вниманием. По окончании чтения слово взял Робеспьер.

— Бесплезно читать пятый номер, — сказал он. — Мнение о Камилле Демулене должно быть уже составлено всеми. Вы видите, что в его работах смешаны самые революционные принципы с самым гибельным модерантизмом... Демулен дает в своей газете странную смесь истины и обмана, политической мудрости и явных абсурдов, здравых убеждений и присущих ему одному химер. Поэтому важно не то, исключат якобинцы Камилла или оставят в своей среде: ведь здесь вопрос идет только об одном человеке; гораздо важнее добиться торжества свободы и выяснения истины. Во всем этом споре больше внимания обращалось на отдельных лиц, чем на интересы всего общества. Я не хочу ни с кем ссориться. На мой взгляд, и Эбер и Камилл одинаково не правы...

Робеспьер умолкает и некоторое время стоит неподвижно, закрыв глаза. Затем продолжает тихим, спокойным голосом, заставляющим оцепенеть многих из присутствующих.

— Самое страшное заключается в том, что во всех ведущихся сейчас спорах и сварах совершенно отчетливо вырисовывается рука, тянущаяся из-за рубежа... Республика борется против враждебной иноземной клики, вдохновляющей две группировки, которые делают вид, что ведут между собою борьбу. Вот как они рассуждают: «Все средства хороши, лишь бы только нам удалось достичь нашей цели». Чтобы лучше обмануть весь народ и бдительность патриотов, они сталкиваются между собой, как разбойники в лесу. Те из них, которые обладают пылким характером, склонны ко всяким крайностям и предлагают ультрареволюционные меры; а те, у кого мягкий и умеренный характер, предлагают меры недостаточно революционные. Они борются друг с другом; но на самом деле им все равно, кто победит: обе их системы одинаково ведут к гибели республики; они добиваются определенного результата: роспуска Национального Конвента... У этих двух партий достаточно главарей, и под их знаменами объединяется много честных людей, присоединяющихся к той или другой партии в зависимости от разницы в их характере.

Пока Робеспьер говорит, кое-кто начинает нервничать. Фабр д'Эглантин встает со своего места. Робеспьер, заметив его движение, предлагает обществу просить Фабра остаться на заседании. Тогда Фабр направляется к ораторской трибуне.

Видя это, Робеспьер заявляет с высокомерным видом:

— Хотя Фабр д'Эглантин и приготовил уже свою речь, но моя еще не кончена. Я прошу его подождать... — И он продолжает пространно

описывать обе намеченные им группировки заговорщиков.

— Поборники истины,— заканчивает оратор свою мысль, — наш долг — раскрыть народу происки всех этих интриганов и указать ему на тех жуликов, которые пытаются его обмануть. Я заявляю истинным монтаньярам, что победа у них в руках и что нужно раздавить только нескольких змей. Будем думать не об отдельных лицах, а о всей родине!

Аплодисменты и крики одобрения потрясают своды зала.

Оратор на секунду замолкает и вдруг делает такое антраша, которого от него не ожидал ни один из присутствующих. Отвлекая гнев якобинцев от головы Демулена, он направляет его в несколько иную сторону.

— Я призываю общество обсуждать только главный вопрос о заговоре и не спорить больше о газете Камилла Демулена. — Робеспьер пристально смотрит на ерзающего в ожидании своей очереди Фабра. — Я требую, чтобы этот человек, который всегда стоит с лорнеткой в руках и который так хорошо умеет представлять интриганов на сцене, дал здесь свои объяснения; мы увидим, как он выпутается из этой интриги.

Удар был неожиданным и молниеносным. Фабр сначала попятился назад, затем, вдруг потеряв всю свою самоуверенность, почти ошупью направился к опустевшей трибуне. Голос его дрожал, язык заплетался.

— Я понял из речи Робеспьера, — промямлил Фабр, — только то, что существует партия, разделенная на две части: ультраревolucionеры и умеренные. Я готов ответить на все, когда он уточнит свои обвинения; но пока меня никто не обвиняет, я буду хранить молчание до тех пор, пока не буду знать, по какому вопросу я должен представить объяснения. Меня обвиняли в том, что я оказываю влияние на Камилла и сотрудничаю в его газете. Я заклинаю Демулена сказать, внушал ли я ему когда-нибудь какую-либо идею.

Он продолжает сбивчиво бормотать, отводя от себя обвинение в сношениях с Филиппо и Бурдоном. Но его уже не слушают. Члены собрания постепенно начинают расходиться, и оратор вскоре остается один на своей трибуне.

Из числа присутствующих на заседании клуба 19 нивоza два человека по крайней мере прекрасно понимали, на что намекал Робеспьер. Одним из этих двоих был сам Робеспьер, другим — Фабр д'Эглантин. Но Робеспьер ограничился намеком, не желая еще полностью открывать завесу; Фабр же боялся каких-либо уточнений больше всего на свете, ибо они были для него равносильны гибели. Слушая последние слова Робеспьера, литератор и любитель искусств чувствовал прикосновение ножа гильотины к своему

затылку. Все рушилось. Оставалось идти домой и ждать ареста...

Тайное следствие заканчивалось. Робеспьер, нарисовавший страшную картину заговора перед потрясенными якобинцами, видел этот заговор перед собой. Святая невинность! Как долго он думал, что борьба, ведущаяся сейчас в Конвенте и в клубе, — это борьба идей. Нет, это было нечто совсем другое, грязное, страшное, омерзительное... Фабр д'Эглантин был одним из главарей заговора. Но был там и главарь покрупнее, человек, остававшийся в тени. Его имени Неподкупный не решался произносить даже самому себе. Однако факты были упрямыми.

А Камилл? Бедный взбалмошный юнец, жертва собственного легкомыслия, слепое орудие в руках порочных и бесстыжих демагогов. О Камилл! Если бы ты одумался, если бы ты сам помог спасти себя! Но нет. Надежд на это оставалось все меньше и меньше.

21 нивоза (10 января) стараниями эбертистов клуб исключил Демулена из своего состава. Когда один из членов предложил ту же меру по отношению к Бурдону, а другой этому воспротивился, Максимилиан использовал момент, чтобы защитить Камилла. Он выразил удивление, что, отнесясь так строго к Демулену, оказывают столько снисходительности к Бурдону и Филиппо. Где и когда Филиппо оказал большие услуги отечеству? Да и кто юн, как не плохой воин жирондизма, достаточно дискредитировавший себя! Камилл Демулен совсем другое дело! Он по крайней мере никогда не тянул в сторону аристократов. Если ему случалось писать контрреволюционные статьи, то нельзя отрицать, что он писал также и в пользу революции и служил делу свободы. Филиппо менее опасен, чем Камилл, со стороны таланта, потому что таланта у него нет, тогда как у Демулена его много, и следует, конечно, пожалеть, что последний *не всегда* служил на общее благо. Впрочем, он, Робеспьер, устал от Всей этой борьбы, чуждой соображениям общественного блага. Есть другие предметы, более достойные внимания республиканцев и свободных людей, например рассмотрение недостатков английской конституции или происков, направленных к уничтожению Конвента. В сравнении с этим что значат *частные интересы* людей, желающих изгнать из клуба Камилла Демулена и Бурдона?

Это был весьма ловкий ход. Робеспьер делал вид, будто думает, что решение, уже принятое, только подлежит принятию. Когда один из якобинцев заметил, что Камилл уже исключен и речь не о нем, Робеспьер тотчас возразил:

— Э, да что мне за дело до того, что Камилл исключен, если, по моему

мнению, он не может быть исключен один, если я стою на том, что человек, исключению которого противятся, гораздо более виновен, чем Демулен? Все добросовестные люди должны заметить, что я не защищаю Демулена, а противлюсь только исключению его одного. Нужно разоблачить всех интриганов без исключения и поставить их на свое место.

Так осторожно, но безошибочно действовал Робеспьер. В заключение он предложил собранию признать свое постановление недействительным и поставил на очередь вопрос о преступлениях британского правительства... В зале прошло минутное волнение, но мнение Робеспьера еще раз одержало верх, и клуб отменил решение об исключении Демулена.

Но это было уже в последний раз. Спасать человека, который не хотел спасаться, было для Робеспьера делом почти непосильным. К тому же заносчивый Камилл и не думал испытывать благодарности к своему защитнику. Он дулся на него, он не мог ему простить сцены во время суда над «Старым кордельером». Упрямо следуя за ловко маневрировавшим Дантоном и хитрым Фабром, Камилл мечтал взять реванш у Робеспьера и прямо шел навстречу своей неизбежной гибели.

Между тем политика попустительства в отношении Демулена была чревата для Неподкупного серьезными неприятностями и даже ставила его под прямую угрозу. Эбертисты и левые якобинцы стали возлагать на него ответственность за контрреволюционные намеки «Старого кордельера». Почему этот непреклонный судья столь снисходителен к Демулену, явно запятнавшему себя враждебным отношением к развитию революции? Что за привилегия? Почему личность Камилла следует *отделять* от его статей? Потому, что он *капризный ребенок*? Как бы то ни было, но Демулен клеветает на революцию, а Робеспьер защищает Демулена!.. И вот кое-кто уже начинал подозревать самого Робеспьера в умеренности.

24 нивоза (13 января) член Конвента, драматург и изобретатель республиканского календаря, Фабр д'Эглантлин был арестован органами Комитета общественной безопасности и препровожден в Люксембургскую тюрьму. Паника охватила «снисходительных». Когда на следующий день Дантон совершил величайшую неосторожность, выступив в защиту своего друга, Билло-Варен сурово прервал его словами:

— Горе тому, кто сидел рядом с ним!

Эбертисты торжествовали. Но торжество их было преждевременным. Незримая цепь крепко приковывала их к «снисходительным». Это была цепь иностранного заговора, в наличии которого теперь Робеспьер не сомневался. Оба конца этой цепи одинаково влекли свои жертвы на

гильотину. Суд якобинцев, как и предвидел Робеспьер, был лишь прелюдией к другому суду — Революционному трибуналу.

Глава 5

Удар нанесен

17 пловидоза (5 февраля) Максимилиан Робеспьер выступил с большой речью в Конвенте. Эта речь явилась результатом размышлений многих дней и ночей. Она отражала опыт последних месяцев революции и должна была определить направление дальнейшего пути правительства якобинской диктатуры. Речь была посвящена принципам государственной морали.

— Пора точно наметить цель нашей революции, — говорил Робеспьер, — и установить предел, которого мы должны достигнуть.

В чем заключается та цель, к которой мы стремимся? Это — мирное наслаждение свободой и равенством.

Пусть Франция, бывшая некогда великой нацией среди угнетенных, затмит славу всех когда-либо существовавших свободных народов и станет примером для наций, угрозой для тиранов, утешением угнетенных и украшением всей вселенной. Скрепив нашу работу своей собственной кровью, мы увидим, быть может, первый проблеск зари всемирного счастья... Вот наши стремления, вот наша цель.

Но, чтобы цель оказалась достижимой, необходима *добродетель*, то есть любовь к родине и ее законам, забота о равенстве и укреплении республики. Добродетель предполагает высокий уровень общественной морали: все безнравственное является политически непригодным, контрреволюционным.

Подчеркивая, что добродетель должна существовать и в народе и в правительстве, Робеспьер выводит отсюда, что народное представительство обязано с доверием относиться к народу и быть строгим к самому себе.

Но в современных условиях добродетель оказывается неотделимой от террора.

— Если в мирное время опорой народного представительства является добродетель, то во время революции его опорой является и добродетель и террор: добродетель — ибо без нее террор может стать губительным; террор — ибо без него добродетель бессильна. Террор — это не что иное, как быстрая, строгая и непоколебимая справедливость; следовательно, он проявление той же добродетели; он является не каким-то особым принципом, а скорее выводом из основного принципа демократии, применяемого родиной в крайней нужде.

С ужасающей логикой Робеспьер отвечает тем, кто нападает на террор,

кто считает его несовместимым с идеей свободы, кто требует милосердия.

— Здесь говорили, что террор — это опора деспотизма. Но разве наше правительство сколько-нибудь похоже на деспотическое? Да, но лишь в той мере, в какой меч, сверкающий в руках героя свободы, напоминает блеск оружия приспешников тирании. Когда деспот управляет своими озверевшими подданными при помощи террора, то со своей точки зрения он прав. Применяя террор к врагам свободы, вы тоже правы как основатели республики.

Революционное правительство — это деспотизм свободы против тираний...

Как легко было бы считать несколько побед, одержанных патриотами, концом всех наших опасностей. Но взгляните на наше истинное положение, и вы почувствуете, что мы более чем когда-либо нуждаемся в строгости и бдительности. Все правительственные распоряжения встречаются с глухим недоброжелательством; роковое влияние иностранцев стало более скрытым, но нисколько не уменьшилось и не стало менее губительным...

Так постепенно Неподкупный подводит свою речь к цели, а целью является нанесение сокрушительного удара. И вот он его наносит.

— Внутренние враги народа разделились на две партии и стали как бы двумя отрядами одной и той же армии. Они движутся разными дорогами и несут различные знамена, но цель их — одна и та же. Эта цель заключается в разрушении народного правительства, в уничтожении Конвента и, следовательно, в торжестве тирании. Одна из этих клик толкает нас к слабостям, другая — ко всяким крайностям; одна хочет превратить свободу в вакханку, другая — в проститутку.

...Какая же разница между крайними и теми, кого вы называете умеренными? Это все слуги одного и того же хозяина, или, если хотите, сообщники одного заговора, которые делают вид, что поссорились между собою для того, чтобы лучше скрыть от вас свои преступления. Судите их не по разнице в их речах, а по тождеству их целей. Совместными усилиями клика умеренных и клика контрреволюционеров стараются ввергнуть нас то в одну, то в другую крайность. Народные представители могут избежать всех этих подводных камней, ибо правительство должно всегда оставаться мудрым и справедливым; а если оно сохранит эти качества, то оно может быть вполне уверенным в сохранении народного доверия.

Эта речь Робеспьера подводила черту. Она не оставляла сомнений в том, что решение принято. Заговор очевиден, заговорщики ясны, лица не названы, но уже обречены. Кто не следует добродетели, чьи поступки и

мысли антиморальны, тот должен пасть. Революция может выполнить свои задачи, только сокрушив всех тех, кто безнравствен; слабым и развращенным не место в будущем царстве свободы и равенства.

Страшная сила этой речи, как и особенность всего мышления Робеспьера, состояла в том, что из положений, на первый взгляд *абстрактных*, он делал строго *практические выводы*. Туманная формула «добродетель» в его устах превращалась в совершенно отчетливое, конкретное понятие, из которого следовали не менее конкретные заключения. Теперь и те, кто требовал отмены террора, и те, кто хотел все жизненные трудности разрешить исключительно посредством «святой гильотины», в одинаковой мере знали, что их ожидает. Пока Робеспьер не был уверен, пока он не составил для себя вполне ясной картины, он мог колебаться и сомневаться. Когда же он *сформулировал* то, что тревожило его душу, когда его сомнения вылились в четкие понятия и определения, все было кончено. Теперь обреченные, пусть они даже были друзьями в прошлом, не могли рассчитывать на его жалость. Принципы были для Неподкупного выше личностей, личности имели цену и право на жизнь только в том случае, если отвечали принципам.

Правительственные Комитеты действовали с энергией и решительностью. Новые заговорщики присоединялись к своим ранее арестованным единомышленникам. Иностранные банкиры, их агенты, их покровители, сколь бы ни было высоким их положение, шли одним проторенным путем. Проли и Дефье, арестованные в первый раз еще в конце сентября и освобожденные затем по ходатайству Эро де Сешеля, были арестованы вторично. К ним присоединился их соумышленник Перейра. Сам Эро был арестован позднее. Космополит Клоотс, которого Робеспьер громил в начале декабря, был последовательно исключен из Якобинского клуба, выведен из состава Конвента, а затем также подвергся аресту. Доносчик Шабо, заключенный в одиночной камере Люксембургской тюрьмы, с тревогой и отчаянием следил за всеми этими событиями. Он бомбардировал Робеспьера письмами, которые посылал то ежедневно, а то и по два раза в день, напоминая, что его, как разоблачителя заговора, обещали пощадить. Он клялся в любви и преданности революции, проклинал обманувших его иностранцев и коллег, выражал готовность развестись с женой), умоляя Робеспьера о том, чтобы тот взял его под свою защиту и не дал ему погибнуть. С таким же успехом разоблаченный аферист мог обращаться к каменному изваянию. Его письма оставались без ответа. Для Неподкупного Шабо и другие лица,

арестованные в течение последних месяцев, были уже потенциальными трупами.

Робеспьер и его сторонники, приняв определенные решения, готовились к тому, чтобы их осуществить. Им было известно тяжелое положение широких трудящихся масс города и деревни. Они хорошо знали, что народ, поставивший их у власти, станет поддерживать их лишь в том случае, если они, со своей стороны, будут осуществлять программу самых различных слоев этого народа. Между тем беднота города и деревни пока что получила от революции очень мало. Не потому ли эбертисты, отражавшие в какой-то мере настроения этой бедноты, пользовались популярностью, несмотря на демагогический характер своей программы? Для того чтобы выбить почву из-под ног Эбера и его друзей, для того чтобы показать всему народу, что революционное правительство идет правильным путем, нужно было не только сокрушить «снисходительных» и обезглавить иностранцев, нужно было в первую очередь дать обездоленному санкюлоту хлеб и землю. Тогда народ, включая беднейшие прослойки, сам увидит, кто его друзья и кто враги. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и их соратники, став еще в сентябре 1793 года на путь, предложенный левыми якобинцами, готовились следовать дальше по этому пути.

В результате появились вантозские декреты.

8 вантоза (26 февраля) на трибуну Конвента поднялся Сен-Жюст. Он выступил от имени Комитета общественного спасения. Его речь, посвященная дальнейшему укреплению революционной диктатуры и сокрушению всех ее врагов, во многом напоминала речь Робеспьера от 17 плювиоза: обе они были вдохновлены одинаковыми мыслями и настроениями. Но, разгромив «снисходительных» и «ультрареволюционеров», Сен-Жюст пошел дальше, чем Робеспьер. Он предложил конкретную программу развития и углубления революции. Правительственным Комитетам предлагалось рассмотреть дела всех политических заключенных, арестованных после 1 мая 1789 года, и выяснить, кто из них может быть освобожден, а кто должен быть признан врагом революции. Всю собственность последней категории лиц следовало немедленно конфисковать. Эта собственность подлежала безвозмездной передаче в руки неимущих патриотов соответственно списку, заранее составленному Комитетом общественного спасения на основании сведений, полученных с мест. Таким образом, насущные нужды беднейших слоев населения декреты предполагали быстро удовлетворить за счет

имущества врагов народа.

Важность вантозских декретов и с принципиальной и с фактической точки зрения не может быть преуменьшена. Если бы удалось провести их в жизнь, демократическая база революции была бы значительно расширена прежде всего за счет новых изменений в деревне. Было бы резко увеличено количество мелких собственников, созданных революцией, в первую очередь собственников-крестьян, которые смогли бы оказать революционному правительству существенную поддержку. Однако вантозские декреты одновременно с этим должны были вызвать, и действительно вызвали, резкое недовольство со стороны самых различных категорий собственников — от остатков старой контрреволюционной буржуазии и дворянства до новой городской буржуазии и зажиточного крестьянства включительно. Все эти прослойки собственников, занимающиеся незаконными махинациями и нарушением правительственных постановлений в отношении торговли, находились под постоянной угрозой зачисления в разряд «врагов революции» и, следовательно, потери всей своей собственности. Понятно, что исполнение декретов натолкнулось на сопротивление и саботаж как в Конвенте, так и в самом правительственном аппарате. Вантозские декреты, практически так никогда и не проведенные в жизнь, резко увеличили ненависть новой буржуазии к революционному правительству и значительно ускорили приближение его гибели.

Однако в то время, когда декреты были опубликованы, ликование народа казалось всеобщим. Массы санкюлотов встретили новые декреты с огромным сочувствием. Торжествовали и левые якобинцы, программу которых фактически поддерживал Сен-Жюст в своих требованиях. Шомет называл эти декреты «благодетельными, одними из самых демократических, какие только существуют».

Иначе восприняли вантозские декреты эбертисты. Эбер и его друзья не скрывали своего раздражения. Декреты, склонявшие симпатии бедноты на сторону Робеспьера и Сен-Жюста, были для них ножом, приставленным к горлу: ведь только на эти симпатии они и рассчитывали, ведя борьбу против революционного правительства! Теперь почва, казалось, уходила из-под их ног. Надо было действовать, и действовать немедленно! Эбер начал повсюду поднимать истошные вопли против партии «усыпителей», под которой подразумевал робеспьеристов; подручные Эбера, Ронсен и Венсан, недавно вырвавшиеся из тюрьмы, где они тайно установили контакт с группой Проли — Перейра, пытались возбуждать общественное мнение улицы; крайний террорист Карье, отозванный из Нанта за

неоправданные жестокости, готовился нанести удар по «усыпителям». в клубе Кордельеров.

В те дни, когда Сен-Жюст с трибуны Конвента провозглашал расширение революции, а эбертисты накапливали силы для попытки взять реванш, и Робеспьер и Кутон оказались временно выбитыми из седла: оба были больны.

Максимилиан лежал на своей спартанской постели и смотрел в окно воспаленным взором. Его мучил жар. Болезнь подкралась неожиданно, как раз в тот самый момент, когда его присутствие и в Конvente и в клубе было совершенно необходимым. Ну, не насмешка ли это судьбы? Он лежит здесь, беспомощный и полуживой, его поят лекарством и обкладывают компрессами, а там, быть может, решается судьба дела всей его жизни. Заговорщики уже окружены, но не «прорвут ли они опоясавшую их цепь? Справится ли Сен-Жюст один с врагом, сумеет ли он выдержать напор до прихода подкрепления? Для Робеспьера не было тайной, что оппозиция существует и в правительстве, оппозиция пока, правда, глухая. Он знал, что в Комитете общественной безопасности он мог безоговорочно рассчитывать только на Леба и, быть может, Давида. А другие? Амар, с которым он повздорил из-за обвинительного акта простив Фабра д'Эглантина, коварный Вадье, который смотрит на него всегда с каким-то скрытым ехидством, Вулан, бегущий от его взгляда? Да что там говорить, а разве в самом Комитете общественного спасения, в его «министерстве», как некоторые называют Комитет, разве все так уж безоговорочно единодушны? Единодушных только трое: он, Робеспьер, и его два ближайших сподвижника, два других триумвира. Что же касается остальных... Его земляк Карно всегда надут, всегда выглядит обиженным; Колло д'Эрбуа и Билло-Варен пока что союзники, но кто не знает об их близости к «ультрареволюционерам»? Другие, как правило, молчат и послушно соглашаются с «большинством». Но кому известно, что будет завтра? Жирондисты когда-то обвиняли его в стремлении к тирании; не называют ли его сейчас за глаза тираном?

Да... Сколько злобы, сколько вражды! Время прошло, но злоба сохранилась. Она спряталась, ее окутало лицемерие, но она не стала от этого меньшей. Неподкупный вспоминает, как некогда, в ранней юности, начинающий адвокат, сколько претерпел он от недоброжелательства своих старших коллег только за то, что отличался от них, только за то, что его любил народ. Народ!.. Он и сейчас остается единственным его утешением. Один лишь народ не лицемерит, один лишь народ ему верит и его любит. Вот и теперь, сколько простых людей приходит ежедневно справляться о

его здоровье, сколько депутатий от собраний тружеников выражают ему заботу и-внимание, желая скорейшего выздоровления и новых сил... Разве можно оставаться равнодушным к этому?..

Взор Максимилиана старается отыскать в голубеющих сумерках там, за окном, шпиль якобинской церкви. Нет, он не может разглядеть его, хотя знает, что шпиль должен быть отсюда виден. Его глаза, уставшие от постоянной работы, от непрерывных ночных бдений, окончательно испортились... О, как бы он хотел знать, что происходит сейчас там, под этим шпилем! Быть может, в Клубе якобинцев разыгрывается сражение, битва не на жизнь, а на смерть!..

Жар одолевает больного. Мысли путаются, красные круги вертятся перед глазами, затем вдруг все проваливается в какую-то черную горячую пропасть.

Буря действительно разыгралась, но местом ее оказался не Якобинский клуб, а клуб Кордельеров...

Давно уже не видели в клубе такого стечение народа, как сегодня, 14 вантоза. Казалось, все ждут чего-то необычного. И вожаки эбертистов постарались не обмануть ожиданий рядовых членов.

Началось оглашение проспекта новой газеты «Друг народа», посвященной памяти Марата. Газета должна была служить продолжением прежнего «Друга народа». Ей надлежало уделять основное внимание разоблачению государственных служащих и в особенности народных представителей, изменивших своему долгу. Решили, что ответственность за газету будет лежать не на отдельном редакторе, а на всем обществе; кордельеры сами будут отвечать всякому, кто осмелится нападать на содержание газеты. Решение принято — все аплодируют ему.

Но вот приносят черное покрывало. Для чего оно? Им решили завесить Декларацию прав. Завеса сохранится до тех пор, пока народ не уничтожит клику «снисходительных» и не добьется восстановления своих прав. Новые аплодисменты.

На ораторскую трибуну быстро поднимается Венсан. Он громит «снисходительных». Он устанавливает полное тождество между взглядами их лидеров; он говорит, что их заговор более опасен, чем заговор Бриссо. Только «святая гильотина», эта благодатная «национальная бритва», может спасти положение и предотвратить гибель свободы!

Затем встает страшный Карье. Сверкая глазами, повелительным тоном обличает он тех, кто хочет сломать эшафоты только потому, что сам боится на них попасть.

— Восстание, — кричит он, — святое восстание, вот что надо противопоставить злодеям!

Слово произнесено. Многие переглядываются, но тем не менее все рукоплещут... Восстание! Но против кого же? Задумываются ли над этим рядовые кордельеры? Против кого можно восставать, если не против правительства? Значит, оплевывание «снисходительных» не более чем предлог для перехода к атаке против Робеспьера! Если кто в этом и сомневается, то Эбер, сменивший на трибуне Карье, спешит рассеять всякие сомнения.

— Вы содрогнетесь от ужаса, — говорит он, — когда узнаете адский замысел этой клики; у него много разветвлений, и в нем замешано большее число лиц, чем вы думаете.

Вот на одно из таких «разветвлений» он и нацеливает внимание своих слушателей.

— Самыми опасными являются не воры, а честолюбцы. Те честолюбцы, которые выдвигают вперед других людей, а сами остаются на заднем плане; чем большей властью они завладевают, тем ненасытнее они становятся; они стремятся к единоличному господству!

Намек более чем прозрачный: о ком же может идти речь, кроме Робеспьера? Оратор, все более возвышая голос, стараясь сам подбодрить себя, продолжает:

— Я назову вам этих людей, заткнувших рот патриотам в народных обществах...

Однако он никого не называет. Несколько секунд длится тягостное молчание. Ярость борется со страхом. Наконец, овладев собой, он продолжает более спокойным голосом, как бы оправдываясь перед присутствующими:

— Вот уже два месяца, как я сдерживаюсь, но больше сердце мое выдержать не может. Я знаю, что они замыслили; но я найду защитников.

— Да, да, — раздалось несколько голосов, — мы защитим тебя! Не бойся ничего, отец Дюшен, говори начистоту! Мы, мы сами станем отцами Дюшенами и нанесем удар! Говори, мы тебя поддержим!

Но ни обещания поддержки, ни уверения в преданности не могут заставить эти искривленные, подергивающиеся уста произнести то имя, которое все ждут и боятся услышать. Нет, он не может, у него не хватает сил. Он оказывается в состоянии произнести только фразу, смягченную, чуть ли не извиняющую. Он говорит о «...человеке, вероятно впавшем в заблуждение...», и смущенно останавливается. Затем уже без всякого подъема, внутренне понимая, что отсутствием мужества сам убил

вызванный началом своего выступления порыв, он напоминает, что этот человек защищал Камилла Демулена. Никакой более серьезной вины в своем смятенном уме он отыскать не может.

Но заканчивает Эбер, к концу своей речи нашедший известную дозу мужества, тем же призывом, что и Карье:

...Восстание! Да, именно восстание! Кордельеры первыми подадут сигнал, который должен сразить всех угнетателей!

Речь, как и предыдущие, встречена аплодисментами. Но момент упущен. Энтузиазм угас. Всем ясно, что если он, их вождь, их признанный глава, струхнул и не смог произнести даже *имени*, то на что же следует надеяться?

Венсан, внимательно наблюдавший за аудиторией, видит вытянутые лица и бегающие глаза. Испугались! Или, быть может, здесь присутствуют шпионы? И вот, чтобы «сорвать маски с интриганов», он в сопровождении нескольких лиц совершает обход зала, требуя предъявления членских билетов. Напрасная мера! Разве не было видно, что все кончено, еще не начавшись?

Надежды эбертистов на поддержку масс были тщетными. Париж не пошевельнулся. В отчаянии вожаки попытались увлечь Коммуну и явились в ратушу с заявлением, что будут держаться наготове и сохраняют Декларацию прав завешенною до тех пор, пока окончательно не истребят врагов народа. Однако Шомет, выразивший мнение левых якобинцев — членов Коммуны, не только отказался примкнуть к восстанию, но и резко осудил авантюру эбертистов. Не поддержали их и секции. Все рушилось. Нужно было срочно трубить отбой.

Между тем Комитет общественного спасения готовился нанести заговорщикам смертельный удар. Член Комитета Колло д'Эрбуа был взволнован. Все знали о его приверженности к эбертизму. Но что мог сделать Колло? Один в поле не воин. Выступить заодно с эбертистами значит погубить себя. Губить себя не хотелось. Что же, не сумели сделать дела как следует, пусть пеняют на себя; ему остается только умыть руки. И, судорожно сжимая кулаки, усилием воли сдерживая свой огненный темперамент, Колло сдается. Мало того: он даже соглашается во главе депутации якобинцев отправиться в клуб Кордельеров в качестве карателя.

Кордельеры встречают депутацию бурными аплодисментами. Колло поднимается на трибуну; аплодисменты нарастают.

— Пусть тот, кто завесил Декларацию прав, — говорит Колло, — укажет нам тирана!

Он объясняет, что настоящее время в корне отлично от дней 31 мая — 2 июня 1793 года. Тогда восстание явилось необходимым потому, что Гора была угнетена; теперь же Конвент в целом отстаивает интересы народа. Против кого же поднимать восстание? При этом смуту сеют в то время, когда идет война, когда Питт пророчит французам антиправительственный мятеж!

Намек ясен. И тут разыгрывается безобразная сцена. Трепещущий Эбер пытается объяснить, что, говоря о восстании, он-де имел в виду только *более тесное единение* с монтаньярами, якобинцами и всеми добрыми патриотами. Это было позорной уверткой, трусливым отказом от своих слов. Карье также уверял, что газеты неверно изобразили предыдущее заседание кордельеров, что речь шла лишь об *условном* восстании. Кого могли убедить подобные фразы?

Кордельеры отступаются от своих незадачливых вождей. Под крики «Да здравствует республика!» они по-братски приветствуют депутацию якобинцев. Завесу, закрывавшую Декларацию прав, сдергивают и разрывают на куски: их вручают Колло, который должен показать этот трофей в Клубе якобинцев.

Позор унижения не может спасти от гибели. 23 вантоза (13 марта) Сен-Жюст произносит обвинительную речь, каждое слово которой отдает металлом.

— Для захвата виновных уже приняты меры, — кончает оратор. — Они полностью оцеплены.

В ночь с 23 на 24 вантоза Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и другие были арестованы. Карье пока пощадили, пощадили только потому, что разыскания в области его нантских казней должны были по аналогии возбудить вопрос и о казнях лионских. Это затронуло бы Колло д'Эрбуа, а трогать Колло не хотели: члены Комитета вынуждены были идти на известные взаимные компромиссы.

Максимилиан выздоравливал. Он уже встал с постели и подолгу сидел за своим столом, вдыхая через открытое окно свежий весенний воздух. Иногда он прогуливался в сопровождении Элеоноры, радуясь веселым солнечным лучам. Приближался месяц жерминаль — время прорастания, время постепенного оживления природы, время соков весны... Домашние старались оберегать Максимилиана от вторжений извне. Куда там! Разве

мог он сейчас оставаться изолированным и спокойным? С Сен-Жюстом он виделся ежедневно. Только теперь он начинал по-настоящему понимать и ценить этого стального человека, путь которого так тесно переплелся с его путем. Сен-Жюст был неутомим и непреклонен. Его мнения совладали с мнениями Неподкупного.

Кризис миновал. 24 вантоза Робеспьер впервые после болезни посетил Якобинский клуб. Его встретили овацией. Еще очень слабый, он все же взял слово. Что было предметом его забот? Он опасался, как бы, громя эбертистов, не затронули многих слишком пылких, но искренних патриотов.

— Если человек, — сказал он, — всегда поступал мужественно и бескорыстно, я требую убедительных доказательств, чтобы поверить, что он изменник... Было бы величайшею опасностью приплетать патриотов к делу заговорщиков...

Как благородно и мудро это было сказано! Скольких, быть может, бедствий избежали бы в дальнейшем силы демократии, если бы Робеспьер позднее вспомнил об этих словах, произнесенных им в день 24 вантоза!

Глава 6

Разгром

1 жерминаля (21 марта) начался процесс эбертистов. Это был процесс, перед началом которого и прокурору, и присяжным, и председателю суда все было уже вполне ясно — от предпосылок до выводов и меры наказания включительно. На скамье подсудимых оказалось всего двадцать человек, в числе которых находились Эбер, Ронсен, Венсан, Клоотс и Моморо; к ним присоединили подозрительных иностранцев, фабрикантов и банкиров — Кока, Перейру, Дефье, Проли и связанного с ними писателя Дюбюиссона; кроме того, был привлечен ряд второстепенных и случайных лиц. Чтобы выставить эбертистов в самом неприглядном виде перед народом, обвинительный акт был составлен таким образом, что серьезные политические разоблачения в нем перемешивались с обвинениями в мелком воровстве, житейской нечистоплотности и т. п. Особенно это относилось к Эберу, которого, между прочим, винули в присвоении... у рубашек, воротничков и матрацев, которые одна Женщина одолжила ему в дни его бедности.

Венсан, Ронсен и Моморо держались во время процесса гордо и независимо. Эбер был подавлен. Он казался изнуренным и постаревшим. Вот что сообщается о его поведении одним полицейским агентом, собиравшим сведения об отношении общественности к процессу.

«...Говорят, что Эбер в своем кресле выражается подобно членам британского парламента лишь при помощи «да» и «нет» и что он похож скорее на дурака, чем на умного человека. Контраст между общественным негодованием, ныне его подавляющим, и почти всеобщей любовью, предметом которой он был раньше, и особенно стыд превратиться в предмет общественных сарказмов над аристократией, а также горе от сознания, что гибнет сам, после того как погубил столько людей, всего этого достаточно, чтобы поразить его чем-то вроде глупости...»

Действительно, общественное мнение было целиком против заговорщиков. Толпа, осаждавшая Революционный трибунал в течение всех трех дней процесса, бурно приветствовала решение присяжных и вынесение смертного приговора почти всем обвиняемым.

Казнь состоялась 4 жерминаля (24 марта) на площади Революции. Улицы, по которым проезжали телеги с осужденными, были запружены народом. Рукоплескания толпы смешивались с криками «Да здравствует

республика!». Все осужденные, за исключением Эбера, встретили смерть мужественно.

Разгром и казнь эбертистов воодушевили «снисходительных». Камилл проявлял свою буйную радость, издеваясь над поникшим «Отцом Дюшеном». Бурдон, Филиппо и другие также активизировали антиправительственную деятельность. Значит, правда была на их стороне! «Ультраревolucionерам», первыми против которых ополчились они, «снисходительные», пришел каюк! Никогда заблуждение не бывало столь бесосновательным. Разве они забыли, что говорил Неподкупный 19 нивоза, а затем повторял месяц спустя? Разве можно было забыть выражение лица, с которым Сен-Жюст в своем вантозском докладе бросил намек, после которого головы всех членов Конвента повернулись в сторону Дантона, намек, подобный внезапному удару ножа гильотины?

— Есть один среди нас, — отметил Сен-Жюст, — который питает в своем сердце замысел заставить нас отступить и сокрушить нашу деятельность. Он разжирел на народных бедствиях, он наслаждается всеми благами, оскорбляет народ и совершает триумфальное шествие, увлекаемый преступлением, к которому старается возбудить наше сочувствие, так как уже нельзя замолчать безнаказанность главных виновников...

Разве не должны были от этой реплики оледенеть разом сердца многих, хотя речь шла только об одном?

Впрочем, если Дантон и его друзья хотели забыть былые страхи и чувствовать себя триумфаторами, то Робеспьер не дал им этого сделать. 1 жерминаля, в тот день, когда начался процесс эбертистов, он произнес в Якобинском клубе речь, которая не должна была оставить надежд для «снисходительных».

— Если завтра же или даже сегодня, — сказал Робеспьер, — не погибнет эта последняя клика, то наши войска будут разбиты, ваши жены и дети погибнут, республика распадется на части, а Париж будет удушен голодом. Вы падете под ударами врагов, а грядущие поколения будут страдать под гнетом тирании. Но я заявляю, что Конвент твердо решил спасти народ и уничтожить все клики, существование которых опасно для свободы.

Та резкость, с которой Робеспьер ставил вопрос о «последней клике», имела свои основания.

Противоречия между робеспьеристами и дантонистами достигли

своего апогея и завели правительство в настоящий тупик. В области внешней политики дантонисты требовали немедленного заключения мира, мира во что бы то ни стало, то есть ставили революционную Францию под угрозу капитуляции после всех блестящих побед. В области внутренней политики они требовали «милосердия» — открытия тюрем и прекращения террора, в то время когда тюрьмы были набиты врагами народа, а без революционного террора не было никакой возможности ликвидировать остатки роялизма и выкорчевывать гнезда контрреволюционных заговоров. Таким образом, дантонизм, в каких внешних формах он ни проявлял бы себя, означал на данном этапе прямую контрреволюцию, прямой отказ от всех завоеваний народа, достигнутых ценою такой крови и таких материальных жертв. И эта контрреволюционная программа с величайшей настойчивостью проталкивалась глашатаями умеренных именно в те дни, когда окончательная победа казалась робеспьеристам не только возможной, но уже близкой. Легко понять, что в этих условиях сосуществование обеих фракций было невозможным. Вопрос стоял так: или Дантон, или Робеспьер. Поскольку в данный момент в руках Робеспьера, опиравшегося на широкие народные массы, сосредоточивалась несравненно большая сила, чем в руках Дантона, Дантон, а вместе с ним и все те, кто защищал и пропагандировал его программу, должны были неизбежно пасть.

Это прежде всего бесповоротно поняли и осознали люди, обладавшие железной решимостью, такие, как Билло-Варен или Сен-Жюст. Робеспьер, который слишком хорошо помнил былые революционные заслуги Дантона, Робеспьер, который слишком любил Камилла Демулена, не мог быстро и бесповоротно принять роковое решение. Даже когда он с жаром громил «снисходительных» в целом и, считая их орудием иностранного заговора, готов был обречь на гибель, для Демулена и Дантона он настойчиво стремился сделать исключение. Когда Билло-Варен внес впервые в Комитете общественной безопасности предложение, клонящееся к устранению Дантона и Демулена, Робеспьер порывисто вскочил и воскликнул со страстным возмущением:

— Значит, вы хотите погубить лучших патриотов?

Но время работало на Билло-Варена и Сен-Жюста. По-видимому, уже в феврале 1794 года Неподкупный начал отчетливо сознавать неизбежность жертвы. События, связанные с делом Эбера, и дни, последовавшие за казнью эбертистов, окончательно укрепили его в этом решении.

— Комитет общественного спасения производит правильную порубку

в Конвенте, — горько заметил Демулен вскоре после ареста Фабра д'Эглантина. Теперь он взялся вновь за свое едкое, остро отточенное перо. Он писал № 7 «Старого кордельера». Номер носил характерное название: «За и против, или разговор двух старых кордельеров». В этом номере автор не только продолжал издеваться над эбэртистами, которые уже были сокрушены, но и до крайности усилил свои нападки на «чрезмерную власть» Комитета общественного спасения, на революционные комитеты и персонально на Колло д'Эрбуа, Барера, наконец Робеспьера. Членов Комитета общественной безопасности он называл «страшными братьями», а их агентов «корсарями мостовых». Что касается Робеспьера, то на него Камилл не пожалел своих сарказмов.

«Если ты не видишь, чего требует время, если ты говоришь необдуманно, если ты выставляешь себя напоказ, если ты не обращаешь никакого внимания на окружающих тебя, то я отказываю тебе в названии человека мудрого...» — так начинал журналист свой вызов Неподкупному. Он сравнивал его, с Катонем, который, требуя от республиканца более строгой нравственности, чем допускало его время, тем самым лишь содействовал ниспровержению свободы. Он издевался над ним за то, что Робеспьер обсуждал недостатки английской конституции; он упрекал его за противоречивые выступления, за «излишнее словоизвержение»; он, по существу, старался доказать, что Неподкупный играл на руку... Питту! При этом Демулен ясно давал понять, что, насмехаясь над Робеспьером и нанося ему политические уколы, он мстит за то, что Максимилиан, пытаясь его спасти, оскорбил его самолюбие. «...Робеспьер, ты несколько лет назад доказал на трибуне Клуба якобинцев, что обладаешь сильным характером; это было в тот день, когда в минуту сильной немилости к тебе, ты вцепился в трибуну и крикнул, что тебя надо убить или выслушать; но ты был рабом в тот день, когда допустил так круто оборвать себя после первого же твоего слова фразой: «Сожжение не ответ». И далее об этом же говорил журналист еще более прозрачно, обращаясь к самому себе: «Осмелишься ли ты делать подобные сопоставления и ставить Робеспьера в смешное положение в виде ответа на те насмешки, которыми он с некоторых пор сыплет на тебя обеими руками?»

Этим номером своей газеты Демулен окончательно подписал себе смертный приговор. Он осмелился опорочить правительство, мало того, он осмелился высмеять Неподкупного, высмеять дерзко и несправедливо. Такого Максимилиан не прощал никому. Он понял, что его школьный друг неисправим, что ловушка захлопнула его намертво, что он сам уничтожил всякую возможность к вызволению себя из трясины.

Демулену не было суждено увидеть последний номер своей газеты напечатанным: его издатель Дезен был арестован, а газета конфискована. Но именно вследствие этих обстоятельств ее прочли те, против кого она была направлена: члены обоих правительственных Комитетов.

Если Демулен бился с яростью до конца, то был человек, поведение которого одинаково смущало как друзей, так и врагов: это был вождь фракции Жорж Жак Дантон. «Если он не вполне ослеп и оглох, то о чем же он думает?» — спрашивали себя лидеры дантонистов. Действительно, с некоторых пор образ действий Дантона казался совершенно непонятным, мало того, совершенно нелогичным. Он, который стоял во главе всей группы, он, во имя кого заварилась вся каша, он или предавал своих, как было с Филиппо, а позднее и с Демуленом, или даже оказывал явную поддержку... эбертистам! А затем после казни эбертистов он вдруг впал в полную летаргию. «Дантон спит, — говорил Камилл Демулен, — это сон льва, но он проснется, чтобы защитить нас». Пророчеству Камилла не было суждено сбыться: титан не проснулся. Еще раньше Дантон усиленно толковал о том, что он устал от политической борьбы, что хочет отойти от государственной деятельности и удалиться на покой, в свою мирную усадьбу, к своей молодой жене, к полям и деревьям. Подобные сентенции в устах кипучей натуры, подобные мысли у тридцатипятилетнего «старика» казались невероятными. Робеспьеристы ему не верили, и в этом они были совершенно правы.

В действительности Дантон долгое время вел очень хитрую и тонкую политику. Гораздо более проницательный, чем его товарищи, он сознавал всю силу Робеспьера. Поэтому он никогда открыто не выступал против него. Он вел дело к тому, чтобы найти общий язык с эбертистами, правильно рассчитав, что союз с ними, заключенный в критический момент, сможет противопоставить робеспьеристам такую силу, которая заставит их серьезно задуматься. Известную ставку делал Дантон и на события международной политики. Он ориентировался на приход к власти в Англии либеральной оппозиции во главе с Фоксом, который рассчитывал сменить консерватора Питта на ближайших выборах; в случае установления кабинета Фокса можно было серьезно ставить вопрос о заключении мира, а мир давал «снисходительным» все преимущества перед диктатурой робеспьеристов. Все эти расчеты не оправдались. На выборах в Англии победил Питт, что означало продолжение войны, а эбертисты в результате своего необдуманного выступления и молниеносного ответного демарша правительства оказались сразу сброшенными со счетов. Тогда-то

вокруг Дантона и его фракции оказалась пустота, которую пророчили и так стремились создать робеспьеристы. Дантон, мечтавший нейтрализовать Робеспьера, сам оказался изолированным. Это он хорошо понял, лучше, чем все окружавшие его, и, поняв, впал в апатию отчаяния. Из состояния бездействия он, впрочем, иногда выходил, но выходил очень ненадолго.

Окружавшие Дантона лица считали, что еще не все потеряно. Кое-кто теперь думал, что главное — это примирить Дантона с Робеспьером. Если удастся улучшить личные отношения между двумя титанами революции, фракция «снисходительных» будет спасена. Дантон дал увлечь себя создателям этого плана. Состоялось несколько встреч. Последняя из них произошла у начальника бюро иностранных сношений Эмбера, который пригласил к себе на обед, кроме обоих трибунов, еще несколько лиц, в том числе Лежандра и Паниса. Обед проходил вяло. Общая беседа не клеилась. Один из присутствующих, стремясь перейти к сути дела, выразил сожаление по поводу разногласий между Робеспьером и Дантоном, указав, что эти разногласия крайне удивляют и огорчают всех друзей отечества. Дантон, подхватив эту реплику, заметил, что ему всегда была чужда ненависть и что он не может понять того равнодушия, с которым относится к нему с некоторых пор Робеспьер. Неподкупный промолчал. Тогда Дантон стал громить Билло-Варена и Сен-Жюста, двух «шарлатанов», в руки которых попал якобы Максимилиан.

— Верь мне, страхни интригу, соединишься с патриотами, сплотимся как прежде...

Робеспьер не выразил никакого желания поддерживать этот сюжет.

— При твоей морали, — сказал он после продолжительного, напряженного молчания, — никогда бы не оказывалось виновных.

— А что, разве это тебе было бы неприятно? — живо возразил Дантон. — Надо прижать роялистов, но не смешивать виновного с невиновным.

Робеспьер, нахмурившись, ответил:

— А кто сказал тебе, что на смерть был послан хоть один невиновный?

Такой ответ звучал угрожающе. Дантон притих. Молчали и все остальные. Наконец кто-то предложил врагам заключить друг друга в объятия и расцеловаться. Дантон с энтузиазмом подчинился этому приглашению, Робеспьер остался холоден как лед. Вскоре он покинул квартиру Эмбера. Оставшиеся переглянулись.

— Черт возьми! — воскликнул Дантон. — Дело плохо; нам надо показать себя, не теряя ни минуты!

Но человек, произнесший эти слова, продолжал пребывать в бездействии. Зато действовали Комитеты, и действовали со всей решительностью. Учитывая, что дантонисты пользуются значительным влиянием в Конвенте, что их ставленник Гальен избран его председателем, в то время как друг Дантона Лежандр стал председателем Якобинского клуба, Комитеты решили нанести удар быстро, внезапно и в самое сердце. Робеспьер, согласившийся покинуть Дантона и Демулена, предоставил Сен-Жюсту обширные материалы для составления обвинительного акта.

Вечером 10 жерминаля (30 марта) оба Комитета собрались на совместном заседании. Здесь-то и был составлен приказ, написанный на клочке конверта, приказ, скрепленный восемнадцатью подписями и определивший дальнейшую судьбу фракции «снисходительных».

В ночь с 10 на 11 жерминаля Камилл Демулен, ложась спать, услышал стук нескольких ружейных прикладов. Сомнений быть не могло: в такое время приходили лишь с одной целью. Камилл бросился в объятия своей жены, нежно поцеловал ребенка, мирно спавшего в люльке, и сам пошел открывать дверь посланцам Комитета общественной безопасности. Его отвезли в Люксембургскую тюрьму. Туда же в то же время и на основании того же приказа водворили Дантона, Филиппо и Делакруа. Дантон, который вначале не верил возможности ареста, считая, что на него посягнуть не посмеют, в дальнейшем примирился со своей участью. Когда за несколько дней до ареста один из друзей советовал ему бежать, он ответил:

— Мне больше нравится быть гильотинированным, чем гильотинировать других, — и затем прибавил фразу, ставшую бессмертной: — Разве можно унести родину на подошвах своих башмаков?

Сделав столь решительный шаг, Комитеты отнюдь не были уверены в полном успехе. Они ждали сопротивления Конвента, и ожидания их не обманули. Делакруа удалось переслать письмо Лежандру, и уже рано утром бывший мясник был в курсе дел. Он развил весьма активную деятельность и прежде всего подготовил своего единомышленника, председателя Конвента Гальена. В самом начале заседания 11 жерминаля (31 марта) один из депутатов потребовал присутствия обоих Комитетов. Собрание отдало соответствующий приказ. Тогда же на трибуну поднялся Лежандр и произнес с волнением в голосе:

— Граждане, ночью арестованы четверо членов этого собрания. Один из них Дантон. Имен других я не знаю; да и что нам до имен, если они виновны? Но я предлагаю, чтобы они были вызваны сюда, в Конвент, и мы

сами обвиним или оправдаем их... Я верю, что Дантон так же чист, как и я сам.

Послышался ропот, и кто-то потребовал, чтобы председатель сохранил свободу мнений.

— Да, — ответил Тальен, — я сохраню свободу мнений, каждый может говорить все, что он думает, мы все остаемся здесь, чтобы спасти свободу.

Это было прямое поощрение Лежандру и угроза его противникам. Выступил депутат Файо, возмущенный предложением Лежандра: это предложение создавало привилегию. Ведь жирондисты и многие другие не были выслушаны, прежде чем их отвели в тюрьму. Почему же должно быть два разных похода?

Начался шум. И тут вдруг раздались крики:

— Долой диктаторов! Долой тиранов!

Робеспьер, бледный, но спокойный, ждал и внимательно прислушивался к тому, что происходило. Когда положение стало принимать угрожающий характер, он поднялся и произнес речь, которой было суждено парализовать демарш Лежандра, Тальена и их единомышленников.

— По царящему в этом собрании давно уже небывалому смущению легко заметить, что дело идет здесь о крупном интересе, о выяснении того, одержат ли ныне несколько человек верх над отечеством... Лежандр, по видимому, не знает фамилий арестованных лиц, но весь Конвент знает их. В числе арестованных находится друг Лежандра, Делакруа. Почему же он притворяется, что не знает этого? Он делает это потому, что знает, что Делакруа нельзя защищать, не совершая бесстыдства. Он упомянул о Дантоне потому, что, вероятно, думает, будто с этим именем связана какая-то привилегия. Нет, мы не хотим никаких привилегий, мы не хотим никаких кумиров. Сегодня мы увидим, сумеет ли Конвент разбить мнимый, давно сгнивший кумир, или же последний, падая, раздавит Конвент и французский народ... Я заявляю, что всякий, кто в эту минуту трепещет, преступен, потому что люди невинные никогда не боятся общественного надзора.

Раздался гром аплодисментов. Оратор овладевал господствующим настроением Конвента. Он продолжал:

— Мне тоже хотели внушить страх; меня хотели уверить, что опасность, приблизившись к Дантону, может дойти и до меня... Друзья Дантона посылали мне письма, надоедали мне своими речами... Я заявляю, что если правда, будто опасности Дантона должны стать и моими опасностями, то я не счел бы это общественным бедствием. Что мне за

дело до опасностей? Моя жизнь принадлежит отечеству; сердце мое свободно от страха; и если бы мне пришлось умереть, то я умер бы без упрека и без позора.

Еще более дружные рукоплескания покрыли последние слова Неподкупного. Попытка к сопротивлению была сломлена. Он уже полностью владел своей аудиторией.

— Именно теперь, — заканчивал Робеспьер, — нам нужны некоторое мужество и величие духа. Люди низменные и преступные всегда боятся падения им подобных, потому что, не имея перед собой ряда виновных в виде барьера, они остаются более доступными для опасности; но если в этом собрании есть низменные души, то есть здесь и души героические, ибо вы руководите судьбами земли.

Эта очень умело построенная и вовремя сказанная речь решила исход борьбы в Конвенте. Никто не осмелился оспаривать слов Робеспьера. Объятый ужасом Лежандр отступился от своего проекта и пробормотал несколько трусливых извинений.

Тогда поднялся Сен-Жюст и среди гробового молчания прочел обвинительный акт.

В основу этого документа легли черновые наброски Робеспьера. Обвинительный акт был составлен таким образом, чтобы представить Дантона и его друзей изменниками и двурушниками буквально с первых дней революции. Для усиления эффекта действительные преступления дантонистов были перемешаны с весьма спорными, или, во всяком случае, не доказанными обвинениями. Оратор утверждал, что Дантон вел интриги с Мирабо, что он продался двору и пытался спасти королевскую семью, что он вел тайные переговоры с Дюмурье и играл на руку жирондистам. Среди этой серии обвинений безусловно верным было лишь последнее. Далее, Сен-Жюст не без оснований указывал на двусмысленность позиций многих дантонистов во время великих дней 10 августа, 31 мая, 2 июня. Он не забыл обвиняемым их кампанию в пользу «мира» и «милосердия», их тайное противодействие всем революционным мерам, их связи с мошенниками и подозрительными иностранцами. Особенно резко Сен-Жюст клеймил оппортунизм Дантона.

— Как банальный примиритель, ты все свои речи на трибуне начинал громовым треском, а заключал сделками между правдой и ложью... Ты ко всему приспособлялся!.. — Трудно было более меткими словами охарактеризовать основу политической линии Дантона.

Конец большой речи Сен-Жюста был страшным предостережением для тех, кто не понимал всей остроты переживаемого времени...

— Дни преступления миновали; горе тем, кто стал бы поддерживать его! Политика преступников разоблачена; да погибнут же все люди, бывшие преступными! Республику создают не путем слабости, но свирепо строгими, непреклонно строгими мерами против всех, повинных в измене!

Собрание выдало потребованные у него головы. Партия в Конвенте была выиграна.

Оставалось разыграть последнюю часть страшной игры: партию в Революционном трибунале.

Конечно, процесс Дантона был в той же мере политическим процессом, как и дело Эбера. Конечно, тут, как и там, судьба обвиняемых была решена заранее, и приговор им уже давно составили и подписали. По существу, Революционному трибуналу надлежало только исполнить то, что было решено правительственными Комитетами и санкционировано Конвентом. И все же провести процесс дантонистов казалось делом гораздо более сложным, нежели отправить на гильотину Эбера и его сторонников. Здесь был налицо прежде всего сам Жорж Дантон, человек страстный, яркий, талантливый и не знавший страха, трибун, который пользовался славой одного из самых видных деятелей и ораторов революции. Здесь был горячий и неровный, но способный и едко-остроумный Камилл Демулен. Здесь был, наконец, хитрый и коварный Фабр д'Эглантин. Убить таких людей было можно, но заставить их молчать перед смертью представлялось значительно более трудным. Это предвидели Робеспьер и Сен-Жюст, своевременно принявшие все меры к тому, чтобы помешать превратиться процессу в арену жестокой борьбы. И тем не менее они оба, равно как и другие члены Комитетов, сильно опасались за ход судебных заседаний.

Чтобы облегчить задачу прокурора Фулье-Тенвиля, который должен был бить обвиняемых сразу по многим пунктам и статьям, здесь, как и в процессе эбертистов, составили своеобразную «амальгаму», объединив в целое несколько отдельных группировок по различным обвинениям. В главную «политическую» группу входили Дантон, Демулен, Делакура и отчасти Фабр д'Эглантин. Через Фабра эта группа связывалась с мошенниками — Шабо, Базиром и Делоне; через Эро де Сешеля, который был одинаково близок и к дантонистам и к эбертистам, их объединяли с «ультрареволюционерами» как одну из группировок единого заговора; наконец через Дантона и Шабо всех вышеназванных подсудимых сближали с подозрительными иностранными банкирами — братьями Фрей и Гузманом, что придавало заговору «иностранную» окраску. Кроме того, на процессе фигурировали делец и аферист, поставщик д'Эспаньяк, а также

генерал Вестерман, замешанный во все интриги Дюмурье и Дантона и имевший репутацию отъявленного грабителя и вора. Таким образом, комплект обвиняемых был хорошо подобран, и можно было приступать к делу.



Медальоны работы Давида Анжерского. Огюстен Робеспьер.



Лазар Карно.



Максимилиан Робеспьер (бронзовый медальон работы неизвестного мастера).

В ночь с 12 на 13 жерминаля Дантона, Делакруа и Фабра перевели из Люксембургской тюрьмы в Консьержери, непосредственно в ведение Революционного трибунала. В тюрьме подсудимые, размещенные по одиночным, но смежным камерам, вели себя каждый соответственно своему нраву и темпераменту. Демулен, переходивший от надежды к отчаянию, писал письма своей дорогой Люсили, орошая их слезами; Делакруа чувствовал себя смущенным и находился в большом затруднении относительно того, как себя держать; Фабр, казалось, был более всего обеспокоен судьбой своей новой пятиактной трагедии; Дантон говорил без умолку, и его громоподобный голос был слышен во всех соседних камерах.

Он выражал сожаление, что был одним из организаторов Революционного трибунала, называл своих коллег каиновыми братьями и не строил никаких иллюзий насчет отношения к себе со стороны народа — О, грязное зверье! Они будут кричать «Да здравствует республика!», когда меня повезут на гильотину!..

Тут же, в лазарете при Консьержери, лежал и доносчик Шабо. Когда он понял, что все потеряно, то решил прибегнуть к помощи яда. Однако его отходили, чтобы сберечь для гильотины.

Процесс длился четыре дня. В первый день разделались с финансовым заговором. Второй день, посвященный в основном допросу Дантона, чуть ли не привел к дезорганизации всего процесса. Дантон, очнувшийся, наконец, от спячки, вложил в свою речь всю ярость и силу, на какие был только способен. Он стремился к тому, чтобы из обвиняемого превратиться в обвинителя, насмехался, угрожал, отвечал дерзостями. Тщетно председатель Эрман пытался его остановить: голос Дантона перекрывал звон колокольчика и будоражил толпу на улице. Председатель и судьи чувствовали себя в самом затруднительном положении. Комитет общественного спасения, следивший за ходом дела, был настолько обеспокоен, что даже отдал Анрио приказ арестовать председателя и прокурора, подозревая их в слабости; однако затем члены Комитета своевременно одумались и приостановили приказ. Несколько представителей Комитета общественной безопасности отправились в трибунал, чтобы поддержать своим присутствием ослабевших судей «присяжных. Положение было спасено тем, что Дантон, вложивший слишком много энергии в свою импровизированную речь, в конце концов выдохся и стал терять голос. Председатель предложил ему отдохнуть, обещая потом вновь дать слово, и утомленный трибун на это согласился.

Таким образом, опасения Робеспьера и Сен-Жюста отнюдь не были порождением их фантазии: разбить «давно сгнивший кумир» оказывалось на поверху совсем не легким делом.

Третий день был переломным. В Комитеты поступил донос от арестанта Люксембургской тюрьмы, некоего Лафлота. Лафлот сообщал, что в тюрьме составлен заговор, во главе которого находится приятель Демулена, генерал Артур Диллон. Заговор ставит своей целью освободить политических заключенных Люксембургской тюрьмы и спасти Дантона и его друзей. В дальнейшем, в случае успеха предприятия, заговорщики рассчитывали перерезать членов Комитета общественной безопасности и

захватить в свои руки власть. Выяснилось также, что заговорщиков субсидировала Люсиль Демулен, которая переправила Диллону тысячу экю с целью собрать толпу около трибунала. Открытие этих фактов взволновало членов правительственных Комитетов и принудило их к принятию ответных мер. Между тем в трибунале подсудимые, подвергаемые допросу, следуя вчерашнему примеру Дантона, пытались дезорганизовать деятельность суда, требуя свидетелей из числа указанных ими членов Конвента. Фукье-Тенвиль, измученный и выведенный из терпения, направил в Конвент отчаянное письмо, прося указаний относительно вызова свидетелей по требованию обвиняемых. Письмо было переправлено в Комитеты, в руках которых к этому времени уже находился донос Лафлота. Тогда Комитеты поручили Сен-Жюсту выступить с трибуны Конвента с указанием на смуты, творимые обвиняемыми, и добиться декрета, который позволил бы трибуналу лишать права участвовать в прениях всякого подсудимого, оказывающего сопротивление или оскорбляющего национальное правосудие. Соответствующий декрет был тотчас же принят. В тот же вечер Вадье доставил его Фукье-Тенвилю. Это ускорило развязку.

На следующий день, ставший последним днем обвиняемых, Фукье прочел декрет, принятый накануне, а также донос Лафлота. Допросили оставшихся подсудимых. Затем прокурор спросил присяжных, составили ли они себе достаточное представление о деле? Дантон и Делакура бурно запротестовали:

— Нас хотят осудить, не выслушав? Пусть судьи не совещаются! Мы достаточно прожили, чтобы почить на лоне славы, пусть нас отведут на эшафот!

Камилл Демулен до такой степени вышел из себя, что разорвал свою защитную речь, смял ее и бросил комок в голову Фукье-Тенвилю. Тогда трибунал, применяя декрет, лишил обвиняемых права участвовать в прениях. Все обвиняемые, за исключением одного, случайно притянутого к процессу, были приговорены к смертной казни.

Казнь состоялась в тот же день, 16 жерминаля (5 апреля). Пока телеги следовали от тюрьмы до гильотины, экспансивный Демулен, в клочья изорвавший одежду, кричал улюлюкающей толпе:

— Народ! Тебя обманывают! Убивают твоих лучших защитников!

Дантон пытался образумить своего несчастного друга:

— Успокойся, — говорил он, — и оставь эту подлую сволочь!

Когда кортеж проезжал по улице Сент-Оноре, Дантон, подняв свое

выразительное лицо к закрытым ставням окон дома Дюпле, воскликнул:

— Я жду тебя, Робеспьер! Ты последуешь за мной!

Свои последние слова Дантон произнес, находясь на эшафоте.

— Ты покажешь мою голову народу, — повелительно сказал трибун, обращаясь к палачу. — Она стоит этого.

И палач послушно выполнил его требование.

Казнь Дантона и его главных соратников завершался период поисков «среднего пути». Робеспьеристы в союзе с левыми якобинцами отсекали крайние фланги бывшего якобинского блока. Это была необходимая мера. Без ликвидации дантонистов, ставших резервом реакции, революция не могла развиваться дальше; напротив, ей грозил поворот вспять. Демагогические элементы эбертистской фракции, отвлекавшие массы от их насущных задач, также являлись помехой для революционного правительства якобинцев. Возможность сближения «снисходительных» с «ультрареволюционерами» представляла реальную угрозу, которая могла в конечном итоге привести к крушению якобинской республики. Связь внутренней борьбы с иностранными агентами осложняла положение, помогая силам европейской реакции в их войне с революционной Францией.

Имел ли, однако, место единый иностранный заговор, как полагал Робеспьер? Нет данных, которые позволили бы это утверждать. Можно думать, что Неподкупный, вследствие обычной для него подозрительности, преувеличивал роль некоторых, в действительности существовавших обстоятельств и представил себе не вполне верно общую картину, которую потом позаимствовали у него Сен-Жюст, Билло-Варен и другие. Сомнительные иностранцы, шпионы и зарубежные финансовые хищники, без сомнения, сыграли весьма видную роль в событиях осени — весны 1793–1794 годов. Но главным в этих событиях была все же борьба фракций, за которыми стояли различные социальные группировки, временно объединявшиеся ранее под знаменем якобинской диктатуры. Что же касается иностранцев — шпионов и аферистов, то они использовали эту борьбу в своих целях, примазываясь к ней, разжигая ее и всячески способствуя осуществлению замыслов враждебных Франции правительств, которым они служили.

Процессы первой половины жерминаля имели свое продолжение и во второй половине этого месяца, столь богатого кровью. 21 жерминаля (10 апреля) перед Революционным трибуналом предстали Люсиль Демулен,

Артур Диллон и другие, обвиняемые по делу о «заговоре в тюрьмах». К ним были присоединены вдова Эбера, бывший парижский епископ Гобель и... Анаксагор Шомет. Шомет? В чем же мог провиниться этот стойкий монтаньяр, этот защитник бедных и угнетенных, этот самый горячий приверженец революционного правительства? Разве забыли, что именно ему в значительной мере якобинская диктатура была обязана своим укреплением, что именно он провозглашал идеи, положенные Сен-Жюстом в основу вантозских декретов?..

Робеспьер не любил Шомета и относился к нему с крайней осторожностью. Завидовал ли он его популярности? Боялся ли он его соперничества? Или, быть может, он опасался его прежней близости к Эберу? Как бы то ни было, в данном случае Неподкупный вместе со своими коллегами посылал на смерть одного из самых верных сынов революции. Обвинения, предъявленные Шомету, были смехотворны. Ему вменялось в вину стремление противопоставить Коммуну Конвенту, получение денег от Питта и его «дехристианизаторская» деятельность. В действительности Шомет никогда не противопоставлял Коммуны Конвенту, напротив, всегда поддерживал революционное правительство, разговоры о «деньгах Питта» были грубей-, шей клеветой; от «дехристианизации» он отказался одним из первых, как только правительство осудило «культ Разума». Несмотря на то, что Шомет блестяще оправдал себя от всех возведенных на него обвинений, он был гильотинирован 24 жерминаля (13 апреля). Почему Робеспьер не вспомнил в этом случае своих благородных слов, сказанных ровно месяц назад в Якобинском клубе, об опасности искусственного приплетения патриотов к делу заговорщиков? Увы, он был человеком со всеми слабостями, человеку присущими. Он сделал одну из серьезнейших ошибок, за которую в дальнейшем пришлось дорого заплатить. Вместе с Шометом 24 жерминаля были казнены Гобель, Люсиль Демулен и другие, лица, привлеченные к суду.

Разгром завершился. Внешне кризис вантоза — жерминаля, казалось, был преодолен. В действительности, однако, борьба замерла лишь на миг; да и замерла ли она? Робеспьер и его сторонники, несмотря на всю свою хватку, оказались не в состоянии довести до конца борьбу с обеими разбитыми фракциями. Крупные эбертисты — Колло д'Эрбуа, Футе, Карье и близкий к ним Билло-Варен не только избежали участи своих друзей, но и сохранили прежнее политическое влияние. Точно так же продолжали оставаться в Конвенте и играть политическую роль ближайшие соратники Дантона — Лежандр, Тальен, Бурдон, Тюрио и другие. Вместе с тем

Робеспьер, Сен-Жюст и их единомышленники не проявили последовательности в отношении к левым якобинцам, которые представляли широкие плебейские слои населения и союз с которыми обеспечивал силу и известную устойчивость самим робеспьеристам. Казнь Шомета и арест некоторых других левых якобинцев, наносившие удар по защитникам и друзьям революции, отталкивали от революционного правительства значительную часть поддерживавших ее беднейших слоев народа. Все это вместе взятое должно было в самом непродолжительном будущем осложнить положение якобинской диктатуры. Впереди ждали новые смертельные схватки. То, что казалось концом, в действительности было лишь началом. Неподкупному предстояло испить чашу до дна.

Глава 7

Если бы бога не было...

Жерминаль унес фракции. Наступило кажущееся затишье. Правительственные Комитеты освободились от стеснявшей их оппозиции. Еще так недавно бурливший и волновавшийся Конвент стал послушным и робким: декреты вотировались почти без прений. Депутаты молчали и старались не проявлять инициативы. Призрак «национальной бритвы», стоявший перед глазами охвостья эбертистов и дантонистов, заставил их смолкнуть и временно уйти в себя.

Робеспьер и его соратники, одержавшие победу, стремились закрепить ее. Прежде всего была усилена дальнейшая централизация государственной власти. Должности министров были отменены, вместо министерств учредили двенадцать комиссий, всецело подчинявшихся Комитету общественного спасения. Парижская коммуна подверглась «очистке». Выборные должности заменили должностями по назначению. Главой Коммуны, вместо упраздненного прокурора, становился национальный агент. На эту должность был назначен Пейян, сменивший казненного Шомета. Левого якобинца Паша на посту парижского мэра сменил Флерио-Леско. Впрочем, социальный облик Коммуны не изменился: ее большинство по-прежнему представляло плебейские слои Парижа. Уже вскоре после казни эбертистов была ликвидирована революционная армия, которая, по мнению Робеспьера, содействовала анархии и децентрализации. Опасаясь проникновения антиправительственных элементов в народные общества и секции, резко сократили их число и ограничили количество заседаний. Клуб Кордельеров, по существу, прекратил свою деятельность. Якобинский клуб с многочисленными провинциальными филиалами остался единственным рупором и проводником идей революционного правительства.

В целях укрепления порядка и революционной законности по всей стране были упразднены провинциальные революционные трибуналы; все серьезные дела отныне подлежали рассмотрению исключительно парижского Революционного трибунала. Последний действовал с неослабевающей энергией. Головы врагов народа, остатков «бывших», спекулянтов и казнокрадов вперемежку сыпались к подножью гильотины. Один за другим взошли на эшафот прежние депутаты Учредительного собрания, реакционеры д'Эпремениль, туре, Ле-Шапелье — автор печально

знаменитого антирабочего закона, министр, а потом защитник Людовика XVI Малерб и сестра казненного короля принцесса Елизавета. Волею судеб старые соперники по Учредительному собранию — д'Эпремениль и Ле-Шапелье оказались на одной и той же телегу, которая влекла их к месту казни.

— Милостивый государь, — с ужасающей серьезностью обратился старик д'Эпремениль к своему спутнику, — нам поставили на разрешение страшную задачу.

— Какую?

— Мы должны решить, к кому из нас двоих относятся окрики и свистки толпы.

— К нам обоим, — ответил Ле-Шапелье, и он был абсолютно прав.

Помня печальную историю «Старого кордельера», Комитеты усилили нажим на печать. Пресса утратила всякую самостоятельность. Отныне выходили только официозные газеты, субсидируемые правительством. В театрах давали лишь патриотические, одобренные цензурой пьесы.

В результате централизованных мероприятий в области продовольствия и снабжения нужда и голод в стране, впервые за годы революции, несколько смягчились. Из Соединенных Штатов Америки прибыла первая крупная партия продовольствия. Расширялись закупки в нейтральных странах. Весенний сев 1794 года был проведен вполне успешно и сулил хороший урожай.

Вместе с тем, стремясь обеспечить экономический подъем и заботясь о повышении обороноспособности страны, революционное правительство стало на путь поощрения развития промышленности: промышленникам, при условии честного отношения к делу с их стороны, оказывали поддержку, предоставляли кредиты и субсидии, их предприятия брали под охрану государства. И уже весной 1794 года можно было констатировать значительное увеличение объема промышленной продукции, особенно в тех отраслях производства, которые были связаны с войной.

Все это радовало Неподкупного, вселяя в него бодрость и силу. Значит, боролись не зря. Значит, святая кровь патриотов и черная кровь врагов пролилась не напрасно. Вот она, туманная даль, обетованная страна, которая казалась такой далекой, почти недостижимой в годы Учредительного собрания! Она уже рядом, до нее осталось совсем немного. Республиканская армия, бьющая без промаха по врагу, скоро одержит решительную победу; еще одна-две партии внутренних заговорщиков отправятся на гильотину; еще немного усилий в области

стабилизации экономики, еще немного терпения и самоотверженности со стороны бедняков, терпевших так долго, — и все! Французский народ-победитель обретет долгожданное царство свободы, равенства, братства, царство, в котором мир, справедливость и добродетель будут всеобщими принципами, основой бытия. Тогда кончатся все ограничения, все максимумы, тогда не будет нужды, не будет и чрезмерного богатства. Тогда французы, давая образец для подражания всему человечеству, заживут единой, дружной семьей. Все это будет, и будет скоро. Но пока нужно бороться. Без борьбы, без напряженных усилий, без новых жертв счастье в руки не дастся.

В этот вечер Максимилиан задержался в Якобинском клубе значительно дольше обычного. Заседание давно окончилось, но он остался с Сен-Жюстом для обсуждения некоторых вопросов. Он приглашал своего юного друга к себе домой, но Сен-Жюст, которому целую ночь еще предстояло работать, отказался. Когда Максимилиан очутился на улице, его окутала непроглядная тьма. Небо, совсем черное, было усеяно золотыми точками звезд; слабо светлел Млечный Путь. Вглядываясь в эту беспредельность ночи, Максимилиан невольно обращался мыслями к Вечности, к замечательной и непонятной Природе, гармонической частью которой был Человек; Человек, дерзнувший потрясти основы общественного бытия; Человек, в котором так тесно уживались добро и зло, порок и добродетель. Свежий весенний ветер шевелил накидку, вызывая легкий озноб. Запахнувшись плотнее, Робеспьер ускорил шаг. Как хорошо, что дом так близок! Вот он; все окна черны. Спят! Нырнув в калитку, Робеспьер тихо, чтобы не разбудить уставших за день людей, поднимается к себе. Предательски скрипят ступени. Но вот он в своей камерке. На фоне тьмы четырехугольник окна кажется светлым, синесерым. Лампа долго не хочет разгораться. Измученный трибун сбрасывает накидку и снопом валится на постель. Безмерная усталость мешает раздеться. Впрочем, спать нельзя. Да он и не сможет. Он отдохнет лишь несколько минут. Он привык работать ночью, когда все молчит, когда блаженная тишина, не нарушаемая ничем, дает возможность предельно сосредоточиться, рождает мысль. При свете, наконец, разгоревшейся лампы Максимилиан видит стопку белых листков на краю стола. Письма! Он протягивает руку к столу и берет пачку. Так... Вот личная просьба от Мерлена из Тионвиля, дантониста... Вот послание старины Бюиссара из Арраса, наверно упреки; конечно, так и есть! Почему он, Робеспьер, не пишет, не отвечает! О, если бы у человека было две жизни, если бы хватало

сил на все... Милый Аррас, как ты далек, как ты бесконечно далек!.. Вот опять просьбы, доносы, упреки... Сколько зря потраченной бумаги! Он не может читать всю эту галиматью... Ага! Любопытно!.. Вот послание молодой женщины из Нанта, которая предлагает ему руку и сердце и одновременно... сорок тысяч франков годового дохода!.. Трибун смеется. Сколько таких писем он получил за последнее время! Подумать, сорок тысяч годового дохода! О, если бы они только знали, как все они жалки и смешны со своими деньгами, со своими мизерными стремлениями: купить, продать, накопить, завладеть... По их мнению, за деньги покупается и продается все, за деньги можно купить и его, Неподкупного, купить как украшение для блестящей гостиной... Нет, дамы и господа, нет, граждане, не все продается на этом свете... Максимилиан отбрасывает просмотренные листки в сторону. А вот и письмо от Огюстена. Брат никогда не забывает его и регулярно, с подробностями сообщает о всех своих делах. Не так давно Огюстен приезжал в Париж триумфатором: он лично руководил всеми осадными операциями под Тулоном и одержал блестящую победу. При этом воспоминании Максимилиан не может не улыбнуться. В свое время, отправляясь на юг, Огюстен сделал доброе дело и увез с собой Шарлотту, которая здесь порядком досаждала ему, Максимилиану. Но под Тулоном вскоре же произошли события, и смешные и досадные одновременно, в особенности если сопоставить их с кипевшей в это же время борьбой не на жизнь, а на смерть, ведшейся у осажденного города. Коллега Огюстена, Рикор, привез с собой молодую жену, прехорошенькую, кокетливую женщину, за которой, по слухам, начали ухаживать Огюстен и молодой артиллерийский генерал Наполеон Бонапарт, что, впрочем, не помешало ему и Огюстену быстро подружиться. Шарлотта не преминула рассориться сначала с госпожой Рикор, а затем и с братом. Огюстен был возмущен ее сварливостью и всем ее поведением. Ба! Вот и теперь из-под Ниццы Огюстен пишет нечто в этом же роде; письмо его дышит раздражением и неподдельной злобой.

Черт возьми! Видимо, уж очень насолила сестра мягкому и добродушному Бонбону, если он пишет о ней с таким гневом! Да, ужасная это штука — вражда. Как добиться гармонии и любви среди граждан государства, если даже в одной семье никак нельзя установить мир и покой!.. Эта мысль тотчас же напоминает Максимилиану о неотложном. Он быстро вскакивает, садится к столу и открывает папку, которую принес с собой из Клуба якобинцев.

Страшные дела! Не время сейчас думать об отношениях Шарлотты и Огюстена, если в стране творятся события, подобные зафиксированным

здесь. Робеспьер перебирает бумаги и останавливается на одной, которая особенно поражает его внимание.

«Накануне моего прибытия, — сообщал Пейяну один из его друзей, — шесть замаскированных людей явились около половины десятого вечера на дачу гражданина Гра, хорошего патриота, которого ты, должно быть, знаешь, схватили его слуг, заперли их, а самого Гра отвели в погреб и расстреляли на глазах его маленького ребенка, которого заставили держать лампу...»

Это одно из многочисленных известий с юга страны. После того как федералистский мятеж жирондистов там, на юге, был подавлен, отголоски его остались и дают себя знать сейчас. Звери в образе человеческого, бандиты, смутьяны, которые хотели бы повернуть колесо истории вспять! Они совращают неустойчивых патриотов, будоражат простой люд.

Вот еще документ. Деревня Бедуен в департаменте Воклюз стала штаб-квартирой заговорщиков. Здесь собираются неприсягнувшие священники и роялисты, которые подбивают простой темный народ к отделению от республики. Здесь переписываются с эмигрантами, хранят различные контрреволюционные значки, белые кокарды и даже щит с изображением герба Людовика XVI. И вот в ночь с 12 на 13 флореаля здесь произошли чудовищные дела: мятежники вырвали из земли дерево свободы, затоптали ногами увенчивавший его красный колпак, побросали в грязь декреты Конвента. Да это же прямое поругание свободы, это глумление над делом революции, над жертвами патриотов!

Это происходит в то время, когда мошенники, нажившиеся в дни смут, скупают за бесценок там, на юге, национальные имущества и превращаются в новых помещиков! И что это за люди? Злодей и убийца Журдан, прозванный «головорезом», член Конвента монтаньяр Ровер и иже с ними. Они организуют «черные банды», они основывают настоящие ассоциации хищников, включающие сотни людей, занимающих общественные должности... И таких людей мы должны щадить?

Робеспьер нервным движением захлопывает папку. Его лицо дергается. Он встает и начинает быстро ходить по комнате. Как нежничают по отношению к угнетателям и как неумолимо относятся к угнетенным! Милость злодеям? Нет, милость невинным, милость слабым, милость несчастным, милость гуманным!.. Горе интриганам! Их нужно карать железом! Пока жив будет хоть один негодяй, дело республики нельзя упрочить, добродетель не восторжествует, царство свободы останется далеким и недоступным... Мятеж на юге надо раздавить, и он будет раздавлен! Робеспьер вновь садится к столу и что-то пишет. Он пишет

долго, затем бросает перо и откидывается на спинку кресла. Он совершенно спокоен. Мысли его принимают иное направление.

Хорошо, мятежи мятежами, с ними в конце концов можно справиться. Но есть и нечто худшее. Есть нечто, что молчит, молчит до поры до времени, но тлеет, теплится и готово вспыхнуть при любом подходящем случае.

Да, сегодня республика прочна и могуча, как никогда. Конвент един, Комитет во главе с Неподкупным располагает всей полнотой власти. Но он знает: глухое недовольство, ропот, вражда — все это существует повсеместно, не только на юге, но и здесь, в Париже, всегда и повсюду. Крестьяне недовольны реквизицией людской силы; а как без реквизиции можно собрать урожай? Рабочие недовольны максимумом заработной платы; а как без этого максимума можно сохранить устойчивые цены на продукты? Собственники недовольны правительственной регламентацией, законами против скупщиков и спекулянтов; а как без всего этого можно добиться ликвидации голода и в конечном итоге победы над врагом? Все это как будто ясно; но тем не менее глухое недовольство зреет, рабочее движение распространяется по всей стране, буржуазия различными способами показывает свое раздражение. Но разве все они не видят, что Комитет старается посильными мерами сгладить положение? Ведь этой весной в поисках средств к оживлению хозяйственной жизни страны несколько ослабили ограничения, налагаемые на мелкую торговлю, увеличили заработную плату рабочим военных предприятий, сейчас готовят проекты установления регулярного пособия для неимущего населения Парижа. Но, по-видимому, всего этого недостаточно; а главное, как примирить рабочих с предпринимателями, крестьян-бедняков — с богачами? Ведь простая логика говорит, что, идя навстречу одним, неизбежно ухудшаешь положение других. И вот, используя недовольство различных слоев населения, могут вновь ожить те силы, которые сейчас дремлют, — остатки дантонистов и эбертистов...

Что же делать? По-видимому, необходимо найти нечто такое, что бы заинтересовало всех, что бы сплотило как бедных, так и богатых, что бы соединило всю нацию. Это нечто может лежать лишь в области чистых идей: сила идеи колоссальна, она способна воодушевить, примирить с трудностями, заставить идти на жертвы. Но где такая идея? Пытались создать «культ Разума», но из этого ничего не вышло, эта затея лишь обозлила народ. Нет, здесь нужно что-то совсем иное... Народ в своей массе религиозен. Надо использовать эту религиозность, отвлечь ее от фанатизма и пустить по правильному руслу. И Максимилиану

вспоминается известное изречение Вольтера: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». Да, фернейский патриарх был прав. Бог вселяет надежды, бог исцеляет горе, бог примиряет. Но нам нужен не бог старого порядка и не бог Вольтера. Нет. Робеспьер отыскивает глазами на полке книгу и быстро находит страницу. Это «Общественный договор» Руссо. Вот что пишет учитель:

«Существует чисто гражданское исповедание веры, статьи которого государю надлежит установить не в качестве *религиозных догм*, а в качестве *мыслей общественности*... Догмы гражданской религии должны быть просты, немногочисленны, выражены точно, без объяснений и комментариев. Положительные догмы таковы: существование могущественного, умного, благотворящего, предусмотрительного и заботливого божества, будущая жизнь, счастье справедливых, кара для злых, святость общественного договора и законов...»

Блестяще! Учитель, как всегда, прав, он, как всегда, нашел нужную форму, нужные слова. Да, философия не для народа. Пусть ею занимаются философы. Нам нужно всех роднящее и объединяющее верховное существо — бог Природы.

Робеспьер всматривается в черную бесконечность там, за окном. Как ты непостижима, Природа! Но ты разумна, ты справедлива, ты даешь будущую жизнь, счастье добродетельным, возмездие злым, ты санкционируешь земные и небесные законы. Да. Это будет спасение. Выход найден, и им нужно без промедления воспользоваться. Глубокое удовлетворение охватывает Максимилиана. Умиротворенный, он спокойно засыпает на те немногие часы, которые остались до зари следующего благословенного дня.

Несколько дней спустя, 18 флореаля (7 мая), Робеспьер произнес одну из наиболее вдохновенных своих речей. Необычное настроение оратора передалось его слушателям. Речь Робеспьера неоднократно прерывалась бурными аплодисментами.

Напомнив о блестящих победах французской республики, о том, что свободный французский народ поправил и отбросил от себя все те предрассудки, которые связаны с монархией и сословными привилегиями, Максимилиан прямо перешел к существу занимающей его проблемы. Он задал своим слушателям целый ряд чисто риторических вопросов, которые предreshали совершенно определенные ответы, четко сформулированные оратором в духе и стиле Руссо:

— Человек, воодушевленный только бесплотной идеей атеизма и

никогда не воодушевляющийся во имя интересов родины, кто поручил тебе проповедовать народу, что божество не существует? Разве хорошо убедить человека в том, что его судьбой управляет слепая сила, случайно карающая то преступление, то добродетель, и что его душа — это легкое дуновение, исчезающее у порога могилы?

Разве мысль о небытии вызовет в нем более чистые и возвышенные побуждения, чем идея бессмертия? Разве она вызовет в нем больше уважения к ближним и к самому себе, больше храбрости для борьбы с тиранией, больше презрения к смерти и к чувственным наслаждениям? Несчастные, умирающие под ударами убийцы, ваш последний вздох взывает к вечному правосудию. Невинность, возведенная на эшафот, заставляет бледнеть тирана, сидящего в своей триумфальной колеснице; какое преимущество остается за ней, если могила сравнивает и притеснителя и угнетенного?

И Робеспьер очень хорошо показывает, что, ставя свою положительную программу, он интересуется *не философской, не теоретической*, а исключительно *практической* стороной дела.

— Законодатели, какое вам дело до различных гипотез, при помощи которых отдельные философы объясняют явления природы? Все эти вопросы вы можете оставить предметом их бесконечных споров: вы не должны рассматривать их ни как метафизики, ни как богословы; в глазах законодателя истиной является все то, что оказывается полезным в жизни и хорошим на практике.

Идея верховного существа и бессмертия души является постоянным напоминанием о справедливости; следовательно, эта идея носит республиканский и общественный характер!

Доказывая рациональность и практическую полезность веры в верховное существо, Неподкупный предостерегает Конвент от ошибок, подобных «дехристианизаторскому» движению.

— Однако, — подчеркивает он, — новый культ не имеет ничего общего со старым; к старому возврата быть не может, и католические попы не должны тешить себя напрасными иллюзиями.

Честолюбивые священники, не ждите, что мы восстановим ваше владычество! Такая попытка была бы даже и выше наших сил. Вы сами себя уничтожили, и для вас нет возврата ни к физическому, ни к моральному существованию. Да к тому же, что общего между священниками и богом? По отношению к нравственности священники то же самое, что шарлатаны по отношению к медицине. Как не похож бог Природы на бога священников!.. Они создали бога по образу и подобию

своему; они изображали его завистливым, прихотливым, жадным, жестоким, неумолимым; они сослали его на небо, как во дворец, и призывали его на землю, чтобы выпрашивать для своей выгоды десятины, почести, удовольствия и могущество.

Истинный жрец верховного существа — Природа, его храм — вселенная, его культ — добродетель, его праздники — радость великого народа, собравшегося на его глазах с целью упрочить отрадные узы всемирного братства и вознести ему хвалу из глубины чувствительных и сильных сердец.

И в заключение речи, под все снова и снова возникающие бурные, продолжительные аплодисменты, Робеспьер предлагает установить общественное воспитание детей в духе новых этических принципов и установить систему национальных празднеств.

Конвент единодушно декретирует признание французским народом верховного существа и бессмертия души; он объявляет, что «культом, достойным верховного существа, является исполнение человеком своих гражданских обязанностей»; особые праздники должны напоминать гражданину об идее божества и его величия.

Речь Робеспьера и декрет 18 флореаля встретили многочисленные отклики по всей Франции. В Конвент посылались приветственные адреса, с поздравлениями прибывали делегации от различных народных обществ. Но одновременно с этим усиливалась и злоба.

Новая попытка Робеспьера была обречена на провал. Как мелкой благотворительностью нельзя было решить рабочего вопроса, так и религией было невозможно подменить насущные социальные проблемы в их совокупности. Рассчитывать, что новая вера объединит французский народ и ликвидирует язвы буржуазного общества, мог только добродетельный Робеспьер. Впрочем, и у него были свои сомнения. Ратуя за культ верховного существа, Неподкупный не собирался ослаблять террор. По его требованию Журдан-головорез был привлечен к ответственности; его не спасло заступничество Ровера, и злодей был казнен в конце флореаля. Робеспьер дал свою санкцию на сожжение гнезда заговорщиков, мятежной деревни Бедуен. Им же всего через два дня после 18 флореаля был составлен проект инструкции грозной Оранжевой комиссии, которую организовал Комитет общественного спасения для обуздания мятежного юга. Эта комиссия, судившая, согласно инструкции Робеспьера, без присяжных, на основании только «...совести судьи, освещаемой любовью к справедливости и к отечеству», действовала с

примерной строгостью: из 591 обвиняемого, дела которых она рассмотрела, 332 были приговорены к смерти.

И тем не менее где-то в тайниках души Неподкупный надеялся, что его новая идея облегчит борьбу и укажет путь к будущему.

В жизни каждого человека бывает один день величайшего, неповторимого счастья, день, который является вершиной жизни. Такой день искупает все горе и отчаяние, все труды и жертвы, всю серость и безотрадность многих прошедших лет: он подобен внезапному лучу света в царстве мрака; он напоминает животворную силу весны; он дает высшую радость, преображающую человека. День этот неповторим: прошел он, и не жди его снова. Никогда уже больше не засверкает солнце столь ярко, никогда больше небо не будет таким голубым, а листва такой зеленой; все померкло и сникло после мгновенья высшего счастья, мгновенья взлета всех творческих, духовных сил человека.

Таким днем для Робеспьера было 20 прериала (8 июня), день, назначенный для устройства праздника в честь верховного существа. Казалось, сама природа хотела принести свои поздравления Неподкупному. Все было ярким, ослепительным, Париж давно не видел такого чудного солнечного дня. Сам город помолодел и стал наряднее, чем обычно: дома были убраны зелеными ветками и гирляндами, все улицы усыпаны цветами, из окон виднелись флаги, увитые трехцветными лентами. С самого раннего утра улицы наполнило движение. В восемь часов прогремели пушечные выстрелы, и толпы народа устремились в сад Тюильрийского дворца. Здесь все уже оказалось подготовленным к началу праздника. Для членов Конвента был построен деревянный амфитеатр, против которого высилась колоссальная группа чудовищ: Атеизма, Эгоизма, Раздоров и Честолюбия. Согласно плану Давида, главного распорядителя всей церемонии, эта группа подлежала сожжению и должна была открыть вид на статую Мудрости, попиравшую останки повергнутых пороков. Люди с интересом наблюдали необычное зрелище. Все оделись по-праздничному, женщины несли букеты цветов, мужчины — дубовые ветки. У всех было какое-то особое приподнятое настроение: лица сияли, граждане, еще вчера не знавшие друг друга, сегодня сердечно обнимались и желали взаимного счастья.

Постепенно начали сходиться члены Конвента. Они были в парадном одеянии — с султанами на шляпах и трехцветными шарфами. Народ приветствовал их. Робеспьер, которого специально в связи с этим событием избрали председателем Конвента, почему-то запаздывал.

— Он разыгрывает из себя короля! — пробурчал кто-то из депутатов.

Но вот показался и он. Что это? Неподкупный был неузнаваем. Казалось, он помолодел на десять лет. Его походка стала быстрой и упругой, его сутулость куда-то исчезла. Новый костюм — голубой фрак, золотистые панталоны, белое жабо и такой же жилет — как-то удивительно гармонировал с небом, солнцем, светом. В руке он держал букет из цветов и колосьев. Но самым поразительным было его лицо. Одухотворенное радостью и умилением, оно казалось прекрасным; все маленькие морщинки вдруг куда-то пропали, а глаза стали голубыми и глубокими, как небо: в них отражалась сама природа, бросавшая свои искры высшего человеческого счастья.

Народ встретил Робеспьера шумно и сердечно; зато его потрясенные коллеги бросали на него косые взгляды и злобные улыбки. Многие ненавидели его в этот момент смертельной ненавистью.

— Смотрите, как его приветствуют! — перешептывались между собой депутаты, и в этих словах зависть сливалась с сарказмом. Но он ничего не замечал...

Он произнес короткую приветственную речь. Затем, спустившись со ступеней амфитеатра, он подошел к группе чудовищ и поджег их. Огонь запылал. Картон и фанера быстро обугливались и обращались в прах. Он стоял и пристально смотрел на огонь, пожирающий Зло. Но что это? Костер разгорелся слишком сильно, сильнее, чем было намечено. Огонь спалил покров статуи Мудрости, и она предстала перед зрителями совершенно черной и дымящейся. Лицо Робеспьера на момент дрогнуло и исказилось. Но это был только момент...

Конвент в сопровождении всего народа направился к Марсову полю. Необычное зрелище представилось людям, усеявшим длинный путь от Тюильрийских ворот до Триумфальной арки. Впереди двигались барабанщики, конные трубачи, музыканты; потом шли люди, вооруженные пиками, катили пушки; медленно передвигалась колесница с деревом свободы и эмблемами плодородия; двумя колоннами дефилировали двадцать четыре секции; наконец шествие замыкали солдаты регулярной армии. А затем вдруг открывалось пустое пространство. И вот в этом пространстве под приветственные крики толпы медленно и одиноко шел маленький человек в белом парике и светлом костюме. Его враги в Конвенте, умышленно замедляя шаг, задерживая сзади идущих, старались как можно более увеличить расстояние между ним и собою.

— Люди! Смотрите на гордеца, смотрите на диктатора!

Но он по-прежнему, казалось, ничего не замечал. Уже в течение двух

часов он как во сне плыл по реке цветов и приветствий, вырывавшихся из сотен тысяч грудей, из недр самого Парижа. Это был голос целой нации. И голос этот кричал:

— Да здравствует республика! Да здравствует Робеспьер!

Посреди Марсова поля была устроена символическая гора. Когда Конвент разместился на ней, народ и его представители исполнили сочиненный Мари Жозефом Шенье гимн верховному существу. Звуки фанфар сливались с пением пятисот тысяч людей. Молодые девушки бросали в воздух цветы. Юноши поднимали обнаженные сабли, давая клятвы не расставаться с ними впредь до опасения Франции. И среди всего этого потрясающего душу величия выделялся один маленький человек, окруженный со всех сторон пустым пространством.

Солнце клонилось к закату. Все измучились и устали. Первою схлынула толпа, спешившая оставить Марсово поле и разойтись по домам. Давка создалась невообразимая. Там и сям валялись брошенные колосья ржи и раздавленные эмблемы. Поблекшие, изможденные лица матерей напоминали о заботах, ждущих в большом городе. Праздник окончился. В начавших сгущаться сумерках двинулись в обратный путь и члены Конвента. Впереди шел Робеспьер. За ним, в некотором отдалении, двигалась нестройная масса депутатов в смятых платьях, с увядшими букетами.

Максимилиан шел полузакрыв глаза. Он безумно устал. Сейчас колоссальное напряжение дня отдавало в висках при каждом шаге. Мысли мешались... И вдруг... Не ослышался ли он?.. Не галлюцинация ли это, не бред ли усталого мозга? Нет... Сзади журчат голоса. Это какой-то хор демонов. Это злобные завывания. Это проклятия... По чьему же адресу? Напряженно, вслушиваясь, Робеспьер улавливает отдельные голоса, отдельные фразы.

— Видишь этого человека? Ему мало быть повелителем, он хочет быть богом!..

— Великий жрец! Тарапейская скала недалеко!..

— Бруты еще не перевелись!..

— Диктатор! Тиран! Справедливое возмездие настигнет тебя!..

— Будь ты проклят!..

— Смерть злодею!..

Нет, это не был обман слуха. Голоса звучали почти шепотом, но именно поэтому они выделялись из общего шума. Он даже узнавал некоторые из этих голосов, он угадывал их владельцев. Страшное

оцепенение оледенило его душу. Диктатор! Тиран! Значит, они ничего не поняли. Значит, его план не удался: любовь не сплотила всех воедино. Значит, осталась страшная вражда, вражда и кровь, кровь и смерть. Верховное существо, несмотря на все горячие призывы к нему, не вняло голосу Неподкупного. Все гибнет!..

Шаги нескольких сот людей гулко звучат по мостовой. Тьма сгущается. Адские завывания нарастают. В полном отупении, в состоянии прострации движется Робеспьер. Тело и душу сковала тупая боль. Оглянуться? Нет, не надо, это ни к чему.

Семья Дюпле радостно бросилась навстречу своему жильцу, слышав его шаги. Но едва он открыл дверь, как все остановились пораженные. Маленький, сгорбленный человек, в помятом светлом костюме переступал порог, чуть не падая от страшной усталости. Его лицо, измученное, покрытое каплями пота, казалось больным и старым. 'Взглянув на своих близких, которых он оставил сегодня утром в таком приподнятом настроении, Максимилиан тихо сказал:

— Друзья мои, вам уже недолго осталось меня видеть...

Глава 8

Ошибка прериала

Между 20 и 22 прериала лежат всего один день и две ночи. Но этот короткий срок для Робеспьера был вечностью. Сколько он передумал! Сколько раз от отчаяния переходил к надежде и от надежды снова к отчаянию! Его подкосило все происшедшее. Но не в его натуре было пасовать. Он нес мир. Мира не приняли. Ладно, пусть будет война. Он не дорожит своей жизнью, но его жизнь нужна тем, кому он ее посвятил: народу. Следовательно, необходимо продолжать борьбу. Теперь он наверняка знает многое из того, о чем раньше только догадывался. В хоре дьявольских голосов, проклинавших его вечером 20 прериала, он отчетливо различил голоса Бурдона, Тириона, Лекуантра... С ними, безусловно, связаны и другие. Робеспьер сопоставляет некоторые факты недавнего прошлого.

3 прериала днем Комитет общественного спасения по его, Робеспьера, инициативе отдал приказ об аресте любовницы Тальена, шпионки и авантюристки Терезы Кабаррюс. В ближайшие два дня вслед за этим на него были организованы два покушения, и лишь случайность спасла Неподкупного от смерти.

Его бурно поздравляли с избавлением от опасности, ему аплодировал Конвент, ему предложили особую охрану — о злодеи!.. Лицемерный Барер в своем докладе пытался всю ответственность за покушения взвалить на плечи Питта. Но была ли здесь виновата Англия? Не находились ли люди, вложившие оружие в руки убийц, значительно ближе?.. Во всяком случае, уже на следующий день после второго из неудавшихся покушений — Робеспьеру об этом было известно благодаря тайному доносу — презренный Лоран Лекуантр, тот самый Лекуантр, голос которого вчера вечером он прекрасно распознал, составил против него обвинительный акт, подписанный восемью членами Конвента, акт, который прямо призывал к убийству «тирана»... Неужели всего этого недостаточно? Неужели суть дела не ясна? Заговор, новый заговор, тайный, коварный, неумолимый и беспощадный, опутывал Конвент. Новые мятежники готовились стать на место Дантона и Эбера. Много ли их? Кого они успели перетянуть на свою сторону? Они должны быть уничтожены, и как можно скорее. Прошлое многому научило. Их нужно прежде всего достаточно обезвредить. Их нужно лишить возможности не только нападать, но и защищаться. А для

этого необходимо в первую очередь изменить самое судебную процедуру.

До сих пор злодеям помогали судебские извороты, адвокатские крючки. У бедняка нет возможности нанять защитника; злодей пользуется защитой, выгораживая себя. Весь современный суд — фальшивая комедия, — которая помогает мятежному тирану избежать наказания.

Изобличенный враг народа пользуется услугами адвоката не для защиты, а для нападения; он под видом свидетелей собирает вокруг себя всех своих сторонников и пытается превратить судилище, как это сделал Дантон, в настоящее поле боя!

Нужно вырвать оружие из рук обличенного врага! Нужно, чтобы суд карал, и карал с возможной быстротой! Изменников необходимо выявить и предать смерти, иначе революция погибла!

Мысль о реформе Революционного трибунала давно уже возникла у Робеспьера. Теперь эта мысль должна быть претворена в жизнь.

Месяц назад он составил инструкцию для Оранжевой комиссии. Эта инструкция принесла плоды: без малого три с половиной сотни мятежников были ликвидированы в кратчайший срок. Теперь основную мысль оранжевой инструкции он кладет в проект реформы Революционного трибунала. Так рождается на свет страшный закон 22 прериала.

22 прериала (10 июня) заседание Конвента проходило в торжественной обстановке. Были приглашены оба правительственных Комитета, и почти все их члены явились. С докладом о проекте нового декрета выступил Кутон. Его устами вещал Робеспьер. Его слова формулировали мысль Неподкупного. Осудив старое судебное законодательство, сохраненное в основном еще со времени деспотизма, оратор предостерег от смещения мер, принятых республикой для подавления заговоров, с обычными функциями судов, разбирающих частные преступления.

— Преступления заговорщиков, — говорил Кутон, — угрожают непосредственно существованию общества или его свободе, что одно и то же. Здесь жизнь злодеев кладется на весы с жизнью народа, и всякое промедление преступно, всякая снисходительная формальность является излишнею и составляет общественную опасность. Сроком для наказания врагов отечества должно быть лишь то время, какое нужно для того, чтобы узнать их: дело идет не столько о наказании, сколько об истреблении...

Основные положения проекта декрета, предложенного Кутоном, сводились к следующему.

Революционный трибунал подлежал реорганизации. Количество

присяжных сокращалось, институт защитников полностью упразднился. Отменялся и предварительный допрос обвиняемых; мерилом для вынесения приговоров считалась «...совесть судей, руководствующая любовью к отечеству». Революционный трибунал должен был судить исключительно врагов народа и мог устанавливать единственный вид наказания: смертную казнь. При этом понятие «враг народа» толковалось весьма расширительно. В эту категорию зачислялись не только люди, обличенные в государственных преступлениях, — изменники родины, роялисты, скупщики и спекулянты, искусственно вызывающие голод, и т. д., но также и распространители ложных известий и слухов, виновники порчи нравов, развратители общественной совести, то есть преступники, виновные в делах не слишком определенных, под категорию которых можно было подвести все, что было угодно лицам или организациям, использующим данный закон.

Можно себе представить, как дрогнули некоторые члены Конвента, когда Кутон читал свой доклад и проект декрета! После минутного оцепенения, охватившего всех, поднялся депутат Рюан и воскликнул:

— Я требую отсрочки голосования! Если мое предложение не будет принято, заявляю, что я застрелюсь!

Рюана поддержал Лекуантр. Барер, всегда умевший быстро приспособиться к ситуации, высказал конкретное предложение, чтобы отсрочка не превышала трех дней: этим он как бы подчеркивал, что принятие отсрочки вообще не вызывает сомнений. Билло-Варен и Колло д'Эрбуа промолчали. Но Робеспьер не собирался давать своим противникам время на размышление и подготовку к контрнаступлению. С большой горячностью он стал требовать, чтобы декрет был вотирован в этом же заседании, даже если бы его пришлось затянуть до ночи. Заключение его были приняты, и ошеломленное Собрание вотировало декрет.

Этим, однако, дело не кончилось. К началу следующего дня многие опомнились. И вот на заседании Конвента 23 прериаля с серьезной диверсией против уже принятого декрета выступил матерый дантонист Бурдон. Его поддержал Мерлен из Тионвиля. Воспользовавшись отсутствием членов правительственных Комитетов, выступавшие намеревались добиться пересмотра декрета. Между тем начиналась битва и в Комитете общественного спасения. Впервые за все время своего существования Комитет обнаруживал явный раскол.

Среди членов Комитета полного единства не было уже давно. Так, при

составлении приказа об аресте Дантона и его друзей член Комитета Робер Ленде отказался поставить свою подпись под этим исключительно важным документом. В начале флореаля произошла открытая ссора между Сен-Жюстом и Карно, причем последний в ходе взаимных обвинений бросил полунасмешливо, полузлбно слово «диктатура». Однако против Неподкупного никто еще открыто выступать не рисковал. То, что произошло утром 23 прериаля, не имело прецедентов.

В это утро солнце припекало особенно горячо. Стояла духота. Все окна Тюильрийского дворца, в том числе и окна того помещения, где совещались члены Комитета, были распахнуты настежь. По ходу разговора между коллегами возникли пререкания. Билло-Варен упрекал Робеспьера и Кутона в том, что последние перед внесением в Конвент пресловутого проекта декрета не известили других членов Комитета и не обсудили проект с ними совместно, как поступали обычно. Робеспьер возразил, что до сих пор все делалось в Комитете по взаимному доверию, и так как декрет хорош, а сверх того уже и принят, то нечего ломать копья. Билло, запротестовал и повысил голос. Робеспьер с недоумением взглянул на него и, отвечая, закричал еще громче.

— Я ни в ком не вижу поддержки! — возмутился он. — Я окутан заговорами. Я знаю, что в Конвенте есть партия, желающая погубить меня, а ты, — он обращался к Билло, — ты защищаешь ее лидеров.

— Значит, — возразил Билло, — ты хочешь отправить на гильотину весь Национальный Конвент.

Эти слова привели Робеспьера в ярость, и его высокий голос стал еще более пронзительным.

— Вы все здесь свидетели, — крикнул он, — что я не говорил, будто бы хочу гильотинировать Национальный Конвент!

Смущенные члены Комитета промолчали. Барер ехидно улыбнулся.

— Теперь я тебя знаю... — продолжал Робеспьер, (пристально глядя на Билло.

— Я тоже, — прервал его Билло, — я тоже знаю теперь, что ты... контрреволюционер!

Неподкупный был настолько поражен и взволнован, что не выдержал. Лицо его стало конвульсивно вздрагивать, он впился пальцами в сукно обивки стола и зарыдал.

В это время в комнату вбежал один из служащих Комитета.

— Граждане, — крикнул он, — вы настолько забылись, что сделали тайну своих совещаний достоянием толпы! Взгляните!

Барер посмотрел в раскрытое окно и не без удовольствия убедился, что

большая толпа людей собралась на террасе Тюильри и внимательно прислушивается к тому, что происходит. Окна тотчас же захлопнули, но все уже было сказано. Неподкупный плакал. Остальные, пораженные подобным оборотом дела, молча смотрели друг на друга. Плотина была прорвана. Робеспьер понял, что его и его группу в Комитете окружают враги.

Итак, не только партия в Конвенте, не только большая часть членов Комитета общественной безопасности были его врагами. Он не верил в полное единство своего Комитета, но никогда не подозревал до сих пор, что может произойти такое. Оказывается, и здесь почва заколебалась. На что же решиться? Отступить? Нет, отступление при таких обстоятельствах равносильно гибели. И, видя это, Робеспьер бросается с яростью вперед. Его ближайший соратник Кутон — Сен-Жюста в то время не было в Париже — поддерживает его.

24 прериаля в Конвенте первым выступает опять Кутон. Он клеймит позором вероломных и трусливых клеветников, которые в их отсутствие пытались опорочить и сорвать уже принятый декрет. Его речь вызывает аплодисменты. Перетрусивший Бурдон начинает оправдываться и лепечет в смущении, что он уважает Кутон а, уважает Комитет, уважает непоколебимую Гору, которая спасла свободу. Но его властно обрывает Робеспьер, заявляющий под аплодисменты депутатов, что Комитет нельзя отделять от Горы, что Конвент, Гора, Комитет — это одно и то же.

— Было бы оскорблением отечеству, — прибавил Робеспьер, — допускать, чтобы несколько интриганов, более других презренные потому, что они более их лицемерны, старались увлечь часть Горы и сделаться главарями партии.

Бурдон, в свою очередь, перебивает Робеспьера.

— Я требую, — кричит он, — чтобы было доказано то, что здесь говорят! Сейчас было довольно ясно сказано, что я злодей.

Ответ Неподкупного был краток и ужасен:

— Я не назвал имени Бурдона. Горе тому, кто сам называет себя!

Бурдон хотел возразить, но волнение его было столь велико, что он захлебнулся в собственных словах и упал на скамейку. Его сковал такой ужас, что друзья думали, не лишился ли он рассудка. Во всяком случае, после этого инцидента он месяц пролежал в постели, и врачи опасались за его жизнь. Не лучшим казалось и положение его единомышленников. Мерлен благоразумно набрал в рот воды, а Тальен, которому также досталось от Робеспьера, поспешил написать последнему слезливое

письмо, в котором в льстивых и заискивающих выражениях просил пощады.

Как будто бы в Конвенте решимостью Робеспьера и Кутона была одержана полная победа. Вопрос о снятии нового декрета сам оказался снятым. Неподкупному аплодировали все: и друзья, и враги, и трусливое, безгласное «болото». Однако не было ли все это еще одной иллюзией?

Законопроект, выставленный 22 прериала, стал законом. Неподкупный торжествовал. Но понимал ли он в полной мере то, что творил? Безжалостно преследуемый врагами, чувствующий, что под ним колышется почва, но уверенный в своей правоте, он, сам не сознавая того, постепенно начинал отождествлять себя с делом, которому служил и во имя которого боролся. Но с тех пор как Робеспьер отождествил себя с революцией, террор должен был мало-помалу сделаться для него исключительно средством самозащиты, самосохранения. Закон 22 прериала, по существу, и был в первую очередь актом подобной самозащиты. Само собой разумеется, что такая постановка вопроса была чревата последствиями, крайне далекими от того, о чем мечтал Неподкупный когда-то. Но, кроме того, все страшно осложнялось еще и следующими обстоятельствами.

Прериальский закон мог бы, конечно, на какое-то время сделаться сокрушительной силой в руках робеспьеровского правительства, если бы это правительство было единым. Но вся беда заключалась в том, что к моменту принятия закона единства уже не существовало. Мало того, при сложившейся ситуации большинство в правительственных Комитетах оказалось не на стороне Робеспьера. В его руках еще оставалась могучая сила: он был кумиром Якобинского клуба, перед ним трепетал Конвент. Но вся трагедия его положения состояла в том, что он терял власть в единственной инстанции, посредством которой рассчитывал пустить в действие свой страшный закон: в Комитете общественного спасения. Прежде нежели в пылу борьбы он понял это, шаг был уже сделан. И что же он мог теперь предпринять? Получалось так, что, выковывая для себя грозное оружие, он незаметно сам попадал в собственную ловушку и вскоре увидел это оружие обращенным против себя. В этом враги его разобрались быстрее, чем он. Выходя из зала заседаний, член Комитета Робер Ленде сказал коварному Бадье:

— Неподкупный в наших руках. Он сам роет себе могилу.

Это была правда. Всегда такой предусмотрительный, осторожный и мудрый, Робеспьер вдруг сорвался, сорвался не по своей, впрочем, вине, а в

силу порядка вещей, изменить который он был не властен. Обстоятельства захлестывали его.

Он шел долгой дорогой. Сначала она была прямой как стрела, потом стала петлять, а теперь ее контуры все более и более исчезали в зарослях бурьяна. Это была дорога никуда. И он не мог не чувствовать этого.

Глава 9

Дорога никуда

Что же произошло, однако? Почему все так быстро переменялось? Еще вчера самый авторитетный член правительства, общепризнанный вождь якобинской диктатуры, сегодня Неподкупный вдруг оказался третируемым самозванцем, ненавистным тираном, чуть ли не контрреволюционером? Откуда взялся этот легион врагов? Почему Комитеты, даже Комитет общественного спасения, его «министерство», вдруг отступились от него? Внезапность была кажущейся. Робеспьер знал далеко не все, кое о чем он только догадывался, многое ему было неизвестно. К тому времени, когда он *все* понял, *ничего* изменить уже было нельзя. Концы рокового клубка терялись в прошедшем и будущем. Прошлое безвозвратно ушло, над грядущим он не был властен, хотя и предвидел его.

В основе нового заговора находились те же движущие силы, которые некогда создали фракцию умеренных. Дантон погиб на эшафоте, но дантонизм остался: его невозможно было ликвидировать до тех пор, пока не были бы уничтожены условия, порождавшие новую буржуазию. А уничтожение этих условий оказалось не по плечу робеспьеристам. Новая буржуазия, сложившаяся в ходе революции, чувствовала себя хозяином страны. Феодализм был ликвидирован, абсолютная монархия пала, старая регламентация, сковывавшая промышленность и торговлю, ушла в безвозвратное прошлое; за годы революции львиная доля недвижимого имущества прежних привилегированных перешла в руки той же буржуазии. Чего же еще? Казалось, теперь бы только жить да приумножать богатства! Но вся беда «нуворишей» как раз и заключалась в том, что жить спокойно они не могли! Никто из «хозяев страны» не знал наверняка: будет ли он завтра преуспевать или ему отрубят голову? По мере того как новая буржуазия росла и крепла, революционное правительство и режим террора становились ей все более ненавистны. С ними было можно еще до какой-то степени считаться, пока существовала угроза внешнего удушения. Но эта угроза давно миновала! Зачем же терпеть постоянный страх? Во имя чего слушать бредовую болтовню худосочного Робеспьера и его друзей? К черту их всех, к черту революционное правительство с его террором, максимумом, вантозскими декретами и прочими милыми вещами!



Эро де Сешель.



Суетс.



Арест Робеспьера в здании ратуши в ночь на 28 июля 1794 года.

Но от мыслей и слов до дела еще далеко. Первыми поднялись Дантон и его ближайшее окружение. Дантон действовал хитро, с оглядкой, с вывертами и реверансами; он никогда не выдавал своих мыслей, он прятался за спину других, он пытался лебезить перед Неподкупным. Все это не помогло. Трибун «нуворишей» был разоблачен и погиб. За ним потянулся кровавый хвост.

Тогда новые собственники поняли, что их час еще не настал. Нет, сокрушить революционное правительство, правительство, созданное народом и опирающееся на народ, не так-то просто! Прежде чем получишь головы Робеспьера и Сен-Жюста, потеряешь свои! И смущенные, перетрусившие «хозяева страны» на время замолкли и стихли. Казалось, они успокоились и примирились с новым порядком вещей. Казалось, они искренне аплодируют Робеспьеру и поддерживают все его предложения. Но так только казалось.

В середине жерминаля был завершен разгром дантонистов, а уже в первые дни флореаля начал складываться новый заговор. Он развивался в глубокой тайне. Его зачинатели действовали еще хитрее и тоньше, чем их предшественник — покойный Дантон. Прежде чем Неподкупный

догадался о их планах, они успели зайти далеко. Но кто же были они?

На главную роль среди заговорщиков претендовал бессовестный лицемер, хищный вымогатель и сластолюбец Тальен. Сын метрдотеля маркиза Берси, он начал свою карьеру учеником нотариуса, затем работал в типографии. Склонный к театральному жесту, Тальен щеголял революционными фразами, которые проложили ему дорогу в Якобинский клуб и Конвент. Но полностью раскрыть свою «богатую натуру» Тальен смог после того, как был назначен посланцем Конвента в Бордо. Здесь, продолжая маскироваться левыми жестом и фразой, он начал широко использовать террор в целях сведения личных счетов и собственного обогащения. Пленившись дочерью испанского банкира, красавицей Терезой Кабаррюс, Тальен женился на ней и через нее связался с бордоскими негоциантами — целым рядом темных дельцов, — совместно с которыми он проводил планомерное ограбление города. Под видом реквизиций этот лихоимец захватывал в голодающем Бордо не только запасы продовольствия и тонкие вина, которыми в изобилии услаждал своих друзей, но также драгоценности, золото и серебро, конфискованные у «бывших». Вместе с окружавшими его хищниками он сумел присвоить огромную сумму общественных денег в один миллион триста двадцать пять тысяч франков.

Действуя подобными методами, Тальен в сравнительно короткий срок оказался в состоянии сколотить богатства, позволившие ему впоследствии приобрести обширные поместья в Нормандии, дававшие до пятнадцати тысяч ливров годового дохода. Вполне понятно, что этот спекулянт и делец, безумно жаждавший власти, глубоко ненавидел и страшно боялся обличавшего его Робеспьера. Боялся и скрывал свой ужас под маской лжи и лести.

Достойным приятелем и помощником Тальена был Фрерон, однокашник Робеспьера по коллежу Людовика Великого, некогда друживший с Камиллом Демуленом. Посланный в Марсель, этот вымогатель и лихоимец установил там вместе со своим коллегой Баррасом столь жестокий террор, что, казалось, мог соперничать с Колло д'Эрбуа или Карье.

Этот террор проводился исключительно в целях личного обогащения. При этом марсельские «охранители порядка», точно так же как и Тальен, не чуждались взяток и прямого воровства.

Когда Фрерону и Баррасу после их отозвания из Марселя было предложено внести в государственное казначейство подотчетные восемьсот тысяч франков, мошенники вместо этого подали докладную записку о том,

как... их экипаж опрокинулся в канаву (!!). Нет ничего удивительного, что подобные деятели боялись и ненавидели революционное правительство в целом, а всего более боялись и ненавидели того человека, который, являясь фактическим главой правительства, именовался Неподкупным.

Ближайшее окружение Тальена, Фрерона и Барраса составляли такие же дельцы, подобные же двуликие политики. Это были грубый Бурдон (из Уазы), беспощадный и предприимчивый Мерлен (из Тионвиля), коварный Лежандр, крупный спекулянт бывший маркиз Ровер, вероломный Лекуантр и другие. Характерной чертой большинства этих деятелей было умение приспособиться к моменту и максимально использовать его для себя. Так, будучи, по существу, типичными *правыми* по своим взглядам и целям — это все они блестяще доказали сразу же после термидорианского переворота, — пока что, следуя «моде», они рядились в одежды левых и, восхваляя террор, занимались тем, что всячески дискредитировали этот террор, равно как и весь революционно-демократический режим в целом. Подобная мимикрия в дальнейшем помогла группе Тальена сблизиться с левыми группировками правительства, Конвента и Якобинского клуба.

Итак, до поры до времени первые заговорщики, пока что еще не очень многочисленные, робкие и неуверенные, прикрывавшиеся защитным цветом, творили свое дело под покровом тайны. Они в основном присматривались и приноживались, отыскивали сочувствующих в Конвенте и уповали на будущее. И вдруг их объяла злобная радость: они почуяли раскол, начинавшийся внутри самого правительства.

Революционное правительство по идее было двуединым: составляющие его два Комитета обладали в принципе одинаковой властью и по всем важным вопросам должны были выносить совместные решения. Однако с течением времени это равенство стало все более и более нарушаться в пользу Комитета общественного спасения. Робеспьер, фактически возглавлявший этот Комитет, прилагал максимум усилий к тому, чтобы сконцентрировать всю полноту власти в его руках. Особенно значительные шаги в этом плане были предприняты в период жерминальских процессов. При разборе дела Ост-Индской компании основной докладчик по этому делу, член Комитета общественной безопасности Амар построил все обвинение таким образом, что основное, политическое значение его оказалось совершенно затушеванным. Робеспьер при поддержке Билло-Варена не замедлил тотчас же указать на это, и указать в достаточной мере резко, что вызвало чувство мстительной злобы со стороны Амара. Обвиняя Амара, Неподкупный проявил большое

недоверие к Комитету общественной безопасности в целом. С той поры доклады по всем важным вопросам Комитет общественного спасения взял полностью в свои руки, причем доклады эти, как правило, делали Робеспьер, Сен-Жюст или Кутон. 27 жерминаля (16 апреля) по докладу Сен-Жюста Конвент принял весьма важный декрет о создании при Комитете общественного спасения Бюро общей полиции, во главе которого оказался поставленным сам докладчик, причем в случае его отсутствия его должны были замещать Робеспьер и Кутон. Теперь Комитет общественного спасения не только взял явный перевес над Комитетом общественной безопасности, но и получил возможность эффективно контролировать всю сферу его деятельности. Это вызвало возмущение со стороны большинства членов ущемленного Комитета. Амар, Бадье и другие стали жаловаться на триумvirат, заявляя, что новые порядки связывают их по рукам и ногам, мешают деятельности их агентов, полиции и т. д. Так как у этих лиц и ранее были значительные разногласия с Робеспьером по ряду социальных и идеологических вопросов, то теперь они стали относиться к триумvirату с плохо скрываемой ненавистью. Только два члена Комитета общественной безопасности — Леба и Давид — оставались верными сторонниками Максимилиана, но они оказались в явном меньшинстве.

Но все это еще представляло полбеда. Если бы Комитет общественного спасения оставался единым, то, разумеется, злоба Бадье, Амара или Булана была бы ему не страшна. Однако к этому времени все явственнее стали обнаруживаться весьма существенные разногласия и внутри главного правительственного Комитета. Из одиннадцати его членов Робеспьер пользовался безусловной поддержкой лишь со стороны Сен-Жюста и Кутона. Два члена Комитета — Билло-Варен и Колло д'Эрбуа — принадлежали к «левым» двое — Карно и Приер (из Кот-д'Ор) — занимали совершенно обособленную позицию, определенно враждебную по отношению к робеспьеристам, Робер Ленде благоволил к умеренным, Барер явно интриговал против Неподкупного, наконец двое оставшихся — Жанбон-Сент-Андре и Приер (из Марны) — не принимали активного участия в делах правительства, находясь в постоянных командировках.

Билло-Варен и в особенности Колло д'Эрбуа в прошлом были связаны с эбертизмом, и хотя они отреклись от Эбера, а Колло даже содействовал падению этой фракции, тем не менее старые взгляды обоих деятелей внутренне не претерпели больших изменений. Они сотрудничали с Робеспьером, но многим оставались недовольны. Им определенно не нравились те послабления в системе максимума, которые были сделаны в пользу буржуазии. Их возмущала религиозная политика Робеспьера, в

которой они не видели ничего, кроме ханжества и лицемерия. Наконец их сильно беспокоила возрастающая популярность Неподкупного, казавшаяся им особенно подозрительной благодаря некоторым индивидуальным чертам вождя якобинцев.

Робеспьер, всегда отличавшийся глубокой искренностью, не щадил самолюбия своих коллег. Упреки и наставления срывались с его уст значительно чаще, чем похвалы и комплименты. Строгий по отношению к себе, он был не менее строг и по отношению к другим. Обманутый прежними друзьями, он не легко сходилась с новыми и к большинству своих товарищей по Комитету относился с холодной сдержанностью, которая была им непонятна и неприятна. Если к этому добавить, что Робеспьер оставлял лично для себя или своих ближайших соратников доклады по наиболее важным вопросам, что он, мотивируя свои мысли и выводы, часто и много говорил о себе, что некоторые свои предложения он ставил прямо в Конвенте, не обсудив их предварительно с членами Комитета, то станет ясно, почему Колло д'Эрбуа, Билло-Варен и близкие к ним деятели с течением времени начали относиться к Максимилиану с крайним предубеждением и недоверием. Особенно это недоверие было сильным у Билло-Варена, нетерпимо относившегося к чрезмерной популярности отдельных лиц и к индивидуальным авторитетам. Прислушиваясь к сигналам из Комитета общественной безопасности, также к нашептываниям лукавого карьериста Барера, Билло все более верил басням о подготовлявшейся «тирании» и «диктатуре». И вот в своем выступлении начала флореаля он, не называя имени, сделал первый выпад против популярного вождя правительства. «Всякий народ, ревнивый к своей свободе, — сказал Билло, — должен держаться настороже *даже против добродетелей* тех людей, которые занимают высокие места». Всем было ясно, в чей огород брошен камень. Билло пошел дальше. Он начал распространяться о тиранах древности, подпуская, между прочим, намеки, которым заговорщики аплодировали от глубины души. «Лукавый Перикл, — вещал оратор, — употреблял народные цвета, чтобы прикрыть те оковы, которые он ковал для афинян. По его словам, прежде чем взойти на трибуну, он внушал самому себе: «Помни, что ты будешь говорить свободным людям». И тот же Перикл, добившись абсолютной власти, сделался самым кровожадным деспотом». Робеспьер притворился глухим, дабы не растревать ран. Он еще не хотел верить неизбежности полного разрыва. Но другие не страдали глухотой. Подобные высказывания Билло весьма импонировали надменному Карно, и хотя он был далек от левых позиций, на данной почве оба члена Комитета нашли общий язык. «Горе

республике, — писал Карно в одном из своих очередных докладов, — для которой достоинство и даже добродетели какого-нибудь человека сделались необходимыми!»

Между Карно и Робеспьером отношения были натянутые с давних пор. Еще в большей степени не переносили друг друга Карно и Сен-Жюст, часто расходившиеся по конкретным вопросам стратегии и тактики. Крупный военный инженер и выдающийся организатор, Лазар Карно, призванный революцией к руководству делом обороны, много и плодотворно потрудился на своем поприще. Однако этот человек не страдал скромностью. Будучи постоянным центром притяжения не только для генералитета и военных специалистов, но также и для всякого рода военных поставщиков, скупщиков и т. д., Карно, самоуверенный и спесивый, стремился вместе со своим коллегой Приером отгородиться от других членов Комитета и проводить самостоятельную политику. Объективно покровительствуя планам новой буржуазии, Карно стоял на той точке зрения, что войне надо придать агрессивный характер. Считая, что войну следует вести на средства покоренных стран, Карно рекомендовал, в частности, прямо «обобрать» Бельгию. Но на пути к реализации подобных планов непоколебимо стояли Робеспьер и его соратники; верные своим принципам и идеям, они по-прежнему мечтали о «заре всемирного счастья» и решительно противились перерастанию справедливой, освободительной войны в войну грабительскую, захватническую. Было ясно, что робеспьеристы не допустят сбрасывания со счетов их самых светлых идеалов. Группа Робеспьера и группа Карно не могли найти общего языка. С новыми победами это становилось все более очевидным, и взбешенный Карно также заговорил о «диктатуре» и «тирании», вторя обвинениям левых.

Таким образом, атмосфера в Комитете все более накалялась, и взрыв был неминуем. Он и произошел на следующий день после декретирования закона 22 прериала, когда Билло-Варен, не стесняясь присутствием толпы, прямо обозвал Неподкупного контрреволюционером и обвинил его в желании гильотинировать весь Конвент. Подобное обвинение в устах Билло-Варена звучало более чем странно. Не менее странными выглядели едкие сарказмы по поводу прериальского закона, которыми за глаза осыпали Робеспьера «левые» Колло д'Эрбуа, Вадьеи Вулан. Действительно, кому, казалось бы, мог прийти по душе кровавый декрет более, чем Колло д'Эрбуа, расстреливавшего людей картечью? Кто мог радоваться ему искреннее мрачного Билло-Варена, не знавшего пощады? И разве он не был на руку таким убежденным сторонникам террора, как

Вадье или Вулан? И, однако, именно эти липа оказались в авангарде недовольных.

Впрочем, вряд ли когда-нибудь существовало более лицемерное недовольство. На самом деле новый декрет наполнил души Билло и его друзей злобной радостью. Они нашли ахиллесову пяту Робеспьера. Они прекрасно поняли, как использовать сложившуюся ситуацию. Неподкупный добивался утверждения прериальского закона, что ж, теперь он будет за него отвечать! Теперь на его плечи можно будет взвалить вину за любую кровь, пролитую по любому поводу! И когда народ, уставший от казней, с недоумением обратит свой взор к правительству, ему будет даваться неизменно один и тот же ответ: «Этого хотел Неподкупный!»

И вот засучив рукава Комитеты принялись за «работу». В то время как Сен-Жюст сражался с армиями интервентов, а Робеспьер после скандала 23 прериалья все реже и реже появлялся на заседаниях Комитета общественного спасения, последний и в особенности с его санкции Комитет общественной безопасности стали лихорадочно осуществлять «программу крови», программу, задуманную с тем, чтобы свалить ненавистный триумвират.

Наступало царство «святой гильотины»... Головы стали скатываться к подножью эшафота, как спелые плоды. За сорок пять дней, начиная с 23 прериалья, Революционный трибунал вынес более 1350 смертных приговоров — в два раза больше, чем за весь кровавый жерминаль и первую половину прериалья. Вследствие ускоренного порядка судопроизводства приговоры незамедлительно следовали один за другим и тут же приводились в исполнение. Судьба человека подчас завершалась с такой быстротой, что дух захватывало: в пять часов утра его арестовывали агенты Комитета общественной безопасности; в семь — переводили в Консьержери; в девять — сообщали обвинительный акт; в десять — он сидел на скамье подсудимых; в два часа дня получал приговор и в четыре — оказывался обезглавленным. На всю процедуру, от ареста до казни включительно, уходило, таким образом, менее полусуток!.. Правительство Комитеты ежедневно препровождали в Революционный трибунал десятки жертв, но некоторые дни оказывались особенно плодовитыми; так, 3 термидора Комитетами было издано два постановления, посылавшие на скамью подсудимых в совокупности 348 человек. Очень часто к одному и тому же делу привлекали обвиняемых, которые даже не знали друг друга, Шпионы в тюрьмах, подслушав какие-нибудь неосторожные слова, составляли наобум списки мнимых

заговорщиков, в которые заносили десятки, а то и сотни имен. На основании подобной системы обвинения трибунал осудил 73 «заговорщика» Бисетра и 156 «заговорщиков» Люксембургской тюрьмы. При этом обращает на себя внимание следующее обстоятельство: как ни быстро опорожнялись тюрьмы, поставляя жертвы эшафоту, наполнялись они, однако, еще быстрее. К 23. прериала в Париже был 7321 заключенный, полтора месяца спустя их стало 7800.

Кто же были эти тысячи новых арестантов и сотни новых жертв гильотины? Робеспьер, судорожно добиваясь проведения в жизнь прериальского закона, имел в виду прежде всего устранить «нескольких змей», сравнительно небольшое число крупных своих врагов, членов Конвента, которых он определенно знал как участников антиправительственного заговора. Однако в действительности ни один из этих деятелей не был не только казнен, но даже арестован. В действительности жестокий прериальский закон ударил не по тем, против кого он предназначался. Направляемый опытными и злыми руками в период дальнейшего вызревания и сложения антиробеспьеровского заговора, закон этот должен был подорвать популярность Неподкупного, ослабить его авторитет, заставить массы отвернуться от него. Жертвами этого закона, наряду с некоторым числом действительных спекулянтов, саботажников и мелких врагов республики, стали случайные, часто ни в чем не повинные люди: обыватели парижских предместий, уличные торговцы, недовольные своим положением бедняки. Посылая легионы подобных «заговорщиков» в руки палача, те, кто осуществлял эту операцию, как бы молчаливо указывали (парижскому народу: «Смотрите! Так хотел Неподкупный!..»

Среди дел, проведенных Революционным трибуналом в конце прериала, особенно выделялось одно: дело «Красных рубашек».

В ночь с 3 на 4 прериала (22–23 мая) патруль, проходивший по площади у театра Фавара, вдруг услышал отчаянные крики. Крики неслись из дома № 4, где жил Колло д'Эрбуа. Бросились туда. На лестнице стоял Колло, бледный и покрытый потом; рядом валялись обломки сабли и ключья волос. Колло сообщил, что он только что вырвался из рукопашной схватки, причем в него были сделаны два pistolетных выстрела, ни один из которых не попал в цель. Убийца забаррикадировался в комнате и кричал, что будет стрелять в каждого, кто попытается войти. Слесарь Жефруа, не посмотрев на угрозы, открыл дверь и тут же упал, раненный в плечо. Преступника схватили. Он оказался человеком лет пятидесяти, но

еще полным сил. Имя его было Амираль; он служил конторщиком при национальной лотерее. Его тут же допросили. Он не скрывал, что целью его было убийство, однако не Колло д'Эрбуа, а Робеспьера. С целью подловить Робеспьера он пришел накануне в Конвент и стал дожидаться своей жертвы. В Конвенте шли прения. Длинный доклад Барера усыпил преступника, а когда он проснулся, оказалось, что было поздно: Неподкупный ушел. Тогда с досады, что дело не удалось, Амираль решил убить кого-нибудь другого, и тут его выбор остановился на Колло, в одном доме с которым он жил.

В тот же день, около девяти часов вечера, на квартиру к Робеспьеру пришла молодая девушка, дочь торговца бумагой, назвавшая себя Сесилью Рено. Узнав, что Максимилиана нет дома, она стала бурно возмущаться и заявила, что общественное должностное лицо обязано принимать посетителей. Ее настойчивость, тон ее речей и все поведение показались подозрительными. Ея задержали и обыскали. Были обнаружены два ножа.

— Зачем она пришла к Робеспьеру?

— Посмотреть, как выглядит тиран.

— А какое употребление она намеревалась сделать из ножей, найденных при ней?

— Никакого.

Последний ее ответ, впрочем, противоречил всему остальному. Она не скрывала своей ненависти к республике, заявила, что одного короля предпочитает пятидесяти тысячам тиранов, и в заключение отметила, что заранее приготовилась к тому, что ее отправят в арестантский дом, а оттуда на гильотину.

Расследование дела арестованных преступников взял на себя Комитет общественной безопасности, состоявший в основном из врагов Неподкупного. Вместо того чтобы заняться разысканием действительных виновников, вложивших оружие в руки убийц, — а найти их было вовсе не трудно, и члены Комитета их хорошо знали, — делу было придано совершенно иное направление. Заметая следы и вместе с тем желая сделать Робеспьера ответственным за смерть массы людей, казненных во имя «тирана», усердные интриганы из Комитета решили превратить Сесиль Рено и Амиралья в участников огромного «заговора», весьма далекого от истинных заговорщиков. С этой целью Комитет в первые же дни расследования провел десятки беспорядочных арестов, задерживая случайных людей по чисто внешним признакам. Были арестованы прежде всего отец и три брата преступницы; двое из них, служившие в армии, были специально с этой целью вызваны в Париж. Затем арестовали

школьного учителя Кардинала за то, что он оскорбительно отозвался о Робеспьере; некоего Пэна д'Авуана — за то, что в начале прериаля он обедал с Амиралем; госпожу Ламартиньер, любовницу Амирала; некоего Порбефа — за то, что, когда он узнал об аресте убийцы, у него вырвалось восклицание: «Очень жаль!»; госпожу Лемуан — за то, что Порбеф говорил в ее присутствии.

Но этого было мало. «Заговору» нужно было придать иностранную окраску и связать его с «бывшими». Тут вспомнили вдруг пресловутого барона Батца и его друзей. И хотя не имелось абсолютно никаких материалов, которые указывали бы на связь дела Амирала и Сесили Рено с этим неуловимым авантюристом, тем не менее их решили объединить.

В те времена, когда барон Батц еще пребывал в Париже, он держал в целях маскировки несколько квартир одновременно. Между прочим, он проживал на улице Гельвеция у некоего Руссея. Об этом узнали. Руссель, привлеченный к допросу, рассказал, что он познакомился с Батцем у актрисы Гран-Мезон, владевшей загородным домом в Шарроне, где встречались обычно сообщники Батца. Гран-Мезон была тотчас же включена в список «заговорщиков». Вместе с ней привлекли нескольких бывших аристократов: Лавалья де Монморанси, принца Рогана-Рошфора, графа де Понса, виконта де Буассанкура, отца и сына Сомбрейлей, графа Флера и других.

К этому же делу, из особых видов, притянули и семейство Сент-Амарант, арестованное еще 10 жерминаля по совершенно другому обвинению.

Госпожа Сент-Амарант до революции держала заведение, в котором ее высокопоставленные посетители развлекались карточной игрой и другими более легкомысленными утехами. Своего ремесла почтенная дама не оставила и в дальнейшем; менялись только ее клиенты. Сначала это были Мирабо и его друзья, затем жирондисты, наконец позднее самими желанными завсегдатаями снимаемых ею на улице Пале-Рояль салонов сделались Дантон, Шабо и Эро де Сешель. Дочь госпожи Сент-Амарант была замужем за неким Сартином, сыном бывшего полицейского поручика; своими взглядами и образом жизни молодая Сент-Амарант ни в чем не уступала матери. Долгое время эта семья, как и ее заведение, казались неуязвимыми, ибо им всегда покровительствовал кто-либо из власть имущих. Но затем, когда в первые дни жерминаля меч закона повис над лидерами «снисходительных», Сен-Жюст обратил внимание на это гнездо разврата; именно по его инициативе тогда же мать, дочь и зять были арестованы и заключены в тюрьму. Теперь вдруг члены Комитета

общественной безопасности о них вспомнили. И по какому поводу? По той простой причине, что привлечением к делу Сесили Рено обеих Сент-Амарант можно было придать всему делу особый специфический оттенок. Кем-то из врагов робеспьеристов была пущена в ход басня, будто бы Сен-Жюст ополчился против Сент-Амарант потому, что младшая из них отказалась стать его любовницей (!). Одновременно утверждали, что сам Неподкупный проводил ночи в притоне госпожи Сент-Амарант, где напивался и выбалтывал государственные тайны (!!). Более гнусную и несуразную клевету, которая не имела и тени правдоподобия, состряпать было трудно. И, однако, хотя никто не мог ей верить, хотя она с легкостью опровергалась фактами, ее охотно передавали из уст в уста, передавали шепотом, оглядываясь и грязно хихикая. Вполне понятно, что при таких обстоятельствах привлечение семьи Сент-Амарант придавало всему делу некоторую пикантность, бросавшую тень на видных робеспьеристов. «Осуждением и казнью этих людей, — шептали клеветники, — Робеспьер и Сен-Жюст хотят спрятать концы в воду и уничтожить следы своих ночных походов...»

Бросалось, наконец, в глаза, что, кроме всех поименованных лиц, к делу были привлечены бедняки, люди из простонародья, зарабатывавшие горьким трудом крохи на жизнь. К числу их относилась, например, семнадцатилетняя портниха Николь, жившая на чердаке и не имевшая другого имущества, кроме груды лохмотьев, на которых она спала. В чем состояла ее вина? Неизвестно. Ее упрекали единственно в том, что она носила пищу к Гран-Мезон.

Всего набрали пятьдесят четыре человека. К числу их в последний момент подключили четырех полицейских, которые слыли недоброжелателями Робеспьера. Дело по совокупности назвали «заговором иностранцев» и передали в Революционный трибунал. 29 прериаля Фукье-Тенвиль, прежде чем подсудимые успели опомниться, предложил применить в отношении всех их смертную казнь, и присяжные утвердили приговор.

Жуткую, незабываемую картину представляло шествие на казнь. Комитет общественной безопасности всех смертников провозгласил «отцеубийцами». Их одели в длинные красные рубахи и разместили на девяти телегах. Место казни с площади Революции перенесли на площадь Трона, в силу чего ужасной процессии приходилось следовать через все Сент-Антуанское предместье, населенное рабочим людом. В этом был также особый замысел. В течение трех часов дребезжали по мостовой страшные колесницы, наполненные людьми, одетыми в красное, среди

которых были женщины, молодые девушки, почти дети.

— Вот процессия, напоминающая шествие кардиналов, — хохотал Фукье-Тенвиль, намекая на «папу» — Робеспьера.

Впрочем, больше всех радовался один из главных организаторов затей — жестокий Вулан.

— Идемте к главному алтарю, — взывал он к своим коллегам, — насладимся зрелищем кровавой мессы... — И затем, вторя агентам Комитета, сопровождавшим телеги, он кричал громче всех остальных: — Смерть убийцам Робеспьера!

Прошло то время, когда парижане с интересом наблюдали шествие к эшафоту. Кровь вызывала отвращение. И Париж в ужасе отворачивался, внимая настойчивому голосу, не устававшему повторять:

— Смотрите! Этого хотел он, Неподкупный!

Между тем параллельно делу «Красных рубашек» тот же Комитет общественной безопасности готовил еще одну стряпню, которой собирались травить Робеспьера: это было постыдное дело Катерины Тео, и главную роль в его фабрикации принял на себя Вадье.

27 прериаля (15 июня) Вадье торжественно заявил с трибуны Конвента, что Комитетом общественной безопасности открыт новый заговор. В центре заговора находилась якобы полусумасшедшая старуха, Катерина Тео, объявившая себя «богоматерью» и имевшая обширную клиентуру верующих. Новая «богоматерь» проповедовала скорое пришествие на землю мессии. Так как Тео была преисполнена восхищением по отношению к Робеспьеру и всячески прославляла его, то можно было заключить, что мессией, пророком, спасущим мир, как раз и является он. С этой провозвестницей, указал далее Вадье, была связана группа прежних аристократов, поддерживавших связи с Лондоном и Женевой, а также бывший член Учредительного собрания монах Жерль. Всех этих лиц Вадье обвинял в контрреволюционной деятельности и требовал, чтобы Конвент декретировал их предание Революционному трибуналу.

По иронии судьбы в этот день в Конvente председательствовал Робеспьер. Вадье изрекал свои обвинения с самым серьезным и равнодушным видом. Он обрисовывал все дело таким образом, что во время его доклада раздавались непрерывные взрывы хохота и насмешливые аплодисменты. Все взгляды были обращены на Робеспьера, бледного, страдающего, пригвожденного к председательскому креслу и вынужденного терпеливо переносить эту страшную пытку оскорбления.

Собрание декретировало предложение Вадье и сверх того постановило, чтобы прочитанный доклад был разослан войскам и всем коммунам республики.



Вадье (современный набросок).

Это была публичная пощечина Робеспьеру. Но главное было впереди. Хитрый Вадье в своем докладе Конвенту не только искажил суть дела, ибо в действительности проповеди Катерины Тео отнюдь не были враждебны республике. Вадье нарочно скрыл некоторые факты, установленные следствием. Он ничего не сказал о том, что среди поклонниц Тео были члены семьи Дюпле. Скрыл он также и то, что обвиненный им Жерль квартировал в доме Дюпле и что документ, по которому он проживал, бывший член Учредительного собрания получил лично от Робеспьера. Все эти факты должен был обнародовать уже во время процесса тайный

ненавистник Робеспьера Фукье-Тенвиль. Организацией этого раздутого дела с приданием ему максимально публичного характера заговорщики рассчитывали сильно скомпрометировать Неподкупного и ускорить его падение.

Но Робеспьер прекрасно понял эту грубую уловку. Он тотчас же затребовал дело у Фукье-Тенвиля.

После этого он повел отчаянную борьбу за снятие или по крайней мере приостановку дела. Большинство членов Комитета общественного спасения, прикрываясь буквой закона, ни за что не хотели ему уступить. С огромным трудом, после нескольких диких сцен Максимилиану удалось 8 мессидора добиться отсрочки дела. Это была его последняя победа. Однако благодаря многочисленным «доброжелателям» слухи о деле Тео, преувеличенные и неверные, стали достоянием толпы. «Дело Тео» стараниями Вадье продолжало и впредь оставаться страшным жупелом, которым угрожали Робеспьеру при каждом удобном случае, вплоть до дня его действительного падения.

В тот день, когда Максимилиан Робеспьер одержал свою последнюю победу в Комитете общественного спасения, армия революционной Франции нанесла один из самых сокрушительных ударов войскам коалиции. После шестикратных неудач французы форсировали Самбру, взяли Шарлеруа и 8 мессидора (26 июня) выиграли решающую битву при Флерюсе. Эта победа определила исход всей кампании весны — лета 1794 года. Интервенты, вынужденные оставить крепости Ландреси, Валансьенн, Ле-Кенуа и Конде, нарушив линию своих коммуникаций, покатались на восток. Путь в Бельгию, Голландию и Западную Германию был открыт.

В организацию флерюсской победы не малую энергию вложил Сен-Жюст. Он проявил здесь всю свою непоколебимость, показал поистине железное упорство. На успех кампании Сен-Жюст возлагал большие надежды. Он рассчитывал, что в случае победы ему и его друзьям удастся укрепить свои позиции в Комитете общественного спасения, подавив враждебное большинство. На деле, однако, вышло иное. Победа при Флерюсе имела для робеспьеристов роковые последствия. Она в значительной мере ускорила вызревание заговора и наступление общей развязки. Именно вскоре после победы при Флерюсе произошло событие, казавшееся противоестественным: правый и левый фланги заговора объединились. Блок, названный впоследствии термидорианским, сложился. И немалую роль в этом деле сыграл человек, прятавшийся в тени, великий проходимец и непревзойденный лицемер, предатель, страшный своей

политической беспринципностью, знаменитый Жозеф Фуше.

Этот невзрачный человек со студенистым, медузообразным лицом и слабым голосом впервые «прославился» в Лионе, где он вместе с Колло д'Эрбуа истребил тысячи ни в чем не повинных людей. Робеспьер, давно уже приглядывавшийся к Фуше, приказом от 7 жерминаля (27 марта) отозвал его из Лиона. Фуше, скрывая злобу к Неподкупному, пытался пойти на примирение. Но Максимилиан знал, с кем имеет дело, и все заискивания Фуше не принесли последнему ровно никакой пользы. Тогда, еще более озлобленный и страшно напуганный, Фуше с головой погрузился в интриги. Ловко используя различные приемы демагогии, вероломно прикрывая всякий свой шаг революционной фразеологией, обманывая направо и налево, попеременно то льстя, то угрожая, этот оборотень вскоре стал одним из центральных персонажей заговора, добился своего избрания в председатели Якобинского клуба и сумел связать группу Тальена с остатками эбертистов и другими «левыми». Играя на том, что лионские преступления, вмененные ему в вину Робеспьером, могут быть в равной мере инкриминированы и Колло д'Эрбуа, Фуше втерся в полное доверие к этому последнему, а также к близкому с Колло Билло-Варену. Одновременно он завязал — тесные отношения с фанатиком-эбертистом Карье, видным членом Комитета общественной безопасности Бадье, Камбоном и целым рядом других крупных деятелей, в той или иной степени недоброжелательно настроенных по отношению к Робеспьеру. Содействуя сближению правых и «левых», тайной оппозиции в Конвенте и недовольных в правительственных Комитетах, Фуше сплел такую мертвую петлю, которую нельзя было ни развязать, ни ослабить; ее можно было лишь разрубить сильным и быстрым ударом, а если время оказывалось упущено или сил не хватало, то оставалось лишь погибнуть в ее тисках.

Действительно, новый заговор был неизмеримо серьезнее и опаснее, нежели любая из предшествующих конспираций. Его сила заключалась прежде всего в том, что он объединял непримиримые в прошлом группировки, находившиеся как справа, так и слева от робеспьеристов. Такое объединение фактически удваивало силы заговорщиков. Если в прежнее время революционное правительство смогло разбить эбертистов и дантонистов порознь, то теперь Робеспьеру и Сен-Жюсту приходилось иметь дело с единым фронтом всех антиправительственных фракций. То, чего не смог сделать в свое время Дантон, слишком поздно склонившийся к мысли о союзе с Эбером, теперь сделал Фуше, хорошо учтя опыт прошлого. При этом весьма серьезным было и другое обстоятельство.

Заговор, по существу направленный против правительства, ибо конечной его целью было свержение революционной якобинской диктатуры, опирался на тайную поддержку большинства того самого правительства, которое он собирался низвергнуть. С помощью дьявольской изворотливости неугомонного Фуше заговорщикам, которые не могли прямо свалить революционное правительство, удалось подвести под него планомерный подкоп и взорвать его изнутри. Конечно, добиться такого эффекта можно было лишь в том случае, если налицо имелись достаточно серьезные предпосылки. Но такие предпосылки как раз имелись. Заговорщики правильно учли ситуацию, правильно разглядели то, что зародилось еще в дни жерминаля.

Но как могли пойти «левые» на союз со своими смертельными врагами? Разве не видели они, что, отрекшись от Неподкупного, они обрекают себя на гибель? Разве не догадывались они, что конечной целью заговорщиков является уничтожение революционного правительства и ликвидация основных завоеваний прошедших лет? Да, акт предательства сопровождался явным ослеплением. «Левые» члены правительства и поддерживавшие их депутаты Конвента, тяготившиеся опекой Робеспьера, не поняли, что идут навстречу собственной смерти. Распропагандированные умелыми агитаторами, возложившие надежды на лживые посулы врагов, они пошли в фарватере контрреволюции. Вне зависимости от своих субъективных мыслей и желаний они сыграли подлую роль изменников народному делу. Большинство из них, правда, значительно позднее поняли то, чего не понимали накануне термидора. Но кому от этого стало легче в период торжества кровавой реакции? Предательство осталось предательством, и запоздалые раскаяния ничего не могли изменить, а история заключила «левых» в кавычки. Действительно, «левые» термидора — термидора резко отличались от левых якобинцев 1793 — начала 1794 года. Если Шомет и его соратники были подлинными «якобинцами с народом», то «левые», подобно своим предшественникам — эбертистам, оставались оторванными от масс фракционерами, лишенными сколь-либо острого социального чутья и поэтому оказавшимися в решающий момент близорукими обывателями, неспособными правильно разобраться в окружающей обстановке. «Левые» были нужны вожакам контрреволюции только для того, чтобы усыпить народные массы и представить борьбу против Робеспьера как дело, предпринятое в защиту народа. И эту задачу, возложенную на них врагами народа, они выполнили.

Видели вожди робеспьеризма, что происходит вокруг них? Понимали

они глубину той пропасти, которая разверзлась перед ними? И видели и понимали. «...Революция окончена, — писал Сен-Жюст. — Все принципы ослабли, остались только красные колпаки, прикрывающие интригу. Террор притупил преступление, подобно тому, как крепкие напитки притупляют вкус...»

Эти полные возвышенной печали слова были навеяны жестокой реальностью. Находясь во главе Бюро общей полиции, робеспьеристы имели подробные сведения о направлении развития заговора. Если Неподкупный мог пребывать к какому-то заблуждению до последней декады прериаля, то, начиная с этого времени, он знал все, вплоть до главных имен, а отсюда вытекал и сам жестокий закон 22 прериаля. Впрочем, в мессидоре о заговоре уже нельзя было не знать. Его организаторы, сознавая свою силу, теряли осторожность. Слухи о нем не только циркулировали по всей стране, о нем не только запрашивали и информировали находившиеся в миссии депутаты и отдельные чиновники, но даже иностранная пресса с речательством за достоверность сообщала своим читателям о близком низвержении якобинской диктатуры.

Но чего же, в таком случае, ждали робеспьеристы? Почему они не наносили решительного удара? Почему они дали врагам затянуть петлю на горле революции? Потому, что они находились в тупике, из которого не было выхода. Потому, что теперь они находились на дороге, которая никуда не вела. Никуда, кроме могилы...

Великая буржуазная революция, разбудившая самые широкие народные массы Франции, этап за этапом победно двигалась вперед. По мере того как она удовлетворяла те или иные социальные группировки, последние соответственно стремились ее «остановить». До поры до времени это оказывалось невозможным, ибо поток революции был сильнее, чем все преграды, стоявшие на его пути, ибо массы, не получившие еще удовлетворения своих нужд, добивались их осуществления, ибо во главе масс стояли решительные защитники народа, якобинцы во главе с Робеспьером, Маратом, Сен-Жюстом, Шометом и другими. Но трагедия якобинской диктатуры и, в частности, трагедия робеспьеристов заключалась в том, что при всех своих сильных сторонах, при всем своем субъективном желании идти с народом до конца даже лучшие якобинцы оставались буржуазными революционерами, вождями мелкой городской и сельской буржуазии, — никем другим в тех условиях они быть не могли. А это значит, что все самые светлые идеалы Неподкупного должны были рано или поздно разбиться о жестокую жизненную действительность,

превозмочь которую он объективно не мог, не мог, разумеется, не вследствие своего нежелания, а в силу неизбежной социальной ограниченности возглавляемой им группировки. Рано или поздно должен был наступить момент — и он наступил, — когда Неподкупный, до этого страстно боровшийся со всеми, кто пытался замедлить или пресечь победный марш революции, сам начал задумываться об «остановке», причем об «остановке», которая должна быть сделана ранее, нежели полностью будут удовлетворены интересы беднейших слоев городского и сельского плебса. Он сам никогда не признался бы себе в этом, но фактически с некоторых пор стараниями робеспьеристов революция была переведена в значительной мере на холостой ход. Действительно, почему Робеспьер разгромил не только «бешеных», но и левых якобинцев, которые преданно поддерживали его и на которых он мог вполне положиться? В первую очередь потому, что он опасался «крайностей». Это с еще большей ясностью обнаружила рабочая политика робеспьеристов поздней весной и летом 1794 года. В течение флореаля правительство осуществило роспуск целого ряда народных обществ, секций в порядке «самоликвидации». Робеспьеристская Коммуна враждебно относилась к любым попыткам рабочих бороться за улучшение своего существования. Когда, например, рабочие парижской табачной мануфактуры послали 2 флореаля (21 апреля) депутацию в Коммуну с петицией о повышении заработной платы, оратор петиционеров с санкции Сен-Жюста был арестован и препровожден в полицию. 9 флореаля (28 апреля) парижский муниципалитет произвел аресты организаторов портовых рабочих. 13 флореаля (2 мая) репрессии были обещаны недовольным подмастерьям-пекарям. В ответ на растущее рабочее движение Парижская коммуна обратилась ко всему эксплуатируемому люду столицы с угрожающей прокламацией, в которой прямо ставила недовольных тружеников в один ряд с контрреволюционерами и провозглашала открытый террор против тех, кто будет пытаться облегчить свою тяжелую участь.

Таким образом, обрушивая репрессии на деревенскую и городскую бедноту, робеспьеристы вместе с тем не выполняли да и не могли выполнить своих обещаний, данных той же бедноте: декреты вантоза фактически остались нереализованными. В результате всего этого якобинское правительство к лету 1794 года оказалось в состоянии серьезного конфликта с плебейскими массами города и деревни. А это было чревато очень серьезными последствиями. Сила Робеспьера и его соратников заключалась в прочности их связи с народом. Опираясь на народ, поддерживая его инициативу и двигаясь с ним нога в ногу,

робеспьеристы были непобедимы. Теперь же, когда основные задачи буржуазной революции оказались разрешенными, когда возможность дальнейшего развития революции стала пугать не только «нуворишей», но и мелкобуржуазные слои города и деревни, с предельной полнотой обнаруживалась буржуазная ограниченность якобинцев и их руководящей группы — робеспьеристов. Вследствие этого они стали терять опору в тех слоях населения, которые были источником их силы, а вместе с тем потеряли и свою былую способность смело разить врагов. Вот основная причина сравнительной бездеятельности Робеспьера и его друзей в конце прериала и мессидоре. Попав между молотом и наковальней, оказавшись между сильным заговором и равнодушным народом, они застыли, как застывает птица под гипнотизирующим взглядом змеи. К этому, разумеется, прибавился и ряд причин чисто субъективного характера. Сен-Жюст почти непрерывно пропадавал на театре войны, ошибочно считая, что военные победы могут разрешить острые внутренние конфликты, Кутон часто болел, а Робеспьер... Робеспьер, казалось, был готов закрыть глаза на то, что происходило в Комитетах и на улице.

Он хорошо понимал, что без решительного изменения курса своей политики он не может рассчитывать на готовность масс самоотверженно отстаивать существующий режим. Но этот курс он изменить и не хотел и не мог. И вот, вопреки очевидному, он, по-прежнему строгий законник, предавался пагубной надежде, что враги не посмеют открыто напасть на него, что народ не будет введен в действие, что всю борьбу окажется возможным локализовать в рамках Конвента, Якобинского клуба и Коммуны, то есть тех организаций, где хорошо известна сила его слова. Надежда эта, правда, все время боролась с отчаянием, но она все же была.

В ночь с 10 на 11 мессидора (28–29 июня) в Комитете общественного спасения произошел исключительно бурный разговор, который закончился полным разрывом. Робеспьер покинул заседание с твердым намерением оставить Комитет; действительно, с середины мессидора он больше не появлялся на его заседаниях.

13 мессидора (1 июля) он поднялся на трибуну Якобинского клуба и произнес речь, которая была формальным вызовом заговорщикам.

— Теперь, как и всегда, — говорил он, — действия патриотов стараются выставить в свете несправедливости и бесчеловечности... В то время как небольшое число людей с неослабным рвением занимается делом, возложенным на них всем народом, множество негодяев и агентов иностранных держав ткнут в тиши клеветнические вымыслы и готовят

преследование порядочных людей... Эта партия выросла из обломков всех остальных... Они стремятся изобразить деятельность Конвента как дело нескольких человек. Осмелились распространить в Конvente слух, что Революционный трибунал создан только для удушения самого Конвента... Что касается меня, то, несмотря на усилия, которые проявляют, чтобы закрыть мне рот, я считаю себя вправе говорить так же, как во времена эберов, дантонов и других. Из Лондона меня изображают в глазах французской армии диктатором, та же клевета повторяется в Париже...

Однако, обвиняя контрреволюционеров и связанных с ними лиц, Неподкупный не пожелал уточнить, кого он персонально имеет в виду. Он произнес угрозу, но эта угроза повисла в воздухе.

— Когда события развернутся, — закончил оратор, — я объясню более пространно...

Но и в дальнейшем он продолжал придерживаться все той же тактики, и, хотя события разворачивались вовсю, он снова и снова медлил с решительными уточнениями. Вместе с тем, показывая, насколько он понимает уловки своих врагов, Робеспьер в выступлениях этой поры прямо констатировал, что революционное правительство уже не имеет твердой почвы под ногами.

— В республике, — говорил он с иронией в клубе 21 мессидора (9 июля), — существует революционный Комитет^[11]. Вы полагаете, быть может, что он считает своей задачей уничтожение аристократии? Совсем нет: он думает, что нужно арестовывать всех граждан, сказывающихся по праздникам пьяными. Благодаря такому удачному применению закона все контрреволюционеры остаются спокойными и в полной безопасности, в то время как ремесленников и добрых граждан безжалостно арестовывают...

Так он говорил и говорил, обвинял, разоблачал, иронизировал. Но к чему было все это? Даже самая едкая ирония не могла помочь там, где нужно было действовать, действовать решительно я без промедления. Но действовать он не мог. Раздумье одолевало его бедную голову. Он прекратил ходить в Комитет, он перестал посещать заседания Конвента. Многие недоумевали. Уж не ступил ли он на путь Дантона, впавшего в летаргию накануне своего падения? Нашел время, чтобы отдохнуть от служебных обязанностей! Безумец, прикорнувший на краю вулкана! Люди дальновзоркие и энергичные в эти дни неоднократно предупреждали Робеспьера. Ему писал национальный агент Пейян, человек здравомыслящий и деятельный, который доказывал, что сейчас дорога каждая минута, что наносить удар мятежникам следует немедленно. «В течение месяца с тех пор, как я писал тебе, мне кажется, что ты спишь,

Максимилиан...» — с горечью укорял его старый аррасский друг Бюиссар в письме, датированном еще 10 мессидора. Получал он и массу анонимных писем того же содержания. Все это было безрезультатным. Робеспьер оставался верен своему плану. Нельзя сказать, чтобы он полностью бездействовал. У него были взлеты энергии. Эту энергию он целиком отдавал Якобинскому клубу, рассчитывая через клуб создать широкое общественное мнение. Что касается всего остального, то он придерживался явно выжидательной политики, считая, по-видимому, что время работает на него. Лишь одному деятелю он не давал покоя, разоблачая его в глаза и за глаза и стремясь парализовать его усилия. Это был человек, в котором Неподкупный правильно разглядел истинного вождя заговора, — это был Жозеф Фуше. В конце концов Максимилиан добился того, что Фуше был исключен из клуба (26 мессидора). Впрочем, этим дело и ограничилось. В силу непостижимей причины Робеспьер не добил своего главного врага. А Фуше, видя в перспективе нож гильотины, удвоил старания, направленные к расширению заговора. Теперь он юлил возле отдельных членов Конвента. С видом полной осведомленности и с величайшей осторожностью нашептывал он сегодня одному, завтра другому о том, что они внесены якобы в составленный Робеспьером проскрипционный список и подлежат уничтожению. Так, играя на страхе, Фуше склонял постепенно к участию в заговоре нерешительное «болото».

В последние дни мессидора многие жители Парижа, обитавшие в районе Елисейских полей или садов Марбеф, неоднократно встречали худощавого задумчивого человека с книгой под мышкой в сопровождении огромного ньюфаундленда. Его лицо и весь его облик были хорошо известны прохожим: это был знаменитый деятель революции, член Комитета общественного спасения, Максимилиан Робеспьер, прозванный Неподкупным. В то время как его коварные враги заканчивали изготовление мертвой петли, которой собирались душить одновременно и его и революцию, он совершал эти тихие уединенные прогулки, не желая иных спутников, кроме своего любимого Брунта, которому верил гораздо больше, чем людям. Здесь он иногда встречался с детьми. Многие из них уже хорошо знали в лицо «доброе дядю», угощавшего их конфетами и с интересом следившего за их играми. Зачастую, когда он гладил какую-нибудь русую головку, слезы невольно наворачивались ему на глаза. Он думал о том, что во имя будущего вот этих малышей и их братьев он отказался от собственной жизни, от самого себя, от таких же малышей, которые могли быть его детьми. Впрочем, разве все они и тысячи других,

разве они не его дети, не дети революции?..

Отдыхая на скамейке парка, он иногда читал, но больше думал. Воспоминания окутывали его. Полузакрыв глаза, Максимилиан видел тихий Аррас, узенькую улицу Ра-Портер, старый дом. Он представлял себе расположение комнат, старался вспомнить, где какая стояла мебель... Совсем, совсем издали звучал тихий мелодичный голос матери, баюкавший его: «Спи... Усни крепким сном... Вечным сном...» Робеспьер вздрагивал, как от ушата ледяной воды. Неужели правда? Неужели он погиб, погиб безвозвратно? Но ведь вместе с ним погибнет и все то, что было сделано за последние годы! Все сойдет на нет, вернется к старому, к ненавистным цепям рабства! Но внутренний голос твердо и уверенно говорил ему: «Нет! Не погибнет! Не вернется! Если ты и умрешь, то дело твое будет жить, будет жить в веках. Встанут новые бойцы. Они продолжат то, что ты начал. И заря всемирного счастья наступит, что бы ни произошло в ближайшем будущем».

Глава 10

Разбитые надежды

Только в начале термидора Робеспьер очнулся от охватившей его апатии. Нет, больше ждать нельзя. Здание рушится на глазах. Его попытка отойти в сторону и предоставить все своему естественному течению не оправдала себя. Течение оказалось против него, и сила напора превзошла все ожидания. Еще несколько дней — и будет поздно. Быть может, поздно уже и сейчас. Но что же из этого? Неужели же он, Неподкупный, спасует и отдаст стихии гибели себя и своих? Но ведь это будет смерть революции! Нет, надо напрячь все силы для последней битвы. Необходимо использовать все возможности. Надо бороться до конца, каковым бы этот конец ни был.

5 термидора (23 июля) Робеспьер явился на совместное заседание обоих правительственных Комитетов. Туда же прибыл и Сен-Жюст, только что вернувшийся в Париж из северной армии. Члены Комитетов встретили робеспьеристов напряженным молчанием. Затем начались взаимные укусы. Барер стал перечислять вины Робеспьера и его единомышленников. Сен-Жюст при поддержке Давида, в свою очередь, обвинил большинство в новом расколе и создании партии, губящей дело свободы. Взволнованный Билло-Варен, искренний республиканец, несмотря на внешнюю резкость своих выпадов, все еще продолжавший колебаться, обратился к Максимилиану со словами:

— Мы ведь твои друзья, мы всегда шли вместе.

Но товарищи Билло поспешили парализовать эту робкую попытку к примирению; к чему запоздалые сожаления, когда заговор столь близок к своему успешному финалу?

— Вы жаждете составить триумвират, — сказал Эли Лакост.

Другие его поддержали. Начался обычный шум. Робеспьер покинул совещание с твердой уверенностью, что говорить здесь более не о чем.

Нет, не здесь надо говорить. Надо идти прямо в Конвент, к законодателям, к депутатам державного народа. Надо рассказать им все. Сколько раз сила его слова одерживала победу, сколько раз она вызывала бурные овации даже со стороны робкого «болота»! Он, Робеспьер, всемогущ и на трибуне Конвента. Только Собрание может его понять и поддержать. Большинство никогда не осмелится стать на сторону нескольких злодеев. — Если Конвент его примет и одобрит, тогда он

несокрушим! Тогда горе заговорщикам из обоих Комитетов! Они будут уничтожены, их раздавят так же, как раздавили Эбера и Дантона. Да, сейчас это единственно правильный путь.

Веривший в чудесное могущество слова, Робеспьер и не подозревал, что он будет стучать в закрытую дверь. Он не знал, до какой степени раковая опухоль заговора разрослась, поразив все живые ткани Конвента.

В тот же день он уехал в Монморанси, к своим дорогим святыням. Бессмертный дух учителя должен был его наставить и поддержать в решающие часы. Он бродил среди каштанов разросшегося парка, он отдыхал в тени Эрмитажа, благословенного дома, где Руссо творил некогда свою «Новую Элоизу». Робеспьер погрузился мыслью в самое сокровенное. Его последняя речь, его завещание, родилась здесь, в этих дорогих сердцу местах, среди потревоженных теней прошлого...

И вот, три дня спустя, 8 термидора (26 июля) он поднялся на трибуну Конвента. Он был спокоен и задумчив. Свою речь он начал следующими словами:

— Граждане, я предоставляю другим развертывать перед вами блестящие перспективы; я же хочу сообщить вам полезные сведения об истинном положении дел... Я буду отстаивать перед вами ваш оскорбленный авторитет и вашу насилуемую свободу. Я буду также защищать самого себя: ведь это не удивит вас, ибо крики угнетенной невинности не могут оскорбить вашего слуха...

Все происходившие до сих пор революции имели своей целью только смену династии или переход власти, от одного лица в руки нескольких. Французская революция — это первая революция, основанная на теории прав человека и на принципах справедливости. Другие революции требовали только честолюбия; наша предписывает добродетели...

Республика, основанная силою вещей в результате борьбы друзей свободы против постоянно возникающих заговоров, устояла наперекор всем партийным кликам; но они окружили ее со всех сторон, и все влияние оказалось в их руках; поэтому республика в лице всех честных людей, боровшихся на ее стороне, терпела преследования с самого своего возникновения...

Оратор напомнил своим слушателям о заговорах и мятежах, раздиравших Францию с момента провозглашения республики до гибели Эбера и Дантона. Он показал, что все эти заговоры имели общие истоки: алчность, честолюбие, иностранную интригу. Он убедительно связал прошлое с настоящим, проведя единую нить от Бриссо и Дантона к

сохранившемся охвостью повергнутых фракций. Он предупредил, что тактика нынешних врагов рассчитана на запугивание Конвента, на распространение провокационных слухов в среде честных патриотов. И главная особенность момента — это стремление сосредоточить весь огонь на одном человеке, на нем, Робеспьере.

— Они называют меня тираном... Но если бы я был им, то они ползали бы у моих ног, а я осыпал бы их золотом и упрочил бы за ними право совершать любые преступления; тогда они были бы благодарны мне. Если бы я был тираном, то покоренные нами короли не стали бы обличать меня, — подумаешь, какую нежную привязанность они проявляют по отношению к нашей свободе, — а предложили бы мне свою преступную поддержку... Кто из тиранов покровительствует мне? К какой клике я принадлежу? Только к самому народу. Какая клика с самого начала революции боролась со всякими кликами и уничтожила столько предателей, пользовавшихся доверием? Это вы, это народ и истинные принципы. Вот клика, к которой я принадлежу и против которой объединилось все преступное...

Негодяи! Они хотели бы, чтобы я сошел в могилу, покрытый позором, чтобы я оставил о себе память, как о тиране. С каким вероломством они злоупотребляли моим доверием! Как притворялись понимающими все принципы хороших граждан! Как наивна и нежна была их притворная дружба! Но вдруг их лица омрачились, в их глазах засверкала жестокая радость: это произошло в ту минуту, когда они стали считать удавшимися принятые ими меры для того, чтобы одолеть меня. Теперь они снова льстят мне, их речи более нежны, чем когда-либо. Им нужно время на то, чтобы снова начать свои преступные козни. Как жестоки их цели, как презренны их средства!.. Может быть, нет ни одного арестованного лица, ни одного притесняемого гражданина, которому не сказали бы обо мне: «Вот виновник твоих несчастий; ты был бы счастлив и свободен, если бы он перестал существовать!» Как описать или разгадать все клеветы, тайно возводимые на меня и в Конвенте и вне его с целью сделать меня предметом отвращения и недоверия? Ограничусь тем, что скажу, что уже более шести недель, как всякого рода клевета и невозможность делать добро, прекращая зло, принудили меня совершенно оставить мои обязанности члена Комитета общественного спасения, и клянусь, что даже в этом я руководился только собственным разумом и благом родины. Я предпочитаю звание представителя народа званию члена Комитета общественного спасения, но всего выше я ставлю свое человеческое достоинство и звание французского гражданина. Как бы то ни было, но вот

уже шесть недель, как моя диктатура прекратилась и я уже не имею никакого влияния на правление. Стали ли больше покровительствовать патриотизму? Стал ли более робким фракционный дух? Стала ли родина счастливее?..

Благородный пафос этих слов невольно захватил Собрание. Оратор говорил тихо, спокойно, почти не повышая тона, но тишина была такая, что каждый нюанс его голоса был слышен со страшной отчетливостью. Он говорил долго, и никто не прерывал его.

Не скрывая от депутатов своих опасений относительно состава правительственных Комитетов и прежде всего Комитета общественной безопасности, Робеспьер, однако, с жаром защищал революционное правительство, подчеркивая, что без него республика не сможет укрепиться и различные клики задушат ее.

— Все ваше внимание должно быть сосредоточено на революционном правительстве; если только оно будет низвергнуто, свобода сейчас же погибнет. Надо не клеветать на правительство, а призвать его к соблюдению истинных принципов, упростить весь его механизм, уменьшить бесчисленное количество его служащих и произвести их чистку; надо гарантировать безопасность народу, а не его врагам... Гарантия патриотов заключается не в медлительности и слабости национального правосудия, а в честности и непоколебимых принципах тех, кому оно вверено; эта гарантия заключается в честности намерений правительства, в открытой поддержке, оказываемой патриотам, в энергии, проявляемой им при подавлении аристократов...

Революционное правительство спасло нашу страну; теперь надо спасти его самое от всех подводных камней. Решить, что его надо уничтожить только потому, что враги общества сперва парализовали его, а теперь стараются извратить, это значило бы сделать неверный вывод. Освободить контрреволюционеров и содействовать торжеству негодяев — это странный способ оказывать покровительство патриотам. Охрана невинных заключается в применении террора к преступникам.

Обвиняя финансовое ведомство, доводящее страну до разорения, указывая на контрреволюцию, пропитавшую все области производства и распределения, Робеспьер заявил, что задачей настоящего времени является постепенное ослабление максимума и перевод экономики на рельсы мирного времени.

— Что же нам делать? — заключил оратор. — Исполнять свой долг. Скажем открыто, что существует заговор против народной свободы, что он поддерживается преступной коалицией, строящей козни даже в самом

Конвенте; скажем, что сторонники этой коалиции имеются даже в Комитете общественной безопасности и в канцеляриях, подчиненных этому Комитету; скажем, что враги республики противопоставили этот Комитет Комитету общественного спасения и создали таким образом как бы два правительства; скажем, что некоторые члены Комитета общественного спасения тоже участвуют в этом заговоре и что образовавшаяся таким путем коалиция хочет погубить патриотов и всю родину. Где же средства против этих бедствий? Покарать предателей, сменить состав канцелярии при Комитете общественной безопасности, произвести чистку самого Комитета и подчинить его Комитету общественного спасения, упрочить единство правительственной власти под верховным наблюдением Национального Конвента, являющегося центром правительства и верховным судьей, и восстановить могущество справедливости и свободы — вот в чем заключаются наши принципы.

Речь Робеспьера в целом производила сильное впечатление. Она была реабилитацией Неподкупного, ударом по его врагам и вместе с тем весьма тонко и умело составленной положительной программой на будущее. Указав на необходимость проводить новую экономическую политику путем постепенной ликвидации максимума, Робеспьер стремился успокоить «болото» и привлечь на свою сторону обеспокоенных собственников. И, однако, знаток человеческих сердец, Максимилиан Робеспьер совершил грубейшую тактическую ошибку, которая разом похоронила весь положительный эффект, произведенный его выступлением. Эта ошибка заключалась в том, что, разоблачая новый заговор и угрожая его главарям, оратор не назвал имен. Кто они были, те, кого нужно было истребить? Почему Неподкупный не указал на них прямо? А... быть может, он их боится? Или их так много, что всех сразу и не назовешь? Во всяком случае, неопределенность породила страх. Теперь каждый член Конвента мог считать себя под угрозой.

Каждый боялся за себя. Это оказалось как нельзя более на руку заговорщикам. Последние быстро поняли ошибку Робеспьера и без промедления воспользовались ее плодами.

Однако первый момент после произнесения речи казался благоприятным для оратора. Поднялся Лоран Лекуантр и, к удивлению своих друзей, выступил с предложением, чтобы речь была напечатана. Кутон потребовал, чтобы речь не только напечатали, но и разослали по всем коммунаам республики. Несмотря на отдельные робкие протесты, Конвент декретировал это предложение. Тогда противники Робеспьера

опомнились. Один за другим выступили Вадье, Камбон и Билло-Варен.

— Пора сказать всю правду! — воскликнул Камбон под аплодисменты многих депутатов. — Один человек парализовал волю всего Национального Конвента; этот человек — Робеспьер!

Билло, ободренный словами Камбона, резко возразил против уже принятого постановления относительно рассылки речи, требуя, чтобы обвинения Робеспьера прежде всего были подвергнуты строгому разбору по существу. Поднимается Робеспьер и просит, чтобы ему дали возможность свободно высказывать свои взгляды.

— Мы все требуем этого! — восклицают несколько депутатов.

— Робеспьер прав, — продолжает Билло. — Нужно сорвать маску, на ком бы она ни находилась. И если мы действительно не сможем свободно высказать свои убеждения, то я скорее предпочту, чтобы мой труп стал подножием для честолюбца, чем соглашусь хранить молчание и быть соучастником его злодеяний.

Панис упрекает Робеспьера в том, что он стал полновластным хозяином у якобинцев и сам будто бы составляет проскрипционные списки... Говорят, что в этих списках есть и его, Паниса, имя... Правда ли это? Робеспьер уклоняется от прямого ответа.

— Я бросил свой жребий, — гордо заявляет он. — Я встретил врагов с открытой грудью. Я никому не льстил, никого не боюсь и ни на кого не клевету.

— А Фуше? — неосторожно восклицает забывшийся в пылу раздражения Панис.

Все вздрагивают. Один из главных заговорщиков назван! Сейчас будет дело. О том, что во главе заговора находится Фуше, знает и Робеспьер. Но — поразительный, непостижимый факт! — Неподкупный опять упускает возможность взять быка за рога. Он не использует явную неосторожность противника. Фуше? Нет, он сейчас не хочет говорить о Фуше. Он выполнил свой долг, пусть остальные исполняют свой.

Тогда заговорщики все более и более смелеют. Уже слышен общий ропот. Уже несколько голосов говорят одновременно.

— Когда хвастаются своей добродетелью и храбростью, — кричит Шарлье, — нужно быть также и правдивым! Назовите тех, кого вы обвиняете!

— Да, да, — поддерживают Шарлье несколько человек, — назовите их!

Это уже прямой вызов. Но Неподкупный, бледный и взволнованный, не принимает вызова.

— Я настаиваю на всем том, что уже высказал здесь, и заявляю, что не буду принимать участия в тех решениях, которые будут инспирированы с целью задержать рассылку моей речи.

Теперь исход предрешен. Поднимается Амар.

— Речь Робеспьера, — говорит он, — обвиняет оба Комитета. Если его суждение о некоторых членах Комитетов связано с интересами государства, то пусть он назовет их; если же это мнение носит частный характер, то один человек не должен затмевать собою всех; Национальный Конвент не должен заниматься вопросами оскорбленного самолюбия.

Робеспьер, который сказал уже все, что хотел сказать, промолчал. И Конвент отменил свое первоначальное решение о напечатании речи и рассылке ее по коммунам.

Партия в Конвенте была явно проиграна. Неподкупный отказался назвать имена заговорщиков и этим погубил все дело. Многие, о которых он даже и не помышлял, сочли, что он угрожает им. Те, на нейтралитет которых, во всяком случае, он мог рассчитывать, отвернулись от него. Почему он так поступил? По-видимому, он придерживался заранее составленного плана. Роли между робеспьеристами были распределены. Он хотел нанести общий, генеральный удар; довершить разгром и назвать имена заговорщиков должен был Сен-Жюст завтра, с этой же трибуны. Прения, развернувшиеся в Конвенте 8 термидора, опрокидывали этот план, но Робеспьер не пожелал или не сумел перестроить его на ходу; он упрямо решил действовать согласно намеченному, не учитывая того, что могло произойти за ночь в условиях, когда была дорога каждая минута. Заговорщики и здесь опередили его. Строгий сторонник парламентарных методов борьбы, расстроенный, но не обескураженный тем, что произошло, он твердо рассчитывал продолжить начатую кампанию завтра, в то время как этого завтра уже не было.

После заседания Конвента Робеспьер отправился домой. Его с нетерпением ожидали. Максимилиан рассказал о том, что произошло в Собрании. К удивлению домашних, он был абсолютно спокоен. Он не скрывал своего огорчения, но и не терял надежды.

— Я больше ничего не жду от Горы, — ответил он на вопрос Мориса Дюпле. — Они хотят избавиться от меня, как от тирана; но большинство Конвента выслушает меня.

Прикинув, что до начала совещания у якобинцев остается еще добрых два часа, Максимилиан предложил Элеоноре, пользуясь хорошей погодой, совершить прогулку по Елисейским полям. Девушка порозовела от

удовольствия. Они отправились в сопровождении верного Брунта. Был теплый вечер. Солнце садилось. Элеонора, прижимаясь к своему спутнику, стремилась рассеять его сосредоточенное настроение.

Она рассказывала ему о домашних делах, о своих заботах. Вдруг Максимилиан вздрогнул и указал рукою на горизонт. Солнце уже до половины опустилось за край земли. Небо вокруг него было красным... Сплошное море крови! Элеонора удивленно посмотрела в глаза Робеспьеру.

— Друг мой, это говорит лишь о том, что завтра будет хорошая погода! Взгляд Неподкупного был тусклым и отсутствующим. Он ничего не ответил.

В клубе его встретили проявлениями самого шумного восторга. Робеспьер прочел свою речь, произнесенную днем в Конвенте. Затем, бросив на стол смятые листки текста речи и выждав, пока утихнет гром аплодисментов, сказал утомленным голосом:

— Братья, я прочел вам мое завещание. Сегодня я видел союз бандитов. Их число так велико, что вряд ли я избегу их мести. Я погибаю без сожаления; завещаю вам хранить память обо мне; вы ее сумеете защитить...

Буря потрясла своды старой церкви. Якобинцы, вскакивая со своих мест, устремлялись к трибуне и, поднимая руки в знак торжественной клятвы, выражали самую горячую любовь и верность оратору. Нет, Неподкупный будет спасен! Никто не посмеет ему угрожать! Горе врагам свободы!..

Максимилиан близоруким взглядом окинул окруживших его людей. Они так преданы ему и делу, которое он защищает? Хорошо, тогда он скажет все, он откроет даже то, в чем едва признается себе.

— Отделите злодеев от людей слабых; освободите Конвент от угнетающих его негодяев; окажите ему ту услугу, которой он ждет от вас по примеру дней 31 мая — 2 июня. Идите, спасайте вновь свободу! — Зрачки Робеспьера расширяются. Пот выступает на бледном челе. Слово сказано: это призыв к восстанию! Поймут ли они?.. — А если свобода все же погибнет, — заканчивает он, прежде чем кто-либо успевает ответить, — то вы увидите, друзья, как я спокойно выпью цикуту...

К Робеспьеру подскакивает Давид. Он протягивает руку Неподкупному.

— Я выпью чашу яда вместе с тобой! — восторженно кричит он.

Робеспьер с досадой отстраняет пылкого художника. Не те слова! Не о том нужно сейчас говорить! Но вот он видит, что двое людей яростно

протискиваются вперед. Это Колло д'Эрбуа и Билло-Варен. О, эти его поняли!.. Но на трибуне уже Дюма. Он обличает заговорщиков. Указывая на обоих врагов Неподкупного, стремящихся сказать свое слово, он восклицает:

— Странно, что люди, молчавшие в течение нескольких месяцев, торопятся сегодня заговорить, несомненно для того, чтобы возразить против истин, только что высказанных Робеспьером. В них легко признать последователей Эбера и Дантона. Я предсказываю им, что они унаследуют и участь этих заговорщиков.

Однако Колло все же прорвался к трибуне. Он начинает говорить — его встречают шиканьем. Тогда он напоминает об Амирале, жертвой покушения которого он был должен стать; ему отвечают насмешками. Тут на помощь ему приходит взбешенный Билло-Варен.

— Где же якобинцы? — кричит он дрожащим от гнева голосом. — Я не узнаю их. Как! Представитель народа напоминает, что он едва не пал жертвой своего патриотизма, а его оскорбляют! Если дело дошло до этого, то остается только покрыть голову плащом и ожидать удара кинжалами.

Но Билло прерывают громкими криками. Колло д'Эрбуа начинает кричать во всю мощь своих легких, и сквозь общий шум можно расслышать, что он обвиняет намерения Робеспьера. Но тут его сталкивают с трибуны. Раздаются проклятия. Слышатся грозные слова:

— На гильотину!

Кутон, вслед за Дюма, пророчит гибель заговорщикам. Незадачливых врагов Робеспьера, сильно помятых и изодранных, выдворяют из клуба. Среди всеобщего шума и криков наиболее энергичные люди решают действовать. К Робеспьеру, рассеянному следящему за всеми коллизиями, происходящими в зале, подходят Пейян и Кофиналь. Они верно поняли Неподкупного. Да, восстание, немедленное восстание может поправить дело. Пейян призывает Робеспьера стать во главе народа. Более благоприятного случая не будет. Комитеты охраняются всего лишь несколькими жандармами. Неподкупный пристально смотрит в глаза Пейяну и отрицательно качает головой. Нет, это совсем не то. Он не может стать во главе народа. Мысль его заключалась в другом. Если бы народ сам поднял восстание! Если бы народ сам проявил себя так же, как проявлял 10 августа и 31 мая. Но он, Робеспьер, на это сегодня не надеется. Что же касается его, то он не может руководить восстанием. Нет, его место не на улице. Его сфера — ораторское искусство. Завтра в Конвенте он и Сен-Жюст возьмут реванш за сегодняшнее поражение. Каждый должен быть на своем посту. Он будет там, где сможет принести наибольшую пользу.

Душная июльская ночь спустилась на столицу. Она давила. Над городом витал зловеший кошмар. Многие парижане в эту ночь ворочались на своих кроватях. Многие так и не смогли заснуть.

Три огня горели до рассвета: один — в маленьком окошке дома на улице Сент-Оноре, два других — в помещении Тюильрийского дворца, там, где заседали Комитеты, там, где в кулуарах Конвента перешептывались группы людей, закутанных в темные плащи. А над всем этим неподвижно стояла бледная и равнодушная луна.

В эту последнюю ночь, проведенную им в своей камерке, Максимилиан не сомкнул глаз. Он писал, затем часами сидел, положив голову на усталые руки, потом ходил по комнате, опять садился, открывал ящики своего стола, пересматривал бумаги, снова писал. Страшные противоречия раздирали его душу и ум. С одной стороны, он был почти уверен, что все кончено. Об этом ему говорила внутренняя интуиция, а также накопленное с годами знание людских душ. Прикидывая и сравнивая различные факты, обдумывая свои собственные промахи, он ясно видел, что положение ухудшилось до крайней степени и выхода не найти. Он понимал, что в Комитетах борьба невозможна, что Конвент от него отвернулся. Народ? Но он почти не строил себе иллюзий в отношении народа. Где тот энтузиазм, который был перед 10 августа или 31 мая? Не он ли сам в значительной мере убил его? Не он ли казнил Шомета и разгромил многих из тех, кто повел бы сейчас во имя его предместья к Конвенту? Секции... Но не его ли политика ослабила секции, вырвала из них дух революционного подъема, превратила их в официальные организации? Коммуна... Да, Коммуна будет ему верна до последнего: Пейян, Флерио-Леско и другие — это его люди, он сделал их. Пейян энергичен и проникателен, он может стать во главе движения. И однако... это не Коммуна 93-го года. Это тоже официальное учреждение. За Пейяном и Флерио народ не пойдет так, как он пошел бы за Шометом и Пашем... А максимум? Для Неподкупного не было секретом, что максимум крайне непопулярен, что санкюлоты обвиняют именно его, Робеспьера, в низкой заработной плате и трудностях жизни. Если к этому прибавить все бессмысленные казни мессидора, отвратившие от него народ, то... то надежда на возможность и успех восстания становится крайне незначительной. Да, кроме того, восстание — это не его стихия. Он никогда не станет во главе толпы. Это была бы узурпация, а совесть не позволяет ему стать узурпатором. Другое дело, если бы все произошло без него... Но

в это он уже не верит. Так могло быть 31 мая—2 июня, но не сейчас. Итак, об этом нечего думать. Якобинцы... Да, якобинцы его боготворят, они готовы дать клятву верности, они готовы обещать выпить с ним смертную чашу... Робеспьер горько улыбнулся. Но якобинцы — сила только тогда, когда они с народом и когда народ с ними... Волна мрака, страшного, непроглядного мрака, охватывает душу Робеспьера. И все-таки... Все-таки в нем теплится надежда, теплится вопреки всему тому, что он взвесил, обдумал и ясно понял. С другой стороны, ведь он имеет страшную силу слова, и за его словом стоит правда жизни. Его друзья готовы умереть вместе с ним. То, что не удалось в Конвенте вчера, может удалиться сегодня. Ведь не состоит же Конвент, главный орган народного представительства, сплошь из мошенников и подлецов! Вчера они требовали имен. Что же, сегодня Сен-Жюст назовет имена. Вслед за Сен-Жюстом выступит он, Неподкупный, и так же, как во времена низвержения Дантона, так же, как в день принятия закона 22 прериаля, он подавит ропот и протесты силой своего морального убеждения и логикой своих выводов. Вчера была осечка. Ну и что же? Не всегда все должно проходить гладко. Колебания и срывы бывали и раньше, но в конечном итоге победителем оказывался он. Надо лишь быть во всеоружии. Добродетель и правда защитят его, и заговорщики падут.

Робеспьер подходит к зеркалу и долго всматривается в черты своего усталого лица, черты, такие неотчетливые и колышущиеся при тусклом свете лампы. Он ли это? Где тот молодой, полный сил и надежд изящный адвокат из Арраса, который начал когда-то — ведь, кажется, совсем недавно? — свои политические дебюты в зале «Малых забав»? Робеспьер подносит руки к вискам и разглаживает волосы. Странная мысль приходит ему в голову. Сегодня, в Конвенте, если он хочет победить, он должен быть таким же, как был на празднике верховного существа. Он должен быть молодым, сильным, подтянутым. В каждом его жесте должна сквозить уверенность. Он наденет сегодня свой лучший костюм — тот самый, в котором он шествовал по улицам Парижа среди ликующей толпы 20 прериаля...

В ту ночь Фуше, Тальен и другие вожаки заговора также не сомкнули глаз. Тальен тосковал о своей милой Терезе, посылавшей ему отчаянные письма из тюрьмы. Коварный Фуше прекрасно знал, что если Робеспьер его пощадил вчера, то сегодня пощады не будет. Баррас, Бурдон и вся их компания, недоумевавшие, почему Неподкупный не назвал имен, понимали, что нужно застраховать себя немедленно, вырвав у робеспьеристов всякую возможность ликвидировать свой промах. И вот

под покровом ночи в кулуарах Конвента состоятся тайные встречи. Заговорщики умоляют лидеров «болота» заключить с ними союз и отступить от Робеспьера. Умеренные Буасси д'Англа, Дюран-Майян, Палан-Шампо, представляющие «болото», явно колеблются. Отступить от Робеспьера? Гм... Они больше всего на свете боятся террора. Робеспьер, конечно, террорист. Но он как будто обещал ослабить террор и отказаться от максимума. И вот против Робеспьера им предлагают заключить союз — с кем же? С крайними террористами! С Фуше, который расстреливал лионцев картечью, с Тальеном, который бесчинствовал в Бордо... Нет, прощай, господа, уж лучше Робеспьер, чем Фуше! Две попытки договориться не приводят ни к чему. Тогда конспираторы соглашаются принять на себя такие обязательства, которые должны полностью удовлетворить и успокоить «болото». Они клятвенно обещают отказаться от политики революционного правительства. Поручкой им служит то, что в заговоре участвуют дантониисты, ярые враги террора. И лидеры умеренных после зрелого размышления соглашаются. Они понимают, что новый союз избавит их одновременно и от страха перед гильотиной и от республики. Третья попытка увенчивается успехом. Сеть против Робеспьера в Конvente сплетена. «Болото», то есть большинство, от него отступилось. Это происходит в два часа ночи. Покончив с главным, договариваются о том, чтобы принять все меры для заглушения голоса Робеспьера и его сторонников на очередном заседании Конвента. В наступающем рассвете лица заговорщиков кажутся белыми как мел.

Между тем не спали и в помещении Комитета общественного спасения. Еще задолго до закрытия Якобинского клуба сюда явился Сен-Жюст. Сухо поздоровавшись со своими коллегами — Робеспьера и Кутона в Комитете не было, — Сен-Жюст направился к столу и погрузился в работу, не обращая никакого внимания на окружающих. Он писал текст доклада, который намеревался прочесть в Конvente. Около полуночи были готовы первые восемнадцать страниц, которые он отправил к переписчику. В этот момент дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Колло д'Эрбуа, бледный, с горящими глазами, в изодранном платье: он возвращался взбешенный и избитый из клуба. Сен-Жюст, окинув его саркастическим взглядом, невозмутимо спросил:

— Что нового у якобинцев?

При этом вопросе Колло пришел в неопишемую ярость.

— Ты меня спрашиваешь об этом, ты?.. О подлец, о лицемер, кораб остроумных изречений!

Переходя от слов к делу, он набрасывается на Сен-Жюста. Их

разнимают.

— Вы негодяи! — кричит Колло. — Вы рассчитываете, что приведете родину к гибели, но свобода переживет ваши гнусные козни.

Его поддерживает Барер.

— Вы хотите разделить остатки родины между калекой, ребенком и чудовищем. Я лично не допустил бы вас управлять даже птичьим двором.

Сен-Жюст только пожимает плечами и бесстрастно продолжает свою работу. Заговорщики переглядываются, не зная, как вывести его из состояния душевного равновесия. Колло восклицает с ядом:

— Я уверен, что твои карманы наполнены клеветническими доносами!

Не говоря ни слова, Сен-Жюст выкладывает содержимое своих карманов на стол и продолжает писать. Тогда Колло требует, чтобы он изложил содержание доклада. Сен-Жюст отвечает, что он не собирается делать тайны из своих убеждений. Да, он обвиняет в докладе кое-кого из своих коллег. Но он прочтет его в Комитете, и тогда можно будет говорить по существу дела. Сказав это, он продолжал свою работу. На него махнули рукой.

Около часу ночи пришел Лоран Лекуантр. Он принялся убеждать членов Комитетов арестовать Анрио, мэра Парижа Флерио-Леско и национального агента Пейяна. Его поддержал Фрерон, появившийся вслед за ним. Сен-Жюст, на мгновенье оторвавшийся от своего доклада, стал резко возражать. Разгорелся спор.

В пять часов утра Сен-Жюст, собрав исписанные листы и тщательно сложив их, покинул Комитет. Почти в это же время въехал на своем кресле Кутон. Спор об отставке и аресте должностных лиц Коммуны возобновился с новой силой. Часы шли. Рассвет сменился утром, утро открывало дорогу дню. Наступал роковой день 9 термидора. Члены Комитетов, давно уже прекратив свои споры, ошеломленные и размякшие от беспокойной ночи, поджидали возвращения Сен-Жюста. Вдруг пристав Конвента широко раскрыл дверь и объявил:

— Сен-Жюст на трибуне!

Все вздрогнули и вскочили на ноги. Железный человек перехитрил их: вместо того чтобы прочесть свой таинственный доклад в Комитете, он прямо вынес его в Конвент! Ну, это его не спасет!.. Через несколько секунд помещение Комитета опустело; только кресло Кутона одиноко катилось вдоль анфилады комнат...

Стояла удушливая жара, предвещавшая грозу. Конвент с раннего утра был переполнен. Галереи для публики оказались забитыми до отказа. По

коридорам шли депутаты, готовившиеся занять свои места. До начала заседания оставались считанные минуты. Бурдон, догнав лидера «болота» Дюран де Майяна, дотронулся до его руки и льстиво прошептал:

— Вы храбрецы.

Вдруг к ним подбегает Тальен и, указывая на дверь зала заседаний, быстро говорит:

— Сен-Жюст уже на трибуне. Поспешим. Пора кончать.

Да, Сен-Жюст на трибуне. Едва прозвучали три удара колокола, как он начал говорить. Голос его холоден и бесстрастен, как всегда.

— Я не принадлежу ни к какой партии и готов бороться против каждой из них. Но деятельность их будет неизбежно продолжаться до тех пор, пока не издадут законов, обеспечивающих твердые гарантии, не установят границ действия власти и не заставят человеческую гордость склониться перед общественной свободой...

Запоздавшие депутаты бесшумно проходят между скамьями. Робеспьер со своего обычного места следит за ними. Он выглядит сегодня щеголевато, даже кокетливо. На нем голубой фрак, золотистые панталоны и белые шелковые чулки. Накрахмаленное жабо сверкает белизной. На волосах пудра. Белый парик, впрочем, почти не отличается по тону от лица. Глаза лихорадочно блестят.

— Благодаря стечению обстоятельств, — продолжает Сен-Жюст, — эта ораторская трибуна станет, быть может, Тарпейской скалой для всякого, кто...

На этом слове его прерывают. Вбегает Тальен и резко кричит:

— Я требую слова к порядку заседания. Оратор начал словами, что он не принадлежит ни к одной из клик; я говорю то же самое. Везде видны только раздоры. Вчера один из членов правительства выступил совершенно самостоятельно и произнес речь от своего собственного имени; теперь другой поступает точно так же. Я требую, чтобы завеса была сорвана...

Раздаются аплодисменты, подхваченные в разных местах зала. Тщетно Сен-Жюст протестует против нарушения правил; председатель — Колло д'Эрбуа — не собирается приходить к нему на помощь. Но Тальен не рассчитал своего голоса. Он начал в слишком повышенных тонах. Он выдохся быстрее, нежели сказал все, что хотел. Это не входило в его планы. Однако к нему на помощь уже спешит Билло-Варен. Он взволнован до крайности. Он начинает говорить, обвиняет, угрожает, клеветает; но речь его, сбивчивая, слабая, едва ли понятна Собранию. Впрочем, что здесь понимать, когда все уже решено? Билло произносит слово «тиран», и весь Конвент хором восклицает:

— Гибель тиранам!

Тут нервы Робеспьера не выдерживают. Он срывается с места и бежит к трибуне.

— Долой тирана! — кричат ему вслед.

Он требует слова, чтобы оправдаться. Лекуантр предлагает дать ему слово с регламентом в полчаса. Но другие заговорщики протестуют: предоставить слово Неподкупному хотя бы на десять минут — это значит ставить все дело под угрозу! К чему это нужно?!

Но вот главный распорядитель, Тальен, уже пришел в себя. Он опять на трибуне. Он говорит. Он расшаркивается перед правыми, он льстит «болоту», он требует ареста Анрио и его штаба. Вот в его руке оказывается кинжал. Размахивая им, Тальен кричит, что готов поразить нового Кромвеля. Обвиняя Робеспьера в том, что ему служат «люди, погрязшие в разврате», он предлагает объявить заседания Конвента непрерывными до тех пор, «...пока меч закона не упрочит существование революции и пока не будут изданы постановления об аресте клеветов тирании».

Собрание бурно рукоплещет Тальену. Оба его предложения принимаются под крики: «Да здравствует республика!»

Кровь бешено стучит в висках Робеспьера. Пот струится по бледному лицу. Он пытается протиснуться на трибуну, но его отталкивают локтями. Тальен потрясает своим кинжалом. Каждый раз, как Неподкупный пытается сказать слово, раздается дружный крик: «Долой тирана!», и звенят колокольчик председателя. Нет, они не дадут ему говорить. Как в полусне, он слышит вкрадчивый голос Барера, который что-то предлагает, от чего-то предостерегает. Затем Барера сменяет Бадье... О чем это он?.. А, опять дело старухи Тео!.. Бадье издевается, он брызжет слюной, он хочет вызвать всеобщий хохот. Тальен ерзает на своем месте. Дуралеи, о чем они все бормочут! Они даром теряют время! Принимают второстепенные декреты, издают постановления об аресте второстепенных лиц. Тальен смотрит на Неподкупного. Черт возьми! Он еще жив, и он надеется получить слово! Скорее, скорее кончать все разом. Тальен прерывает разглагольствования старика Бадье.

— Я требую, чтобы прения велись о существе дела!

Робеспьер понимает. Как подстреленная птица, он вздрагивает и пытается еще раз подняться на трибуну.

— О, я сумею вернуть прения к существу дела! — страстно восклицает он.

Но ему опять не дают говорить. Крики «Долой тирана!» сотрясают воздух. Тальен обвиняет его в том, что он арестовывал патриотов.

— Это неправда! — кричит Робеспьер. — Я...

— Долой тирана! — ревет Конвент.

Тогда он спускается к подножью трибуны. Он обращает взор в сторону Горы. О предатели! Одни остаются неподвижными, другие отворачиваются. Он протягивает руки к амфитеатру.

— К вам, добродетельные граждане, а не к этим разбойникам взываю я...

Тщетно. Крики усиливаются. Тогда вне себя от ярости, которой на какой-то момент он бессилен противиться, Робеспьер вновь бросается на трибуну. Начинается свалка. Он бьется как лев, расталкивает врагов, судорожно цепляется за перила... Ему обрывают жабо. Обращаясь к председателю, он хрипит:

— В последний раз, председатель разбойников, дай мне говорить или убей меня!..

Тюрио, сменивший Колло в председательском кресле, неумолимо звонит в колокольчик. Крики чередуются с хохотом. Какое зрелище! Робеспьер, схватившись обеими руками за грудь, кашляет: он сорвал голос. Лежандр и Тальен находят момент удобным, чтобы напомнить о недалеком прошлом.

— Тебя душит кровь Дантона! — злобно кричит Лежандр.

Робеспьер, изнемогающий, задыхающийся, резко оборачивается:

— Так, значит, за Дантона хотите вы отомстить мне, трусы? Подлецы! Почему же вы не защищали его?

Тальен смотрит на часы. Его приятель Фрерон бурно вздыхает:

— Ах, как трудно свалить тирана!

Тальен скользит взглядом по рядам депутатов и делает знак. Пора, наконец, приступить к последнему действию. Встает депутат Луше — кому он известен? — и произносит слово, которого все так ждали и вместе с тем так боялись:

— Я предлагаю издать декрет об аресте Робеспьера.

Тут вдруг все замерло. Крики затихли, как по мановению волшебного жезла. Жуткая тишина охватила зал заседаний. После почти минутного молчания Лозо поддержал заявление Луше. Вопрос был поставлен на голосование.

В эту минуту поднимается молодой человек. Это Огюстен Робеспьер.

— Я виновен так же, как и мой брат, — говорит он. — Я разделяю его добродетели. Я требую, чтобы обвинительный декрет был издан и против меня.

Тщетно Максимилиан пытается защитить своего младшего брата —

его не слушают. Затем декретируется арест обоих Робеспьеров, Кутона и Сен-Жюста. Все члены Конвента встают и кричат:

— Да здравствует республика!

— Республика! — отвечает им Максимилиан, к которому уже вернулось его обычное спокойствие. — Республика погибла; наступает царство разбойников.

Вдруг вскакивает Леба. Его пытаются удержать. Но он вырывается, оставляя в руках друзей ключья своей одежды, и бежит к повергнутому вождю.

— Я не хочу разделять с вами позор этого декрета, — говорит он, обращаясь к Тальену и окружившим его. — Я требую своего ареста.

Арест Леба декретируется... Кого же не хватает? Давида! Давид не пришел в этот день на заседание Конвента. Художник предпочел не осушать «смертной чаши» вместе с Робеспьером, вопреки своему пылкому заявлению в Якобинском клубе.

Между тем раздаются требования, чтобы арестованные спустились к решетке Конвента. Оба Робеспьера, Сен-Жюст, Кутон и Леба безропотно повинуются. Сен-Жюст покидает трибуну, на которой в гордом молчании стоял до сих пор, и передает текст своего доклада в президиум. Кутон в ответ на реплику Фрерона, обвинившего его в том, что он хотел «взойти на трон по трупам представителей народа», с улыбкой указывает на свои парализованные ноги:

— Это я-то хотел взойти на трон?

Оставалось выполнить декрет об аресте. Обвиняемые проявили полную готовность подчиниться. Но приставы Конвента, которым надлежало исполнить приказ, были смущены и не решались действовать. Арестовать Робеспьера! Это казалось невероятным! Тогда вызывают жандармов. Колло д'Эрбуа поздравляет Собрание с тем, что оно избежало повторения дней 31 мая–2 июня. Тут появляются жандармы и уводят пленников. Дверь зала заседаний закрывается. Председатель смотрит на часы и, видя, что уже половина шестого, объявляет перерыв, чтобы дать возможность депутатам пообедать. Заседание откладывается до семи часов вечера.

Глава 11

Последняя битва

Но прежде чем наступят эти семь часов, произойдет много серьезных событий. Ведь еще не сказал своего слова Париж! Еще ничем не проявили себя секции! А Коммуна? Разве можно было сбрасывать ее со счетов? Хотел того Неподкупный или нет, но судьба его должна была решиться на улице.

В пять часов вечера, в то время, когда Робеспьер и его четверо верных соратников терпели пытку издевательств в Конvente, должностные лица Коммуны и храбрый Анрио, догадываясь о положении дел, по собственному почину провозгласили восстание. Были закрыты заставы, ударили в набат, созвали секции и предписали им послать своих канониров вместе с пушками к зданию ратуши. Правда, по приказанию Конвента значительная часть артиллеристов в предшествующие дни была удалена из Парижа; но и те, что оставались, представляли довольно внушительную силу; сила эта была верным резервом робеспьеристов и Коммуны.

В половине шестого, в то время когда арестованных препровождали в Комитет общественной безопасности, где их должны были накормить и распределить по тюрьмам, Анрио с отрядом жандармов, не слушая никаких увещаний, решил отправиться им на помощь. Осуществляя свой план, он промчался галопом через улицы Мотне и Сент-Оноре. У здания отеля де Брионн, где помещался Комитет общественной безопасности, толпился народ. Расталкивая толпу, Анрио во главе своих жандармов пробился к дверям Комитета и, когда ему отказались открыть, с ругательствами выбил дверь ударами сапога. Тогда на него набросились, и произошла дикая схватка. Буквально на глазах Робеспьера и других арестованных Анрио был повален, связан по рукам и ногам и отдал под охрану тех самых жандармов, во главе которых он явился, чтобы спасти робеспьеристов. Это обстоятельство укрепило Робеспьера в его нежелании отдаваться стихии восстания. Его друзья также решили, что восстание не имеет шансов на успех. Пятеро арестованных пришли к общему мнению, что следует отказаться от всякой мысли о сопротивлении Конвенту и провести свою защиту законными средствами, в Революционном трибунале.

Между тем восстание разрасталось. В шесть часов в здании ратуши собрался Главный совет Коммуны. Председательствовал Леско. Было составлено воззвание, начинающееся словами: «Граждане, отечество в

большей опасности, чем когда бы то ни было». В качестве «злодеев, предписывающих Конвенту законы», назывались Амар, Колло д'Эрбуа, Бурдон, Барер и другие. «Народ, поднимайся! — заключало воззвание. — Не утратим плодов 10 августа и низвергнем в могилу всех изменников!» Совет вынес решение считать все приказы Комитетов недействительными. Всем установленным властям было предписано явиться и дать клятву спасти родину. Подозрительные администраторы подверглись аресту. Тюремным привратникам были разосланы приказы не принимать никого в заключение и не выпускать на свободу без особого распоряжения администрации, верной робеспьеристам. Канониры собирались на Гревской площади, расстанавливая свои пушки. Был налажен прочный контакт с якобинцами. Наконец Кофиналю было поручено освободить патриотов, томившихся в Комитете общественной безопасности.

В восьмом часу вечера энергичный Кофиналь во главе верных отрядов скакал к отелю де Брионн. Когда он занял здание Комитета общественной безопасности, там почти никого не оказалось. Члены Комитета разбежались. Робеспьера и других арестованных направили по тюрьмам. Оставался связанный Анрио и сторожившие его жандармы. Кофиналь с саблей в руке несся по залам Комитета, отыскивая Вулана и Амара, которые давно исчезли. Жандармы, охранявшие Анрио, хотя им и было приказано разmozжить ему голову при первом опасении подвергнуться насилию, не оказали сопротивления. Анрио, освобожденный от веревок, потягивался, разминая затекшие члены. Потом он стал горько упрекать жандармов, которые дали его связать. Последние, пристыженные и растерянные, ответили, что будут верны ему до самой смерти. Тогда Кофиналь и Анрио вскочили на коней и в сопровождении отряда канониров двинулись к Конвенту.

В семь часов вечера Конвент возобновил прерванное заседание. По предложению Бурдона, поддержанному Мерленом, было решено осудить членов Коммуны и направить их в трибунал. Разнесся слух, что арестован Пейян. Собрание восторженно аплодировало этому известию. Но слух оказался ложным. Вместо этого в зал заседаний вбежал растрепанный пристав и сообщил об освобождении Кофиналем Анрио и о занятии мятежниками Комитета общественной безопасности. Депутаты пали духом. Вошел Колло и, заняв председательское кресло, сказал с растерянным видом:

— Граждане, настала минута умереть на нашем посту...

Умирать на своем посту никто из депутатов не желал. Кое-кто начал потихоньку уходить. Лоран Лекуантр, прибывший с боевыми припасами, стал раздавать своим коллегам ружья и пистолеты. Однако от получения оружия многие старались уклониться. На какой-то момент положение Конвента казалось совершенно безнадежным. Оставшиеся депутаты удрученно смотрели друг на друга. Неужели не произойдет чуда? И чудо произошло.

Кофиналь не довершил своей победы. Он передал Анрио часть отряда, а сам с остальными людьми направился обратно к ратуше. Анрио, который полагал, что заседание Конвента еще не возобновилось, поскакал прямо к Тюильри, намереваясь закрыть зал заседаний и выставить пикет. Но когда он был уже почти у цели, он обнаружил, что члены Конвента собрались и заседание продолжается. Тут вдруг на этого храброго человека напала непонятная робость. Чего он испугался? То ли того, что располагал слишком малым количеством людей, то ли над ним, как и над Робеспьером, все еще довлел престиж Конвента? Во всяком случае, приказав своим людям не отставать, он вслед за Кофиналем повернул к ратуше. Это была одна из самых тяжелых ошибок, совершенных вождями повстанцев вечером и ночью 9 термидора. Более удобного случая для взятия верховной власти уже не представилось и представиться не могло.

Но что же в течение этого времени делал Неподкупный? Как складывалась его личная судьба в часы, когда восстание решало будущность революции?

В то время когда Главный совет Коммуны собрался на заседание, а связанный Анрио был брошен под охрану его собственных, жандармов, арестованных робеспьеристов разводили по тюрьмам. Максимилиана направили в Люксембургскую тюрьму, его брата — в Ла Форс, Кутона — в Бурб, Сен-Жюста — в Экоссе, Леба — в департаментский Дом правосудия.

В седьмом часу вечера Максимилиан, окруженный жандармами, переходил через Сену. Его поражало всеобщее оживление, царившее на пути. Двигались толпы вооруженных людей, везли пушки, в разных направлениях проносились группы всадников. На улице Турнон толпа стала настолько густой, что жандармам пришлось пробивать себе дорогу оружием. Когда подошли к тюрьме, воздух стали сотрясать крики: «Да здравствует Робеспьер!»

Жандармы чувствовали себя крайне неловко и опасались за свою участь. Вызвали привратника. Привратник отказался принять

арестованного. Потребовали начальника тюрьмы. Но он также не принял Робеспьера. Стоявший рядом муниципальный чиновник в парадной форме набросился на жандармов:

— Вас, поднявших руку на Неподкупного, следует предать мстительному суду всех добрых граждан! Убирайтесь прочь, пока не поздно!

Крики толпы усилились. Расстроенные жандармы были готовы бросить своего подопечного и уносить ноги, но Робеспьер, не менее расстроенный, чем они, потребовал, чтобы его доставили в полицейское управление на набережную Орфевр. Жандармы подчинились его желанию. Когда Максимилиан подходил к управлению муниципалитета полиции, было около восьми часов.

Здесь необходимо сделать некоторые пояснения. Почему начальник тюрьмы отказался принять Неподкупного и почему последний был так этим огорчен?

Хотя Главный совет Коммуны разослал по тюрьмам приказы, запрещающие принимать новых арестантов и выпускать на свободу ранее заключенных, этим приказам подчинились далеко не везде. Исходил ли начальник Люксембургской тюрьмы в своих действиях именно из названного приказа? Трудно сказать, ибо почти одновременно с приказом от восставшей Коммуны он получил совершенно аналогичное тайное постановление из... Комитета общественной безопасности! На первый взгляд такое явление кажется парадоксальным. Что заставляло антиробеспьеровское правительство издать приказ в нарушение своего собственного решения? Как объяснить, что, одной рукой подписывая декрет об аресте Робеспьера, другой оно тут же строчило приказ, запрещающий принимать его в тюрьму? О причине этого можно только догадываться. По-видимому, если Робеспьер рассчитывал дать последний бой в стенах Революционного трибунала, то враги его как раз этого и боялись. А наилучший способ помешать ему выступить в суде состоял в том, чтобы не довести дело до суда! Нужно было доказать, что Робеспьер мятежник, что он не подчиняется закону, и тогда его можно было поставить вне закона, то есть казнить без соблюдения судебной процедуры! Вот поэтому-то, вероятно, Комитет общественной безопасности и позаботился о том, чтобы Неподкупный не был принят в тюрьму, ибо это давало возможность обвинять его в неповиновении властям, то есть в мятеже. Вот поэтому-то, с другой стороны, и сам Максимилиан был так огорчен всем случившимся у Люксембурга: не зная еще причин происходящего, он видел

крушение своих планов; он прекрасно понимал, что если враги обвинят его в неподчинении закону, то он будет лишен всякой возможности оправдаться законным путем. А он, несмотря на все постигшие его разочарования, до сих пор все еще надеялся на легальные средства защиты как на единственную возможность к спасению. И когда он увидел, что в тюрьму его не принимают, он за неимением «лучшего» отдал себя в руки муниципальной полиции, дабы была сохранена видимость повиновения закону.

Коммуна стала центром восстания. Вокруг нее собирались все новые вооруженные силы. В целях активизации движения создали Исполнительный комитет в составе девяти членов во главе с Пейяном и Кофиналем. Вскоре в ратушу прибыл Огюстен Робеспьер, которого, как и Максимилиана, не принял начальник тюрьмы. Когда стало известно, что Неподкупный находится на набережной Орфевр, за ним послали депутацию. От имени депутации Ланье обратился к Максимилиану с предложением присоединиться к Коммуне и немедленно перебраться в здание ратуши.

— Ты больше не принадлежишь себе, — сказал Ланье. — Ты должен всего себя отдать родине.

Однако Робеспьер не торопился покинуть управление полиции. Он жадно расспрашивал о происходившем, внимательно слушал, но своего отношения к услышанному не высказывал. Присутствующих поражали его задумчивость и отчужденность. В конце концов он решительно отказался следовать за Ланье и другими, сказав, что предпочитает «остаться в руках администрации». Такое поведение возмутило энергичного Кофиналя. Около девяти часов вечера он лично отправился за Максимилианом и почти силой увел его. Так Робеспьер оказался в ратуше, среди радостно приветствовавших его членов Коммуны. Он был грустен и задумчив. Его планы рушились. Он догадывался обо всем, что должно было вскоре произойти.

Когда члены Конвента, заседавшие в Тюильри, поняли, что тревога была ложной и что им непосредственно сейчас ничто не угрожает, их охватила бурная радость. Страшный Анрио, вместо того чтобы захватить их врасплох, ускакал! Пушки, направленные на Конвент, оказались блефом! Было решено немедленно действовать для подготовки перехода в контрнаступление. Учредили Комиссию обороны. Во главе ее поставили Барраса, в помощники которому дали Фрерона, Ровера, обоих Бурдонов и

еще двух депутатов. От имени Комитета общественного спасения Бурдон представил проект декрета, ставящего *вне закона* всякого, кто, будучи подвергнут аресту, уклонился бы от повиновения властям. Всем было ясно, в кого метил этот декрет, принятый под единодушные аплодисменты. Однако коварный Вулан счел нужным это уточнить. Уже имея сведения о том, что Неподкупный перебрался в ратушу, он предложил поставить вне закона персонально его. Предложение было принято единогласно.

Но от теории надо было спешно переходить к действиям. Это понимал Барер, обративший внимание депутатов на необходимость привлечения симпатий основной массы парижского населения. Секции, следуя воззванию Коммуны, давно уже были в сборе. На чью сторону они станут? От этого в конечном итоге зависел успех всего дела. И вот Конвент принимает решение незамедлительно направить в секции Барраса с его адъютантами. Им надлежит провести «разъяснительную» работу и заручиться поддержкой максимально возможного числа единиц.

Итак, к девяти часам вечера полностью определились и организационно оформились два центра: Коммуна, главный очаг восстания, и Конвент, ядро контрреволюционного термидорианского блока. После того как ведущие деятели Коммуны совершили тяжелую ошибку, отказавшись от попытки захватить Конвент в ту минуту, когда это было сравнительно легко сделать, вся борьба, естественно, сосредоточилась на завоевании масс, то есть секций. Эта приглушенная борьба заняла оставшуюся часть вечера и начало ночи.

Робеспьер был прав, не строя иллюзий относительно настроений в секциях. Настроения парижан были весьма колеблющимися, и чем дальше шло время, тем в большей степени эти колебания складывались не в пользу Коммуны.

В тот час, когда Главный совет Коммуны ударил в набат и призвал секции к революционной присяге, казалось, что подавляющее большинство их откликнется на призыв. Однако на сторону Конвента сразу же стало около трети секций; вскоре число их увеличилось до половины. Но из оставшейся половины большинство не оказало явной поддержки Коммуне, сохраняя нейтральные или колеблющиеся позиции. Безоговорочно принесли присягу Исполнительному комитету ратуши только восемь секций, но и они не сохранили верности восстанию до конца.

Секции с преобладанием буржуазных элементов целиком и полностью поддержали Конвент. Из секций со значительным ремесленно-рабочим населением решительно высказались за Конвент две центральные секции

— Гранвилье и Бон-Нуviel, в которых раньше было особенно сильным влияние Жака Ру и Эбера. Мелкобуржуазные секции колебались и меняли свои решения; многие из них сначала высказывались за Коммуну и перешли на сторону Конвента только после жестокой внутренней борьбы. Северо-восточные и юго-восточные секции предместий Парижа, где было много рабочих, в большинстве остались нейтральными. Многие представители Комитетов сначала делали заявления о верности Коммуне, а затем склонились на сторону Конвента. Одна из самых революционных секций — Кенз-Вен объявила о своем нейтралитете; в секции Брута произошел раскол. Из района южных предместий только секция Обсерватории осталась до конца верной Коммуне.

Коммуна, как будто нарочно, действовала на руку заговорщикам. Еще 5 термидора (23 июля) она утвердила новые ставки максимума заработной платы, вызвавшие открытое недовольство в предместьях. И вот в те часы, когда ударил набат, призывая к восстанию, у ратуши толпились рабочие, протестуя против невыгодных ставок максимума, а парижские каменщики готовили стачку. В этих условиях Исполнительный комитет не проявил необходимой оперативности. Правда, позднее приняли воззвание, делавшее ответственным за новые ставки Барера, но время уже было упущено и, кроме того, не сделали ничего для распространения указанного воззвания.

Между тем враги Робеспьера ловко использовали сложившуюся ситуацию. Баррас и другие «агитаторы» подзуживали недовольных рабочих и сбивали с толку нерешительных мелких буржуа. Труженикам они обещали уничтожение максимума заработной платы, буржуазии — отмену максимума цен и ликвидацию ненавистной диктатуры. В секции, принявшей имя Марата, они заявили, что «драгоценные останки мученика Марата» будут немедленно перенесены в Пантеон и что этого не было сделано до сих пор «вследствие низменной зависти тирана Робеспьера». В предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо искусно распространяли слух о том, что Робеспьер был арестован за роялистский заговор. Лживые обвинения возводили и против других руководителей восстания.

И вот в то время как заговорщики действовали с быстротой и решительностью, сторонники Робеспьера не обнаружили ни энергии, ни твердости. Они не сумели увлечь за собой основные массы народа. Поэтому демократические секции, которые были на стороне Коммуны, проявили пассивность, вялость. Эта пассивность при ярко выраженной активности буржуазной части секций и погубила восстание. Значительная доля вины за все это падает на самого Неподкупного.

Главный зал ратуши был переполнен до отказа. Шум стоял невообразимый. Приходили и уходили муниципальные офицеры, опоясанные национальными шарфами, сновали люди с папками под мышкой, появлялись новые представители секций с инструкциями своих Комитетов. Всех членов муниципалитета собралось не менее пятисот человек. Центральная группа, оживленно спорившая, окружила Максимилиана. Он был страшно бледен, лицо выражало крайнюю степень утомленности и душевной тоски. Уже прибыли освобожденные из тюрем Сен-Жюст и Леба. Ждали Кутона. Однако Кутон, верный ранее принятому плану, не хотел покидать тюрьму. Пришлось послать за ним депутацию с настоятельным письмом, Огюстена Робеспьера.

Максимилиан машинально прислушивался к тому, что творилось вокруг него. Ему казалось, будто царит какая-то бестолковая сутолока. Люди снуют туда и сюда. Кричат, спорят до хрипоты, читают воззвания... Но делается ли то, что нужно? И что, собственно, нужно делать?..

Ночь спускалась на Париж. Небо, покрытое грозowymi тучами, обещало дождь. То там, то здесь гроыхало, и нельзя было понять, то ли это приближающаяся гроза, то ли отдаленная канонада. Перед зданием ратуши расположились усталые батальоны канониров и национальных гвардейцев. Они стояли здесь с семи часов вечера, проголодались, измучились, отупели; никто не имел понятия о том, сколько еще времени придется бездействовать и чем кончится эта ночь. Уныло прохаживались офицеры, посматривая в черноту неба. Поднимался ветер. Дождь будет неминуемо!

На улицах, прилегавших к ратуше, стали появляться в сопровождении факельщиков эмиссары Конвента. Они, так же как и муниципальные офицеры, были опоясаны трехцветными шарфами. Переходя от перекрестка к перекрестку, они громко читали последний декрет Конвента.

«Национальный Конвент, заслушав доклады своих Комитетов общественного спасения и общественной безопасности, запрещает запираить городские ворота и созывать секции без соответствующего разрешения Правительственных Комитетов.

Он объявляет вне закона всех административных лиц, которые будут отдавать вооруженным силам приказы к выступлению против Национального Конвента или потворствовать неисполнению его декретов.

Он объявляет также вне закона лиц, которые, находясь под действием декрета об аресте и обвинении, сопротивляются закону или уклоняются от его исполнения».

Декрет этот рубил под корень всех тех, кто пребывал в нерешительности. Улицы Парижа, недавно переполненные, быстро опустели. Запоздавшие любопытные стремились поскорее добраться до своих квартир. Толпы патриотов на подступах к Гревской площади заметно редели. Многие бросали оружие. Представители Коммуны арестовывали эмиссаров Конвента, но это не могло изменить общего положения дел.

Кутона принесли в ратушу только около часа ночи. Максимилиан радостно бросился ему навстречу и заключил его в свои объятия. Теперь все, наконец, оказались в сборе. Надо было на что-то решаться. Пятеро робеспьеристов уединились в комнате, соседней с главным залом.

— Нужно сейчас же написать воззвание к армии, — сказал Кутон, как только закрыли дверь.

— От чьего имени? — спросил Неподкупный.

— От имени Конвента, — ответил Кутон. — Разве он не там же, где и мы? Остальные — не более, чем заговорщики; их можно будет легко рассеять.

Робеспьер задумался. На лице его было сомнение. Он что-то шепнул своему брату, затем сказал:

— По-моему, следует писать от имени французского народа.

Итак, Неподкупный, наконец, решился на полный разрыв с Конвентом, на полный отказ, от легальных средств. Слишком поздно!

Из соседнего зала раздались крики. Робеспьер и его друзья вышли из своего уединения, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что Пейяну пришла в голову малоостроумная мысль прочесть вслух членам муниципалитета декрет Конвента, отобранный у эмиссаров. Он рассчитывал высмеять декрет. Но действие оказалось обратным. Когда присутствующие узнали, что их объявили вне закона, они пришли в ужас. Все поняли, что их ждет смерть без суда. Не скрывая своих намерений, многие бросились к дверям.

Вошел Кофиналь. Он сообщил, что канониры и национальные гвардейцы начали расходиться с Гревской площади, сначала поодиночке, затем группами. Было решено осветить фасад здания ратуши яркими лампами, чтобы лучше следить за солдатами. И вот зажгли настоящую иллюминацию. Странное зрелище представляло это праздничное освещение в такую трагическую ночь!..

Члены муниципалитета и представители секций после прочтения декрета Конвента спешно покидали ратушу. Вскоре большой зал почти опустел. Тут робеспьеристы начали действовать с большей энергией. Леба

писал послание в военную школу Саблонского лагеря. Сен-Жюст вместе с Кутоном редактировал новые воззвания к секциям. Огюстен Робеспьер, Пейян и Кофиналь обсуждали возможность нападения на Конвент. Максимилиан, сидя в глубоком кресле, быстро прочитывал передаваемые ему тексты воззваний и делал карандашом свои пометки. Вот, наконец, составлен набело текст воззвания к секции Пик. Члены Исполнительного комитета подписывают его. Максимилиан отходит к окну и смотрит на площадь. Два часа ночи. Яркий свет. Боже, как мало защитников осталось перед ратушей! Но и они разбегаются. Падают первые капли дождя. Однако что это там, справа? Большой отряд подходит к главной двери здания. Слышны крики: «Да здравствует Робеспьер!» Кто они? Неужели возвращаются свои? Или, быть может... Максимилиан стискивает зубы и нащупывает пистолет в кармане своих золотистых панталон. Но тут за его спиной раздается голос Кофиналя:

— Робеспьер, подпиши, твоя очередь!

Максимилиан вздрагивает и как во сне оборачивается. Пейян, Леребур и другие уже подписали воззвание. Ему дают перо. Он просматривает текст, обмакивает перо в чернильницу и медленно выводит две первые буквы своего имени. Страшный шум на лестнице заставляет его, как и других, поднять глаза к двери. Слышен топот многих ног... Шум борьбы... Топот приближается. Вот дверь с треском распахивается, и на пороге возникает потный Леонар Бурдон. Концом своей шпаги он указывает жандармам на тех робеспьеристов, которых нужно схватить в первую очередь. Почти одновременно раздаются два выстрела. Подпись Максимилиана остается недоконченной: на еще не просохшие первые буквы его имени падает капля крови.

Поль Баррас улыбался. Да, его полное холеное лицо сморщила гримаса довольной улыбки, такая широкая, что небольшие водянистые глазки совсем закрылись. Еще бы! Только что он получил новые известия от своих соглядатаев с Гревской площади. Все шло как по писаному: последние канониры, уставшие и распропагандированные эмиссарами Конвента, расходились. Соглядатай рассказывал ему, что Анрио, выбежавший из ратуши в сопровождении двух адъютантов, тщетно ругался, кричал, умолял... Этого всего и следовало ожидать. Идеалисты, добродушные мечтатели! В то время когда они распускали слюни, сомневаясь и не зная, с какой стороны взяться за дело, он, Баррас, и его добрые дружки не теряли ни одной минуты. Недаром же они поработали сегодня до восьмого пота! Клевета, запугивание, лезть, обман — все было пущено в ход. И вот

результат: мятежники у него в кулаке! Что мятежники! О мятежниках говорить не приходится. Теперь они трупы. У него и его приятелей — Тальена и Фрерона — в руках весь Конвент! Ну и ловко же было обстрипано это дельце. Все эти дуралеи — Колло д'Эрбуа, Билло-Варен, Вадье и прочие — попались на приманку, как мухи на липкую бумагу. Они предали Неподкупного, думая, что окажутся наверху, но в действительности все они тоже скоро начнут чихать в корзину: их союзники быстро сбросят их со счетов. И тогда — гуляй, денежный мешок! Вся якобинская дребедень полетит к черту. За Робеспьера со всеми его добродетелями никто не даст и ломаного гроша, а он, Баррас, сегодняшней победитель, сегодняшней спаситель Конвента, станет первым человеком: денег у него — хоть отбавляй, он успел достаточно награть при якобинцах, а теперь появится и власть. Деньги и власть — это все!

Баррас вздрогнул. Сзади к нему подходил Леонар Бурдон.

— Уже половина второго, — сказал Бурдон. — Надо завершать кампанию.

План Барраса был готов. Он разделил всех своих людей на два отряда. Во главе одного из них он поставил Бурдона; этот отряд должен был двигаться по набережной и пробраться к ратуше со стороны Гревской площади. Для себя самого он выбрал — к чему рисковать? — другой, обходной путь, вдоль улиц Сент-Оноре, Сен-Дени и Сен-Мартен, рассчитывая подойти к ратуше с тыла в то время, когда все уже будет закончено.

Когда Леонар Бурдон во главе своего отряда крадучись подобрался к Гревской площади, он убедился, что соглядатаи не обманули и что предосторожности, принятые им на марше, оказались напрасными: все пространство перед фасадом ярко освещенной ратуши было пустым. Капал дождь, усиливавшийся с минуты на минуту. Отряд Бурдона быстро подошел к парадному ходу. Несколько испуганных лиц выглянуло навстречу. Бурдон сделал знак, и, согласно заранее условленному, жандармы стали кричать: «Да здравствует Робеспьер!»

Быстро поднялись по лестнице. Здесь кто-то их опознал и закричал. Кучка вооруженных людей попыталась закрыть дорогу. Их смяли. Потный и растрепанный Бурдон первым подскочил к двери в Главный зал и широко распахнул ее.

Мертвый Леба плавал в луже собственной крови: он застрелился. Рядом лежал Максимилиан с простреленной челюстью. Хотел ли он

покончить с собой по примеру своего единомышленника? Или его ранил жандарм из отряда Бурдона? Это осталось неизвестным. Огюстен выбросился из окна на улицу, где его подобрали полумертвым. Сен-Жюста и Дюма арестовали без всякого сопротивления с их стороны. Анрио захватили позднее во дворе ратуши. Кофиналю и нескольким другим пока удалось скрыться. Они пытались вынести Кутона, но безуспешно: раненный в голову, он был отбит людьми Бурдона.

Когда Баррас, наконец, подошел к ратуше, все было закончено, как он и ожидал. Оставалось отмыть кровь, подобрать раненых и унести мертвых. Было около трех часов. Начинало светать. Дождь, превратившийся в ливень, хлестал мостовую, и в лужах воды отражалась ненужная иллюминация фасада ратуши. Баррас закрыл все двери, а ключи по-хозяйски положил в карман. Сколько прославленных политиков хотели окончить революцию; они обладали умом, талантом, даром красноречия, а головы их легли под нож гильотины. Он, он, Поль Баррас, которого считали посредственным умом и второстепенным деятелем, он смог сделать то, на что оказались неспособными все эти умники: он закончил революцию и ключи от нее спрятал в своем кармане. Ну разве он не был человеком, достойным славы и почестей?..

А Неподкупного между тем, окровавленного и потерявшего сознание, спешили доставить в Конвент. Его осторожно несли на руках несколько человек из народа. Путь был долгим и тяжелым; грязь хлюпала под ногами, одежда промокла насквозь. Наконец показался силуэт Тюильрийского дворца. Вот и Конвент. У подножья лестницы пришлось остановиться: казалось, здесь собралась чуть ли не половина Парижа. Заспанные буржуа не поленились встать среди ночи с постелей, чтобы насладиться зрелищем поверженного врага.

— Смотрите, вот он, король! Как, хорош?

— Вот он, Цезарь!

— Если это тело Цезаря, то отчего не бросят его на живодерню?..

Хохотали, указывали пальцами. К счастью своему, он ничего не слышал.

Председатель Конвента обратился к Собранию:

— Подлец Робеспьер здесь. Не желаете ли вы его видеть?

— Нет! — закричал под аплодисменты Тюрио. — Труп тирана может быть только зачумленным.

Его принесли в одну из комнат Комитета общественной безопасности. Положили на стол, против света, а под голову подоткнули деревянный

ящик с кусками заплесневевшего хлеба.

Он лежит, вытянувшись во весь рост, без шляпы и без жабо. Его светлое платье растерзано и покрыто кровью; чулки спустились с ног. Он не шевелится, но часто дышит. Время от времени рука бессознательно тянется к затылку, мускулы лица сокращаются, и лоб покрывают морщины. Но ни одного стога не вырывается из этого страдающего тела. Входят все новые и новые мучители, чтобы взглянуть на «тирана». Лица сверкают жестокой радостью.

— Государь, ваше величество, вы страдаете?

Он открывает глаза и смотрит на говорящих.

— Ты что, онемел, что ли?..

Он только пристально смотрит на них.

Вводят Сен-Жюста, Дюма и Пейяна. Они проходят в глубь комнаты и садятся у окна. Один из присутствующих кричит любопытным, окружившим Робеспьер:

— Отойдите в сторону. Пусть они посмотрят, как их король спит на столе, точно простой смертный.

Сен-Жюст поднимает голову, и его лицо, до этого момента спокойное, искажает душевная мука. Со страшной болью сердца смотрит он на того, кто был его учителем и самым близким другом. Этот взгляд так выразителен, молодое лицо так прекрасно, что мучители, пораженные, на минуту смолкают.

Взгляды Сен-Жюста и Робеспьера встречаются. Им не нужно слов. Они понимают друг друга. Робеспьер отводит глаза. Сен-Жюст следит за ним. Неподкупный смотрит на текст конституции, висящий на стене против окна. Сен-Жюст смотрит туда же.

— А ведь это наше дело... — шепчут его бескровные губы. — И революционное правительство тоже...

Шесть часов утра. Уже совсем светло. Дождь кончился. В комнату быстро, военным шагом входит Эли Лакост. Он приказывает отвести арестованных в Консьержери. Затем, обратившись к пришедшему вместе с ним хирургу, он говорит:

— Хорошенько перевяжите рану Робеспьера, чтобы его было можно подвергнуть наказанию.

И перевязка была сделана не за страх, а за совесть...

Когда хирург, заканчивая, перебинтовывал Максимилиану лоб, один из присутствующих сказал:

— Смотрите! Его величеству надевают корону.

Робеспьер посмотрел на оскорбителя спокойно, задумчиво и пристально.

Единственные слова, которые он произнес в течение всего этого времени, многим показались странными. Когда один из любопытных, видя, что он никак не может нагнуться, чтобы подтянуть чулки, помог ему, Робеспьер тихо сказал:

— Благодарю вас, сударь.

Подумали, что он сходит с ума: уже давно не обращались на «вы» и не произносили слова «сударь», напоминавшего о времени королей. Нет, Неподкупный был в здравом уме и ясно выразил то, что думал. Этими словами он хотел сказать, что революции и республики больше не существует, что жизнь вернулась к старому режиму и все завоевания прошлых лет безвозвратно погибли.

Их казнили без суда, в шесть часов вечера. Вместе с Робеспьером встретили смерть двадцать два его ближайших соратника. На следующий день гильотина получила еще семьдесят жертв — членов Коммуны. Драма термидора закончилась. Начиналась кровавая вакханалия термидорианской буржуазии.

Смерть и бессмертие (Вместо послесловия)

Победители спешили реализовать плоды своей победы. Первое время вожди «нуворишей», правда, были вынуждены еще считаться со своими недавними союзниками — «левыми» термидорианцами, но это продолжалось недолго. Постепенно «обновленный» Конвент ликвидировал все демократические завоевания народа. Уничтожили революционное правительство. Разгромили Якобинский клуб. Отменили максимум.

Враги Робеспьера, свергая его, обещали открыть тюрьмы и прекратить террор. Но тюрьмы открылись лишь для того, чтобы дать освобождение врагам народа, а террор, более жестокий, чем прежде, обрушился на головы его друзей. Смертью на эшафоте карали всех соратников Неподкупного, всех, кто сотрудничал с ним или хотя бы симпатизировал ему. Банды «золотой молодежи» избивали патриотов.

Одновременно с этим катастрофически резко падало экономическое положение широких трудящихся масс. Если отмена максимума дала свободу жрецам денежного мешка, то рабочим она несла лишь голод и нищету. Социальные контрасты достигли чудовищных размеров. В то время как буржуазный Париж утопал в роскоши, напоминавшей времена старого порядка, в то время как в особняках Барраса или в салоне Терезы Тальен пышные балы сменялись кутежами и оргиями, рабочие предместья буквально умирали от голода.

Теперь народ понял ошибку, совершенную в день 9 термидора, теперь он раскаивался в том, что ничего не предпринял для спасения якобинской диктатуры. Тень Неподкупного вдохновляла массы на новые бои. И вот весной 1795 года — в жерминале и прериале — народ дважды попытался с оружием в руках вернуть утраченное. «Хлеба и конституции 1793 года!» — кричали повстанцы. Но победить им не удалось. Разгромив и разоружив народ, реакционная буржуазия отбросила последние следы маскировки. Вожаков «левых», всех тех, кто так активно помогал им произвести термидорианский переворот, теперь предавали смерти, изгоняли из Франции либо отправляли на «сухую гильотину» — в вечную ссылку в Гвиану.

Жизнь большинства из них угасла на чужбине. Казалось, судьба мстила им за предательство, совершенное в термидоре. Поняли ли они хотя

бы, что сделали роковую ошибку? Раскаялись ли они в своем беспринципном поведении по отношению к вождю якобинской диктатуры? Справедливость требует ответить на этот вопрос утвердительно.

Коварный Барер, все хитрости которого не спасли его от изгнания, позднее писал, что считает контрреволюционный переворот 9 термидора следствием большого заблуждения. Он отмечал, что переворот этот убил революционную силу, что он допустил к власти реакционную Клику. Незадолго до смерти Барер прямо заявил, что причисляет Максимилиан а Робеспьера к числу самых выдающихся деятелей революции.

Колло д'Эрбуа и Билло-Варен закончили свои дни в далекой Америке. Горячий Колло не оставил следов своих размышлений — смерть унесла его слишком быстро. Что же касается Билло-Варена, то этот суровый республиканец, проживший вплоть до 1819 года, полностью переосмыслил свое прошлое поведение и признал, что оно было в значительной степени результатом личной ненависти.

«...Наши разногласия в эти дни, — писал он, — разбили единство революционной системы... Да, пуританская, чистая революция была утрачена 9 термидора. Сколько раз я потом оплакивал, что поступил по злобе! Отчего нельзя оставить за порогом власти все эти безрассудные страсти и житейские волнения?..»

И в пылу самобичевания стареющий Билло сожалел уже не только о Робеспьере, но даже о Дантоне и Демулене, которых первый обрек на смерть.

Отказался от своего прежнего поведения и Амар. Этот бывший член Комитета общественной безопасности признавал теперь, что он заблуждался относительно Робеспьера и его планов.

— Я горжусь тем, что разделял труды Робеспьера, — говорил Амар. — Народ имел тогда хлеб. Его хотят представить кровожадным человеком, но судить будет потомство.

Только ехидный старик Бадье, даже когда ему перевалило за девяносто лет, продолжал упорствовать. Правда, и он считал день 9 термидора роковым, правда, и он начинал отсюда все последующие бедствия своей родины, но в отличие от других он, по-видимому, сохранил злобу к Неподкупному до самой своей смерти.

Впрочем, все это были люди прошлого. Они могли каяться и плакать, но ничего не могли изменить. А между тем время шло вперед. Семена, брошенные Робеспьером, давали всходы. Дело его не пропало даром. Все глубже и глубже плебейские массы начинали осмысливать недавнее прошлое. «Только и слышно, что сожаления о временах Робеспьера, —

доносили полицейские ищейки. — Говорят об изобилии, царившем при нем, и о нищете при теперешнем правительстве». Это происходило в дни, когда термидорианский Конвент сменила новая буржуазная Директория во главе с Баррасом, в дни, когда зрел революционный заговор, получивший в истории название «Заговора равных».

«Заговор равных», организатором которого был молодой патриот Франсуа Ноэль Бабеф, принявший имя римского трибуна Кая Гракха, представлял новый этап в развитии демократических идей Французской революции.

Центральной частью программы бабувистов было учение о равенстве, равенстве фактическом, которое должно было явиться результатом уничтожения института частной собственности. Прошлое многому научило лучших сынов революции. Бабеф, идя значительно дальше якобинцев и даже «бешеных» — защитников мелкой частной собственности, считал, что революция должна быть продолжена до тех пор, пока в республике не будет учреждена «большая национальная коммуна» — ассоциация равных, свободных людей, совместно трудящихся на основе общности всех имуществ. Бабеф и его соратники разработали в деталях план организации этого будущего общества, которое, как они рассчитывали, должно скоро прийти в результате успешного восстания масс, поднятого узким кругом заговорщиков...

Хотя движение «равных» осталось заговором, не превратившимся в массовое выступление, хотя бабувисты осуществление своих идей не связывали с классовой борьбой пролетариата, о которой имели крайне смутное представление, хотя, наконец, их коммунизм носил примитивный, по преимуществу аграрный характер, тем не менее роль этих новых глашатаев грядущего была исключительно велика.

«...Движение это, — писал К. Маркс, — вызвало к жизни коммунистическую идею, которая после революции 1830 г. снова введена была во Францию другом Бабефа Буонарроти. Эта идея, последовательно разработанная, и есть идея нового мирового порядка»^[12], то есть коммунизма.

Одна черта «Заговора равных» представляет особенный интерес. Бабеф, глубоко ценивший Робеспьера, преклонявшийся перед его суровой принципиальностью и разделявший многие из его убеждений, считал себя прямым продолжателем дела, начатого Неподкупным.

21 флореаля IV года (10 мая 1796 года) в маленькой душной комнате двое пересматривали бумаги. Сегодня, на конспиративной квартире у

портного Тиссо, Гракх Бабеф и Филипп Буонарроти приводили в порядок программные документы, письма и материалы, относившиеся к общему делу.

Бабеф сосредоточенно перечитывал листки, вынутые из большой пачки, лежавшей в старом портфеле.

— Филипп! — вдруг воскликнул он. — Подойди на минутку сюда, смотри, что я нашел!

Буонарроти оторвался от своего занятия и, подойдя к столу, наклонился над плечом Бабефа. В руках у последнего был пожелтевший листок бумаги, исписанный мелким бисерным почерком.

— Попробуй догадайся, что это! — Бабеф усмехнулся. — Никогда не догадаешься, не старайся. Это мое первое открытие в 1789 году. Тогда у меня только еще зарождались мысли о равенстве. И я открыл Неподкупного...

Филипп вопросительно посмотрел в улыбающиеся глаза Бабефа.

— Да. Это мое открытие. Это письмо я собирался послать в Лондон. Здесь выписана значительная часть речи Робеспьера против избирательного ценза от 22 октября 1789 года. Помню свои удивление и радость... Как ловко тогда этот, еще никому не известный оратор громил господ из Учредительного собрания! Как он язвил над ними! И с какой железной логикой разбивал все их ухищрения!..

Бабеф задумался и умолк. Молчал и Буонарроти.

— Мы были не правы по отношению к Робеспьеру, — сказал, наконец, Филипп.

— Не правы? — Бабеф остро взглянул на своего собеседника. — О, я благоговел тогда перед ним! Я помню свои мысли и чувства. Когда я слушал его или читал тексты его выступлений, мне казалось, что я смотрю в глубь собственной души. Он прекрасно умел сформулировать то, о чем думали все мы. Тогда я подписался бы под каждой его фразой... А помнишь.. — горячо продолжал Бабеф, — помнишь, с каким восторгом мы встретили его Декларацию прав?

«Право собственности не должно причинять ущерба существованию других, нам подобных». Кто мог бы сформулировать это лучше? Не вытекала ли отсюда мысль о равенстве? Да, я с уверенностью могу сказать, что Робеспьер больше чем кто-либо другой содействовал развитию этой идеи. Он, правда, возражал против аграрного закона, он утверждал, что полное равенство имуществ невозможно... И все равно, практически он приблизил конечное торжество нашего дела в гораздо большей степени, чем все эти гномы-болтуны, вместе взятые...

— Ты имеешь в виду эбертистов?

— Да, и многих других вместе с ними. Неподкупный правильно сделал, что устранил их. Путаники, люди с посредственными способностями, жаждавшие славы и преисполненные самомнением, они заслужили свой жребий. Судьба 25 миллионов людей не могла зависеть от поведения нескольких сомнительных личностей. Плуты они были или глупцы, тщеславные или честолюбцы, неважно. Робеспьер правильно понял свою задачу, и одно это заставляет меня восхищаться им. Это заставляет меня видеть в нем гения.

— Мы были не правы по отношению к Робеспьеру, — снова сказал Буонарроти.

— Да, черт возьми, мы были не правы. Я чистосердечно признаю; я очень зол на себя за то, что в дни термидора чернил и революционное правительство и Робеспьера, Сен-Жюста и других. Это было заблуждение. Я считаю, что эти люди сами по себе стоили больше, чем все остальные революционеры, вместе взятые, и что их диктаторское правительство было дьявольски хорошо задумано... В конечном итоге робеспьеризм — это демократия; оба эти слова тождественны. Воскрешая робеспьеризм, можно быть уверенным, что воскрешаешь демократию.

Буонарроти слушал пылкую речь своего друга, а сам невольно вспоминал салон госпожи Дюпле, рояль, нежный голос Елизаветы... Как это было давно, невозвратно давно и как все живо в памяти! О, он мог бы рассказать много того, что неизвестно другим. Когда-нибудь он, быть может, и расскажет об этом, если будет жив... И, продолжая свою мысль, он говорит:

— Да, на этого знаменитого мученика во имя равенства так много клеветали, что долг каждого честного писателя посвятить свое перо тому, чтобы отомстить за него. Ты его хорошо понял. Ты прекрасно сказал о нем недавно в «Трибуне народа»: «Максимилиан Робеспьер — человек, которого оценят века; моему свободному голосу дано опередить этот приговор».

Снова наступило молчание. Оно длилось долго.

— Что же, — вздрагивает Бабеф, — надо продолжать работу. Но интересно, почему это вдруг сегодня мы вспомнили о Робеспьере? Не ожидает ли нас его судьба?

Буонарроти нежно обнял Бабефа. Его суровое лицо смягчилось.

— Друг мой, не надо думать об этом. Мы должны победить. Но даже если мы и погибнем, дело наше не умрет. И о Робеспьере мы вспомнили не зря. Смотри, как тянется нить идей и событий, порожденных жизнью: он

начал великое дело, мы его продолжаем, а после нас родятся люди, которые его завершат...

Буонарроти сказал правду. Дело, за которое боролись французские революционеры-демократы, было несокрушимо. Революция не могла погибнуть, так же как не погибла память о лучших ее сыновьях. И Робеспьер, и Бабеф, и все другие, все те, кто вместе с ними и после них боролся за лучшее будущее тружеников, — все они остались жить в веках. Их светлую судьбу метко очертила фраза в последней речи Неподкупного: «Смерть — это не вечный сон... Это дорога к бессмертию...»

Основные даты жизни Максимилиана Робеспьера

1758, 6 мая — родился Максимилиан Мари Исидор де Робеспьер.

1765 — умирает мать Максимилиана; отец покидает семью.

1765–1769 — Максимилиан учится в Аррасском коллеже.

1769–1778 — Максимилиан учится в коллеже Людовика Великого, в Париже.

1778–1780 — Максимилиан учится в Сорбонне, на юридическом факультете.

1781–1788 — Робеспьер ведет адвокатуру в Аррасе.

1782, 16 января — первое выступление Робеспьера в суде.

1782, 9 марта — Максимилиан назначен членом епископального трибунала в Аррасе.

1786, 4 февраля — Максимилиан избран президентом Аррасской академии.

1789, февраль — опубликование Робеспьером брошюры о необходимости изменения штатов Артуа.

1789, 26 апреля — Робеспьер избран депутатом в Генеральные штаты от третьего сословия Артуа.

1789, 5 мая — открытие Генеральных штатов.

1789, 17 июня — депутаты третьего сословия провозглашают себя Национальным собранием.

1789, 20 июня — клятва в зале для игры в мяч.

1789, 9 июля — начало Учредительного собрания.

1789, 14 июля — взятие парижским народом Бастилии.

1789, 17 июля — Робеспьер вместе с другими депутатами Учредительного собрания сопровождает короля в Париж.

1789, 20 июля — Робеспьер дает отповедь Лальи-Толлендалю по вопросу о преследовании «мятежного» народа.

1789, 26 августа — принятие Декларации прав человека и гражданина.

1789, начало сентября — Робеспьер выступает в печати по вопросу о королевском вето.

1789, 5–6 октября — поход народных масс Парижа на Версаль.

1790, 25 января — речь Робеспьера в защиту всеобщего

избирательного права.

1791, 14 июля — речь Робеспьера против неприкосновенности короля.

1791, 16 июля — раскол Якобинского клуба.

1791, 17 июля — расстрел народа на Марсовом поле. Робеспьер переселяется в квартиру Дюпле.

1791, 1 октября — начало Законодательного собрания.

1791, 18 декабря — первая речь Робеспьера против войны.

1792, 20 апреля — объявление Францией войны Австрии.

1792, 29 июля — речь Робеспьера о созыве Конвента.

1792, 10 августа — восстание в Париже. Свержение монархии. 1792, 21 сентября — начало заседаний Конвента.

1792, 5 ноября — ответ Робеспьера на обвинения жирондистов.

1792, 3 декабря — первая речь Робеспьера на процессе короля.

1793, 21 января — казнь Людовика XVI.

1793, февраль — март — выступление «бешеных».

1793, 10 апреля — обвинительный акт Робеспьера против жирондистов.

1793, 24 апреля — внесение Робеспьером в Конвент проекта Декларации прав.

1793, 31 мая — 2 июня — народное восстание в Париже. Падение жирондистов.

1793, 13 июля — убийство Марата.

1793, 27 июля — Робеспьер входит в состав Комитета общественного спасения.

1793, 5 августа — выступление Робеспьера против «бешеных».

1793, 4–5 сентября — движение парижской бедноты, ускорившее формирование революционного правительства.

1793, 24–31 октября — процесс и казнь жирондистов.

1793, 17 ноября — первый доклад Робеспьера об основах внешней политики.

1794, 5 февраля — речь Робеспьера о государственной морали.

1794, 26 февраля и 3 марта — вантозские декреты.

1794, 24 марта — казнь эбертистов.

1794, 2–5 апреля — процесс и казнь дантонистов.

1794, 22 мая — покушение Амираля на жизнь Робеспьера.

1794, 8 июня — праздник «верховного существа».

1794, 10 июня — закон 22 прериаля.

1794, 11 июня — начало разрыва между членами Комитета общественного спасения.

1794, 26 июля — последняя речь Робеспьера в Конвенте.

1794, 27 июля — контрреволюционный переворот 9 термидора.

1794, 28 июля — казнь Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и их сторонников.

Краткая библиография

- К. Маркс и Ф. Энгельс, Святое семейство. Соч., т. 2 изд. 2-е.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология. Соч., т. 4.
К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. 1, 1948.
К. Маркс, Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, изд. 2-е.
К. Маркс, Критические заметки к статье «Пруссака» «Король прусский и социальная реформа».
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, изд. 2-е.
К. Маркс, Письмо Ф. Энгельсу от 30 января 1865 г.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, 1948.
Ф. Энгельс, Письмо Адлеру от 4 декабря 1889 г.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, 1948.
Ф. Энгельс, Письмо К. Каутскому от 20 февраля 1889 г.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, 1948.
В. И. Ленин, Крах II Интернационала. Соч., изд. 4-е, т.21.
В. И. Ленин, Переход контрреволюции в наступление. Соч., изд. 4-е, т. 24.
В. И. Ленин, Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Соч., изд. 4-е, т. 25.
M. Robespierre, Textes choisis, prep, par J. Popereen, t. 1–2, P., 1957; t. 3, P., 1958.
Discours et rapports de Robespierre, par Ch. Vellay, P., 1910.
Максимилиан Робеспьер, Революционная законность и правосудие. Статьи и речи под ред. и с предисловием А. Герцензона. М., 1959.
«Переписка Робеспьера». Под ред. и с предисловием Ц. Фридлянд. Л., 1929.
Шарлотта Робеспьер, Воспоминания. С предисловием А. Ольшевского. Л., 1925.
М. Торез, Робеспьер — великий образ французской революции. «Интернациональная литература», № 5–6, 1939.
Н. М. Лукин (Антонов), Максимилиан Робеспьер. Птрг, 1921 (2-е, испр. изд., 1925).
Я. М. Захер, Робеспьер. М., 1925.
А. З. Манфред, Максимилиан Робеспьер — выдающийся деятель

Великой Французской буржуазной революции (к 200-летию со дня рождения). М., 1958.

А. З. Манфред, Споры о Робеспьере. «Вопросы истории» № 7, 1958.

В. М. Далин, Робеспьер и Бабеф. «Новая и новейшая история» № 6, 1958.

E. Hamel, Histoire de Robespierre d'après de papiers de famille, des sources originates et des documents entierement inedits. Tt. 1–3. Paris, 1865–1867.

A. Mathiez, Robespierre terroriste. Paris, 1921.

A. Mathiez, Autour de Robespierre. Paris, 1925.

A. Mathiez, Etudes sur Robespierre, 1758–1794. P., 1958.

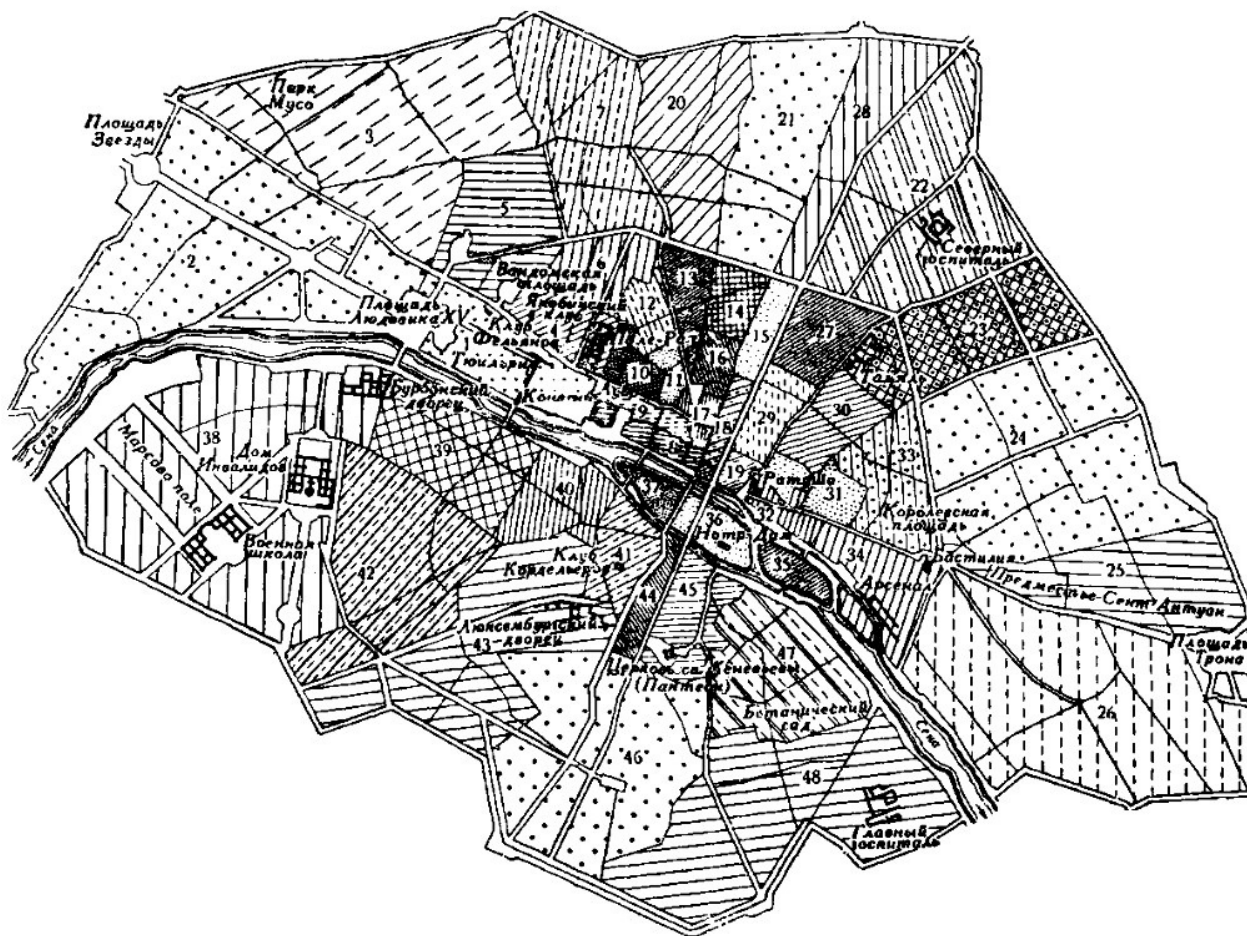
J. M. Thompson, Robespierre, Oxford, 1935.

G. Walter, Robespierre. Paris, 1946.

J. Massin, Robespierre. Paris, 1956.

M. Bouloiseau, Robespierre. P., 1957.

Париж в 1790–1794 гг. (Схема расположения секций)



Список секций

Названия секций указаны соответственно данным 1790 года. Последующие переименования даны в скобках с указанием года переименования.

1. Тюильри
2. Елисейских полей
3. Руля (Республики-1793)

4. Пале-Рояля (Пале-Эгалите-1792, Бюг-де-Мулен-1792 и 1794, Горы-1793)

5. Вандомской площади (Пик-1792)

6. Библиотеки (Девяносто второго года-1792, Лепеллетье-1793)

7. Гранж-Бательер (Мирабо-1792, Мон-Блан-1793)

8. Лувра (Музея-1793)

9. Оратории (Французской гвардии-1792)

10. Хлебного рынка

11. Почты (Общественного договора-1792)

12. Площади Людовика XIV (Молота-1792, Вильгельма Телля-1793)

13. Фонтана Монморанси (Мольера и Лафонтена-1792, Брута-1793)

14. Бон-Нувель

15. Понсо (Друзей отечества-1792)

16. Моконсей (Бонконсей-1792)

17. Рынка Невинных (Рынка-1792)

18. Ломбардцев

19. Арен

20. Предместья Монмартр (Предместья Мон-Марат-1794)

21. Улицы Пуассоньер

22. Бонди

23. Тампля

24. Попинкур

25. Улицы Монтрей

26. Кенз-Вен

27. Гранвилье

28. Предместья Сен-Дени (Севера-1792)

29. Улицы Бобур (Единения-1792)

30. Красных ребят (Болота-1792)

31. Сицилийского короля (Прав человека-1792)

32. Рагуши (Дома Коммуны-1792, Верности-1794)

33. Королевской площади (Федератов-1792, Неделимости-1793)

34. Арсенала

35. Иль (Братства-1792)

36. Нотр-Дам (Сите-1791 и 1794, Разума-1793)

37. Генриха IV (Нового моста-1792, Революции-1793)

38. Инвалидов

39. Гренельского фонтана

40. Четырех наций (Единства-1793)

41. Французского театра (Марсея-1792, Марата и Марсея-1793)

42. Красного Креста (Красного Колпака-1793, Западная-1794)
 43. Люксембурга (Муция Сцеволы-1793)
 44. Терм Юлиана (Борепера-1792. Возрожденная-1792, Шалье-1793)
 45. Св Женевьевы (Французского Пантеона-1792)
 46. Обсерватории
 47. Ботанического сада (Санкюлотов-1792)
 48. Гобеленов (Финистера-1792, Лазовского-1793)
-
-

notes

Примечания

1

В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 342.

В октябре 1790 года жители Версаля избрали Робеспьера председателем суда их дистрикта.

К. Маркс. Капитал, т. I. Госполитиздат, 1955 г., стр. 745.

5

Так назывался клуб, основанный видными лидерами конституционалистов в апреле 1790 года.

Герцога Филиппа Орлеанского, двоюродного брата Людовика XVI, некоторая часть членов Собрания прочила в регенты или в короли в случае отречения Людовика.

Клуб фельянов находился в том же помещении, что и Собрание.

По имени департамента Жиронды, откуда были избраны многие видные депутаты этой группы.

10

Лежандр по профессии был мясником.

Робеспьер имел в виду Комитет общественной безопасности.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. III, стр. 147.